

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1992

11

1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11 (811)

Ноябрь, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ — Знак, стихи	2
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Апрель Семнадцатого. Продолжение	6
НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ — Из стихов последних лет. Предисловие Галины Корниловой	185
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Прокляты и убиты, роман. Книга первая. Продолжение	188
АЛЕКСАНДР СОРОКИН — Музыка судьбы, стихи	227
—————	
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ — Бесконечный тупик. Фрагменты книги	228
КОРОТКО О КНИГАХ	284
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	287
SUMMARY	288

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет господ зарубежных подписчиков и ценителей нашего издания, что мы не имеем никаких договорных отношений с организацией «Межкнига» и всякую подписку или получение «НОВОГО МИРА» через «Межкнигу» считаем контрабандой.

Законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении, в белой (а не голубой) плотной обложке с эмблемой «Novy Mir».

Приглашаем господ зарубежных распространителей периодических изданий заключать с «НОВЫМ МИРОМ» прямые договоры!

**О ПЛАНАХ «НОВОГО МИРА» НА 1993 ГОД
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 286**

© Журнал «Новый мир», 1992.

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

*

ЗНАК

Настроение

С неба сыплет и сыплет.
В окна дует и дует.
К ночи горло осипнет.
К ночи веко раздует.
А с осипшим-то горлом,
а с раздутым-то веком
надо быть очень гордым,
чтоб глядеть человеком.

Нас пороли? Пороли.
Нас давили? Давили.
В чем он, знак нашей воли:
в мощи рек? в конском мыле?
в топоре, как и прежде
ненасытном, как боров,
на старушек — в надежде,

что заметит Невзоров?
Иль в повенчанном с риском
наслаждении голом:
по верхам, ах, по низким —
да высоким глаголом!..

С неба — чаще и чаще.
В окна — пуще и пуще...
Все, что было, — пропащее.
Все пропащее — суще.

Почему ж среди снега
все стоит пред глазами
детский образ: телега,
превращенная в сани?..

..*

Этот винный магазин задушен змеею, как Лаокоон.
Старый бомж, проходя, независимо выдохнул одеколон.
Сквознячок все несет чепуху из подсолнуховой шелухи...
Это жизнь — вместо жизни, неправда, что — после, неправда,
что — до.
Нам дано, что дано: мелкий дождь, водосток и воронье гнездо.
Наконец-то никто в этом мире не брешет, что любит стихи.

Я скучал о прошедшем, кричал о минувшем, о детстве своем.
Одному в этом мире темно и тоскливо, но страшно — вдвоем,
потому что ведь чувствуем: близкого близость — как стог у костра.
Эти дикие искры: и пьяная финка, и хищный микроб,
то ли свой, то ли гость из трофических Азий, стерильных Европ —
я кричу им, как в детстве, играя, кричал: не пора, не пора!

Утешенья мои: репортаж от Матфея, верлибр от Луки.
Это сыграно мощно и, что говорить, не в четыре руки.
Но привязанность к этому грязному миру — суровый канат.
То-то, вылетев, будет к местам этим с воем тянуться душа,
как к родному кружалу алкаш, у которого нет ни гроша, —
я почти разглядел привиденье свое у родимых пенат.

Нам дано, что дано: неприкаянный сквер, магазин, светофор,
рубль, впавший в цене, и стоящий дешевле рубля уговор,
и какое-то странное чувство, что все это стоит любви,
что ничто не случайно: ни снег в сентябре, ни фонарь на мосту,
что, видать, не случайно достался Христу и сосед по кресту,
для предсмертной беседы назначенный Богу другими людьми.

**Богословская беседа за чаепитием
во время эпидемии ОРЗ**

Чаю с малиной хлебнуть из тяжелого блюда...
Так нас хранила судьба, что пора ужаснуться:
то ли мы нелюди, то ли пусты небеса,
то ли среди страстотерпцев, убийц и убитых
мы — лишь паршивые овны на тихих копытах:
кровь ли пробрызнула, в зенки ли плюнул прохожий —
Божья роса!..

Разве овца ты? Ты — бывший геройский армеец,
бабник, заступник! Но если он был, Арамеец,
он тебя всем обеспечил и словно забыл.
Чувствуешь странную щедрость Господня собеса?
Ото всего тебя спас, кроме разве что — беса.
Там до грешков ли, где ходит герой с героинном,
с бомбой — дебил?

Мы не герои. И наши догадки нелестны:
камни фундамента молнии неинтересны —
ей интересно ударить в железо конька.
Плавься, гори, прогорай — это богоизбранье.
Кто будет жив, тот запомнит твоё возгоранье,
глядя на черный от копоти каменный остов
издалека...

Хватит! Нет права у нас на такие картины.
Пиру во время чумы пир во время ангины
разве же ровня? Но что называть нам чумой...
В мире, где ждем облегченья мы страждущим гландам,
лишь антарктидец еще не сцепился с гренландцем.
Страшное дело: селенья горят, как конфорки, —
Боже ты мой!..

Стыден покой наш. Но как же сам стыд наш покоен...
Старец бездомный, афганский расхристанный воин —
кто там с молитвою матерной на этаже?..
Или же мы — да не сбудется страшное слово —
только два Иова бедных, два бедных И́ова:
ждем своего и своих ударений не можем
вспомнить уже.

..*

Подорожало все, а вот звезды — нет:
тот же, что в прошлом году, даровой разброс...
Надо бы бросить в море пару монет,
да в наши дни загадывать — несерьез.
Тусклый фонарный просверк в ночной воде:
кто-то плавает, и горит ночная вода...
Где бы дожить до старости? А нигде...
Будет же дом когда-нибудь? Никогда.
Скрипнет судьба, как имперский больной хребет,
телу душа заявит свои права:
все, обретаю, мол, суверенитет!..

Подорожало все, а жизнь — дешева.

Мощной Кассиопеи крутой зигзаг
ночь освещает ярче гнилой луны.
Как бы понять понятное? А никак.
Или мы нашей матушке не сыны?

Баллада

Созревая в условиях разнообразных дворовых помоек,
я в тот август невинность носил терпеливо, как стоик.
Сам предмет моих грез был настырно томителен, но неконкретен:
плоть без лишних примет, героиня частушек, повторщица сплетен...

Между тем пара лет как издохла большая война...

Поразительно, как тушевались картины, скульптуры, страницы
пред случайною вылазкой тяжких коленок дворовой блудницы.
Но ее нагота — для других, не для нас, пацанвы, малолеток:
знать, куда поважней жили птицы в пролетах тех лестничных клеток.

Между тем в это лето до осени длилась весна...

Просверк женского тела нагого был смерчем, метелью, самумом!
Август шел. Тербя серебро, я глядел толстосумом.
Дело было в метро. Среди дня. Подъезжая к «Охотному ряду»,
я форсил — я в жиганстве разгульном являл себя миру и граду.

Между тем серебру и в ту пору — какая цена?..

Из тоннельной глухой темноты поезд вылетел к свету.
Видно, дьявол юнцу присоветовал станцию эту.
Что за сон: вдруг в пустыню вагона толпа голых женщин влетела —
я был стиснут веселым напором нагого и наглого тела!

Между тем только юность не путает яви и сна...

Этот розовый клоч, этот дар «Красной Розы», нагузник шелковый, —
пусть не фиговый лист, ну а все же покров откровенно фиговый
для очей огольца, чья простая мечта о неведомой плоти —
не имущей лица! — где бы ни был он, реет на автопилоте.

Между тем как тесна эта давка, как давка тесна!

Сумасшедшие? Пьяные? Или участницы кинокартины?
Сотни две! Из какого же быта? И где режиссеры, кретины,
распустившие эту массовку — не группку, не горстку! —
прозевавшие этих шалав на погильель подростку?!..

Между тем как близка эта кожа, гладка и полна...

Что за день, с озорством охламона, тупым, но азартным,
оборжавший мою молодую диету обжорством внезапным!
Почему эти ноги так пышно растут, не кончаясь так долго?
В этом мире, скупом на погляд, их не может быть столько —

столько смуглых колен из-под шелкового полотна!

Что же, можно касаться того, что вчера лишь — ножом по сетчатке?
Этот миг — это чушь, это бред, как гранатовый сад на Камчатке!..
Но качается поезд, качаются бедра, хочочут соседки
и колышутся рядом, как крепкие гроздьи сиреневой ветки.

Между тем адской серой подземной несет из окна...

И я вспомнил, позорник, я вспомнил растерянно и утомленно:
 нынче День физкультурника! Вся эта роцца познания — колонна!
 Да, колонна спортсменов — ну там «Авангард», «Пищевик» иль
 «Торпедо».
 Вот и все... Помню, где-то читал: «О, вкушая вкусих мало меда...»

«И се аз умираю» — там далее было. Хана!

Так держава однажды о сыне своем проявила заботу.
 Иль ждала, чтоб с тех пор на красавиц глядел, подавляя зевоту,
 жизнь отдав лишь труду? Иль, напротив, она с шельмовством
 откровенным
 торопила дать родине новых солдат за бесплодьем военным?

Воля родины здесь очевидна, идея — темна...

Так иль иначе, отрок один в опустевшем вагоне.
 Беззаконьям души нет помехи покуда в державном законе.
 И любовь к семикласснице в легкой матроске строга и бесплотна.
 И одно хорошо: что ничто в этом мире не бесповоротно.

Между тем как и власть поворота немногим дана.

Взморье

Это нынче — родное, ну а завтра уже — заграница.
 По живому — пила передела, как всегда, норовит...
 Ревматический вяз, ты способен ли так наклониться,
 чтоб свой лист подобрать? Он и желтый, а будто — кровит.

Белый лебедь над палевой дюной да над серым буруном —
 эта тусклая прелесть будет жить в заповедниках снов.
 Ах, тоска старика по тому, что полюблено юным —
 до смертей, до прозрений и до потрясенья основ!..

Вот закрою глаза, вот замру и на воздухе темном
 заскольжу без валюты и визы — все по старым местам,
 над бездарным раздором вождей и над людом бездомным,
 над парламентом кладбищ, где звезды перечат крестам.

Но еще до того, до того как запахнет заливом,
 до того как замашет мне Майга на речном гольше,
 вдруг ударит будильник зенитным прицелом счастливым,
 охраняющим что-то, к чему не прорваться уже.



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УЗЕЛ IV

АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

ДВЕНАДЦАТОЕ — ВОСЕМНАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ

9"

(Пресса о Ленине, 4—16 апреля)

Что вожди левых партий спешат на родину — это чрезвычайно желательно, они должны быть на арене борьбы. Но обстановка, в которой прибыл большевистский вождь, не может не вызвать в лучшем случае недоумения. Ни один гражданин России не считает возможным принять услуги от врага. Это элементарное правило политической этики признаётся всеми социалистами, и особая щепетильность требуется от тех, кто проповедует конец войны во что бы то ни стало. Должны были спросить сами себя: почему германское правительство с такой готовностью спешит им оказать беспримерную услугу? И как же можно было воспользоваться этой любезностью? — или полная отчуждённость от родной страны, или сознательная бравада. Путь к сердцу и совести России не идёт через Германию.

(«Речь»)

..Германия в нашем тылу!.. При проезде пользовались в Германии более чем дипломатическими преимуществами: в них не осматривали ни багажа, ни паспортов. Настроений г. Ленина нам всё равно никогда не понять. Их бы не пропустили, если б это не было выгодно Вильгельму.

(«Новое время»)

Письмо в редакцию. Протопопов вёл беседы с частным лицом — и какой шум подняли тогда. А Ленин заключил договор с официальным германским правительством — тем правительством которое отравляет русских ядовитыми газами и топит госпитальные суда. Хотя бы Англия и совсем вас не пропустила — вы не смели вести переговоров с Германией. Из-за отсутствия у нас национального шовинизма вы не смеее ссылаться на ваши интернациональные чувства. А знаете ли вы, что ваше поведение оттолкнёт многих от с-д партии?..

Юнкер Михайловского училища Тарасов

Люди без родины баламутят наше общественное море, требуют до хрипоты, чтоб армия и народ сложили оружие перед немцами. Это даже не изменники: изменник должен иметь одну вещь чтобы ей изменить. Зачем анонимной в 30 человек. компании Ленина надо было мчаться в немецких вагонах как если не на выручку немцев? Как и его немецкие хозяева Ленин кричит о «разбойных французском и английском правительствах» и, конечно, ни слова о Гинденбурге и Вильгельме.

(«Вечернее время»)

...Сотрудники парvusовского института ещё раньше были пропущены из Швейцарии через Германию...

...Карповича утопили, а Ленина доставили...

...Идите вы к чертям с вашим Циммервальдом! Для вашего уха это немецкое слово звучит важней, чем Россия. Почему ваш путь по Германии вёл не через тюрму, где Либкнехт, а с немецкими офицерами?.. Говорите оскорбительные речи о нашем правительстве и о союзных, а не объясняете молниеносного проезда через Германию. После нашей победы смешны вы будете: придёте клянчить обратный проезд через Германию...

(Борис Суворин)

Бестактный проезд через Германию дал повод подозревать себя в преданности Германии. Пусть это абсолютная неправда, но повод дан, и рты раскрыты. Ленин не учёл, что нельзя пользоваться услугами противника нашей страны.

(«Земля и воля»)

...Политическое бесчестье...

...Проезд через Германию — ошибочный акт.

(Лев Дейч)

...Конечно, Ленин не провокатор и не подкуплен немецкими деньгами. Запломбированный вагон — фарсовый трюк, смехотворная деталь. Ленин не может дискредитировать идею социализма.

Все газетные бабы сочинили грязную сплетню про поездку через Германию. А в «Правде» всё чаще — призывы к порядку и спокойствию. Это говорит инстинкт самосохранения. Как орган мирной социалистической пропаганды «Правду» надо приветствовать...

(Д. Заславский, «День»)

4 апреля Ленин проиграл перепалку с Церетели. Он не изменился с 1906 года. И кто помнит его характерную фигуру на митингах времён 1-й Государственной Думы, тот и теперь сразу узнает «твердокаменного»: та же характерная голова и беганье по трибуне, ни минуты не может стоять спокойно, а всё время бегаёт и скачет. Слегка картавящая речь, но и своеобразное красноречие. всё направленное к тому, чтобы захватить массу лозунгами ей понятными. Людей требовательных он удовлетворить не может, но на массовых митингах, где требуется не логика и разум, а резкие выпады и демагогия, — он противник опасный. Но вот до сих пор все считали его социал-демократом, а он оказался анархист. Его тезисы предельно просты: социал-демократия сгнила во время войны надо ее уничтожить окончательно. Его схема — совершенно оторванная от жизни, фанатическая. Он поднимает знамя гражданской войны между разными слоями демократии. Тем, кто считается с условиями жизни, времени, места, — сговориться с подобными людьми совсем невозможно. Не пожал бурных аплодисментов, но сторонники у него есть.

(«Биржевые ведомости»)

...Церетели ответил Ленину: он не учитывает соотношения сил. По конкретным русским условиям, пролетариат не мог бы удержать захваченную власть, и это привело бы только к развалу всей революции, к шовинистическому угару и оживлению тёмных сил. Против диктатуры пролетариата возникли бы глубокие протесты значительной части населения. В Феврале пролетариат правильно решил действовать заодно со всей демократией — и так придём к торжеству социализма. И напосао Ленин думает, что захватить власть было так легко в первые дни или теперь Единственно, к чему могут привести призывы Ленина — к расколу к изолированию пролетариата. Наш пролетариат стал на единственно правильный общенародный а не классовый путь. Как сказал Лассаль: индивидуумы могут ошибаться, классы — никогда.

Сочувствие аудитории было целиком на стороне Церетели.

...Первое впечатление от тезисов Ленина: приехал эмигрант, который ничего не понимает в русских условиях...

Чем скорее фракция большевиков обнаружит свою истинную сущность — тем лучше. Русские большевики ставят себя вне революции.

(«Утро России»)

Был наделён умом не быстрым он богами
И продолжал ходить он вверх ногами.
«Мой долг, — он восклицал, — вовлечь страну
Российскую в гражданскую войну!»
Германия — не враг! Взгляните на меня:

Когда я двался к вам — не только что погони
 За мною не было но высоко цена
 Ту пользу что принести способен я,— в два дня
 Меня в запломбированном вагоне
 Доставили сюда культурные германцы».

(«Новое время»)

...Мир с Вильгельмом и гражданскую войну против Временного правительства он провозгласил ещё в Стокгольме...

...Если гражданской войны нет, то её надо выдумать...

...Раз Ленин против аннексий, так он должен быть против того, чтобы Германия захватила Курляндию? Ничего подобного! — «Курляндия — аннексия России». У большевиков и неосведомлённость должна быть большая: за последнюю тысячу лет Курляндия принадлежала немцам только 181 год, а 383 — полякам и литовцам.

Немцам выгодно, чтобы русская революция выродилась в анархию: это не только ослабит Россию но подорвёт саму идею революции.

...Ленин именно и дорог немцам как человек убеждённый, которого не сведёшь к провокации. Но он хуже всякого провокатора, его демагогия бессовестна (хотя лично он, может быть, и совестлив)...

...Его демагогия опасна именно сейчас, когда массы ещё обожжены революцией, и каждое грубое прикосновение болезненно.

...При всяком строе такая погромная агитация является обычным уголовным преступлением.

...Эпидемическое помрачение умов в большевистском лагере. Трудно отличить их линию от Штюрмера — Протопопова ..

...А если бы списки с Черномазовым и Малиновским сожгли бы как в Окружном суде,— они бы сейчас кричали в «Правде»? У них нет родины, и они не задумаются продать родного отца...

...После многолетнего отсутствия прилететь в родное гнездо с единственной целью нагадить...

Те, кто проповедует сейчас гражданскую войну, может быть, идеалисты и аскеты. Но агенты департамента полиции всегда говорили в духе и стиле нынешних максималистов из «Правды» Ленин предлагает свергать все троны — английский японский, итальянский но только сочные нам. Утверждает что борется со всяким оборончеством, но с немецким оборончеством он в союзе (а пораженцев в Германии нет).

Теперь в Петербурге находятся Ленин очень искусный именно в практических вопросах внутренней политики лучший знаток русского аграрного вопроса, имя которого в 1905 г знакомо каждому крестьянину. Ленин коммунист и именно поэтому его слова проникнут в сердце и душу коммунистически настроенного русского крестьянина.

(«Фоссише Цайтунг»)

...практический деятель революции 1905 года. Он и тогда звал к гражданской войне и немедленному захвату власти. Но с 1905 целиком погрузился в партийные споры тактического характера и всё больше отдалялся от подлинного марксизма... Не то анархист, не то синдикалист. Его предложения о «пятёрках» и «десятках» 1905 года — от необузданного характера. Объявил себя коммунистом, сторонником гражданской войны — и вокруг него идейная пустота (а вокруг Плеханова — толпа идейных приверженцев). Но он будет отрицательно полезен; как яркий указатель, чего не надо делать...

(«Русская воля»)

...В заслугу Ленину: он не играет терминологией, а называет вещи своими именами... Его фраза, к сожалению, действует на массовый ум...

...Нельзя допустить монополизации правды защищаемой всеми способами вплоть до убийства Ленинизм монополизировал правду истории Объявив всех противников «буржуазными элементами» он создал культ социалистической революция — цели, которая оправдывает все средства

...Он уже зовёт к борьбе не только против Временного правительства, но и против Совета рабочих депутатов, ему не нравится состав...

Первое же его выступление имело крупное политическое значение: он довёл до конца все идеи большевизма. Русские социалисты отвернулись от него — и в этом их здоровый государственный инстинкт... В его проповеди гораздо больше анархизма и бланкизма, чем социализма.

...Стали говорить: для него уже красного знамени мало, ему чёрное бакунинское? Нет, Ленину не дотянуться, Бакунин был всё же русская душа...

...Какие же ленинцы анархисты, если у них заведён свой полицейский участок и они пишут протоколы о задержании?..

...власти Ленин не захватит, но муки родов Свободной России затруднит. Временного правительства вообще нельзя свергнуть, потому что оно держится на соглашении с Советом...

...авантюра... Вокруг Ленина — пустота, гробовое молчание. Напрасно Ленин приехал в Россию, не придётся ли ему тем же путём вернуться в Швейцарию?..

...Ленин уже перешёл линию шутовства, и спорить с ним едва ли уместно. Декларация Ленина не заслуживает даже осуждения. Бог с ней, с этой бурно-пламенной анархией...

...Опасен ли Ленин или нет? Пока трудно сказать, не так уж его в толпе и одобряют. Например, столичная прислуга говорит про него: шпион приехал, немцы пропустили...

...«Долой войну!» — кричат наивные маньяки. Захват дворца Кшесинской следует рассматривать юмористически, ничего из этой банды не будет... Ленину придаётся слишком большое значение, его опасность раздувается.

...Но всё равно: недопустимо подавлять большевиков силой...

...начинает вестись травля сторонников определённого течения социалистической мысли, вождём которого является Ленин, и травля переходит в погромную агитацию со стороны «Русской воли»...

(«Рабочая газета»)

...«республиканско-царьградское» направление, «Речь» и «Новое время»... раздувают несуществующую анархию, а на самом деле боятся адской пасти Ленина и Колонтай...

...Анархия и демагогия всегда появляются вместе, и они опаснейшие враги свободы. Ленин, помимо своей воли становится апостолом анархии.. Всякий значительный успех Ленина будет успехом реакции, пока мы решительным отпором не сделаем это течение политически безвредным.

(«Рабочая газета»)

Основной признак ленинской программы — примитивизм: пролетариат — буржуазия, а между ними колеблется мелкая буржуазия. Все его социально-политические построения противоречат методу исторической необходимости. Он не доказывает, что захват власти пролетариатом лежит в складе нашего революционного движения. Если это только классовое желание, а не требование исторической необходимости, — то это реакционное стремление. Ленин не приводит и доказательств, что крестьянство заинтересовано в перманентной революции и диктатуре пролетариата. (Парижскую коммуно крестьянство не поддержало.) У Ленина нет широкой политической программы, а какой-то туманный заговор. Он потому провозглашает диктатуру пролетариата, что неверно оценивает суть русской революции: её источник — в объединении всех живых сил страны. И даже творчество буржуазии имеет положительную роль, а значение пролетариата уменьшается... Ленин — теоретически беспомощен, ведёт рабочий класс к катастрофе.

(Канторович, «День»)

...Обходит молчанием Учредительное Собрание... А как он думает учредить республику без полиции, постоянной армии и чиновничества?

...Ленин предлагает вместо войны — «свержение всех капиталистических правительств в мире», — и предполагает, что это будет короче? Но быстрее взять Берлин, чем заставить весь земной шар перейти к социалистическому строю.

...Ленин приехал, чтоб оказать услугу реакции. Пока мы не обеспечим себя с левого фланга, не обезвредим ленинского течения — наша борьба с контрреволюционными пройсками будет безнадежна. Он остался в одиночестве? Среди несознательной стихии он может набрать и ещё. Нашей деятельной борьбой и агитацией надо предупредить этот готовящийся удар в спину революции.

(«Рабочая газета»)

...Эти люди взывают к заветным стремлениям пролетариата — и так будут восставать против революции отсталое большинство страны. На многотысячных митингах толпа электризуется ленинцами

...Раз, по его мнению буржуазия вплоть до мельчайшей, а также вся интеллигенция должны быть лишены прав — то зачем давать права и крестьянству? достаточно только «беднейшему», он это и стал говорить...

Орган Г. В. Плеханова «Единство» предлагает: «контрреволюционеров справа» «переселить с благодатного юга на холодный север», с «контрреволюционерами слева», как он называет ленинцев, бороться только словом. Всё это очень хорошо. Но нельзя не осудить самым резким образом строки Плеханова о «призывах Ленина к братанию с немцами, к низвержению Временного правительства», о «безумной и крайне вредной попытке посеять анархическую смуту в русской земле». Учитывает ли г. Плеханов вес таких слов в атмосфере революционного подъёма и неугасших страстей? Видеть такие строки в статьях социалистов, по чистой совести, тяжело и больно.

(«Дело народа»)

...Вот при каких условиях большевики предлагают открыть гражданскую войну в деревне: крестьянство не организовано, и даже нет плана его организации, деревни и сёла без мужиков незасеянные поля, в стране разруха, особенно транспорта на города надвигается голод продолжается война.. Политический бред революционных безумцев — и даже подай им социальную революцию в Европе! Вместо обещанного мира они отодвигают его до несбыточности...

(«День»)

...Чхеидзе выразил надежду что наша революция втянет в свой круг и Ленина. Ну, а если этого не случится то Ленин останется вне нашей революции: русская демократия не может себе позволить роскоши быть разъединённой...

...Ленин отмежевался даже от собственной партии (от Каменева) — и тем поможет объединению всех социалистов...

...Опасность возникла на том фронте, который считался совершенно обеспеченным: на левом фланге!.. «Перманентная социальная революция» переведена по-русски: «погром во что бы то ни стало»...

...Ленинская теоретика, в основе талантаивая и честнейшая, — а что подняла?..

...Господства в Совете он не достигнет, но возбудит против Совета малосознательные слои рабочих..

...Ленинизм — контрреволюционер. Идеологический хлам ленинизма замутит реку русской свободы.

...За анархию в Кронштадте ответственны те, кто ежедневно зовёт к расколу и демагогически поносит Временное правительство... Положить конец разврату, вносимому в революцию. Анархисты пусть выбрасывают чёрный флаг, а не прикрываются красным флагом социализма.

...Чёрные элементы захватывают власть, прикрываясь красными одеждами революции..

...На кадетском районном собрании с.д. Кливанский («Максим») заявил: «Нам нужна демократия а не демагогия. Ленин бросил факел раздора, но достиг обратных результатов: он всех объединил заставил врагов протянуть друг другу руку. На безответственную агитацию Ленина может быть только один ответ: общественное презрение».

...Ленина высмеет русский народ и Германия останется без награды...

...Выступления большевиков имеют положительную сторону: заставляют отменяться от них всех заравомышляющих...

...Человек говорящий такие глупости не опасен. Хорошо, что он приехал, теперь он весь на виду. Теперь он сам себя опровергает...

...Мокрые кувшины что испугались большевиков? Не можете жить без вороньего пугала? Большевики — это известный давний тип они лопнут при первом практическом приложении Ленинство — типичный продукт механического мышления, громкие лозунги без содержания. Организованные массы за ним никогда не пойдут, народные массы его отвергнут.

(М. Осоргин)

...На Ленина режут с неистовством.. будто он в самом деле выходец из ада. Что ж, забрасывать его гнилыми яйцами? линчевать? Ведь и Ллойд Джордж когда-то громко протестовал против англо-бурской войны — и что бы теперь было с Англией, если б его тогда линчевали?

(«День»)

Д. Левин пишет в «Дне»: «Со столбов всех газет режут на г. Ленина с неистовством, которое едва ли может быть превзойдено, будь г. Ленин и в самом деле выходцем из ада». Д. Левину очевидно неизвестно, что из первых «неистово-режущих» был «День», а «Биржевые ведомости» в этом «рёве» не участвуют.

(«Биржевые ведомости»)

...Дело не в Ленине. Обывателю нужна конкретная фигура, на которой бы выместить свою злобу за чересчур размахнувшуюся революцию. Вот и вымещают на Ленине, на которого указывает буржуазная печать...

...Член Совета рабочих депутатов Липшиц протестует против сенсации о Ленине. Раньше сенсацией был Распутин, а теперь Ленин...

...Чем больше слушаю у Кшесинской — бояться нечего: куда страшней производили анархо-синдикалисты в Турине, Неаполе, Париже, пугая трусливых буржуа. Большевики — лишь словесно несдержанные люди, им просто надо выговориться. Но их слушает серая неискущённая рать — и это может превратиться в нелепый мятеж против всего. Непросвещённые толпы чают эсхатологического чуда — и чем туманней концепция — тем крепче вера в эти слова. Экзальтация к социальному чуду, к анархическому бунту. Но что будет, когда массы в нём разочаруются, — что тогда ответит им Ленин?..

ПРИШЁЛ СБОУ, А БЕРЁТ В СТРОКУ

10

Вот уже две недели Воротынцев состоял в Ставке, и даже в оперативном отделении, счастливо, Свечин постарался.

Но — это была не та Ставка, какая ему рисовалась издали: она оmeshкотилась в подобие инвалидно-генеральского дома. В Ставке сейчас накапливались генералы и старшие офицеры — приговорённые к смерти в своих частях, или просто изгнанные комитетами (иные — только за немецкие фамилии), или снятые Гучковым — и теперь не у дел. Одни — просили другого назначения, подалше от своих прежних частей, иные — ничего не просили, согласны пребывать здесь. А ещё и такие приезжали, оттеснённые прежде, кто теперь искали пробить себе дорогу, добивались на приёмы к высшим.

И — жуть брала от этой съехавшейся генеральско-полковничьей голпы: Ставка — превращалась в свалку?

И — вот куда перевёлся Воротынцев.

Да — не хуже больна и Ставка, чем вся Армия сейчас...

И эти, согнанные сюда, имели много свободного времени для разговоров, и какие прожектёры были среди них, с точными планами быстрого «спасения России».

«Спасения», и такого простого — что никто из них, кажется, ещё и не вял: на сколько она уже погибала. Нас захватила хвостом огненная Галактика и тащит! — а они толкуют, кто виноват в происшедшем и кого на какой пост переназначить. Да как бы хорошо вернуть государя на престол.

Непосильно даже остояться в этом вихре! — а как же ещё спастись?!

Но — не привыкшие видеть, не видят.

Как и прошлой осенью не пронялись, что из этой войны нам надо выйти! выйти!

Не догадаться: что же именно делать теперь? И — с кем??

Свечин, едва успев перевести Воротынцева в Ставку, тут же и исчез: Гучков назначил его на корпус. Не хотел ехать, но и уклониться

не мог: это был не милостивый взлёт, как предлагали Воротынцеву, а рядовое служебное назначение.

Уезжал с тем, что и придумывать выхода специально не надо, а служба сама покажет, что делать.

— Нет, дружище, — сказал ему Воротынцев, — служба уже ничего нам не покажет, прошли времена службы. Мы — опрокинулись. Теперь надо посылиться на что-то необычайное. А — кем? Нету.

Уехал Свечин, а другого близкого, до откровенности, никого в Ставке и не было.

Вождя! Вождя бы! Быстрого, умного, энергичного генерала, которому сразу поверила бы Армия и за ним пошла! — и всё было бы решено! Такому вождю-спасителю Воротынцев готов был отдаться безоговорочно. И в военной истории такие вожди сколько раз появлялись в нужный момент. А вот у нас — нет.

С нами так худо — что уже и нет.

Под Пасху Верховным Главнокомандующим был официально утверждён Алексеев, как он по суги и состоял от отречения царя, да и раньше того. Но никогда он не был вождь, а только добросовестный штабист-работяга. Таким и остался. И кажется, сейчас более чем когда-нибудь не бодр, удручён, да просто раздавлен. Или его седая, круглая, честная, непритязательная голова столько знала и держала, сколько Воротынцев и представить не мог? Нет, никак не видно.

Гурко?! И он же принял Западный фронт!

Но не Ставку...

(А Лечицкий неделю назад — ушёл и в отставку полную.)

С конца же марта, как и Воротынцев, прибыл в Ставку, а с 5 апреля вступил в должность начальника штаба Верховного — генерал Деникин. Но хотя и бывший начальник «Железной дивизии», а как раз железной твёрдости в нём не чувствовалось, даже угадывалась скорей некая не генеральская размягченность. Большая осмотрительность в каждом шаге, подчёркивание, что он вообще — сторонник гражданских свобод и разумного республиканского устройства.

Как будто — в таких понятиях двигалось сейчас.

Сразу после Пасхи Гучков, проезжая на Юг, не сошёл в Могилёве, виделся с Алексеевым и Деникиным в себя в вагоне, там назначил новым генквартром Верховного вместо Лукомского — Юзефовича. И Лукомский не потеря, но и Юзефович никак не находка.

В общем, все руководители Ставки передвигались в бессилии, не видя никакой твёрдой линии для себя. И тем же дышало от Брусилова, от Рузского, а Сахарова вот сняли (и тоже не большая потеря — Щербачёв будет потвёрже, но что решает Румынский фронт?).

Гурко?..

Нет, наступило время не приказа ждать, а что-то делать самим. Самому.

А — что?..

Когда мы находимся в крайней опасности, под обстрелом, в огне, — только одно нельзя: заминаться. А — двигаться: если мало пройдено — назад, если много — только вперёд!

А — что сейчас?

Тут, среди офицеров Ставки, возникло такое движение: все теперь собирают свои Советы и съезды, и только так их становится слышно, и только так они влияют на Россию. А соединённого голоса офицеров никто не слышит. Почему ж офицеров лишить того, чем пользуются все? Так надо создавать орган, который мог бы говорить от лица всех офицеров Действующей армии. Скажем, «Союз офицеров Армии и Флота». А для этого надо собрать съезд. В Ставке, в начале мая. И так увлечённо взялись (боевых-то занятий и у ставочных нет): одни составляли воззвание к тому съезду, другие — программу будущего Союза, третьи уже рассылали извещения и приглашения во все части и штабы, телеграфом и почтой. (И петроградским тоже, пусть едут го-

стями сюда.) Задачу Союза видели: видоизменить армию, даже в ходе военных действий, — так, чтобы сохранить её мощь. Предотвратить разложение армии из-за недоверия с солдатами и ложных идей. В самих офицерах быстро развивать государственные интересы, политическую подготовку — тем более, что вот скоро, не прерывая войны, и армия будет выбирать в Учредительное Собрание.

«Видоизменить армию!» Да, конечно, всего только! Но то мудро, что на льду сварено, — знал Воротынцев поговорку ещё из Застружья. Так и фронтовые выборы в Учредительное Собрание, не прерывая войны.

А что, может быть, вот такой Союз офицеров, вполне легальный, и помог бы нам, уцелевшим твёрдым, собраться, объединиться — и...? Но ещё ж писали и программу будущего Союза, а в ней: ...в духе начал, выдвинутых революцией, верим и повинемся Временному правительству... — а что ж иное могли написать затравленные офицеры? Ну а дальше, конечно: ...в полной победе — единственный способ упорочения гражданских завоеваний.

С ураганом пламени — разговаривали на комнатном языке.

Находясь в Ставке, и нельзя было отклониться вступить в будущем в этот Союз, но как ни уговаривал милый «маленький капитан» подполковник Тихобразов дать подпись под воззванием к съезду — Воротынцев отказался. И не вошел в тут же созданный «временный комитет».

Как ослепли! всех закручивает в ту же заглатывающую нехватную воронку, сглотившую царя: как выиграть войну? Как «упрочить гражданские завоевания» через победу над Вильгельмом, когда он рад-радешенек нашей революции, вот дороги сохнут, он же никуда не наступает. Никто не хочет видеть?! (Или и другие про себя думают, как Воротынцев, да не скажут?)

Вот из первых даров революции: скрывать свои чувства. Хотя бы и все теперь понимали, что дальше вести войну нельзя — но все будут хороводиться, что теперь-то и пойдёт победоносная война.

Влип Воротынцев и в Ставке — как топор в тесто.

Что за рок? ничего не спасти, нигде не приложиться. И когда революция распускает человечьи молекулы свободным распрыгом — только и мечешься с ними, беспомощно.

Но вот что! — со второй половины марта можно было различить и обширное спасительное движение — солдатское! Солдаты сами как бы ужаснулись и отшатнулись от развала, Армия стала сама отступать от пропасти. Замелькали, заплотнились резолюции воинских частей, речи солдатских делегаций — и они показались удивительней первых насилий и бунтов, — а не созсем же помимо солдатских толп эти резолюции принимали.

Что было в них? Ну, естественно: строже проверяйте белобилетников! не давайте буржуазии укрываться в тылу, снимите с учета *капиталистов!* (Слова — не их, а чувства — их.) И — отправляйте на фронт тыловые гарнизоны, не доводите нас до истощения сил! И — уравнивайте гвардию и армию по привилегиям (и верно), и увеличьте оклад солдатам и денежные пособия семьям. (Они просили меньше, чем отдавали.) И взывающие, и угрожающие ноты против рабочих, под шумиху вырвавших себе во время войны 8-часовой день: поменьше речей на заводах, побольше снарядов!

Но вот кто-то из городских бросил в армию такую мысль: новому правительству, не то что старому предательскому, надо сверх жизни отдать с грудей золото и серебро, на ведение войны. И потянуло по фронтовым частям, как эпидемия: сдавать Георгиевские кресты, серебряные и золотые, и сдавать медали (а дальше — и золотые и серебряные монеты, и просто деньги). И солдаты — снимают с гимнастёрок свою гордость (принятую когда-то перекрестясь), за что так несоразмерно клали жизни, — и кидают в безликие сборные сумки. Целыми

ларцами, ящиками сдают части Георгиевские кресты, один Царскосельский гусарский полк — 500 крестов и медалей. И вот это было надрывно Воротынцеву, как будто он сам сдавал: так легко отдавали заветное! Уже в каждой газете было по нескольку таких сообщений, печатали и фотографии (невыносимые!), как солдаты стоят в очереди сдавать кресты (грустные стоят, однако). Сперва ещё принимали эти ящики сами министры с благодарственным словом, потом надоело, распоряжались отсылать их прямо в канцелярию министерства финансов. А в воинских частях решались и дальше: добровольно сокращали свой хлебный паёк и отказывались от сахарных денег — и всё на подсобу благожеланному Временному правительству.

Кому? Зачем? Так жалко было нашу русскую простоту! Эту наивность — и рядом с их же безобразиями. Вот она, народная душа.

Эти министры и эти газетные литераторы, никогда не полежав под снарядами разрывами, никогда не побегав по минным полям, — что понимали они в размахе этих солдатских жертв? Для них это было только агитационное украшение.

Но главный смысл во фронтовых резолюциях был: никаких распоряжений к армии помимо Временного правительства! мы принесли присягу — ему, и никаких других властей не признаём! Пересматривать присягу нельзя! (Это — против Совета, отменившего присягу.) Верим одному Временному правительству! И недопустимо никакое давление на него!

6-я армия прямо требовала: чтобы в части не приезжали никакие лица, кроме как от Временного правительства. 7-я армия: законодательную власть за Советами отрицаем безусловно, отдаём свою жизнь в распоряжение Временного правительства, только бы был низвергнут германский милитаризм. 1-й Петроградский уланский полк: даём клятву перед Богом всегда отстаивать интересы Временного правительства! 1-й Невский полк: Совет депутатов не должен печатать своих постановлений под названием «приказы», дабы не поселять смуты среди солдат; и должен называться: совет петроградского гарнизона. 10-я армия — прямо к Совету: просим вас не обращаться к армии с самостоятельными распоряжениями. 105-я дивизия: издаваемые петроградским Советом приказы и циркуляры не могут считаться обязательными для русского народа и Действующей Армии — без дисциплины нет армии, а есть толпа. Кубанское войско: мы не допустим противодействия Временному правительству от Совета! (А когда резолюции в пользу Совета — так от мелких частей, ничтожных групп.)

Фронтовая армия приходила в себя от революционного шока из Петрограда, от наплывающего соблазна, возвращалась к исконной трезвости крестьянского народа. Изумишься: какой же ещё здоровый разум сохраняется в армии, откуда ещё столько патриотических голосов?

Усумнишься: так ли, правда, мы уже исчерпаны и для продолжения войны?

Вот на этот массивный солдатский поворот, на это стихийное движение солдатской совести — и могло опереться Временное правительство в недели перед Пасхой.

Да знал Воротынцев: с любой тёмной толпой — всегда можно столкнуться, только объясняй чётко, смело — и не зевай подхватывать момент.

И правительственный «Вестник» больше других газет — печатал, печатал же подробно и крупно все эти резолюции, в назидание населению, в назидание кому-то на стороне, — а сами размяклые министры не способны были усвоить это назидание для себя, уловить эти неповторимые две-три недели, использовать тот же невывод петроградского гарнизона, чтобы восставить армию в гневе и достоинстве. Они думали — всё так и сделается одними печатными резолюциями? Они не понимали текучести этого момента, что такие движения против

развала держатся не дольше, чем погожие деньки в марте, — надо ловить их час, не то опрокинется в хмурную бурю. Нет! Они выслушивали эти все слова в Мариинском дворце и тут же подрубляли идущее подкрепление, публично отвечая и печатая, что Совет рабочих депутатов — ни в чём, ни в чём не ограничивает власти министров.

Как понять это жалкое правительство, что оно отдалось контролю какой-то безликой социалистической шайки? Почему дают руководить собою из тени? Какой же мнимой величиной становятся сами?

А после Пасхи — уже спал этот не поддержанный солдатский порыв, и разъедание пошло дальше.

Но — Гучков?! Но он же — в этом правительстве, неужели он не видит, не понимает, какой утекает момент! Сейчас ему бы опереться на любой из этих верных полков да разогнать банду Совета!

Красивый приказ издал на Пасху: старый порядок избегал привлекать на ответственные должности людей с большими дарованиями, кипучей энергией, сильным характером, твёрдыми убеждениями. Надо в корне изменить систему, предоставить молодым людям с неослабленной энергией... Я глубоко верю, что лучшие люди поведут Армию и Флот по верному пути...

Ещё так недавно и Воротынцев именно об этом мечтал.

А что случилось? С увлечением кинулся Гучков чистить генералов — сумятица! уже попадали под чистку не только плохие, но и средние, и хорошие, в каждую вторую дивизию приезжает новый начальник, не знающий обстановки.

А в дни такого сотрясения — важнее инерция сохранности.

И какой униженный слабый тон всех его приказов, — не приказов, а прошений перед солдатами. И бросая в центре командный пункт (как и царь злосчастно покинул Ставку в роковой день) — что он мечется по дальним фронтам? Что он там делал в Кишинёве, Одессе, — чему помог? И на каждой фразе: как старое правительство довело страну до гибели, — как их всех тянет на воспоминание своих страданий и заслуг. Этим он думает спасти положение? — задобрить врагов?

Сегодня ночью, возвращаясь с Юга, проехал Ставку, говорят, больной, не задерживаясь. (А поговорить бы с ним самим сейчас! Проехал...)

Нет, не было у Армии вождя.

Власти! Больше всего мы сейчас нуждаемся в твёрдой власти над собой. И даже ни во что не ставя это Временное правительство — ах, если б они были хоть тверды!

Никогда Воротынцев так напряжённо, непрерывно не бродил в неизвестном, как в минувшие недели, — и никогда же так быстро не созревало в голове.

Откуда? Если и не из Ставки — то откуда ж ещё? Выбирать дальше нечего, уже у стенки.

Здесь — Родос, здесь — прыгай!

Насколько просторнее было бы Воротынцеву сейчас одному, холостому в офицерской гостинице. Но не вышло: Алина теперь и слышать не хотела, чтоб он жил в Могилёве один. Тотчас же переехала, и часть вещей вослед, да хлопотно квартиру найти при нынешнем избытке беженцев в городе. И как было прежде — то Георгий конечно бы запретил, да Алина бы и не настаивала. Но после всего недавнего отказываться упорно — было невозможно, сразу подозрение, выглядело бы так, что у него тут встречи, — и взмутится новая семейная буря, новый развал, ещё хуже, только его не хватало. А так — постепенно вся эта взмученность должна же в ней улечься, не бесконечна ж она.

Да радоваться надо, что так благополучно всё закрылось. В Могилёве Алина ни разу не попрекнула, ни звука об Ольде, не назвала по имени. Ни — до этого в письмах, за полтора месяца ни разу. Как буд-

то и не обнаружилась его февральская поездка в Петроград, даже неправдоподобно. Слава Богу, только не разбудить, не растолкать, не процарапать. Тех пансионных октябрьских дней без содрогания вспомнить нельзя. Она так не готова была к удару, она могла совсем погибнуть. В этом тонком горлышке он как будто задушивал своё родное.

Конечно, жизнь — не прежняя. Недосчитано, обронено. Но если она силится восстановить мир, лад — надо помочь ей.

Да понимает же она — какое время...

11

— Так неужели же, Иосиф Владимирович, старое правительство было право, что мы, русские, не доросли до свободы? Способны видеть в ней не увеличение гражданского долга, а только свободу делать то, что раньше запрещалось? Неужели наша русская психология не признаёт другой свободы, кроме хамского желания?

— Лишь в том отношении я с вами согласен, Николай Андреевич, что старое грязное рубище, сброшенное Россией и теперь сожжённое, видимо не только оно питало гнилью и заразой поры народного организма, но надо догадаться, что и дурные соки самого организма пропитывали рубище. Да, народ наш отравлен, он отравлялся веками, его невежество и предрассудки слишком долго воспитывались царизмом и они стали органикой, — и теперь, конечно, есть угроза, что из-за невежества народных масс может погибнуть и цветок свободы, ещё такой нежный.

Сошлись сегодня с утра в библиотеке Гессен и Гредескул, два профессора, два главных редактора — «Речи» и «Русской воли», — и, конечно же, не смогли сразу разойтись со своими книжными стопками, а зацепились спорить у прилавка.

Средне-толстенький Гессен, с круглыми бровями над круглыми золотыми очками, развивал.

Что, с другой стороны, и весенняя радость революции, она сама могуче излечивает народную душу. Вдруг же и проявилась вечевая сторона русской души, не забытая и пятьюстами годами самодержавия, это доверие не к отдельным фигурам, а ко множеству, многого ловью, этот разворот народной самостоятельности. Как весенняя трава, всюду выпирает безудержно жизнь. Россия плавится в огне раскалённых идей и готова отлетиться в невиданные формы.

Он был убеждённо уравновешен:

— Наступило вторичное крещение Руси, в купели свободы, и она пропитается ею вся, как говорится — до тайников духа. Да а сама-то революция почему могла произойти? Разве она не свидетельствует о небывалом росте народа? Во время войны в народе быстро выросло государственное сознание, оно и разорвало скорлупу самодержавия.

У тшедушного маленького Гредескула, с нервной шеей в крахмальном воротничке, глаза за очками были беспокойные, цепкие, колкие:

— Но мы не должны слишком благодушно щуриться на народного сфинкса. Разрушить старое оказалось до изумительности легко, да, — но так ли легко будет построить новое? Откуда взялся этот партикуляризм центробежных стремлений? Он вполне понятен у угнетённых народностей — но почему и у классов? у городов? у деревень? у отдельных воинских частей? отдельных профессий? лиц? За групповыми интересами совершенно теряют чувство целого, это может раздавить нашу свободу.

— Да, разнежились от свободы, это есть, — соглашался Гессен, не слишком встревоженно. — Но у кого не закружится голова, когда на Западе только мечтают о 8-часовом дне, а у нас он введен с феерической лёгкостью. Да, конечно, надо внушать: нам всем хочется на

палубу, чтобы видеть прекрасные берега, — нет! на чёрную работу! в трюм! Это от нас же и зависит, Николай Андреевич: теперь, как никогда, «идти в народ», нести ему пропаганду, только не революционную, а просветительскую. А то через наше просветительство мы за последние 10 лет перепустили и проблемы половой любви, импрессионизм, футуризм, кубизм, — а насущный хлеб демократии позабыли, и вот революция застаёт нас врасплох. Да я вам скажу, это и замечательно, что перед нами вырастают вопросы и опасности, — а то ведь мы ниоткуда не встречали сопротивления, это уже начинало пугать

— А меня, Иосиф Владимирович, эти крайние претензии социалистов, всегда радовавшие, начинают и волновать. Они сеют в народе уж никак не просветительство. Они забывают, что переворот носил общенациональный характер, и отдельные группы не должны претендовать на власть. У Совета рабочих депутатов по отношению к Временному правительству — нет ответственности и нет, как хотите. Как можно утверждать, что власть Советов признана всей Россией? Что это ещё за комиссары от Совета при министрах? — тоже мне римские трибуны. Да рабочие составляют в России пять процентов населения. Да интеллигенция выступила на революционное поприще, когда никакого «пролетарского сознания» ещё и в помине не было. А армия — так вообще пришла самая последняя. Да кроме интеллигенции никто и никогда не был готов взять власть. А теперь тычут в интеллигенцию — «буржуазия».

— Вот тут я с вами соглашусь: старый режим никогда и не боялся революционеров, а всегда боялся гражданской конституционной демократии. Нас не ссылали на каторгу — но как же нас ненавидели! Движимые не страстью, а разумом, только мы и умели, и сумеем сегодня спокойно взвешивать обстоятельства и шагать уверенно.

Нет, Гредескула это не успокаивало, он помахивал головой на беспоконной шее, хотя воротник был ему скорее широк:

— Но всё-таки, если социалисты признали Временное правительство, могли бы и не признавать, то последовательно — дать ему и средства для осуществления демократической программы.

Гессен, похожий на доброго чудаковатого учителя, тепло улыбнулся, прогладил большие усы:

— Все мы ищем всюду врагов — и так ударяем по соратникам. Революционная мысль всегда полна подозрений, основательных и неосновательных. Но всё же Совет — соратник правительства.

— Ну а Ленин? Уже всё долой, открыто, вообще долой, и правительство и войну.

— Ах, Ленин ещё! Ну какая от него опасность? Ну что он может сделать с малой кучкой сумасшедших?

— Ого-го, не скажите! Когда всё подвижно, всё центробежно... Уж ленинскую пропаганду во всяком случае надо запретить как изменическую.

— О-о! о-о! как вы меня раните! — появились и морщинки на таком уже гладко-натянutom полном лице Гессена, и на широкой лысине даже. — И услышать это от вас! Вот это и есть крайности вашей «Русской воли». Вот уж тогда реакция возликует. Ну мне ли вам напоминать, что средства нашей борьбы должны быть в уровень с величием принципов права и свободы?

— Право и свобода, Иосиф Владимирович, — нервно, жёлчно выговаривал Гредескул, — не до такой степени, чтобы...

— Ах, ах, — вполне спокойно отвечал Гессен, — вы потекаете, простите, взгляду серой обывательщины. Неужели выход — в насилии? Тоска по городовому? — нет порядка, некого слушаться, никто не приказывает? Обывателю отовсюду чудятся мнимые опасности. Ему не приходит в голову, что если б он на минуту перестал быть рабом, а стал бы гражданином — то половина бедствий сразу бы исчезла. У правительства — сила моральная. Оно действует не потому, что

опирается на войска, милицию или суд, а на организованное общественное мнение. «Бездействие власти»? — сегодня это упрёк бессмысленный. Если прежде мы имели право во всём винить старое правительство, — то теперь за судьбу России отвечает — каждый из нас.

Гессен с улыбкой искал поддержки у немо присутствующих дам:

— А возможна ли была бы агитация ленинцев, если б она столкнулась с широким общественным протестом, с порывом народного негодования? А чем отвечает Ленину горожанин? Любопытные ходят и слушают, пожимая плечами, никакой попытки противодействия, — вот она, трусливая привычка рабства. В агитации Ленина повинен сам народ и само общество.

Нет, Гредескул не согласился, покручивая шейю, но сгрёб свои книги и повернулся идти в читальный зал.

А навстречу тут быстро подошла взволнованная Марья Михайловна, хранительница, дама средних лет, задыхаясь в подпирющем воротнике. Не замечая выдающихся гостей, или напротив даже спеша высказаться при них, прижимая к вискам кулаки, в одном носовой платок:

— Боже мой, что ж это делается? Что это делается?

— Что же? — озаботился Гессен.

Стала рассказывать, всем. Старший сын её, гимназист восьмого класса, входит в новосозданную управу средних учебных заведений, как бы петроградское общегимназическое правительство по всей общественной самостоятельности. И вот они вчера узнали, что, пренебрегая их руководством и невзирая на отказ управы, младшие, от 12 до 15 лет, ходят будоражат по всем гимназиям: сегодня, в среду, на занятия не идти, а массовой демонстрацией к особняку Кшесинской — против Ленина. И вот идёт борьба за гимназические массы: управа, снесяся со взрослыми и с Керенским, категорически запрещает идти — а младшие настаивают идти, назначили свой сбор — и, представляете, пошли! И среди них младший сын Марьи Михайловны! И — на что они там могут напороться? ведь от ленинцев всего можно ждать!?

— Да-а-а, — сочувственно к матери протянул Гессен, сильно прищурился за очками. — Будем надеяться, их встреча с Лениным не состоится. Хватит с Ленина своей тёмной аудитории, а не отравлять детей, кому опыт ещё не приготовил противоядия. Уже то плохо, что у учеников появилась сама мысль о такой демонстрации. Не детское это дело, драться с большевиками или с кем бы то ни было.

— Керенский и запретил! — волновалась мать. — А они...

— И очень разумное решение управы. Что может дать детям революционная улица? — одно растление.

Но Гредескулу понравилась эта детская прямота:

— А по-моему, это благородная мысль!

— Потому что вашего там нет! — тотчас возразила мать.

А Гессен, подбирая черпачком нижней губы:

— Да, чувства их можно понять. Эти дети революции охвачены пафосом революции, но их пафос импульсивный, они бегут на Ленина как на пожар. За эти недели они впитали столько ощущений свободы, столько политических эмоций — им не терпится сказать и своё слово. Но у них ничего не готово, кроме «долой», а стены особняка не падают от «долой». От учебника Иловайского нельзя сразу перейти к борьбе с Лениным. Бросить учебником ему в лицо? — книжкой его не сваляешь. Рано им напяливать гражданские тоги с папиных вешалок. Детям — будущее, а в будущее не перескочишь, как через верёвочку на уроке гимнастики.

Сегодня, слышала Вера, пошёл по Неве ладожский лёд. Он — всегда позже невского, с перерывом, и огромные бело-зелёные глыбы. У мостов и на загибах реки, говорят, заторы. Сходить посмотреть.

Осколок вечного величия — до нас, после нас.

Революция — это феерический красный вихрь. И кто хочет реять в нём и не сжечь крыльев (и не сломать ног) — должен природно обладать умением (его не воспитаешь искусственно) — виртуозно перелетать через пропасти или балансировать на тонких гибких возвышенных мостиках без перил. И всё решает — смелость, уверенность, искренность, широта души и мгновенный безошибочный порыв.

И все эти качества упоительно обнаружил в себе Керенский!

Его и раньше не крепко держала при себе земля, он и раньше вспархивал, — но огненный ревуший столп революции — взнёс его — и понёс, и понёс! — и только победы! и только вершины!

Завоевание революции — свобода. Но кто должен осуществить эту свободу — разрешениями, амнистиями, разрезом пут? — министр юстиции. И это — он. Кто призван тонко соединить бурную революционную демократию и пугливые цензовые круги — и дать создаться и функционировать Временному правительству? Заложник демократии в правительстве. И это он. Кто вынужден постоянно следить за этими цензовыми министрами, зорко поправлять их, а то и, в нетерпении, перебирать часть их власти к себе? Несравненный единственный любимец демократии. И это он. И кто, ежедневно, самыми яркими словами, обязан объяснять революционной России всё происходящее? Вдохновенный оратор. И это он. Кто должен сдерживать Ахеронт, вспышки ярости у Совета, вспышки ненависти у матросов? Первый цветок революции. И это он. А кто должен перетряхнуть Сенат, суды, судебные уставы и воздвигнуть грозную Чрезвычайную Комиссию над всеми злодеями старого режима? Ясно, что — он, генерал-прокурор.

И ясно, что ненавистный тиран, мрачный царь, громоздившийся на трупах над раздавленной им Россией, — когда он свалился с трона, скатился с высоты — в чьи руки он законно должен попасть? К генерал-прокурору.

А вот это — не сразу произошло. Арест царя был произведен властями военными, а министр юстиции в первые кругобезумные недели, хотя и сжигаясь потайною жаждой самому вникнуть во дворец, не находил момента полностью перенять пленного царя от Гучкова и Корнилова. (А надо было: этот нервный узел не следовало оставлять в их руках.) Три первых мартовских недели были такие разрывающие (и такие сложные политически), что даже не было этих нескольких часов — прокатиться на автомобиле в Царское Село.

Когда же внимание генерал-прокурора наконец сфокусировалось и к судьбе царя — как раз к этим дням стали поступать и самые тревожные сведения: через лакеев дворца охраняющие солдаты узнали, что комендант Коцебу засиживается у Вырубовой, при том разговаривая по-иностранному. Ещё за ним замечено, что он передаёт письма царской семье нераспечатанными. И ещё были слухи от царских слуг, что во дворце жгут бумаги. Всё это вместе могло быть прямой подготовкой — заговора? бегства? А Гучков мешковел всё бездейственной, всё беспомощной — вот и наступил момент вырвать у него из рук царя! — да Гучков и не сопротивлялся. И в одни сутки был нанесен этот удар: ротмистр Коцебу уволен, а Керенский с доверенным демократическим юристом Коровиченко 21 марта ринулся в Царское Село.

И стугил в себе — всю холодную официальность и всю грозность, на какую был способен. Шофёр из царского гаража повёз его на одном из бывших императорских автомобилях. А надел в этот раз, для усиления впечатления, поношенные яловые сапоги, которые ему на днях достали из рабочих кругов, и рабочую рубаху-косоворотку. На два других автомобиля он набрал себе свиту из «делегатов». Обход дворца начал с кухни, первую речь произнёс к прислуге, что они

теперь служат не царю, а народу, и должны пристально следить за узниками дворца. Затем осматривал кладовые, шкафы, подвалы. Держал речь к солдатам стражи. Затем допрашивал внутреннюю прислугу — о том, что из печей убирают много бумажной золы. Как он рассчитывал, за это время царской чете уже донесены доклады, и они в достаточном волнении. Странно, но и сам он ощутил растущее волнение, впрочем обычно разрешаемое его находчивостью. Вот когда наконец он чеканно вступит к Николаю Романову, не загороженному тысячами генералов и сановников, — и укажет ему волю Революции. И вот он вошёл — в небольшую комнату, и вокруг небольшого стола ему навстречу поднялась, как бы ёжась, или ожидая, что он бросит в них бомбу, вся царская семья. И Керенский — вдруг сбился со всего тона. Такой вдруг оказался нестрашный этот мрачный тиран, хотя и в военном мундире, но с мягкой растерянной улыбкой, и так растерянно и обречённо пошёл навстречу генерал-прокурору, чуть приподымая руку на возможное пожатие. Среди присутствующих уже не было тех делегатов, глаз Совета, при которых министр был так грозен час назад, — и Керенский уверенно протянул руку царю. А та оказалась — мягкая, не в жёстком пожатии, а на лице царя была уступчивая улыбка с извинением, а глаза, даже и в пасмурный день, синие. Вопрос, ответ, ещё фраза — присели, чуть побеседовали, Керенский зорко осматривал всех, — что ж, милые дети, только бесовка-императрица держалась нарастающе-холодной, да другого от неё и не ждать. А царь — ну вовсе не чудовище, удивительно простодушные глаза и приятная улыбка, и незаметно, чтобы глуп, как о нём все твердили хором, — и Керенский просто сдерживал себя, чтобы не размягчиться и не задержаться дольше. Поговорили минут десять. Между прочим Керенский спросил, правда ли, как пишут немецкие газеты, что Вильгельм несколько раз советовал русскому царю вести более либеральную политику. Царь не стал укрываться, и с прямоотой: «Как раз напротив. Но брался советовать. Но он никогда не понимал русского положения». Керенский так был очарован, что называл не «Николай Александрович», а «государь», а раза два и «ваше величество».

Силой заставил себя прервать визит, вызвал, представил царю своего Коровиченко, — а выйдя, послал немедленно арестовать Вырубову, не давая встретиться с царской семьёй, и увезти в Петроград.

Вся процедура и поездка блистательно удалась, и не возник бы кризис, если бы Александр Фёдорович, в тех же днях, ещё раз не проявил бы своё великодушное сердце. Он посетил, мимоездом, мнистерский павильон Таврического дворца, где ещё оставались узники, и обнаружил там свежearестованного старика генерала Иванова, — и старик совершенно его растрогал: честный служака, полвека отслужил России, никогда никак не выслуживался перед императором, принял все меры, чтобы не удалась его подавительная поездка против Петрограда, предан народу, сам из простого народа, тут не по возрасту страдает в лишениях — за что? в чём он виноват? Не долго задумываясь, Керенский властно распорядился: взять с генерала подписку о верности Временному правительству, о невыезде из Петрограда, и отпустить домой.

Но эта гуманная выходка дорого обошлась. На другой день, 25 марта, в «Известиях» Совета была напечатана гнуснейшая статья (легко узнавался Нахамкис, овладевший газетой) — «с крайним изумлением»: генерал Иванов ехал диктатором на Петроград, ему грозила участь быть расстрелянным без суда, — и такой опасный враг внезапно освобождён? При чём тут «личное наблюдение министра юстиции»? — такие дела нельзя решать по-домашнему.

А лазутчики передали: на Исполнительном Комитете поговаривают вызвать министра юстиции для объяснений.

И сразу же падала тень и на его безупречный визит в Царское: виделось так, что он и там покровительствовал врагам революции?

Растерялся бы всякий другой министр и всякий даже социалист — но только не трибун Керенский. Он — он сразу увидел (и в этом вдохновение!) правильные прыжки — через пропасти — прыг, прыг и баланс! И повторяя свой великолепный номер, так удавшийся 2 марта, как войти в правительство, так теперь он ринулся в Таврический — но не оправдываться перед ИК, о, не так он прост, — их игнорировать полностью, это постоянный его приём, — ринулся сразу в Белый думский зал, где заседал Большой Совет, солдатская секция, и встречен аплодисментами — и взлетел на знакомую трибуну. (Опять крайнее средство, но и положение крайнее, если чувствовать остро.)

Он давно — да и никогда — не готовил речей. Они сами складывались в последних движениях к трибуне, в том и была его революционная гениальность, и даже — фразы приходили уже в потоке речи, возникая неожиданно для самого оратора. Сперва — создать себе опору:

— Товарищи солдаты! Я был всё время занят своей работой. И у меня не было никаких недоразумений с вами. Но теперь появились слухи от злонамеренных людей, которые хотят внести раздор в демократические массы. Пять лет с этой кафедры я обличал старую власть. Я знаю врагов народных и знаю, как с ними справиться: мне долго пришлось находиться в застенках русского правосудия.

Можно так понять, что сам сидел в рavelинах. Но даже ещё крепче:

— Я давно уже требовал здесь, в закрытых заседаниях Думы, отмены отдания чести и облегчения участи солдат. Я безбоязненно здесь говорил о бесправии старого режима, я до изнеможения боролся за общечеловеческие права демократических масс...

Гениально: ты кидаешь «до изнеможения» — и в тот же момент действительно начинаешь испытывать изнеможение, и зрители это видят. И ты сам неудержимо волнуешься, и повышается твой голос, и сам совершается пируэт и перелёт с одной воздушной площадки на другую:

— И вот теперь, когда в моих руках вся власть генерал-прокурора и никто не может выйти из-под ареста без моего согласия — (бурные аплодисменты) — появляются люди, которые осмеливаются выражать мне недоверие. Будто я делаю послабления старому правительству — и (в атаку) членам царской фамилии? Я предупреждаю их, что не позволю не доверять себе, и не допущу, чтобы в моём лице оскорблялась вся русская демократия!!

Вот — так: в ся! И только что не разрывая на груди присидевшуююся однокземпллярную куртку:

— Я вас прошу: или исключить меня из своей среды — (из солдатской) — или безусловно мне доверять!

Сразу же — буря аплодисментов и полнейшее солдатское доверие. Но мало, теперь пробраться по этому хребту:

— Да, я освободил генерала Иванова, так как он болен и стар, и врачи утверждают: не прожил бы и трёх дней, где был помещён. Но он под моим надзором, на частной квартире. Ещё меня обвиняют, что некоторые из лиц царской фамилии на свободе... — (Именно так не обвиняли, и на свободе не некоторые, а просто все три десятка, кроме неуклюжей Марьи Павловны, но этот манёвр нужен как защитный заборчик и чтоб не вмешивались в его отношения с Царским Селом. И надо знать толпу: вот сейчас, как ни поверни, не осмелится никто опровергнуть.) — ...Так знайте, что на свободе остались только те, кто боролся против царизма. — (Под это подойдёт и Николай Михайлович, и все три великих князя-морганатика.) — Дмитрий Павлович оставлен на свободе, так как он убил Гришку Распутина.

И вот — династия как будто вся прокружилась перед нами — и мы на решающей точке:

— Недоверию не должно быть места. Я был в Царском Селе. Ко-

мендант дворца теперь мой хороший знакомый. Гарнизон обещал исполнять только мои приказания. И я не уйду со своего поста, пока не закреплю уверенность, что никакого другого строя — кроме демократической республики — в России не будет!

Овация! Встают.

— Я вошёл во Временное правительство как представитель в аш и х интересов. На днях появится документ, что Россия отказывается от всяких завоевательных стремлений. — (Документ проталкивается через упрямого Милюкова, но по правде же усилиями и Керенского, и надо, чтоб об этом знала масса.) А голос накаляется на новую вершину, революционный инстинкт: — Товарищи, я работаю из последних сил, но пока мне доверяют. И когда появились желающие внести раздор в нашу среду, — если хотите, я буду работать с вами. А если не хотите — я уйду. Я хочу знать: верите вы мне или нет, иначе я работать с вами не могу.

Не то что овация, но зал — задрожал, так хлопали, и голоса «просим! просим! работайте с нами! мы верим вам! вся армия вам верит!».

Как с несомненностью Керенский и ждал, и теперь в последнем расклоне с кафедрой:

— Я, товарищи, приходил сюда не оправдываться. Я только приходил заявить, что не дамся быть на подозрении хотя бы всей русской демократии.

И снова — буря доверия, и оратору дурно (на высших вершинах вдохновения что-то отказывает в голове). Александра Фёдоровича подхватывают, опускают на стул, он пьёт воду. Ослабший голос возвращается:

— До последних сил я буду работать для вашего блага, товарищи! А если будут сомнения — то приходите ко мне, днём или ночью, и мы с вами всегда сговоримся.

И под гром приветствий Керенского прямо на стуле подхватывают на руки и выносят из зала.

Нахамкис повержен. И повержен Исполнительный Комитет. Но ещё для полного их повержения: теперь миновать их комнаты, даже не зайти поздороваться, они не нужны, отрясти их прах, в Таврическом больше делать нечего! (И эти *желающие внести раздор* исполкомовцы настолько раздавлены, что через Соколова завязывают контакт для частной встречи: «Александр Фёдорович, нельзя же так, вы не должны так наплевательски пренебрегать Исполнительным Комитетом». — «Но, товарищи, практически и технически я не могу согласовывать с вами каждый свой шаг, а ваше давление делает моё положение в правительстве невозможным, министры могут просто отказаться и уйти». Однако не рвать: внутри правительства именно связь с Советом и укрепляет Керенского.)

Но и это — никак не всё, это — лишь часть пируэта. В этот день не успеть, но уже на следующий — ринуться в Царское! Генерал-прокурор ранен обидой: как? он недостаточно твёрд? (Тем острее, что в глубине и правда почувствовал: нет, недостаточно!) Так сейчас же ужесточить режим! Муравьёв обнадёжил Керенского, что скоро-скоро в Чрезвычайной Комиссии вот-вот обнаружатся страшные уличающие обвинительные материалы против царя — и важно, чтобы царь с царицей не успели сговориться, и чтоб она не влияла на мужа. Идея! И ещё утром, до Царского, повидал Бьюкенена, просил: не производить давления на своё правительство ускорить отъезд царя в Англию: он никак не может выехать в течение месяца, пока не будет окончен разбор документов. (А про себя, в глубине: да так и спокойней, через месяц куда мирней будет обстановка для отъезда, если царь окажется невиновен. А если?.. А если?.. О-о!!)

Но хотя генерал-прокурор и мчался с карою — он не нарушал дворцового этикета, не врвался к царю, прежде чем лакей доложит церемониймейстеру, а государь «изъявит милость» принять посетите-

ля. В этом красивая идея: не сажать царя в Петропавловскую крепость и не унижать его стесненными в лачугу, в убогую жизнь бедняка. Но превратить царскую семью как бы в музейные фигуры, помещённые под стекло: оставить им их позолоченную тюрьму, и всю прислугу (но никакая прачка не сможет уволиться впредь без визы министра юстиции), и сохранить весь дворцовый распорядок, и скороходов со страусовыми перьями, — но чтобы семья была постоянно просмотрена извне, а звуки их вопне б не доносились.

И объявил им: отныне царь и царица — разделяются! Могут встречаться только за общим столом, всегда при офицерах из охраны и при том разговаривать только по-русски, и только на общие темы. (Сперва намеревался отделить от царицы и детей, но гофмейстера Нарышкина, тайно от четы пришедшая к нему проситься отпустить её из дворца, она раскаивается, что в первую минуту в горячах осталась, всё ж возразила, что для государыни оторваться от детей будет слишком тяжело.) А ещё при смене караулов обе царские особы должны показываться уходящему и принимающему, но можно тактично это изобразить как представление караульных начальников.

И поразился, как государь спокойно принял всё. Непостижимое самообладание! А Керенский, чувствуя стеснение, объяснял ему, что это всё делается не в серьёзных целях, а лишь умиротворить Совет рабочих депутатов, давление левых элементов просто невыносимо. И опять ссылался на «ваше величество». Но и припугнул: есть уликающие документы на сановников. Государь спокойно ответил: «А может быть, эти документы подложны?» Поговорил Керенский и отдельно с царицей, в виде полудопроса: как она влияла на мужа и вмешивалась в управление Россией? Но ощущение, что отвечала вполне правдиво, — и ничего обвинительного из ответов не вылавливалось. А дети — очень милые. Испытывал Керенский противоречивое конфузное чувство: и нужен бы грозный революционный суд — и жалко их.

Но и это не всё: гений революции должен чувствовать натяжения во все стороны. Из Царского — сразу в кипящий Кронштадт. (Там какие-то убийства?.. затянувшийся мятеж?) Там — выступить на совете матросских депутатов: «На Кронштадте лежит ответственность за свободу!» Все-то грозы — милый студент Рошаль? психоневролог, но уже в морских брюках, — обменялся с ним поцелуем. И молниеносно назад в Петроград. Прессе: «Я только что из Кронштадта. Все попытки поссорить нас с ними разобьются о сознание выросшего народа. Балтийский флот возродился и не выдаст Россию!» И правительству доложить: в Кронштадте — полное успокоение, полное единство матросов с офицерами, это ложные слухи об издевательствах (и совсем не так много убили). — И ещё же во все газеты: «Министр юстиции поручил Чрезвычайной Следственной Комиссии обратить особенное внимание на дело царя». И ещё же во все газеты: опровергнуть, будто сам допрашивал Вырубову, какая чушь, тоже пущено злостно. (То же могут трактовать как форму сговора.) И теперь кометой — на вокзал, наконец приехала любимая Бабушка — вот только когда! На вокзале поднести ей букет красных роз: «Вы — царица русской свободы!» Вести её в царские комнаты вокзала — и речь. И везти её в Таврический, и перед отеснённым ИК — ещё речь: «Три года назад, когда я был на Лене — и Бабушка была там, под охраной жандармов. И вот я горд, что сегодня встречаю бесценную Бабушку!» И вместе с Чхеидзе выносить её из зала на кресле. И днём у себя в министерстве — дать завтрак Бабушке и Вере Фигнер. (Символ!) И сюда же является кроткий князь Львов, приветствовать Бабушку. И снова метнуться в Таврический на Сопешание Советов, войти сквозь оратора во взрыве аплодисментов (это эффектней всего, когда прерываются и аплодируют), и снова с речью: «Низкий поклон всей демократии — от правительства. Я не мог войти в очередь ораторов, при всей потребности

находиться в вашей среде. Мы — все здесь вместе старые товарищи по борьбе со старым режимом». И только так закончен трёхдневный пируэт. И генерал-прокурор — не уязвим ни с какой стороны.

И в тот же вечер, о, как безумно уплотнено время,— от князя Львова, уезжающего в Ставку, перенять перо: «за председателя совета министров». («За» — именно он, заложник демократии! никто другой, он — на верном пути к председательству, он звезда восходящая.) И уже на следующее утро от имени правительства принимать, принимать фронтные делегации. (Это — очень подходит Керенскому.) И лобызается с делегацией Георгиевского батальона, уже знакомого ему по Ставке.

А вечером, у себя в министерстве, ещё раз принять депутатов Совещания Советов, чтобы прочней им себя запечатлить. (И так — не удалось ИК провести это Совещание стороной от Керенского. На Совещании вот как сказали о нём: «Мы не должны нашими нападениями сжигать то сердце, которое горит за народное дело. Его оскорблять — преступление, товарищи!»)

И продолжал бы дальше вращаться феерической звездой, выдерживал. Но тут подкатила — Пасха, несколько дней естественного перерыва даже и революции. А Керенский и правда нуждался в отдыхе — от правительства, от Совета, от речей, от семьи,— и хотел на несколько дней закатиться анонимно в подмосковную санаторию (были проспекты на интересную встречу). Но едва сказал кому-то неосторожно — и на следующий день уже в газетах. Испортили. Да под Москву и ехать далеко. Тогда — в Финляндию. А если так — о, революционное сердце, тогда почему не заглянуть в Гельсингфорс и выступить там на сейме? (Финляндия не совсем хорошо себя повела относительно русской демократии.) Поднесли букет,— поцеловать: «Это самое ценное, что я получил в Финляндии».

Воротясь с пасхального отдыха (тут узнал, что приехали Плеханов и Ленин, а Чернов и Савинков ждуются на днях) — сразу опять втянулся в затягивающий вихрь, совершенно некогда перевести вздох, а взмывает и взмывает тебя всё выше! И в чём же ключ такого невероятного успеха? А конечно в том, что Керенский уникально совмещает в себе: гениальное революционное чутьё — отчётливое социалистическое сознание — и глубокое же патриотическое чувство. А поэтому очаровывает — всех со всех сторон, круговращательно. (Удивительная у него судьба!)

Ещё в начале он эпизоды не смешивал: например, на обратном пути из Финляндии, на станции Белоостров, был обидно задержан пограничными властями: при нём не оказалось никаких документов, ха-ха! (И этот эпизод, как каждый его шаг, тоже попал в газеты, вот и скройся для интересных встреч! Ленина не задержали, а Керенского задержали, ха-ха!) Чины пограничной стражи сносились телефонно с Петроградом, потом усиленно извинялись перед министром за причинённое беспокойство, а он, напротив, хвалил их за бдительность. (Но из-за этого опоздал на конференцию эсеров — а ему важно было показаться среди эсеров, как он называл себя с марта.) А затем многое пугалось. Зачем-то был в петроградской городской управе — и там произносил речь. И на учительском съезде — тоже речь. И как-то попал на съезд железнодорожников. А с ними — что вспомнить? Как в февральские дни ловили на дорогах бывшего царя. Но и (глядя вперёд! против истерии советских): «Нас пугают — но контрреволюции нечего бояться, и нет надобности принимать какие-то особенные меры против представителей старой власти и старого режима. Мы боролись с режимом, а не с отдельными личностями, уже достаточно пострадавшими, униженными и брошенными в грязь презрения». И он правда так чувствовал, особенно вспоминая царя с его детьми. И, задрожав голосом: «Как министр юстиции я хочу, чтобы русская революция показала, что торжество демократических идеалов не связано

с насилем!» (И тогда к нему кинулись родители Вырубовой освободить её по болезни — но он отклонил. И прислала челобитную из Кисловодска великая княгиня Мария Павловна — вот ещё с этой связались.) И успевал написать письмо в эсеровскую газету: чтобы помнили завет Николая Тургенева и воздвигали бы статую декабристам где-нибудь, а на стене Петропавловской крепости. И что потерял с эсерами — навёрстывать на съезде трудовиков, в зале Армии и Флота, — и, кажется, съезд довольно был скучный — но! как гром в удушливую атмосферу! — в зал вбежал Керенский! — почётный председатель съезда. И — тотчас выступил! — «Я приехал от своего имени поблагодарить вас за то отношение ко мне, какое окружало меня». И объяснил, почему он 5 лет назад согласился избираться от трудовиков, хотя чувствует себя ближе к эсерам: потому что все течения социалистов должны теперь объединиться в один блок партий. «Товарищи трудовики! — И вибрировал голос. — Эти 5 лет останутся неизгладимым следом в моей жизни! Наш с вами совместный опыт знаменателен для всего дела русской и мировой демократии». И даже (это он тонко подвёл, пожалуй для Ленина) «мы и социал-демократы были все годы последовательно верней незахватнической политике, чем некоторые социалисты Европы. Сейчас куются судьбы страны и, может быть на столетия... Величайшая идея социализма — это абсолютное преклонение перед человеком и его личностью. Мы создадим государство на принципах: труд и человек. Нам предстоит величайшая задача оправдать социализм как государственное устройство...» — А пока фактический там председатель что-то договаривает — а Керенский уже уходит быстро, боковой колоннадой к выходу — и все вскакивают, и раздражается новый гром аплодисментов, прерывая председателя, — и из зала, и из соседних комнат бросаются на помпезную мраморную лестницу живые группы восторгом объятых людей и машут с боковых галерей, а юноши и девицы без шапок и пальто выскакивают на улицу, провожать своего Керенского. (Для молодёжи — он особенно кому.) И сразу же гнать в какое-то другое место, где тоже нужно выступить, кажется в поддержку Займа Свободы: «Хозяин положения в стране — демократия, то есть весь народ, и я глубоко убеждён, что он отзывчиво отнесётся к займу. Я верю в разум народа! В народных массах — неисчерпаемый клад мудрости! Русский народ займёт подобающее место среди демократий мира!» — И ещё сразу куда-то в другое место: «Временное правительство ни о чём другом не думает, как только об укреплении демократического строя. Да я ещё в июле Четырнадцатого года заявил в Государственной Думе о вере своей, что русская демократия завоюет себе свободу! И я верю, что весь мир будет уважать наши принципы. Сбросим с наших душ остатки старого рабства и боязнь какой-то мифической контрреволюции». — И ещё куда-то: «Не только все свои мысли и чувства, но всю свою жизнь мы положили к ногам рабочих и крестьянских масс России». — Ба, проясняется в глазах: да это он в Мариинском дворце приветствует какую-то очередную воинскую делегацию: «Вам, одетым в солдатскую и матросскую форму, принадлежит наша жизнь. Передайте всем что я — не вошёл бы во Временное правительство, если бы земельный вопрос не стоял на первой очереди. Но я — вошёл, и не раскаиваюсь в этом, потому что встретился тут с честными людьми, и мы исполним свой долг, доведём страну до Учредительного Собрания, подготовим её к восприятию самого свободного строя в мире. Пока мы на местах и пока я в министерстве — ничто не грозит свободе русского народа!» — А то — целует депутатов гвардейской Особой армии (они «беспредельно верят ему»): «Теперь русская армия получила свободу, каких не имеет ни одна армия в мире». А вот — от гвардейского гусарского полка ему приносят 500 золотых и серебряных Георгиевских крестов и медалей. А вот — с персидской границы кубанский есаул передаёт привет от казачьих частей.

Но — и сколько ж ещё дел по министерству юстиции! — за сорок дней он подписал сорок законодательных актов и приказов, и всё исключительно гуманных. Сверх всех амнистий — ещё об отмене наказуемости лиц Земгора за признаки подлога, мздоимства, лихоимства и злоупотреблений по поставкам; и о приостановлении мер взыскания по векселям; и исков о платеже денежных сумм; и об отмене чрезвычайной и усиленной охраны, — однако же и об учреждении революционных курсов тюремного надзора. (Да каждый день успевал он снять по нескольку судебных деятелей, не дожидаясь громоздких решений Сената.) А депутация солдат — и сюда к нему, оказывается, насчёт земли: чтобы помещики пока не могли её продавать, и особенно иностранцам. — «Хорошо, я передам этот вопрос министру земледелия, вы получите справку». — «А что это, вы — эсер, а принимаете в зале, где со стен цари глядят?» Оглянулся Керенский — побагровел, сконфузился: из этого зала его нерадивые служители не сняли Александра II. — «Да-да, вынесем завтра же! Сегодня же!» Как за всем углядеть, как успеть? Надо мчаться на ночное заседание Временного правительства. (Гонишь ночью по Петрограду скорей — обстреляли милиционеры на ходу.) Нет Львова? — подписать указ о топливе, или о чём ещё. Прекратить оплату содержания правым членам Государственного Совета (левым — нельзя не платить). А начальник контрразведки просит защитить её от Совета: хотя распустить её, как будто борьба с немцами не актуальна? — Восстановить! — А тут узнаёт, что во многие учреждения являются какие-то лица и добиваются своих нужд, ссылаясь на мнения или словесные распоряжения Керенского. Мерзавцы! Дать опровержение в газеты: пусть предъявляют письменные документы. А тут подворачивают просьбу адмирала Максимова: какого-то финна-капитана в Кронштадте освободить. Пожалуйста, подписал. Проходит два дня — и в Кронштадте новый взрыв: того капитана освобождённого вновь схватили, а посланного прокурора Переверзева едва не повесили. А, чёрт с этим Кронштадтом, Рошалем! С Кронштадтом никак не управиться, потому что его боится и сам петроградский Совет.

Так тем более — рвануться теперь в Балтийский флот! В Ревель. Вместе с Брешко-Брешковской, очень эффектно! (Бабушка особенно нужна, чтоб утверждаться в старом эсеровском членстве. Два дня — можно сказать круговых оваций и манифестаций, даже ещё только на подъезде. А Ревель — весь в красных флагах, многочисленная встреча на вокзале, делегации с букетами, почётный караул. (Керенский обошёл его, здороваясь за руку с каждым матросом, солдатом, офицером.) Бабушка, скромно одетая, в синей шали, запросто целовалась с представителями. В автомобиле их засыпали цветами, и Керенский не мог не подняться с речью, указывая на заслуги Бабушки, а затем и Бабушка поднялась в автомобиле. Сперва поехали на русский рынок, там Керенский предложил всем почтить память борцов и заверил толпу, что завоевания русской революции никогда не будут от неё отторгнуты. «Нашу партию эсеров, партию рыцарства, правды и чести, всегда отличали прямота и откровенность». Потом — в Екатерининский дворец, где Исполнительный Комитет Совета, там речь. — В клуб моряков, там речь. (Во время всякой публичной речи не перестаёшь ощущать, какую ты радость доставляешь слушателям. А «Известия» Нахамкиса упорно замалчивают все речи Керенского.) — В Морское собрание, завтрак, и оба с речами. — В городскую думу: «Вы скоро убедитесь, что русский народ и Временное правительство спаяют весь мир...» — Вечером — собрание в театре «Эстония». А на другой день — во флот, по кораблям. И всем — жать руку. Да флот в полной боевой готовности. «Без офицеров в вашем сложном деле не обойтись, берегите их. Но если заметите, что ваши офицеры не сочувствуют революции и гнут на старое, — ну, тогда мы с ними расправимся без всякой пощады!»

Вернулся в Петроград в совершенном изнеможении. «Я настолько подавлен общим энтузиазмом лично ко мне со стороны Армии, Флота и гражданского населения Ревеля...» А руку правую так намяли, наломали матросы, что теперь пришлось её перебинтовать — и в перевязь. (Но ещё эффектней: как раненый, с фронта.)

Но если б — это всё, если б — только это. А — западные социалисты?

Сразу после Пасхи стали приезжать французские и английские социалисты — и Керенский, как ни был уже настроен, а ещё более перевстрепенулся. Это была несравненная возможность выполнить единым вдохновением четыре цели: овладеть симпатиями социалистической Европы — через приезжих передать Европе своё понимание войны — оттеснить приезжих от Исполнительного Комитета, перехватить курирование их — и ими же оттеснить (а потом и отрезать) Милюкова от внешней политики, освобождая её себе. (Удивительно, почему-то хотелось вести и внешнюю политику самому!)

Приехали западные социалисты — и Керенский стал естественная дипломатическая фигура, и посол Палеолог позвал его на завтрак. И с откровенностью застолья Керенский горячо открыл им то, чего нельзя прямыми словами высказать в публичной речи: да, мы, русские социалисты, да, я согласен на продолжение войны! но — чтобы же и союзники пересмотрели свою программу мира и приноровили бы её к концепции русской демократии, а без этого нам неудобно, вы же знаете манифест Совета... (Он страдал от этого манифеста, оскорбляющего наших союзников преданием западной демократии, но нигде не смел того выразить открыто.) Одним словом, союзные правительства должны бы отказаться от аннексий и контрибуций, ну что-нибудь в этом роде.

А на другой день, отгораживаясь от Милюкова, держал к ним официальную речь в Мариинском дворце:

— Я — *один* в кабинете и моё мнение не всегда совпадает с мнением большинства. — *Заложник*, а голосом имущего власть: — До сих пор вы не слышали голоса русской демократии. Но, *товарищи*, вы должны знать, что русская демократия в настоящее время — хозяин русской земли. Мы решили раз и навсегда прекратить все попытки к империализму и захвату. И наш энтузиазм не из идеи отечества, но в мечте о братстве народов всего мира. И мы до конца будем стоять на декларации правительства от 27 марта (по сути — Керенский на ней настоял) и (ничего не поделаешь) на манифесте Совета. И ни при каких условиях мы не допустим вернуться к захватным целям войны. И мы ждём от вас, чтобы вы оказали такое же решающее влияние и на свои буржуазные классы. Ведь это у вас, французы, мы всегда учились революционному энтузиазму и у вас, англичане, великой стойкости.

А на следующий день, разумеется, давал им ответный завтрак в министерстве юстиции. Но они не так-то поддавались. Даже хмурый резкий Кашен, уж, кажется, достаточно левый, и тот оправдывал буржуазное французское правительство и не на него намеревался влиять, а на Совет депутатов, что без победы не может быть свободного развития народов, и пришло время окончательно решить все национальные судьбы.

Правда, ещё через день приехал ещё один французский социалист — Тома, уже министр, и этот оказался отзывчивей к упоительной революционной атмосфере Петрограда: да, это — Революция, во всём её величии и красоте! — высказывал неопишущую душевную радость и пламенную надежду, и был покорён и очарован личностью Керенского — и Керенский всё ясней ощущал себя хозяином также и внешней политики. Мешало только незнание иностранных языков. Но к русской аудитории Керенский уже обратился не раз, пренебрегая мнением министра иностранных дел. Однажды, опережая его, заявил,

что Константинополь должен быть интернационализирован. А на Совещании Советов: что если Россия первая изменит цели войны, то и всем державам придётся переменить, это ясно как день. Да не только линия Милюкова, но ещё более сам Милюков был Керенскому отвратителен: своей доктринёрской учёностью, доктринальной самоуверенностью, многослойной неискренностью и игрою в вождя всей культурной России. Керенский чувствовал в нём надменного критика, врага и антипода. И почти на каждом заседании они пикировались, а на закрытых, без секретарей, и прямо срезались, один раз и до полного скандала: осмелился Милюков сказать, да даже только едва буркнуть, что германские деньги были в числе факторов, содействовавших февральскому перевороту, и это — *ни для кого не тайна*. Мало сказать, что Керенского охватила дрожь негодования — но он весь отдался этой дрожи, он даже упоительно накачал в себе этот гнев, потому что молниеносно заметил (это всё — интуитивно, мгновенно, не рациональными раскладами), что лучшего момента и эффекта для удара не будет. И не возразил, не воскликнул, но — закричал: «Ка-ак?? Что-о вы сказали? Повторите!!» Однако Милюков не струсил и быковато повторил свою мерзость. И тогда Керенский, сам дрожа, как он ослепительно сатанеет, — не воскликнул, но вскричал, но воплено взвинтился: «После того! — как господин Милюков! — осмелился! — в моём присутствии! — оклеветать святое дело великой русской революции! — я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться!» И — с громом защёлкнул портфель, и вдохновенно шлёпнул им по столу (может быть, это был и перебор) — и вылетел стрелой из зала заседаний. Это был эффект! И знал, что за ним побегут, и уже бежали Терещенко, Некрасов, — а он не дал себя удержать! а он — в автомобиль и к себе в министерство. (И лёг спать. А на другой день князь Львов виновато приезжал уговаривать.) И это был — выигрышный удар, он очень осадил Милюкова, а свою позицию укрепил.

Керенский слишком был занят, чтоб отдаться одной внешней политике, но и не мог в своих кружениях не заметить зорко, что слишком затянулась пауза после декларации 27 марта — Милюков коварно хочет ограничиться воззванием к русскому народу, а не слать официальной ноты союзникам, чтобы не связать себя на будущее. Эту игру — надо было ему испортить, надо было именно связать его. И уже на Контактной комиссии (которую Керенский ненавидел, ибо её существованием ИК выражал недоверие своему «заложнику») Чернов стал просить послать ноту. И тут Керенский — гениальная идея! — сегодня ночью она пришла ему в голову и сегодня же он её осуществил: просто сообщил прессе, что в правительстве готовится нота союзникам и на днях она будет объявлена. Превосходно! Завтра, 13-го, будет в газетах, и пусть Милюков выворачивается.

Избыток сил (несмотря на обмороки иногда)! От избытка сил Керенский уже вращал внешнюю политику, от избытка сил накладывал свою волю и на армию. Опережая Гучкова, он ещё в марте оглашал через прессу, что надо омолодить состав генералитета, и тогда будем энтузиастически наступать. И тогда же предлагал разделить военное и морское министерства (оторвать от Гучкова хоть одно). А за минувшие недели Гучков всё более скисал в мокрую курицу, ни на что не способную рыхлятину, а Керенский всё более успевал, и возносился — и начинал угадывать над собою рок Жанны д'Арк — быть спасителем отечества! Неминуемо так перемещались высшие звёзды, что Армию — придётся Керенскому взять в свои руки.

Вот и сегодня: в Мариинский дворец прибыла делегация 7-й армии. А Гучков, как всегда, то ли в поездке, то ли в болезни. А князь Львов и не рвётся выходить. И — кто же к ним выйдет от правительства? Чеканно и быстро вышел в ротонду (ощущая в себе военного человека, да! и рука на чёрной перевязи) — Керенский. А делегация стояла выстроенная, капитаны вперемежку с рядовыми министр обошёл

их приветливо, пожимая левой рукой. От делегатов выступил приятный интеллигентный поручик Стегун: «Гражданин министр! Вы являетесь для нас живым воплощением единства и сплочённости, недаром вы — звено спайки Временного правительства и Совета депутатов. Но прорастёт ли это единство через всю толщу творимой нами ныне жизни?»

Нельзя было спросить метче! И как-то вся обстановка сложилась так удачно, подъёмно — Керенский почувствовал прилив к речи крылатой (корреспонденты спешно записывали):

— Да, главная задача Временного правительства — содействовать единству нации в решающий момент её жизни. И выполнению этой задачи — ничто не грозит. Мы — десять товарищей ваших, и обыкновенные граждане. Мы взяли на себя бремя тяжёлое, ответственность огромную в момент величайшей разрухи — и мы не должны позволить прорвать фронт и отнять нашу свободу. При выполнении этих задач мы нуждаемся в критике и контроле Совета солдатских и рабочих депутатов, народа, русской демократии. Так не смущайтесь вздорными сплетнями, распускаемыми врагами свободы, — мы и хотим этого контроля. Все решения мы принимаем в контакте с Советом и бываем рады, когда он даёт нам то или иное указание. Между нами если бывают расхождения, то только: что выполнить сегодня, а что отложить на завтра. Мы ещё не вступили в эпоху диктатуры пролетариата, у нас эпоха национальной революции — и со стороны Совета нет и не может быть желания вызвать гражданскую войну. Я верю в разум народа — идти к спасению, а не к гибели, ибо никто не может желать своей гибели. Я верю, что в народных массах — неисчерпаемый кладёзь государственной мудрости и творческой силы. Мы верим, что восторжествуют созидательные задачи, а не партийные лозунги. Народ поймёт невозможность для новой власти создать сразу всё из ничего.

О, несравненный баланс на гибких мостиках! Каждый день борясь с Советом — надо каждый день и умело хвалить его, иначе проглотят. Керенский видел сквозь эту малую делегацию — сразу весь русский народ, с честными глазами слушающий его, — и сразу всему народу говорил.

Что может интересовать народ? 8-часовой день? Это — норма для всех трудящихся, так. Но для обороны требуется напряжение всех сил. Если мы сейчас не даём армии всего нужного, то потому что не можем. А старая власть не давала — потому что не хотела. Старая власть оставила всё в расстроенном виде. (Всегда выигрышно ругать старую власть, и это объединяет нас всех.) Земля?

— Я по убеждениям своим сторонник лозунга «земля и воля». Народ должен получить их в полном объёме. Но до Учредительного Собрания никто не смеет... Ни один аршин земли не будет передан кому-либо до тех пор, пока не скажет своё слово весь народ и особенно армия, которая проливала...

И — вот она, эмоциональная вершина:

— Мало кто представляет себе грандиозность событий, которые мы переживаем. Мы много столетий привыкли ждать, ничего не получая, а теперь хотим получить всё, не ожидая ни одного дня. Но превратить азиатскую монархию в самую, может быть, совершенную республику на свете — эта задача не может быть решена в несколько дней.

И вот что:

— Стремясь к цели, мы должны остерегаться в нашем разбеге перескочить через цель! тогда она окажется не у нас, а позади нас. Окончательный результат зависит от нашей выдержки и хладнокровия.

Нет, вот вершина, теперь только увидел он сам:

— Никакая контрреволюция невозможна, ибо нет безумца, который решился бы восстать против воли всей армии, всего крестьянства, всей рабочей демократии, против желания России. А если бы кто и попытался восстать, то где он найдёт сторонников? — ружья не будут стрелять, поезда не будут ходить, и безумная попытка не выйдет из кабинета на улицу, а если выйдет, то в тот же момент от безумцев ничего не останется.

О войне? Как придать сил воинам? О! —

— Вернитесь на фронт и исполните свой долг, почти невыносимый! Мы требуем! — а кто не услышит этого требования, заставим признать, — что мы имеем право на своё место в мире, которого никому не отдадим! Пусть не думают, что свободная Россия значит распад, что демократия значит — анархия. Кто так думает — тот ошибается и уже ошибся! Да ни один солдат, ни один матрос ни в одном государстве не имеет тех прав, которые имеет вы!.. Но права налагают обязанности...

Устал. Этак и не остановиться. Ещё — про очаг демократической свободы, и обошёл счастливых делегатов с левой рукой — и дальше, дальше. Сегодня, 12 апреля, рядовой будний день — и какой же типичный для генерал-прокурора, забит заботами, как бочка селёдкой. С утра в газетах тревожное сообщение: что делегаты 12 армии считают содержание царя в Царском Селе недостаточно строгим — и требуют перевода его в Петропавловскую крепость. (И опять заподозрил маневр Нахамкиса! угрожающе! — надо мчаться туда и принимать меры. Сегодня же!) А тут — добывается министра кто? — депутация ученической городской управы. Что, мои милые молодые люди? Оказывается, среди гимназистов возникла агитация: сегодня всем идти к особняку Кшесинской и демонстрировать против Ленина. Ученическое самоуправление постановило остановить: это не дело гимназистов. Но младшие — не слушаются, и управе нужна поддержка популярного революционного вождя.

— Ах, — только мог улыбнуться Керенский, — ах, ах, этот Ленин. — И строго: — Да, я запрещаю эту манифестацию! В свободной стране должна быть свобода слова, и большевики имеют на неё право, они боролись против царизма, как и все мы. Передайте гимназистам: я запрещаю им идти! Свобода должна прийти в школу, но ученики не должны выходить на свободу. Мы — справимся сами, поверьте! (А то Ленин ещё напустит на них свою вооружённую стражу — это что будет? Уберечь детей, не пропустить их на Троицкую площадь.)

И, ах, этот Ленин! С каким ненужным грохотом он прокатил через Германию — а зачем? только подорвал свой авторитет в массах. Но для амнистированного эмигранта никакой путь возвращения формально не запрещён — и Керенский в правительстве первый отвёл потуги Милюкова «не пустить» Ленина в Россию. Да, вот он получил много протестов от петроградцев — принять меры против ленинской агитации, но горд, что не принял никаких: надо же самим быть достойным объявленной свободы! Да вот что: посетить бы самому Ленину там, в логове, разъяснить ему, — ведь он оторвался от России и живёт в совершенно изолированной атмосфере, видит всё сквозь очки своего фанатизма, около него нет никого, кто помог бы ему ориентироваться. Да как два выдающихся социалиста — разве они не нашли бы общего языка? (Тем более, что в своей циммервальдской глубине — Ленин конечно прав, прав!) Да ведь они же с Лениным и земляки — симбиряне. Когда Саше Керенскому было 6 лет — его отец подписал аттестат зрелости 17-летнему Володе Ульянову. Но нет, постеснялся поехать: во-первых, всё-таки унизиться, а во-вторых — как бы не оскорбил публично, с него станет.

Да тут вот — другие социалисты: сегодня же Керенский даёт в министерстве завтрак в честь Альбера Тома, и приглашён приехав-

ший на днях Чернов (считается лидер эсеров, хотя для Керенского какой он лидер), и конечно же любимая Бабушка! И за завтраком снова — такое, такое понимание с Тома, такая дружба!

Но — долг генерал-прокурора влечёт в автомобиль — и в Царское Село. И — в ратушу, к уже собранным представителям гарнизонного комитета и воинских частей. Товарищи, пусть не смущают вас эти неосведомлённые требования 12-й армии. В Петропавловку сейчас переволить бывшего царя невозможно. А побега отсюда — быть не может. Вы же охраняете сами. И никакие сношения с внешним миром из Александровского дворца невозможны. Я — лично осмотрел, я — лично всё контролирую, и комендант — знакомый мне подполковник Коровиченко.

Жалобы: во дворце спаивают караульных офицеров — и так они могут быть подкуплены.

Оказывается, по традиции Двора караульным начальникам выдаётся в день дежурства по полбутылки вина из царского погреба. Ах, вот оно что! Хорошо — бутылки отменим. И — усилим охрану давайте.

Успокоил. А теперь что ж — заехать и во дворец?

А заехать — так повидать и государя?

Поговорили, и чуть не час. Нет, просто очаровательный человек его величество.

И — ни на что не жалуется. А ведь — полмесяца отделён от жены. А следствие до сих пор не принесло никаких обнадеживающих даже намёков. А вот что: соединить их опять, ладно, снял запрет.

Гнал назад на высшей скорости, уже в темноте.

Всё время — в поворотах, в перелётах, но, удивительным образом: именно от них набирается и набирается сила революционного вождя.

Вспоминал: нет ли сегодня ещё чего? Да, обещал же быть на концерте Кусевицкого. Ну что ж, поехать, это тоже важно. Что-то надо будет и сказать, подходящее к случаю.

13

(фрагменты народоправства — фронт)

* * *

Сильным ледоходом по Двине были разорваны подвóдные телефонные провода, соединяющие наш правый берег с нашей позицией на левом. И плыть через реку нельзя. И осталась для связи только лампа, мигать. Но висит над рекой трос — и рядовой технического поезда Александр Лошинский взялся: перебраться по тросу над рекой и так перетянуть провод. Немцы стреляли в него — уцелел, перешёл! С двух берегов все за ним наблюдали — и собрали ему на подарок. А генерал Радко наградил его Георгием.

* * *

Сильное наводнение на Двине заставило обе стороны спасаться от воды. Четыре недели стояло затишье. К Пасхе вода спала, но снова затишье. То и дело германские ландштурмисты поднимают белые флаги, из окопов выходят, манят руками и шапками, везде возникают встречи, иногда успевают поменять свою колбасу на наш хлеб и дать нашим прокламации, и не было случая вероломной стрельбы. Потом иногда наша артиллерия разгоняет их предупредительным огнём.

Пехотинцы угрожали забросать ручными гранатами батареи, которые будут мешать братанию.

Артиллерист-подполковник Буря шёл на наблюдательный пункт — пули свистели сбоку, своя пехота стреляла в него.

* * *

В этом году сойтнулись две Пасхи рядом, сперва немецкая, потом наша, через неделю. Оно и в прежние годы по Пасхам стрельба умолкала, а ныне — ну, полное замирение, на полмесяца.

Ещё перед тем ихние разведчики метали перед нашими окопами листки, а то и с аэроплана: «Русские солдаты! Узнайте, что сказал наш канцлер о мире. Только мы не мешаем вам, а вы не мешайте нам». Значит, не требуйте, чтоб и Вильгельм отрекался.

А тут — вылезали они на всех участках, и с белыми и с красными флагами, и с поднятыми шапками, — приглашают: выходите, мол, за свою проволоку, вот тут сойдёмся на ничьей.

Ну что ж, мы и рады. Пошли.
Да ведь и батюшка учит, что все люди — братья.

* * *

А в Карпатах, в 18 корпусе, немцы пришли днём в наши окопы дружелюбно брататься. И видно разведали, где стоят сегодня пулемёты, у них места переменные. И тем же вечером — стрельба, ударили точно по ним.

* * *

После прибытия депутации из запасного батальона из Петрограда — настроение фронтового лейб-гвардии Московского полка сильно возбудилось. В вечер после принесения присяги Временному правительству беспорядочная подвыпившая толпа нижних чинов окружила офицерское собрание с угрожающим гулом: «Арестовать!» Не всех, у них оказался список на 11 офицеров. «Но за что?» — спрашивал подъехавший в коляске командир полка генерал-майор Гальфтер. Ответы выкрикивали: чересчур строги, привержены к павшему режиму, враждебны к новому порядку. Генерал-майор ничего не нашёлся, кроме того, что сам их арестует, — и двинулся в штаб дивизии, офицеры — вокруг его коляски, а три десятка вооружённых солдат — за ними, в виде караула. Там они стали охранять офицеров, вошедших во двор штаба. Но на крыльцо вышел капитан Рыков, свой же московец, с утра бывший в штабе дивизии по делам. «Вы что здесь делаете?» — «Караул». — «Какой караул? Пошли вон, сволочи!» Огорошенные солдаты отступили и отправились в полк, ворча. Но офицеры отказались отправиться к своим частям, если виновные в бунте нижние чины не будут наказаны по законам военного времени. Однако этого — начальник дивизии не мог произвести. И обречённые офицеры покинули полк и отправились в обоз 2-го разряда. Это стало называться — «по обстоятельствам времени». На их должности солдаты выбрали других офицеров — и штаб гвардейской дивизии утвердил.

* * *

Прапорщик Крыленко 13 Финляндского полка, уже достаточно наговорясь у себя в полку, обратился в соседний 11 полк за разрешением выступить у них на митинге. Социал-демократ, отказать нельзя, на второй день Пасхи собрали митинг. И говорил так: австрийцы против нас — это враг открытый и честный. Но есть другой — опасный, потому что скрытый, это — внутренний враг, сторонники монархии и реставрации старого режима. Они потихоньку собирают силы, чтобы всадить нож в спину революции. Это — бывшие полицейские, помещики, чиновники, попы, капиталисты, которые сейчас даже надевают красные банты и произносят революционные речи. Эти враги есть — и среди офицеров и генералов из дворянских кругов

Два часа говорил И кончил:

— Да здравствует грядущая мировая революция!

Вытер лоб грязным платком и прыгнул со стола. Командир полка подошёл к нему, обнял и расцеловал.

* * *

Немцы кидали с аэропланов и выстреливали минами — прокламации. «Нашим войскам во время Светлого Праздника приказано проявить готовность к окончанию войны. Теперь время для России показать, протянет ли она руку для заключения мира. Но пока идёт война — свободное движение между вашими и нашими окопами продолжаться не может. Чтобы война кончилась скорей — требуйте от ваших депутатов, пусть настаивают перед начальством и в Петрограде — за мир!»

* * *

Офицеры с надеждой встречают приезд делегатов-думцев: может быть, они образумят, исправят настроение. А солдаты: опять приехал буржуй, опять наговорит, ему только нашей кровушки, чтобы мы лезли на колючку, а они бы распрекрасно жили в тылу.

Но командование не может запретить, когда приезжает делегат не думский, а от Совета. «Вот, у нас кожевенный завод, я день-деньской дублю кожи в вонии и грязи, а выручка идёт хозяину А не должен я, работник, получать столько же, сколько хозяин, весь барыш делить поровну? Теперь — свобода и уравнение всех правов!» Его речь идёт под одобрительные крики, смех, гогот.

Приезжают часто и в солдатской форме: «Мир жителям, война дворцам! Война — это гибель народа. Германия тоже устала. Мы с германским народом помиримся, будет справедливый мир и уничтожим армию. Земля — тем, кто на ней трудится».

И почему бы солдату не поверить? Надо ехать устраивать свою жизнь. Как же так: говорят «свобода» — а только тем, кто после войны в живых останется? Если свобода, обещают землю — зачем же умирать, а не попользоваться новой жизнью?

— Если Временное правительство не пойдёт об руку с Советом — вон его! А Николая — в Петропавловскую крепость!

* * *

После революции — как оборвались исконные песни. Солдаты стали мало петь. Лежат, беседуют подолгу, на сходки ходят — они теперь называются «митеньки».

А там — доброе слово стыдно и сказать, засмеют.

Старослужащие унтеры в пехоте отдают офицерам честь, но — тайком, смущённо.

* * *

Офицеры — по-разному себя повели. Этот — всю войну уклонялся от боёв, теперь является в полк, собирает среди офицеров подписку на революционную библиотечку для солдат. Тот, зауряд-чиновник, когда-то рыдал, получив портсигар из рук великого князя Михаила Александровича, — в апреле ставит около штаба дивизии вымпел: «Да здравствует демократическая республика!» — и интригует, как бы ему занять место старшего адъютанта.

* * *

На глубине штаба корпуса всюду шляется развязная и лохматая солдатня с надменновывзывающим видом. Луцат семячки, которые до передовых позиций ещё не дошли. Треплют языками, поносят «старый режим» и «его приспешников, контрреволюционеров-офицеров». Не пропускают ни одного митинга. Из каких они окопов?..

И всё-таки на фронте ещё «революционное отставание» от того, как бродит тыл. Быстрей разлагаются технические, автомобильные команды. Подтянутые по-прежнему кавалеристы с презрением относятся к расхлябанной теперь пехоте. А те зовут их — «опричники», «офицерские приспешники».

* * *

Артиллерийская бригада в резерве. Прибыло пополнение из Петрограда. Команда им строиться. А — не расположены! — доканчивают курево, потягиваются, медленно идут опрарвиться. Капитан Сенсов вызвал своих лихих фейерверкеров и показал: «Смотрите! Ещё пороха не нюхали — а приехали с петроградскими порядками. Образумьте-ка их!»

Пошли фейерверкеры — и «привели в порядок» своими мерами. Через неделю уже не отличались от старых солдат. И честь отдавали.

* * *

В 8-ю армию приехал агитатор из Петрограда, социалист. Возили его по дивизии, и начальство собирало для него солдатские митинги. А он объяснял солдатам так: революционные требования надо предъявлять с запросом, с избытком, потому что не все затребованные свободы удастся получить и удержать. Как пловцу, переплывая сильную реку, надо намечать себе пункт выше желаемого. — Имелу успех.

А приехали агитировать три студента петроградского Технологического института, внушали продолжать упорную борьбу с немцами, — уже сметанные солдаты отвечали им: — Ежели вам так нравится воевать — берите винтовки и оставайтесь в наших окопах.

* * *

В 18 корпусе — митинг в пехотном полку, в резерве, в присутствии комиссара Киева полковника Оберучева. Берёт слово молодой прапорщик:

— Мы слышим с разных сторон упреки офицерам, что они чуждаются солдат. А я спрошу: всё ли сделали солдаты, чтоб офицер пошёл к ним с открытой душой? Вот — я собирал роту, вести на устройство дороги, чтобы подвозить продукты же, — а солдаты не идут. И долго уговариваешь — и только часть потом идёт. Вызываю идти исправлять окопы, толкуют: ещё нужна ли эта работа? Передаю приказание командира полка идти на позиции на смену другой роты. И что же?..

Громкие нетерпеливые крики солдат:

— Долой!.. Не надо его!.. Довольно!

Вступился седой Оберучев, с младых ногтей народник, потом эсер:

— Товарищи, у нас теперь свободная страна и нельзя на собрании затыкать кому-либо рот. Таким поведением вы выражаете неуважение к тому завоеванию, за которое сложили свои головы лучшие люди страны. Хотя бы из уважения к теням погибших за народное дело...

Докончить прапорщику дали — а ни один солдат не выступил больше.

* * *

В другом пехотном полку того же корпуса отличный боевой офицер, подвыпив, вслух хулил революцию и резко упрекал солдат за их поведение. В ответ его застрелили в спину и ещё надругались над трупом. Тут приехал Оберучев:

— Вы убили офицера гнусно и подло. И убийцы стоят сейчас тут, среди вас. Мы — не будем их искать, и они уйдут от суда. Но я уверен, что пройдёт немного времени, и они сами явятся к властям и скажут: «Это мы убили поручика, судите нас! Нам тяжело, и мы не можем жить так дальше».

Молчала солдатская толпа, ни гугу.

Жди-пожди, явятся...

* * *

Озлобление к офицерам, что хотят вогнать в дисциплину назад.

— Запрашивали расстрелом, да судов полевых не стало.

— А за офицерами надо поглядывать. Не многие-то на нашей стороне.

— Смотри, у него шуба тёплая. Отдай ему свою шинель, бери его шубу.

* * *

Вот уже и кавалеристы, спешенные в окопы, на митинге: «Мы несогласные так нас использовать. Али уж тогда назначайте эскадроны по жребию».

Даже в Преображенском полку в апреле солдаты отказываются идти рубить лес для поправки окопов, размытых наводнением. Еле убедил их поручик Дистерло.

Два батальона 611 полка, которым назначили идти на позицию, построились в полном снаряжении. Отслужил поп молебен, после того солдаты открыли стрельбу вверх: не хотим идти! (А кто — и по офицерам, над головами.)

А то — целые патронные ящики бросают в реку: всё равно не будем воевать.

* * *

Александр Львовну Толстую проводили из санитарного отряда с честью. А вдогонку решение комитета: «Арестовать!»

* * *

В 14 стрелковом полку в Буковине для устройства наступательного плацдарма были назначены четыре роты. Узнав, какую работу они будут вести, стрелки отказались: наступать не будут, только обороняться. От наступления большие потери; и вообще — наступать в Румынии не согласны, а только в России.

* * *

126 Рыльскому и 127 Путивльскому пехотным полкам было приказано выступить по параллельным дорогам на смену частей 12 дивизии. Рыльский полк, сделав дневной переход, следующую ночь митинговал и высылал депутатов выяснить: почему никакой полк их 32 дивизии не идёт с ними по одной дороге, почему Путивльский пошёл иначе? И почему их послали на два дня раньше, чем предполагалось? И почему офицеры едут верхом? И верно ли, что командир полка уехал в тыл? Убедясь, что он здесь, — стали у него выяснять, правда ли, что Рыльский полк идёт усмирять 12 дивизию — а та уже заложила под мосты мины. Следующее утро и полдня командир полка увещал рыльцев идти — но они выразили недоверие и ему, и ротному и полковому комитетам, и постановили: командировать выборных ото всех рот прямо в штаб корпуса: справедливо ли и правильно ли ими распоряжаются. А пока — стоять на месте и так отпраздновать праздник свободы.

* * *

Прибыло новое пополнение в 26 корпус на Румынский фронт. Командир корпуса генерал Миллер сам вышел к прибывшим, увидел на них красные банты и ленточки и потребовал снять как неуставленную форму одежды. «Вы же не девки, надевать ленточки!» Прибывшие взбунтовались, толпой арестовали генерала — и отвели на гауптвахту. И никто в корпусе не мешал.

Из штаба армии: начальнику дивизии заменить командира корпуса и начать следствие. Генерала Миллера освободить и прислать для личного доклада.

* * *

Приходящие пополнения всё чаще не берут оружия: зачем нам? Мы воевать не собираемся.

В середине апреля привезли из тыла на укомплектование 8-й армии эшелон солдат из разных госпиталей. Их распределили по дивизиям, но они стали отказываться: хотят ехать только в те части, где раньше служили (и в другие армии). Комитеты большую часть всё же уговорили и направили по полкам. А часть — отказалась и самовольно уехала в тыл.

* * *

Пока 2-я Сводная казачья дивизия стояла на передовых — она и после Пасхи поражала сохранением дисциплины, и никакой депутат к ним не приезжал, да и новые газеты что-то не попадали. Но в середине апреля отвели их в тыл на отдых — и казаки стали быстро разлагаться. Начались митинги. Требовали ¹ делить экономические денежные суммы. Требовали уже теперь выдать в постоянную носку заготовленное на год вперёд обмундирование первого срока, хотя и носимое было хорошо. И 16 Донской полк сам разобрал из цейхаузов и разрядился в новое, за ним и другие полки. И альбы банты надели. Требовали — больше отпусков. Казаки! — перестали регулярно чистить и даже кормить лошадей. Требовали, чтоб офицеры с каждым бы казаком ручкались: «Мы сами такие же офицеры, не хуже их!» Болтались, пьянствовали.

Генерал Краснов собирал то комитеты, то казаков, то офицеров, вёл страстные беседы о полковом самолюбии, о великом прошлом — и раздавались голоса: «правильно, правильно!», обещали образумиться. Но не успевал генерал и отойти далеко — раздавался чей-нибудь бесшабашный голос: «Товарищи! Это что ж, нас к старому режиму гнут? под офицерскую, значит, палку?»

* * *

2-я Кавказская гренадерская дивизия получила приказ перейти из резерва на боевые позиции. Полковые комитеты собрались вместе с дивизионным и постановили: вызвать командира корпуса, чтоб он объяснил, почему на ответственный участок выдвигается именно их дивизия, новосформированная, а не старая 1-я дивизия, пребывавшая в резерве не меньше 2-й. На другое утро командир корпуса генерал Махмандаров прибыл к строю дивизии и объяснял. Но его ответы не удовлетворили — и прапорщик Ремнёв с толпой солдат сместил и командира корпуса и начальника дивизии и назначил командовать корпусом разъярёвшегося генерала Бенескула, который и отправил на позиции 1-ю дивизию.

* * *

Ленин: «Самочинное смещение начальства солдатами?.. — полезно и необходимо во всех отношениях».

* * *

Засели солдаты в карты играть (раньше запрещалось). А на что ж играть? — да казённое имущество проигрывать. И устраивают вечера, танцульки. Запасные кухни обрелись в спиртовые заводы. (Спирт очищают через газовые маски и так портят их.)

Увольняемые в отпуск или не возвращаются, или сильно опаздывают.

В артиллерии стали пропадать лошади. Что такое? Это — у ездовых на пастбищах дезертиры покупают лошадей, чтоб скорей догнать до станции, а то и до дому.

Восемь вёрст от передовой линии — а обстановки не узнать. По деревням и дорогам бродят бесцельно толпы пехотных солдат. Иные идут обнявшись, сильно нетрезвые, поют осипшими голосами. Офицеров по пути останавливают, разговаривают в повышенном тоне.

Из 11 Финляндского полка (где ораторствовал Крыленко) к середине апреля исчезло не меньше тысячи человек — и никого взамен. «Все домой едут — чего ж мне оставаться? Сказывают, теперь мириться будут».

Свежепленные немцы говорят: не наступаем сейчас, потому что через месяц в русской армии будет полный беспорядок.

* * *

Есаул Шкуро со своим адъютантом пришли в кишинёвский ресторан. Вломилась банда растерзанных пехотных солдат, расселись не снимая шапок и поносительно ругались. Шкуро подошёл к солдатам, потребовал снять шапки и вести себя пристойней. Они пререкались. Есаул пригрозил вызвать вооружённый отряд. Тогда они выскочили на улицу и созывали толпу на расправу. Адъютант успел позвонить в свой Особый Кубанский отряд. Разъярённая толпа грозила громить ресторан, если есаул не выйдет. Шкуро вышел со взведённым револьвером: «Семерых уложу, живым не дамся!» С рёвом и ругательствами толпа требовала идти в комендатуру. Шкуро ответил, что пойдёт сам, но наповал, кто приблизится. И прошли так квартал, — по каменной мостовой конский топот — и карьером вынеслась сотня! — и вторая! — на неосёдланных конях, полуодеты и босиком, но шашки, кинжалы, винтовки при них.

— А теперь — построиться, мерзавцы! — закричал толпе здоровой глоткой круглоголовый Шкуро.

И вся эта росхлябь бисто построилась, и руки по швам. (А казаки — позади них.) Поблагодарил казаков, а этим:

— Вы — банда хулиганов, а не воины Родины.

* * *

По солдатским рукам в 40 корпусе ходят листки:

«Братья! просим вас не подписываться которому закону хочут нас погубить, хочут делать наступление, не нужно ходить, нет тех прав, что раньше было, газеты печатают чтобы не было нигде наступления по фронту, нас хочут сгубить начальство. Они изменники, наши враги внутренние, они хочут опять чтобы было по старому закону. Вы хорошо знаете, что каждому генералу скостили жалование, вот они и хочут сгубить нас, мы только выйдем до проволочных заграждений — нас тут и побьют, нам всё равно не прорвать фронт неприятеля, нас тут всех сгубят, я разведчик хорошо знаю, у неприятеля наставлено в 10 рядов рогаток и наплетено заграждение и через 15 шагов пулемёт от пулемёта. Нам нечего наступать, пользы не будет. Если пойдём, то перебьют, а потом некому будет держать фронт. Передавайте братья и пишите сами это немедленно.

С почтением писал лес.»

* * *

Из «Молитвы офицера», рукописного стихотворения весны 1917:

За верность отчизне у смерти в объятьях
 Нам русский народ отплатил во сто крат.
 Спасибо, родные, спасибо, собратья,
 Спасибо, столица, спасибо, Кронштадт!

ДОКУМЕНТЫ — 7

13 апреля

ПОСОЛ В ПЕТРОГРАДЕ ПАЛЕОЛОГ —
 ВО ФРАНЦУЗСКОЕ М.И.Д.

Телеграмма, шифровано

...Я предпочитаю разрыв Альянса последствиям двусмысленных переговоров, которые социалистическая партия готовится предложить нам. В случае, если бы мы были вынуждены продолжать войну без участия России, мы могли бы за счёт нашей отпадающей союзницы извлечь из победы совокупность в высшей степени ценных выгод...

А посчитать, от отречения Михаила, — сегодня сорок первый день его министерства, всего лишь. И из них чуть ли не восемнадцать он провёл в дороге, поездках. И из них же почти неделю — проболел.

Болезни! что за заклятье! Надо было целую жизнь носиться вздорове — от Манчжурии до Греции и до Бурской республики, целую жизнь провести в боях, в дуэлях, в диспутах, в подъёме на государственные высоты — чтобы тут доконало. подкосились колени, оставили силы. И особенно досадно: заболел ещё перед Киевом, уже в штабе Юго-Западного сказал депутатам, что еле передвигается. Но в проклятых грязных Яссах, на самом же юге и уже в апреле, вдруг ненастная погода, холодный дождь, — там он и добавил, крепко простудился. На другой день в Одессу приехал с температурой 39,5, а нагромождено было там дел, и ведь вызвал Колчака из Севастополя, и с мыслями не соберёшься, поговорить как надо. Именно в Одессе функционировал один из его главных военно-промышленных комитетов, и теперь предстояло отдать долг, с вокзала потащился осматривать выставку оборонной продукции одесских заводов, и «поднесли» министру пушечный лафет. А затем — в гостиницу, на банкет с военно-промышленным комитетом, и одесский городской голова Брайкевич говорил речь о роли Гучкова, а Гучков в ответе подчёркивал все невероятные препятствия, какие ставила старая власть комитетам. И сюда же пришли с речами представители студентов, и украинцев, и поляков, и кому-то из них отвечал Гучков, что Одессы мы привыкли бояться, тут всегда был костёр, но она не оправдала наших опасений, тут всё на правильном пути. И в этой гостинице, в натопленном номере, ему и остаться бы до конца. Но только и мог он тут провести намеченные узкие совещания: с одесскими генералами, генерал Маркс докладывал, как он укрепил свободу в Одесском округе и не дал зародиться ни малейшему погрому: потом с особо уполномоченным по продовольствию; и с членами городской управы — о санитарии Одессы (насмотрелся он, как копошатся Яссы и Кишинёв без бань, без дезинфекции, на Румынском фронте — тиф); а на Колчака, самое важное, — и времени почти не осталось. И тут бы лечь в постель, и врач настаивал, — но нет! Надо было ехать как намечено, в штаб округа, держать речь к чинам штаба, что переворот был необходим для спасения родины. Торжественно произвести в прапорщики вольноопределяющегося Зейферта, при старом режиме задержанного по неблагонадёжности. Но и это ещё под крышей, — а дальше ехать, не отказываясь, принимать на Лагерном поле парад войск гарнизона. По дороге — шпалерами кадеты и юнкера, в сумрачном небе — аэропланы, по полю десятки красных флагов вместо боевых знамён. Сошёл с автомобиля и, уж каким голосом как, — приветствовал и благодарил войска. Но и это ещё не всё, после того, уже к вечеру — на Платоновский мол, где обходил построившиеся морские команды и морской штаб, здоровался, принимал рапорты и ещё одну речь держал: служить на благо обновлённой родине. И ещё же не всё — на катере повезли на военный корабль, где Гучков приветствовал на палубе экипаж свободолюбивых сынов Черноморского флота, а потом на корабле ещё высидеть обед, не идущий в глотку, и под марсельезу отбыть на вокзал, а на улицах и под дождём — толпы народа. Ещё на вокзале — делегации, депутатии, — и последняя надежда: сутки до Ставки лежать в вагоне.

Но — передалось, осложнилось на сердце, и в Могилёве он не смог даже посетить Ставку лишь среди ночи в вагоне повидал Алексеева и Деникина, теперь свою главную надежду. Совещались, как Гучков почистил состав Румынского фронта, начиная с Сахарова, да и на Юго-Западном, так что уже снятых генералов дошло до ста сорока с чем-то. (Заодно хотел и Рузского смахнуть с Северного фронта, заменить Корниловым, — Алексеев воспротивился.) Деникин возра-

жал против такой массовой расчистки, неужели ошибся в нём? А Алексеев — полтора года на этом месте, привык, прирос, — как он может не справиться? Умолял их обоих крепить и держать армию. И: напрячься и начать наступление в начале мая, хотя б и со скромным успехом.

И потянулся поезд дальше. Вчера вечером дотащил до Петрограда, и сразу в домин, и сразу в постель. И хотя сколько тут набралось, приёмов, встреч, бумаг, распоряжений, — всё это на сегодня врачами отменено, и весь день бессильным пластом в постели, только самые близкие. Новицкий и Филатев, ненадолго. (И Машу не позвал.)

Лежал — и не мог работать. Лежал — а в голове прокручивалась эта поездка, эти встречи, эти речи, уже и путалось, где именно что было. Точно — что с румынским королём встречался в Яссах, и с румынскими министрами (уже своей страны у них не много осталось). А исполнительный комитет дезертиров ведёт переговоры с гарнизонным комитетом, и требуют отсрочки явки в полки, и грабят город, нет на них управы, — это в Кишинёве. Хорошо помнил совещание в штабе Сахарова, где снял сразу 14 генералов. И там же солдатские депутаты ему объясняли, почему арестовали генерала Келлера: требовал удаления красных флагов и мешал манифестациям. (Чтобы спасти старика — распорядился отправить его в распоряжение Корнилова.) Уже штаб Брусилова со штабом Гурко — мешались в памяти. А где была овация? Везде. Но особенно, конечно, на минском солдатском съезде, переполнена и площадь перед театром, и театр, и, кажется, это там в вестибюле, после речи, с некоторыми офицерами и солдатами — целовался. А где-то ещё, кроме Одессы, осматривал новые машины? В Киеве, в Арсенале. Недочёты снабжения, давал указания — и там, и повсюду. Ещё в Киеве — заезжал поклониться в Лавру. (Для министра — нужный жест.) И в Киеве тоже — депутации от поляков, украинцев, евреев. А в инженерном училище речь — там или где? В госпиталях? По разным местам, благодарил, что заплести подать Отечества кровью. И почему-то на собраниях сестёр милосердия — дважды, да, в двух городах. Какую-то чушь им нес, что не представляет себе фронта без сестёр — и пусть продолжают самоотверженную работу, не смущаясь нападками порочных элементов. (Всё ведь в армии стало разбалтываться, и с сёстрами тоже.) И где-то носили его на руках до автомобиля, не раз. И где-то осматривал питательные и перевязочные пункты, санитарные поезда, а на станции Бирзула — эшелон, идущий на фронт. И сколько этих станций перемешалось — по пути на многих выходил с речами. И сколько этих речей! — перед сотнями юнкеров, солдат, матросов, перед депутациями Советов, перед толпами железнодорожных служащих, и кто ещё собирался.

Говорил? Что говорил? Он не готовился к этим речам, а где что в голову приходило. (Он всегда считал себя хорошим оратором, но вот что обнаружил: прежде были речи для избранных, для интеллигенции, для Думы, — а перед простой массой нужно что-то совсем другое, он не находился теперь. Но главное: не допустить пессимизма и разочарования.) Больше всего он, кажется, повторял и повторял, что переворот был нужен для спасения родины. (Он и сам нуждался в этом утверждении, а значит, люди ещё больше нуждались.) Переворот явился для России актом самосохранения, единственное средство спастись от гибели. По работе в военно-промышленных комитетах Гучков может им засвидетельствовать, что старая власть вела нас к верному разгрому, и страшно подумать, что случилось бы с нами без революции. Уже полтора года мы сознавали, что надо покончить со старым режимом ценой каких угодно жертв, даже путём насильственного переворота, — а его и не понадобилось, старая власть оказалась совершенно сгнившей. Переворот произошёл потому естественно, что все и всё уже видели: так дальше жить нельзя. А теперь, после сумятицы революционных дней, народ быстро совладал с собой, и

жизнь всей страны уже входит в русло созидательной работы. А если мы не овладеем собой (это где-то в другом месте), то все светлые результаты переворота пропадут. Теперь — мы идём к военному торжеству, после чего приступим к внутреннему переустройству на началах свободы и равенства. Но теперь — и нельзя сваливать вину на власть, как это было при старом правительстве. Теперь — каждый из нас ответственен за судьбу родины, и если все проникнутся этим сознанием и сплотятся вокруг Временного правительства... Я знаю, что русский народ — это народ-чудотворец, и пережитое потрясение не пойдёт нам во вред. Оставьте всякую рознь, прочь излишнюю подозрительность, а все усилия — только против врага, немцы бьются уже из последних сил. Теперь, когда воины-граждане смело смотрят друг другу в глаза — дисциплина в армии станет ещё крепче и глубже... А когда совсем плохо себя чувствовал, фразы получались жалостные: помогите Временному правительству, которое несёт тяжёлое бремя. Организуйтесь пока, как сами умеете... А то — чего уже и совсем не думал: Совет рабочих депутатов полон любви к России. Нас с ними объединяет эта любовь и жгучая жажда сохранить нашу свободу. Ну, как у всяких внутренне свободных людей, бывают и расхождения по некоторым вопросам. А на Минском съезде совсем язык заплёлся и призвал: «Теперь сокрушим и второго, внутреннего, врага!» — вместо «внешнего», и так и в газетах напечатали, да без запятых. И получилось, что призвал — сокрушить Совет рабочих депутатов?.. (Да неплохо бы.)

А в дни, когда не в поездках, — смотрел на столах довшина груды телеграмм с изъявлением верности, и от армии, и от флота, и от тыла. (Выскачка Грузинов бил в колокола: «Коренному москвичу, ныне первому военному министру Свободной России, под грохот орудий со стен кремлёвских пусть будет услышан победный зов первопрестольной...») И вздор, а приятно.) И почти всякий час в приёмной ждала одна, а то три и четыре фронтовых депутации, и министр принимал их уже соединённо и по пятку. А в те нечестные дни, когда ездил в Мариинский дворец, — то и там заседания правительства прерывали настойчивые делегации, и министры по несколько выходили с ними разговаривать и выслушивать и в руки получать резолюции их частей. Резолюции эти составлялись, конечно, немногими армейскими интеллигентами, писались ходкими писарями — а всё-таки настроение армии вложилось тут.

Мы молим вас: не прекращайте войны, пока нет полной победы, дайте нам только хороших начальников. И неужели новая Россия должна быть заклеяна изменой? — это предательская воля старого правительства. И не забудем миллионы наших братских могил. А что мы скажем сотням тысяч калек: что их страдания были напрасны? «Долой войну» — это лозунг для изменников делу свободы, предатели и торгаши бьют нас в спину. — А латышские стрелки заявили: если будет заключён мир — мы никого не слушаемся и будем продолжать войну. И стоящие рядом сибирские стрелки — присоединились! — А финляндские стрелки: запасные части из Петрограда и Москвы не желают идти на фронт, этим наносят глубокое оскорбление нам, стоящим в окопах: мы — тоже революционная армия, а если бы мы ушли с фронта — разве была бы свобода?

Да из многих мест упрекали правительство, как оно могло согласиться не выводить петроградский гарнизон на фронт.

Но, сидя тут, на Мойке, — попробуй выведи его...

И грозно о заводах. Тот не сын своей родины, кто требует от правительства денег, когда мы умираем на позициях. Мы 24 часа в сутки под свинцовым дождём, ваш рабочий пот сохранит солдатскую кровь. За каждый прогулянный вами час ваши товарищи на фронте заплачат головами. Требуем, чтобы немедленно на всех заводах работа

пошла полным ходом! (Да разве только на заводах? — уже и на ремонте оружия и на рытье запасных окопов требовали 8-часового дня!)

И даже — гораздо прямей и настойчивей, Гучков удивлялся: эти фронтовые депутации понимали о Совете депутатов такое, что правительство не смело высказать вслух. 15-я Сибирская дивизия: просим Совет рассеять ложные слухи, что он посягает на власть Временного правительства. И даже ещё острее: как это поддержка Временному правительству лишь «постольку-поскольку»? — да это сознательно-губительная деятельность для нашей родины! До нас доходят смутные слухи, что эта политическая группа, Совет рабочих депутатов, не имеет единства взглядов даже сама в себе, а издаёт постановления, противоречащие одно другим. Так просить о немедленном распубликовании именных списков Исполнительного Комитета, мы их никого не знаем!

Делегации, резолюции, — но никто же из министров не согласится заговорить таким языком, ни даже Милюков. Да и резолюции эти двоились. Тут же вдруг требовали: установить строгую очередь в отсидке на первой линии, *не считаясь с личными взглядами начальников частей*. Или: при назначении на командные должности прилагать к аттестациям также результат тайной баллотировки подчинённых, — то есть почти подвергнуть офицеров выборам. Другая беда: пока делегация едет в Петроград или пока резолюция идёт по почте — а там, там, в частях, уже что-то успевает измениться, Поездивши вот по фронтам, Гучков успел и сам заметить: там происходит нечто другое, оно идёт уже дальше, чем в мартовских резолюциях. И даже эти самые делегации — так хорошо говорят, если они начинают с Мариинского дворца или с домина. А если с Таврического — то Совет как-то быстро успевает их обработать, и эти же самые делегации начинают говорить прямо противоположное. Да вот, в эти дни, пока Гучков ездил, Совет успел собрать в Таврическом какое-то «совещание фронтовых частей», случайный сброд вот таких делегаций, а как будто они уже представляют всю Действующую армию. Вели это совещание какие-то Липеровский, Лопуховский и Клоповский, ни одного известного имени, а выносят резолюцию, якобы всеобщей значимости: подчинение дисциплине и порядку не может распространяться на те случаи, *когда понуждают солдат к политическим поступкам, не согласным с их гражданскими убеждениями*. Так предложить Исполнительному Комитету (а вовсе не правительству) послать на все фронты и во все армии комиссаров с самыми широкими полномочиями, и требовать от Временного правительства признания этих комиссаров!

Вот так всё и расплзлось, никакого единого стержня не было.

Да из 12-й армии Радко, где сам же Гучков одобрял начинания, четыреста офицеров — Совет офицерских депутатов во главе с латышским полковником Вацетисом, слали Гучкову декларацию: они — сомневаются в искренности многих лиц высшего командного состава и чинов штабов, которые могут стараться вредить. И если, мол, ещё не совершают прямых сношений с врагом, то только из-за боязни быть обнаруженными! Но в их руках — неправильное распределение боевых сил, посылка резервов не туда, куда нужно, сбивчивые распоряжения, опоздавшие приказания, — и это всё предполагали офицеры в своих исконных старших начальниках! Какой опасный переклон! — да гучковской же идеи реформы. Если от массовой смены генералов начнут теперь, даже офицеры! — подозревать и каждого генерала, — то как же руководить войсками? И вот, эти четыреста баламутов предлагали: правительство должно неотступно наблюдать за генералами на каждом шагу, иметь свои глаза и уши на местах — своих комиссаров при каждой армии.

Опять и тут — комиссаров.

Да комиссаров от правительства и можно бы разослать — но в *помощь* генералам, а не для шпионства за ними! А эти четыреста, от по-

ручиков до полковников, предлагали именно шпионство: «опереться на общественные организации прогрессивных солдат и офицеров», — *прогрессивных солдат!* ещё не знали таких со времён Александра Македонского! — получать «точнейшие сведения, не только о поступках и поведении, но *даже настроении* всех лиц командного состава!» И ещё дальше: создавать при исполнительных комитетах *осведомительные бюро* из 4—6 лиц, и эти бюро будут постановлять об устранении лиц командного состава, замене чинов штаба, признании их деятельности вредною — и только что не прямо устранять, а докладывать главнокомандующему и военному министру. Вот куда раскатывалась революция!! А простодушный (или потерявший голову) Радко — пересылаа вот этакое-сякое Гучкову...

Да в какой стране когда такое складывалось: при полном отсутствии именно всякой ответственности — такая власть исподтишка! Совет депутатов — как тайный советник, которому нельзя отказать. Как ещё один Распутин, коллективный Распутин. Нет, ещё наглей: в последние дни марта на своём гомозливом совещании советов они объявили «тёмной силой», Распутиным, — именно Гучкова!! и что он — чуть ли не друг династии Романовых, раз ездил к царю за отречением!

И как вот на это всё? Как военному министру поспеть против этих необычных партийных, советских приёмов — каких-то, встреч, обработки, совещаний? Отвечать? — как будто низко. А не отвечать? — это и повторить ошибку трона: они ни на что не отвечали — и свалились.

Совещание Советов постановило: «дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии». Свою банду — они называют «демократией».

Не в таком унижении мечталось прежде Гучкову его будущее участие в управлении Россией.

И бедные, бедные эти «лица командного состава»! Ревельские офицеры призывали *забыть все обиды*, нанесенные матросами «в период недоверчивого отношения» (когда расстреливали), и только жалостно протестовали, что всё же недопустимо вмешательство матросов в оперативную боевую работу офицеров и, ещё жальче, — в личную жизнь офицеров, потому что, ещё жальче, офицеры — *тоже* полноправные граждане...

А приходили военному министру и такие офицерские письма, что армия вообще не хочет воевать, надо кончать войну, иначе произойдёт катастрофа.

Да даже не смел Гучков (не оскорбить общественность!) изъять из Земсоюза и Горсоюза пристроившихся там офицеров, а только с *горьким призывом* звать их на фронт, а в тылу их заменят небоеспособные.

И даже такое воззвание издавал: его прежним приказом № 114 солдатам разрешено посещать театры, кинематографы, пользоваться всеми железнодорожными классами, но не бесплатно, «как это, очевидно, понято», напротив, защитники отечества должны подавать пример выполнения правил.

И ещё же такое: в первые дни великих событий обновления родины различными лицами взято много автомобилей из казённых гаражей, — так автомобили крайне нужны для Действующей армии, и прошу взявших вернуть, а где есть испорченные — сообщить.

А тут слали военному министру требования дать политические права и вражеским военнопленным в России: свободу передвижения в их местностях, свободу собраний и жить на частных квартирах. И Гучков вынужден был печатать разъяснение, что это противоречит понятиям плена и было бы несправедливо, ибо наши военнопленные в Германии содержатся жестоко.

А сколько ж было у министра забот, не доходящих до воззваний и публичных оповещений. Из малообученных солдат формировать

сельскохозяйственные команды на помощь продовольственным комитетам. Да теперь, с министерского места, ощутил Гучков, как же драли его промышленные комитеты несходные цены за военное снаряжение, цены эти и по военному и по морскому ведомству надо было конечно снизить — а для того назначить ещё две новых комиссии. А изнывающая без дела изначальная Военная комиссия (повисшая в воздухе ненужность, гибрид революционных дней) теперь, чтобы придумать себе деятельность, стала расследовать донос, будто в Петрограде образовалось две крупных монархических организации. (А распустить её всё же нельзя, она наполовину как бы и от Совета.) А доносов анонимных приносили в министерство кипы — и опять-таки приходилось печатать разъяснение, что теперь Россия свободна, опасаться некого — жалоба же анонимная, хоть и правдивая, может остаться нерасследованной. А у самого — анонимно же, тайная задача: как убрать с Балтийского флота самозваного адмирала Максимова? Он самовольно увеличил матросам нормы довольствия, угрожает им, они за него горой и снять не дадут, — а между тем флот раздается.

А ещё же: армия растягивается центробежно по национальностям, у поляков есть отряды — требуют свести в отдельную армию, украинцы требуют отдельных отрядов и полков.

Какой-то гремящий ужас.

А Гучков — потерял энергию. Израсходовался во всех этих поездках, начиная от псковской к царю.

Всегда он охватывался борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы, — а вот изменило.

Лежал плашмя, нервно билось сердце, тяжёлая голова, и не хотелось смотреть, смотреть эти бумаги, ожидающие решения. Невозможно даже сосредоточиться на одной ясной мысли.

Что же будет — с армией? с войной?

Приходится рассчитывать на чудо.

15

А Ленин, в поезде через Финляндию, не в шутку думал: вот сейчас пересечём границу, всех нас схватят — да в Петропавловку. Остряка Радека оставили в Стокгольме, и в поскучевшей компании договаривались с товарищами, как вести себя на допросах. Да ещё на швейцарской границе предусмотрительные немцы отобрали от каждого подпись: «Мне известно сообщение, что русское правительство угрожает рассматривать всякого проезжающего через Германию как предателя. Политическую ответственность за эту поездку беру на себя». Всё-таки Временное правительство издали казалось куда сильней, чем вблизи. Но когда в Белоострове под морозящим дождём, при электрических фонарях, увидели толпу встречающих сестрорецких рабочих — Ленин вмиг понял, что — уже победил! Трудности ещё будут — а уже победил! На руках понесли его в вокзал говорить речь. Сказал несколько фраз, берёт заряд — а всё ликовало. (Сдавать ли оружие? — спросили его рабочие, ответил: для пролетариата оно сейчас крайне необходимо.) И, как всегда без инерции, мгновенно и без остатка, покинул прежний настрой и обернулся в новый: взял Каменева к себе в купе отчитывать его за политическую линию «Правды», а в Сестрорецке уже и не вышел, послал речь говорить — Зиновьева. (Встречали и сёстры, и члены БЦК, ПК, — с ними потом: Каменев за три недели вреднейше исказил направление партии.) Ошеломительная встреча на Финляндском вокзале — с матросским караулом, растерянным Чхеидзе, прожекторами, броневиками, толпой — была только расширенным подтверждением того, что уже освоено два часа назад, и Ленин нисколько не отдался беспечной радости, а тотчас напрягся к борьбе за обескураженную партию, которую вели в согла-

шательское болото: ночная речь к своим, дневная речь к своим в Таврическом, а позвали идти на объединительное заседание — трахнуть в морду и объединенцам: мы — уже не социалисты с вами, а — коммунисты! Похоронить объединение! Что ощерится вся эта социал-патриотская сволочь — Ленин и заранее знал, но что так растеряются от его программы свои большевики — всё же не ждал, он привык, что свои идут послушнее, тут придётся поработать. До того не идут, что пришлось оговориться на радость Церетели и компании: выступаю не от партии, а высказываю своё личное мнение.

Да надо же прежде уладить упреки с переездом: заодно там, в Таврическом, пошли на заседание их мерзкого ИК. Понимая, что сам будет всех там раздражать,— смиренно сел у стеночки, суфлёром, а вместо себя выдвинул говорить: Зиновьева — и Зурабова. (Зурабов через Германию с нами не ехал, он только из Стокгольма, но очень зол на Милюкова за задержку паспорта в Копенгагене, и эта злость его весьма продуктивна. Наша уязвимость, что нам нигде не отказали в визе, а вот Зурабову отказали!) Сразу взяли атакующий тон: не оправдываться, но наседать на ИК, чтобы тот давил на Временное правительство пропускать и следующие эмигрантские группы через Германию! — и освободить нас всех от буржуазной клеветы! И, по сути, на ИК одержали победу: ИК не только не посмел осудить переезд ни единой фразой, но постановил: добиваться от Временного правительства пропуска всех эмигрантов, независимо от убеждений! И на Контактной комиссии с правительством они уклонились обсуждать переезд — победа! Теперь ИК взят в прикрытие, если не в союзники, они замазаны вместе с нами. (А больше и ногй Ленина там не будет, больше с ними делать нечего.) А взято на ИК — взято и в «Известиях», согласились напечатать «Как мы доехали» — приняты в общесоветской прессе, ещё победа! Ещё раз козырь: план предложил — Мартов! Временное правительство не отвечало на наши телеграммы. (А если не дошли — так мы не виноваты.) Честный социалист-интернационалист Фриц Платтен взял дело в свои руки. Экстерриториальный вагон. (Русская буржуазная пресса для оскорбления стала называть его «пломбированным» — отлично, нам подходит, тем более, значит, не было сговора с немцами.) Протокол одобрения подписан социалистами французскими, швейцарскими, польским Бронским, теперь и шведскими. И сказали нам эти товарищи интернационалисты: «Если бы Карл Либкнехт был сейчас в России — Милюков охотно выпустил бы его в Германию! Так ваше дело — ехать в Россию и бороться там с германским и русским империализмами!» И мы думаем, что эти товарищи правы.

И несколько отвлекающих шагов: а вот Чернов ехал через Англию — его сперва завернули. Виноваты вместе английское и Временное правительства, что мешают эмигрантам возвращаться,— союзники действуют по спискам старых охранников! Теперь мы требуем в обмен на нас освободить интернированных немцев. Ещё требуем: возмещения убытков нашего переезда, совершённого за наш счёт! Да вот и ещё: а почему никакие газеты левее «Речи» не проходят за границу?

Начало сошло просто архиотлично, и уже вздумал Ленин, что с переездом вообще кончено, спешим к другим революционным делам. Куда там! — только разгоралась в буржуазной печати, а затем и на улице, закинута в рабочие и солдатские головы — злобная мутная поймающая клевета против ленинской группы, — и не удивительно, что травлю повела вся шовинистическая великорусская шваль, но к ним присоединились и бешено-клеветнически-грязные, погромом пахнущие приёмы Плеханова. (Плеханову отомстим: «Продался буржуазии, перешёл на сторону капиталистов», посмотрим, чей крик будет звонче. «Продался немцам» потонет, если вытягивать интернационализм, а союза с буржуазией не простят.) Но и эсеровское «Дело народа»

изрыгало вместе со всеми — «политическое бесчестье», «политическая бестактность», эти могли бы воздержаться. Но дело, конечно, не в этих горе-социалистах, важно не упустить мозги масс. Вот уже и какая-то мелюзга, 4-й там фронтовой санитарный отряд, требует публичного расследования обстоятельств, при которых было организовано путешествие Ленина. А вот этих — поддержать: честный голос в хоре клеветников! Да! да! Мы сразу и вступили на этот честный путь честных людей — сделали доклад о проезде Исполнительному Комитету, — зачем же теперь, товарищи из 4-го передового отряда, вы спешите клеймить проехавших «предателями»? Да, да, и мы этого хотим: публичного наконец расследования! И немедленно — дать его! минуя всю продажную прессу — прямо к головам масс — «Воззвание к солдатам и матросам» (писал вчера, кончил сегодня). Газеты капиталистов бесстыдно лгут, намекая, будто мы пользовались какими-либо необычными подачками от германского правительства. Капиталисты лгут, пуская слухи, что мы совещались в Стокгольме с германскими социалистами, что мы — за отдельный мир с немцами! Мы хотим мира всех народов через победу рабочих всех стран над капиталистами всех стран! Но почему же эмигранты, томящиеся за границей из-за их борьбы против царя, не вправе без правительства договориться об обмене русских на немцев? А почему Милуков не пустил в Россию Платтена? Дошли до такого бесстыдства, что ни одна газета не перепечатала из «Известий» — «Как мы доехали». Потому что наш доклад разоблачает обманщиков! А плехановская газета как смеет не перепечатать постановление Исполнительного Комитета? Это — анархическое неуважение к выборным большинства солдат! И это — бесчестный приём погромщика! Был когда-то Плеханов социалистом, а теперь изобличён в погромных приёмах!

Некрасов публично намекнул, что «с Каменноостровского раздаётся проповедь насилия», — сейчас же ему в «Правде»: «Господин министр предпочитает тёмные намёки, вы лжётё! проповедь насилия ведёт Гучков, грозя карами за смещение властей, а наша работа — разъяснение всех ошибок революционно-оборонческого угара».

Ни минуты в обороне! — всё время атаковать! Отрицать и клеймить на 100%. Отпугивать ярлыками! Так замазать им морду, чтоб им не отмыться!

Пусть все клянут хором! — сенсация! — а это и надо! Ленин и хотел произвести среди них смятение.

Но как бы не так! Эти рыцари вонючей клеветы, особенно из «Русской воли», разожгли в обывателях такую звериную злобу к ленинцам, что уже не обойдёшься одной порядочной печатной полемикой. Солдаты Московского батальона хотели громить издательство «Правды». Затем донеслось, что в Вольнском батальоне хотят арестовать Ленина, потом захотели того же где-то матросы (а те, кто встречали на Финляндском вокзале, отреклись, что не знали, кого встречали). Пришлось снова просить защиты у Исполнительного Комитета. Эти три заговора — успели разрушить, но ведь не знаешь, где и когда возникнет четвёртый. А что ж? придёт большой отряд — и легко штурмуют дом Кшесинской. Схватят — и разорвут, ничего мудрого, ведь при этом правительстве от закона не дождёшься защиты. А что особенно опасно: как бы не бросили снаружи в особняк бомбу — и погребут сразу тридцать человек! Надо добиться от Совета защиты особняка! И вот что: установить самим круглосуточные наружные посты, от бомбы мы особенно уязвимы.

(Так и задумаешься: да чёрт раздери! может быть таки не надо было ехать через Германию? Ожидал демократической тюрьмы, но не ждал, что натравят чёрную сотню. Выиграл месяц? или только две недели? А с другой стороны подводные лодки?.. Зато — ни к чему не опоздал, всё вовремя, и вот уже живительные денежки потекли через

Ганецкого, послезавтра начинаем «Солдатскую правду», и начинаем «Голос правды» в Кронштадте.)

Но, караул, как защититься от прямого погрома? Срочней писать ещё другое воззвание: **Против погромщиков!** Опять — к рабочим, к солдатам, да даже ко всему населению Петрограда. Мы обращаемся к чести революционных рабочих и солдат. Вожди Совета нас оправдали, а они не могли действовать из кумовства нам. Долой героев травли и обмана, скрывающих постановление Исполнительного Комитета! Они осмеливаются не перепечатать «Как мы доехали» из «Известий», а хотят посеять смуту. Обмен между русскими и немцами для богатых людей устраивали не раз — почему же нельзя устроить обмен для эмигрантов? Мы стоим вовсе не за насилие, а за *разъяснение* и уважение к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов. Мы хотим разъяснить членам Советов, что в руках Советов должна находиться вся власть. Имеем сообщения об угрозах нам насилием и бомбой. Если будет применено к нам насилие — мы возлагаем ответственность на редакторов «Русской воли», «Речи» и «Единства»! — а газета Керенского «Дело народа» (демократы, у которых проснулась совесть демократов) уже назвала их погромщиками. Мир революционной демократии поддержал нас в спокойной, выдержанной и достойной форме. Товарищи солдаты и рабочие! Вы не позволите омрачить свободу народа погромами!..

В воззвании, в листовке выразиться легче, пишешь как упрощённую статью. Но сейчас создалась неповторимая обстановка, когда и можно, и надо, и почти неизбежно — обращаться прямо голосом к массам. А ещё с Пятого года к тому осталась какая-то щемливая неуверенность. Ленин выступал тогда мало и перед малыми собраниями. Но надо преодолеть себя! Поехали с Зиновьевым в Измайловский батальон, а на послезавтра поспешил согласиться в Гренадерский. Но в Измайловском испытал, по сути, фиаско: как поднялся, окружённый сотнями этих солдат (с балкона Кшесинской другое, спиной ощущаешь поддержку своих), — и лица тупые, не привыкшие ни к терминологии, ни к дискуссиям, — как им говорить? Не о чём, он повторил свои тезисы и статьи в «Правде», — но как? Он произносил фразу за фразой о международном империализме, капитализме — и не видел никакого отклика на лицах. И пытаюсь прорвать пелену — невольно назвал Вильгельма коронованным разбойником, как ещё ни разу с приезда (и как было тактически несвоевременно, о Германии лучше пока помалкивать), и отмежевался от немедленного мира во что бы то ни стало: большевики так не призывают. А вот: немедленно свергать Временное правительство! вооружённый поголовно народ — вот кто установит необходимый порядок! — Но и это не увлекло толпу. — Так: немедленно захватывать помещичьи земли! Никому не доверяйте, полагайтесь только на свой опыт — и тогда Россия твёрдыми шагами пойдёт к освобождению всего человечества!

Нет, выступление досадно не удалось, и даже криков возражения не вызвало, крах. А вот Зиновьева — звонко понесло, слушали лучше, и говорил он легче, — вот как? так у нас ещё оратор появился?

Теперь давило это обещание Гренадерскому батальону — а там будет диспут, ораторы от кадетов и эсеров, — ни в коем случае там не появляться, так можно влипнуть, в один раз потерять всё значение! Там могут быть всякие неожиданности и провокации. (А вот, блеснуло, где нужны и будут успешны митинги: около булочных, у очередей. Один агитатор поговорил 5 минут и обработал сотню женщин: задача женщин — требовать немедленного возвращения с фронта их мужей, сыновей братьев!)

Но буржуазная публика, однако так напугана фигурой Ленина, что сегодня наврали газеты, будто вчера он выступал перед пятью тысячами с крыши цирка «Модерн», тут на Кронверкском рядом. Митинг-то был, но без него. (И звали к аресту и погрому особняка, и ми-

лиция арестовала два десятка зачинщиков.) Посмеялся, представляя себя на крыше. А характерная ошибка: боится Ленина либеральная свора, боится!

Нет, надо учиться речи говорить. Этому можно научиться. Не красивые позы, не красивые фразы, а — зацепить, что берёт за нутро, и повторять, и повторять, и повторять одно и то же, как гвозди заколачивать,— вот и вся задача.

А ещё раньше задача: и в этих невысказано диких условиях травли и нависшего погрома, в этом политическом шторме — приводить к единству свою партию, команду собственного корабля. Это — прежде всего, без этого не продвинуться ни в чём. Ни в каких кризисах массы не способны действовать самостоятельно, массы нуждаются в руководстве со стороны маленьких групп центральных учреждений нашей партии. Срочно подготовить руководителей — а они воздействуют на массы. А какая была встреча на площади, ведь это потенциально — все наши, только надо их доработать. А у нас — положение самое тревожное, с приходом Каменева «Правда» сильно колебнулась к каутскианству, и это опасно разлагает ряды.

Собирал совещания, беседовал с отдельными группами, беседовал с отдельными товарищами конфиденциально — то на квартире у Стасовой, то у сестры Анны, прочищая мозги (выбирай: или ты верный слуга пролетарского дела, или предатель социализма и прихвостень буржуазии!). И — с сёстрами о том же, когда ездили на Волково кладбище к умершей недавно матери,— ведь это тоже два члена партии, два верных голоса важны, нельзя пренебрегать. (А с Инессой отношения до того испортились, что перед выездом из Швейцарии даже не мог просить её перевести прощальное «Письмо швейцарским рабочим», поручил Карпинскому.)

Сперва — все шарахнулись прочь, даже ближайšie партийные товарищи, всем показались его тезисы безумием. На ПК за тезисы подано 2 голоса, а 13 против. Ну да не одиночней сейчас, чем оставался в 1908, — перестойм и убедим! Быстро учась в российском воздухе, Ленин всё равно ничего не уступил им ни в программе, ни в политике. Он — чувствует, чувствует, как ветер революции рвёт в парусах дальше вперёд — а им кажется: пока хватит.

Нет! Кто говорит теперь, что буржуазно-демократическая революция не закончена, — тот беспомощно сдаётся мелкобуржуазной революционности, тот сам себя сдаёт в архив «старых большевиков». А «старые большевики» не раз повторяли заученную формулу вместо изучения живой действительности. Формула «буржуазно-демократическая революция не закончена» — устарела, никуда не годна, она мертва! — ибо это есть вера, что мелкая буржуазия сама освободится от буржуазии. И даже тот, кто говорит теперь только о «революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства» — и тот в силу этого на деле уже перешёл к мелкой буржуазии! Сейчас конкретное положение в России сложилось гораздо оригинальнее, своеобразие момента: неизбежен новый разгар русской революции! — она только начинается!! После того как лозунг «долой самодержавие» так внезапно осуществился — у пролетариата не оказалось следующего запасного лозунга. А такой лозунг — переход к социалистической революции! Начав революцию — надо же продолжать её! Да пролетариат должен был захватить власть ещё в самом начале движения! Надо помнить, что в революционное время пределы возможного тысячекратно расширяются. Как? — большевики — и боятся лозунга гражданской войны? Да как же можно, признавая классовую борьбу, не понимать неизбежности превращения её в известные моменты в гражданскую войну? Нет! Или принимайте лозунг гражданской войны, или оставайтесь с шовинистами! Мы — проповедуем гражданскую войну и в этом направлении работаем. Ну, можно говорить не «гражд-

данская война», а «революционные массовые действия», не так важно. Лозунг гражданского мира — мещанское нытьё, в каждой стране мы должны возбуждать ненависть к своему правительству. Вы возражаете: рабочие не готовы? Вопрос не в том, к чему рабочие уже готовы, а к чему их готовить. А когда массы поддались угару революционного оборончества, то для интернационалистов приличнее противостоять массовому угару, чем «хотеть остаться» с массами. На известное время надо быть и в меньшинстве против массового угара! Поэтому работа пропагандистов сейчас становится центральным пунктом. Конечно, умело и осторожно, прояснением мозгов, но вести пролетариат и беднейшее крестьянство, батрацких депутатов — к полновластию Советов. («Батрацкие депутаты» — это сверло в крестьянскую бесформенную массу.) Перед массами надо поставить нечто простое, что они могут охватить. Советы — это просто. Наш лозунг — не парламентарная республика, это теперь шаг назад, а республика Советов по всей стране снизу доверху! (Захватить бы нам Петроградский Совет — и это решило бы всю проблему власти.) Никакой поддержки Временному правительству! От первого этапа революции — ко второму! Парижская Коммуна слишком медлила с введением социализма. Контроль над банками, слияние всех банков в один — важный шаг к социализму. Уничтожить постоянную армию, полицию, чиновничество, а поголовно вооружённый народ будет сам осуществлять всё управление.

Главным противником, объединяя сопротивляющихся, тут выступал Каменев, и прямо в «Правде». И даже в «День» попало, что Каменев считает ленинский подход дезорганизующим. Да, он фактически переходит в положение изменника. Хотя бы то, что: как можно было, всего за два дня до ленинского приезда, проголосовать на Совещании Советов за единую резолюцию, не указав на классовый характер Временного правительства? Это — возмутительно и непростительно! И у него социал-предательская любезность к эсерам, он уступает им. Он слишком подглаживает, и недостаточно смело разрушает. И если будет нужно — то начнём его сейчас шельмовать. (И он не выдержит, и знает это.) Он оппортунист, но умеет быть послушным. А в конце концов — прошлого нет, есть только настоящее, кто полезен сегодня.

А Шляпников через два дня после приезда Ленина попал под трамвай, теперь в больнице. Да он-то как раз серьёзных ошибок не наделал, но всё равно ему в отставку, в новом периоде ему не справиться, он был временная фигура.

Есть закономерная необходимость в чередовании исполнителей. Суть успешного политического руководства в том, что видишь вперёд и видишь, где враг слабее всего в данную минуту, куда сейчас нанести удар, не вчера и не завтра, — но этим напряжением ты почти исчерпан, и остаётся только посылать готовых, послушных, согласных — туда, по открывшемуся направлению, и многие нужны другие люди: всего не переделать самому, да всего и не можешь сам уметь. Но в момент, когда ты высмотрел решение и, как гипнотизёр, переливаешь ток своей воли в того, кто будет действовать, — в этот напряжённый момент недопустимо в принимающем никакое сопротивление, несогласие, сомнение — оттого ударяет как этим же током, и расшвыривает.

Ах, Малиновский! Теперь ещё приложилась и травля о Малиновском: нашли документы, что он сотрудничал в охранке, и теперь тыкали Ленину, что он с Зиновьевым и Ганецким в «Правде» покрывал Малиновского, поручался за политическую честность его. (А ведь готовил возврат его в партию, и вот в январе печатал в «Социал-демократе», что все обвинения в провокаторстве сняты с него партийным судом как абсолютно вздорные, но, томясь в немецком плену, он не имеет возможности защитить себя. Теперь остановили экземпляры, какие ещё не разошлись.)

А пути? Путь ясный: рабочие должны проявить чудеса организации, чтобы победить во втором этапе. Массы боятся идти на второе свержение, опасаясь новых невзгод? Так надо толкнуть их через этот порог. Путь? Безусловно: создание рабочей милиции, Красной гвардии! Это уже начато, и надо срочно её укреплять. Красная гвардия — это и есть решение вопроса о вооружённом восстании! Эпоха штыка — наступила!! (А гласно отвечать: создаём для того, чтобы сопротивляться восстановлению монархии и попыткам отнять обещанные свободы.)

И особо: поддержка революционного Кронштадта. Большевики должны завладеть Кронштадтом! (Завтра приедут оттуда матросы агитировать Петроград против травли.)

И — никакого объединенчества с социалистами всех толков. Все они — мелкие буржуа, все они только колеблются, мешая прояснению рабочего сознания. Иду на немедленный раскол с любым в нашей партии, кто захочет объединенчества! Конечно, конечно, мы, большевики, хотим единства — вокруг нашей программы. Мы готовы объединять всех, кто способен в настоящую минуту идти на социалистическую революцию!

Десять дней обрабатывал так поодиночке, по трое, по четверо, готовя себе необходимое большинство, — тут понарастали какие-то новые члены партии, которых он и имён в Швейцарии не знал, какой-нибудь Томский или Косиор, и каждый, мол, имеет своё мнение! Но подсчитывается, что большинство уже набрал. Завтра собираем городскую конференцию большевиков и добьёмся правильных резолюций. Через десять дней собираем всероссийскую (кой-кого своих послал на места для правильных выборов) — и добьёмся круговой присяги верности. И ряды — сплочены.

И — верно рассчитать удары, по кому дальше бить. И наносить их — только успевать поворачиваться.

По либералам и Временному правительству — в первую очередь! Кадетский съезд — это было сборище беспомощных фигляров. (Съезды, съезды — ну, проболтаетесь.) И голос Временного правительства дрожит на каждом слове: в ответ на массовое дезертирство Гучков не смеет угрожать никакой карой! Ха! Против аграрных волнений — они совершенно беспомощны. И уже защемили себе лапу с декларацией 27 марта. Но это не значит, что по ним ослабить удары, — нет, усилить! и звать массы против них: гигантский переход от дикого насилия к самому тонкому обману! Не упускать ни чёрточки: вот Покровский и Коковцов вступили в банковский совет — сейчас же воззвать: *вчера министры — сегодня банкиры?* а во скольких банках участвуют сегодня Гучков, Терещенко, Коновалов? — банковские служащие должны собрать на них материал. Буржуазия свергла царя, чтобы сохранить своё господство империалистическим путём. Но тем, что она решила продолжать войну, — она ускорила германские действия по своему свержению. Временное правительство надо свергнуть, ибо оно — олигархия, буржуазия, не даст нам ни мира, ни хлеба, ни свободы. Но и: Временное правительство нельзя свергнуть, пока оно держится соглашением с Советами. А значит: поднимать массы сразу — и против нынешней гнилой «демократии», и против нынешнего советского большинства, поддавшегося обману разбойного буржуазного правительства. Совет по недостаточной сознательности сам сдаёт власть буржуазии, а вожди Совета — затемняют сознание рабочих. (Разрушили самодержавие — и, думают, достаточно. Никто из них не держится за власть, идиоты.) Рабочим Питера свойственна вражда к изменникам, так всеми силами поддерживать и закреплять эти чувства!

И весь огонь — по ведущей тройке исполкома: Чхеидзе, потому что он формальный председатель (снисходительная реплика: «Если Ленин и останется вне революции — нечего опасаться»), а Церетели и

Стеклов — потому что реально направляющие фигуры. (Скобелев — пешка, не в счёт.) И каждый раз, в каждой статье — бить по этим трем: они заняли позицию Луи Блана! глубоко-вредная социал-патриотическая каутскианская позиция! (Керенский — тоже русский Луи Блан, и опаснейший агент империалистической буржуазии, и классический образец измены делу революции, и балалайка, — но по нему пока не бить: слишком популярен в массах.) Мелкобуржуазные вожди, так называемые социал-демократы, только усыпляют массы, душат революцию сладкой фразой. Большевики — иуды, подчинились империализму Антанты! (На самом деле меньшевики — не противники, у них организации настоящей нет, как и эсеровская партия в растерянности, и возражения их в печати вялые, — но в том сейчас и задача партийной работы в России: вливать уксус и жёлчь в сладенькую водичку социал-демократической идеологии. Анархисты — другое дело, почти наши лозунги, но союзники опасные, у них грубо построено, не брать их в союз, да и руководства не делить.) На очереди задача: раскол внутри Советов — отделить пролетарские антиоборонческие элементы от мелкобуржуазных, крестьянских сторонников поддержки буржуазии. Разбитие социал-демократии, губящей революцию! И вот лучшее поле боя: сорвать заём Свободы! — это наиболее понятно массам: не давать денег! Все социалисты неопределённо мычат — и в этом будет наш верный успех. Крупно печатаем в «Правде»: «Резолюция Совета о займе» — против! (а мелко: большевистский проект резолюции). И вчера на Совете большевики говорили против займа сколько хотели — а меньшевики не смели и рта раскрыть.

А Минский фронтовой съезд потерял: голос большевиков там не слышен. Да потому что вопрос о войне — это орешек.

В принципе ясно: сейчас решающий фактор политической жизни России — усталые от войны солдаты. Наша партия убила бы себя, если бы пошла на обман, что война после свержения самодержавия стала оборонительной. Даже отвоевание Курляндии есть аннексия и попытка раздавить Германию. Никакой поддержки войне, ведомой Милюковым — Гучковым и компанией! Временное правительство — те же империалисты, но более умелые, отказ их от аннексии — одно слово. Опубликовать все тайные договоры и признать их не имеющими силы!

Но и дурачки-социал-патриоты, издавая свой манифест, обманывают массы лживой болтовнёй: обращаться о мире к буржуазным правительствам — это обман собственного народа. И мы должны заявить, что если бы в России победили революционеры-шовинисты — мы были бы *против* обороны их отечества. Возвания — не могут действовать на империалистические правительства, а русская революция должна дать пример германским рабочим — действием. Но и призыв к немцам свергать Вильгельма — измена социализму. (Связь с немцами? — не докажут и не поверят. А для масс — важней окончить войну и получить землю.) Победу над чужим империализмом — мы всегда отвергаем. Во-первых, надо свергнуть у себя Гучковых — Милюковых, только потом призывать. А во-вторых — английского и итальянского королей тоже надо свергать заодно, почему одного Вильгельма? И всюду — передать власть рабочему классу. Не допускаем аргумента, что пораженчество помогает кайзеризму, — надо именно содействовать на деле поражению своего правительства. Кто пишет «против государственной измены» «против распада России» — тот стоит на буржуазной позиции а не на пролетарской. Пролетарий и не может нанести классового удара своему правительству, не совершая «государственной измены», не помогая распаду своей «великой» державы.

Однако и пролетарскую позицию при сегодняшнем настроении масс слишком открыто обнажать нельзя. Невозможно прямо говорить, что мы согласны на сепаратный мир. (По всем немецким газетам прокатилось, что Ленин будто сказал в Стокгольме: скоро подпи-

шем мир если не всеобщий, то сепаратный. Никто не умеет язык держать.) Говоря напрямую: мы встречаем недоброжелательность тёмной солдатской массы. Патриотизм — это следствие экономических условий нации мелких собственников. Нет, научить своих агитаторов выражаться осторожнее: разве мы говорим, что войну можно кончить немедленно, бросать оружие и не защищать родины? Да мы никогда не предлагали воткнуть штык в землю, когда армия противника готова к бою. Нас неправильно поняли! Мы только говорим, что надо кончить войну как можно скорей!

И так — правильно. В сё, что мы думаем, делаем, — не только не должно появляться в «Правде», — даже и очень близким не надо знать все го.

Всю свою жизнь — двадцать лет? тридцать лет? — Ленин провёл в тесноте, в коробочке, в подпольи, в кружке, сжатый со всех сторон и ограниченный в возможностях. И теперь, при внезапном миллионкратном увеличении доступного объёма, расширяясь сразу на весь Петроград, Россию, даже Европе! — как бы, как бы по неосторожности не наделать ошибок (уже отчасти наделал)? — ведь каждый маленький излом тоже увеличивается в миллион раз и виден сразу всем. А он — не левый-левый фланг социал-демократии, а — центр событий, этого ещё не поняли.

Шторм! (Символически попали в шторм, переезжая Балтийское море.) А в шторм надо делать — сразу всё: и неуклонно правильно вести корабль (штурвал всепартийный, всероссийский, всемирный), и крепить каждый предмет на корабле, чтоб он не болтался, да чтоб и вся команда работала в поту и без ошибок.

В Швеции, кажется, сработали отлично (та организация несколько не меньше важна, чем здесь). Прекрасная мысль оставить там бюро из Радека — Ганецкого — Воровского — для питания по тайным каналам и для пропаганды на Запад. (Ещё наладить ход курьеров к ним только архиаккуратно и осторожно.) Важно, чтобы Запад о событиях в России всё время был осведомлён в *нашем* духе. Пропаганду из Стокгольма на Европу взялись вести и левые шведские социалисты — они уже пригодились и ещё пригодятся, отличные товарищи, хотя и не сделали революции у себя. (Но если и Швеция и Швейцария сдвигаются к революции, то можно представить, как же кипит в Германии и в Австрии!)

Парвус прав: деньги, деньги и деньги! — и сейчас нужней и нужней, чем раньше. Массовые действия невысказанные без крупного финансирования. И уже первые взятые суммы таковы, что не собрать бы самыми удачными экзами, — а будет больше! Гарантировано больше.

Важно, чтобы и партнёры работали без ошибок. Пока что немцы играют отлично: не только не шевелятся на фронте, но и выступили с мирными призывами к России. Это — очень, очень облегчает наши действия. Ещё бы они отказались публично от аннексий (Ромберг обещал хлопотать), насколько было б нам легче! Но разве откажутся? затрусятся. вонючие империалисты.

А не заковыряешь с ними мира — раздавят и нас.

Но! — (взлетая по спиральным мыслям) — но! — никто, кроме Маркса, не мог бы оценить, как на самом деле Ленин *переигрывает* германский генштаб! Если и отдаст кусок России — то не надолго. А зато разбудит в Европе силы, которые эту кайзеровскую Германию сметут! Они вступили в союз, да не по своему уму.

Сегодня — ещё не удалось серьёзно раскатать. Поначалу — трудней. А потом — пойдёт всё лихо.

Чувство гемпа! Он был — ещё никто, и не имел в России позиций. Но уже сейчас он предвидел не только победу, но — и сколько времени на неё нужно: три месяца! От дня его приезда через три месяца — можно будет брать власть!

Хотя, вот, чёрт подери, рассчитывай! Вчера прорвались к особня-

ку эти митрофанушки-гимназисты — всего, правда, человек двести, остальную тысячу, что ли, задержали нарядами на улицах, Троицкий мост перегородили милиционерами и не дали их колоннам соединиться и пройти. (А говорят: и какие-то войсковые части хотели идти с гимназистами.) Человек двести, они прорвались через караульных к самому особняку — дети! — и тут свистели, кричали «долой большевиков», «долой Ленина» и требовали, чтобы Ленин сам вышел на балкон с ними говорить. Пошли свои солдаты их разгонять — не расходятся.

Да идиотское же положение! — неужели к ним выходить, это уже карикатурная дрянь получается. (Да один такой мальчишка из пистолета выстрелит — и что? Кто за это отвечает?) Объявили им с балкона, что Ленина здесь нет. А пусть дети устроят собрание у себя в гимназии, туда придут большевики и докажут им чистоту и благородство своих планов. (Да они только и знают «долой», с ними бы поработать — можно и переубедить.)

А они — не поверили. И четыре часа — не уходили! И пришлось дурацки, ничтожно, когда надо было выехать — до двух часов дня сидеть затаённо, спрятавшись — от детишек. Вот уж — запредельная глупость, испортили весь день. Вот и рассчитывай темпы.

Мизер! Пигмейство...

16

(фрагменты народоправства — провинция)

* * *

Поезд идёт из Уральска в Москву — публика осмотрительно молчит о событиях. На переправе через Волгу группа офицеров отозвалась неодобрительно — их на пристани задержали и допрашивали. За Саратовом вагоны набились солдатами, едущими неизвестно куда. Говорят, в Кирсанове произошло избиение буржуев и начальства и создана Кирсановская республика.

* * *

Во многих домах многих городов появились портреты Керенского. А деньги и разменные марки ходят прежние, с царскими изображениями — и обыватель ёжится: ещё царь вернётся, надо б себя пооглядчивей держать.

* * *

В Сызрани солдаты гарнизона два дня громили магазины, винный склад, пивной завод. После этого спиртные напитки были уничтожены на всех складах, где ещё оставались.

В Риге толпа разгромила пивоваренный завод Вальдшлесхен. Перепились, дрались, несколько человек убито.

* * *

В Пензе, после крестьянского съезда, арестованы губернский предводитель дворянства и весь состав земской управы.

Во множестве мест в дни революции создались самоуправные «исполнительные комитеты», «комитеты общественной безопасности», «комитеты народной воли». Они действуют наряду с городскими самоуправлениями, спорят с ними, смещают их и представителей центральной власти. Захватывают здания, реквизируют товары и средства передвижения, меняют таксы.

* * *

В Донецком бассейне на Алмазовском руднике исполнительный комитет арестовал четырёх инженеров и штейгеров. Рабочие всего бассейна требуют повышения заработной платы вдвое.

В Бердянске местный заводчик, британский внештатный консул Гривез, рассчитал часть своих рабочих и отказался явиться по вызову на их собрание. Его привели туда силой. Но он отказался возобновить соглашение с рабочими, послал телеграмму британскому послу в Петроград, выставил над своим домом британский флаг и объявил о неприкосновенности своего жилища.

* * *

В Сергаче городской комитет приступил к обыскам и реквизициям продуктов в частных домах: «для снабжения сельского населения».

В Сычевке (под Ржевом), городе с 10-тысячным населением, жители были возбуждены агитаторами, что скоро все получат дешёвый хлеб и дрова, а солдат распустят с фронта по домам. Затем группа лиц в 60—70 человек начала повальные обыски у населения,

ища запасы муки, крупы и сахара. В составе розыскных отрядов были и известные воры. В дверях становился солдат со штыком, а обыскиватели перерывали комоды, гардеробы, сундуки, чердаки и подвалы.

* * *

В Минске на Базарной площади на Пасхальной неделе толпа сильно избивала нескольких бывших городских — били до потери сознания, пока они не истекли кровью. Милиция взяла их. Но на другой день собралась толпа разгромить и милицию.

В местечке Кормы Рогачёвского уезда толпа солдат и крестьян силою привела на базар начальника почтового отделения, волостного старшину, писаря, казённого раввина и бывшего урядника — и над ними учинили самосуд.

Наметили судить так же: священника, учителя и врача.

Местные исполнительные комитеты там и сям отстраняют священника от богослужения и даже... «лишают сана».

* * *

В Волчанск явилось несколько человек в солдатских шинелях, заявили, что присланы из Петрограда для устранения старой власти. Собрали толпу на митинг и постановили: сместить и арестовать уездного комиссара Колокольцева, старого земского деятеля Волчанска. Обшарили земскую управу, частную квартиру — не нашли его. Тогда эти приبلудные солдаты завладели оружием со склада и на земских автомобилях помчались искать Колокольцева по уезду. И нашли — но в сотне саженей от наступающего Колокольцева автомобиль преследователей наскочил на столб. Стреляли вослед — не попали. Тогда отравились громить имение Колокольцева, а потом в Харьков — требовать ареста его. Один из «солдат» оказался переодетый гимназист.

* * *

В Кострому приехал капитан Каминский и предъявил начальнику гарнизона приказ Государственной Думы, что направлен сюда как комиссар Временного правительства, чтобы ему оказывали содействие при аресте сторонников старого режима. В городском театре он устроил митинг солдат и рабочих и предъявил городской управе требование отпустить 150 вёдер спирта для нужд лазаретов. Был заподозрен, арестован, при нём нашли 7 печатей, среди них — Думы и Временного правительства.

* * *

В станице Урюпинской в местную казачью команду явился офицер Огрызкин и объявил, что действует по приказу Совета рабочих депутатов и Российской социал-демократической партии. Собрал весь гарнизон станицы и несколько часов гонял его церемониальным маршем мимо себя, выражая благодарность. Затем арестовал окружного атамана, административных лиц и всех учителей станицы и продельвал дерзкие выходки. По его приказу местный аптекарь выдавал казакам несколько раз спирт, затем 400 рублей деньгами.

Узнав о всём том через два дня, войсковой атаман в Новочеркасске обратился за помощью в Совет рабочих депутатов — но там ничего об Огрызкине не знали.

* * *

Собрание наборщиков тифлиских типографий постановило, чтобы наборщики сами просматривали газетные статьи и все подозрительные отсылали бы на проверку.

В одну из симферопольских типографий явился местный интеллигент с солдатами, арестовал владельца и под угрозой оружия приказал отпечатать листовку, что все магазины отнимаются у владельцев и объявляются собственностью города. Потом расклеивали их по уличным стенам.

* * *

Во Владикавказе Совет постановил прибавить зарплату трамвайщикам и установить 8-часовой день. Директор трамвая Лоран ответил: или повысьте плату за проезд, или бесплатно добавьте электроэнергию. Его вывезли из депо на тачке и посадили под домашний арест. Трамвайщики забастовали, электростанции тоже, и город был во тьме. Совет рабочих депутатов добавил в городскую думу 60 «демократических представителей», не имевших никакого понятия о городском хозяйстве, вся забота их была — прибавить всем служащим зарплату, а домовладельцев прижать. Установили высокие оклады милиционерам, не смеяемым без разрешения Совета, и председатель совдеповской комиссии товарищ Гонский брал подношения натурой и деньгами за то, чтоб устроить в милиционеры. Вершителями же всех судебных учреждений стали адвокаты.

Тут приехал Караулов. Его несли на руках от вокзала до атаманского дворца, и гремела музыка. Местный дворянин Московенко испуганно выкрикивал о свободе, о народе и шваркнул оземь свою дворянскую фуражку с красным околышем в знак полного разрыва с прошлым.

* * *

Редактор «Козловской газеты» Третьяков считал себя народником ещё с 1879 года. От эсеров он уклонялся лишь потому, что они вели террор. Теперь услышал, что они от террора отказываются, — решил вступить в козловскую группу эсеров, объявленную на митинге в городском саду, и заплатил фельдшеру вступительный взнос. Но когда пришёл на их собрание, был поражён обилием подростков обоего пола не старше 16 лет, все —

члены партии. А так как собрание тут же стало поносить, топтать в грязь газету Третьякова, его самого и его сотрудника Буревестника, — то он к концу заявил, что выходит из партии.

* * *

Глава тюменского исполнительного комитета Колокольников осердился на статью местной газеты «Ермак», послал на квартиру издателя Афросимова отряд из двух офицеров и дюжины солдат, арестовал, отправил в тюрьму, потом с конвоем в Тобольск к губернскому комиссару, а там ему объявили ссылку в Сургутский край. Типография «Ермака» стала выпускать «Известия исполнительного комитета».

* * *

В Перми солдаты стихийно собрались на митинг и решили: совет рабочих и солдатских депутатов не оправдал надежд, вот попрятались, не пришли, — устранить их! Пошли толпой арестовывать бывшего полицейстера Церешкевича, ещё при прежней власти ушедшего в отставку. Церешкевич поспешил в милицию сам и просил его арестовать. Толпа повалила арестовывать бывшего губернатора Лозино-Лозинского в своём доме, не слушая объяснений, что он уже был арестован и выпущен до суда, числится за прокурором. Арестовали его в доме, он ударил одного из толпы — за то толпа плевала в него и посадила в камеру в нижнем белье.

Потом стали ходить арестовывать просто по выкрикам: «Арестовать командира полка!» — «Арестовать и адъютанта!» — «А почему правительство не всех уголовных выпустило?» Пошли освобождать уголовных, но другая встречная толпа солдат уговорила, что не надо. Тогда арестовали начальника арестантских рот Абатурова, которого на днях сами арестанты и выбрали. Арестовали воинского начальника — за то, что мешкал с отправкой милиции на позиции. Арестовали тюремного инспектора, всего 12 человек. Ещё хотели арестовать и губернского комиссара Ширияева, но вставшего от сыпного тифа, но передумали. На другой день выяснили, что всю толпу возбудил один агитатор Черупнов, — арестовали и его.

* * *

В Дарьином Бору под Нижним Новгородом нашли убитого, с огнестрельными и резаными ранами, мастера Сормовского завода Зайцева.

В пригороде Канавине амнистированный вор-рецидивист Тюрин из мести смертельно ранил солдата, тяжело — его сожительницу, и покушался убить милиционера. Толпа подвергла Тюрина зверскому побоям. Его увели в участок — требовала выдать из участка для самосуда. На носилках вора понесли в больницу, он пытался бежать и снова избит толпой.

* * *

На окраине Ярославля ингуши напали на девушку. Пленные австрийцы вступились за неё. Тогда ингуши стали избивать австрийцев, а солдаты заступились за австрийцев. В кровавой свалке убито 7 ингушей.

* * *

По Витебску всё больше появлялось солдат в растрёпанных шинелях, с отстёгнутым или оторванным хлястиком, на папахах отрывается мех, небриты, нечёсаны — и, не стесняясь, просили милостыню. Горожане сочувствовали: «Посмотрите, как завшивели наши воины, пока офицеры по ресторанам сидят». Зазывали солдат, кормили, устраивали для них денежные сборы. Но вскоре оказалось: это не фронтовики, а тыловые рабочие, подсобники, да кто скот на бойню гонял.

Однако комендант города не решался вылавливать солдатскую шлану.

* * *

505 арестантов смоленской каторжной тюрьмы упросили отправить их на фронт. Сперва губернский комиссар Тухачевский отпустил их пройтись по городу с оркестром и устроить публичный митинг. Затем их проворно осмотрела медицинская комиссия, а на третий день эшелон с каторжанами уже шёл «на защиту родины». По дороге они сбежали.

* * *

В Тирасполе 18 подследственных уголовных задушили надзирателей, других связали, захватили оружие и бежали из тюрьмы.

В Бендерах стали широко перегонять на водку свободно продаваемый денатурат. Толпы неорганизованных солдат устремились на базар, назначали низкие цены, отбирали по ним продукты. За ними — и не солдаты, тоже. Толпа громил устремилась в предместье Гиска бить винные погреба — «чтобы не достались немцам», и напиваясь до бесчувствия. Потом стали прорываться в дома обывателей, были случаи насильственного изнасилования женщин, растления детей, убийства. Из Одессы прибыли отряды конницы.

* * *

В Киеве губернский съезд военнопленных немцев, австро-венгров и турок потребовал, чтобы к ним применили 8-часовой рабочий день.

Комитет общественных организаций ввёл тагсу на извозчиков — и они все забастовали. (И харьковские тоже.)

Тут ещё проходил съезд украинских националистов, требующих автономии Украины, не дожидаясь Учредительного Собрания, — и за всеми этими заботами пропустили бороться с наводнением Днепра. Залило Труханов остров до чердаков, много барж сорвалось и у Цепного моста столкнулись с пассажирским парходом. Вода затопила городскую электрическую станцию на три сажени, генераторы остановились, город остался в темноте. На следующий день власти реквизировали в лавках свечи и керосин, чтобы выдавать их через участки, кому крайне необходимо. Газеты не печатались — и город наполнился слухами.

* * *

В Каменец-Подольскую городскую Думу ворвались воспитанники коммерческого училища. Они обвиняли думу, что реформы слишком нерешительны, и требовали устранить городского голову Туровича. Турович снял с шеи цепь городского головы, ушёл из Думы и покончил с собой.

В Кишинёве одесские делегаты создали Комитет борьбы с контрреволюционным порядком и уволили нескольких директоров, инспекторов и преподавателей средних учебных заведений.

* * *

Весь апрель Одесса переживает эпидемию краж и налётов — оттого, что в крупных южных городах сразу освободилось три с половиной тысячи уголовных, и они большей частью стянулись в Одессу. А тут после отмены полиции никто не охранял имущества. Одна молодая женщина, муж которой на войне, полночи отстреливалась через окно от трёх вооружённых грабителей.

По разрешению новых властей в кафе «Саратов» состоялась открытая конференция уголовных из одесской тюрьмы, человек 40, среди них лидеры Григорий Котовский, Арон Кинис. Котовский сказал:

— Мы из тюремного замка посланы призвать всех объединяться для поддержки нового строя. Нам надо дать подняться, получить доверие и освобождение. Никому от этого опасности нет, мы хотим бросить своё ремесло и вернуться к мирному труду. Объединимся все в борьбе с преступностью! В Одессе возможна полная безопасность и без полиции. Нужно собрать денежный фонд в помощь нам.

Ораторы поддержали. Был начат сбор денег. В тюрьме был установлен мягкий режим, легко отпускали в город погулять. Уголовники стали исчезать. В самой тюрьме они проникли в подвал, где хранилось вино для тюремной больницы, перепились, ворвались в квартиру помощника начальника тюрьмы, учинили разгром, похитили ценностей на 50 тысяч и скрылись.

Котовский, свободно отлучавшийся в город для общественных дел, тоже не вернулся.

За время «самоуправления» расхищено много имущества из тюрьмы — медицинская посуда, бельё, кожаный товар.

В Одессе арестованы член Союза русского народа Дудниченко и ряд представителей высшего общества «за агитацию против совершившегося переворота». Ночью свезены на военное судно. Затем освобождены за недоказанностью обвинений.

* * *

В Таганроге, в ночь на 12 апреля, шайка злодеев задушила семью Витонова из трёх человек и случайно заночевавшую у них знакомую. Вешали по очереди, старика ещё и пытали: где деньги?

* * *

Астраханский комитет общественных организаций постановил привлекать в милицию женщин и использовать их также на наружных постах.

* * *

В Ростове-на-Дону толпа солдат и женщин явилась в городскую управу и требовали выдать им сахарные карточки без всяких на то документов — «мы в окопах страдаем, а вы сахару не хотите дать?». Заведующий, уступая силе, выдал карточки и солдатам, и толпе женщин.

Ростовская и нахичеванская городские думы разогнаны, а ростовский исполнительный комитет запретил членам управы выезд из города, чтоб не пожаловались правительству.

В Нахичевани-на-Дону ограблена армянская церковь. И в центре города днём, на глазах многочисленной толпы — ювелирный магазин Кечеджиева: ворвались трое с револьверами, хозяйина связали, приказчика убили, наворовали ценностей и унесли.

В Нахичевани днём подошла толпа, много солдат, к памятнику Екатерине II, поселительнице армян. «Не место тут закабалительнице крестьян! Перелить в снаряды!» Двое забрались на фигуру, зацепили её верёвкой за шею, толпа с гиком, свистом потянула — и свергла на землю. При падении разрушилась решётка у памятника. Поволокли к Дону — топить. Тяжело. 60 пудов, не дотянули. Кинулись в городскую управу, потребовали выдать висящий там портрет Екатерины — и разорвали в клочки.

Нахичеванские армяне оскорблены.

* * *

В Корсуни Симбирской губернии у памятника Александру II, сооружённому на средства крестьян, собралась толпа солдат и горожан. Ораторы обращались к бюсту: «Хоты и дал волю, но сорвал за землю миллионы».

И тут же разрушили памятник.

* * *

(от З. Гиллиус) В Бугуруслане начальница городского училища, не только с красным бантом на груди, но и с красными ленточками в волосах, отменила все оценки: — Вы — дети Свободной России, и должны сами сознательно относиться к своим обязанностям.

* * *

Утром 14 апреля в Казани сгорели большие товарные склады станции, миллионные убытки.

*Места глухие
Зажги зарницей!
И вся Россия
Да озарится!*

(из газет)

17

Все игры Юрика Харитоновна в детстве, с чего ни начни, сходили на военное. Подарили когда-то ему домино — из утонченных дощечек, а края сточены на ребро, так что если две дощечки сталкивать, одна другую может перевернуть. В это домино он почти никогда и не играл, как все играют, а проводил между дощечками поединки и целые бои между армиями: какая дощечка переворачивалась отточиями кверху — та считалась убитой. Были особенно устойчивые дощечки, редко переворачивались — их он уже знал и не по счёту точек, а по мелким особенностям волокна снаружи, присваивал им имена любимых книжных героев — всегда военных, с мечами или шпагами, давал им вести войска и сталкивал их друг с другом в фехтовальных состязаниях. Много часов проводил он в этих войнах — и никогда не надоело.

Такие же сточенные края обнаружил он и у маминых преферансовых костяных фишек в шкапулке. Там были длинные, квадратные и круглые, и всех цветов, и если длинной нажимать на край короткой, то короткая далеко прыгала. Сперва они с товарищем так играли в блошки, запрыгивали в вазы или кто дальше, но скоро выяснилось, что все красные, белые, зелёные, жёлтые, синие фишки можно вести друг на друга в бой как полки, пересекать препятствия, брать города, а накрытая считается убитой. И таких войн Юрик тоже много провёл.

Сам он был над ними всеми как судья живота и смерти, но невольно вселялся в любимых героев — и так становился полководцем. Если случалось, что дома никого нет, он перед большим зеркалом маршировал, наступал на зеркало, дуя в воображаемые трубы, бьё в воображаемый барабан, а потом принимал восторги и благодарности освобождённых жителей.

Так и атлас Мира, при всей любви к географии и путешествиям, Юрик стал использовать больше всего для ведения военных действий: карандашом чертил изгибистые линии фронта, подводил войска на прорывы, воображал бои и в результате их стирал и перемещал линии. Он даже любил доводить своих до отчаянного положения, а потом героически спасать в последнюю минуту. Хотя в атласе были все страны, заманчивые океаны и острова, но Юрик никогда не водил свои войска на завоевание тех далей, а все битвы его происходили на теле России и даже особенно ближней, южной. Почему-то именно такая и здесь война влекла его и была осмысленна.

После того что старший брат Ярик ушёл в военное училище, мама добилась от Юрика клятвы, что он будет честно кончать реальное и становиться инженером, как Дмитрий Иванович. И Юрику нравилось реальное и нравилось стать инженером тоже — а вся эта военная страсть его была как бы тайной души, второй незримой жизнью, о которой никому и не надо было знать, он и товарищей не посвящал

в свои перепоздненные игры, в которые уже и стыдно было играть после десяти лет, а он иногда поигрывал и в тринадцать.

Это была его тайна, а может быть — тот мужской удел, что каждому, кем бы он ни был, чем бы ни занимался, — неизбежно в жизни воевать, и это даже главнее всего.

Юрик собирался быть инженером — а смерть свою представлял только в бою! Это была единственная желанная и достойная смерть, а не так, как умирают: весь пожелтевши, подмостясь надувными подкладками, в затхлости лекарств и харкая в пузырьёк. Юрик совсем не умел писать стихов, а образ этой славной смерти — под верным знаменем, за правое дело, уже проткнутый несколькими копьями, а всё наступая с мечом, — так лучезарно рисовался ему, что в двенадцать лет он описал полустихом на одну ученическую страницу: «Вот как я хотел бы умереть». Тоже — для одного себя.

Это было — ещё до начала войны, никто о ней ещё и не думал. А тут же — и грянуло. По тротуарам, по Садовой вниз он бегал рядом с уходящими на вокзал войсками и громко подпевал их оркестрам. Он любил их всех, уходящих на войну, и так бы хотел идти с ними! Но это было никак не возможно: не потому что мама запрещала даже думать — мамы и всегда запрещают и руками держат, а — никто бы его и не взял: с начала войны ему было двенадцать. Царевич Алексей, на два года моложе Юрика, всё время фотографировался в военной форме, но это было нарочно, ведь он не воевал. Иногда в журналах мелькали фамилии или даже фотографии каких-то военных юнцов, но очень редко, неизвестно где они были, и как будто старше Юрика. Наверно, редко кому повезёт, а то вернут.

И так два года шла война, два года колыхалась реальная линия фронта, а Юрику исполнилось всего только четырнадцать, и он каждый день накидывал ранец за плечи (впрочем, и в этом было солдатское) и шёл на Соборный переулочек в свою маленькую школу, реальное училище Попкова, рядом с почтамтом. Здесь он любил каждую классную комнату, каждую по-своему, и маленький зал, где по переменам бегали в пятнашки, и особенную у них почему-то чугунную лестницу, всякую перемену грохочущую под каблуками реалистов (а на перилах набиты чурки, чтоб не съезжали ерзком). Он соединял батарейки в физическом кабинете, переливал пробирки в химическом, скользил указкой по большим школьным картам (всю географию он знал с закрытыми глазами, всю Землю ощущал как излазанный пол под роляем), а то рассеянно косился в окно на узкий многолюдный Соборный внизу, особенно замечал бинты раненых, если проходили, и часто думал про войну: странно застала его настоящая большая война, а никак ему на неё не попасть, сколько б она ни тянулась.

И какое-то закрадывалось ощущение внутреннее, что так и должно быть. Что какая она ни Вторая Отечественная, огромная и необходимая, и старший брат на ней, — а к Юрику Харитонову она почему-то не должна отнестись, обманула. Не потому что неудачная — он даже особенно любил неудачные войны, на них изрядно нужны герои, а по чему-то другому — она не его война, не та, где он нужен и о которой всегда мечтал. (Но после такой кровопролитной какая же другая вскорости могла прийти на Землю, чтобы стать его войной? Невеоятно.) Так что он и рваться на неё перестал, просто учился, просто жил.

А тут приехал в отпуск брат! — и Юрик пристал к нему быть сколько можно вместе и слушать-слушать его рассказы про войну! Но война, может быть и сохраняя свой главный высший доблестный смысл, раскрылась в рассказах Ярика такой тяжёлой, неуклонной, громоздкой, за тысячу вёрст от лёгкой стройности, как Юрик рисовал. Он и ещё поустыл.

А тут разразилась и революция! Две недели плескало по Ростову

и у них в семье, слёзы на глазах мамы и Жени, ликование всех знакомых — Юрик было отдано ему, забыв и про войну всякую. Но Ярослав успел и тут поохладить младшего брата: что революция может привести к развалу армии. А потом, уехав, писал (не говори маме), как и его самого солдаты оскорбляли в поезде, чуть не сорвали погоны! Юрий перенёс это унижение вместе с братом, дрожал от гнева. И какая тогда, действительно, осталась война??

Было и такое последствие революции: учителя на уроках стали читать вслух газеты и говорили о счастливом будущем, а уроков можно и не готовить. Стало можно сперва — устраивать митинги на переменах, потом — и собрания вместо уроков, избирать самоуправление, делегатов в педагогический совет. А в Петровском училище собирали то всеростовский сбор всех гимназистов, то — всех реалистов. Говорили речи: требовать, чтобы учащихся уравнили в правах с учителями, а среди попечителей и инспекторов произвели бы прочистку. Из старших классов записывали и в гражданскую милицию, а во главе милиции стал обыкновенный студент. И Юрик записался: ведь там будет доставаться иногда надевать на плечо ремнём настоящее ружьё! Но записалось гимназистов и студентов — много сотен, и как ни разбивали на роты и десятки, а был только галдёж, пустое озорство, ничего военного там не оказалось, и Юрик оттуда выписался. Тут же пошёл слух, что экзамены или все отменят, или наполовину, и учебный год сократят, и стало можно пропускать занятия, и ничего. Юрику такой новый беспорядок очень не нравился: опустошался большой кусок жизни, а праздник всё равно какой-то ворованный. И у строжайшей мамы в гимназии тоже порядки ослабли сильно, и тоже бывали собрания гимназисток, выборы, — и мама не сердилась, не запрещала, а находила это правильным. Да за семейным столом две недели только и разговоров было — о новой свободе, о новом общественном градоначальнике и комиссаре Временного правительства Зеелере и как разогнать старую консервативную городскую думу, она не хочет расходиться.

А ещё за эти недели в Ростове, и всегда славном грабежами, — они стали теперь слишком частые и даже дневные, а кого ловили, то еле вырывали власти от самосуда бешеной ростовской толпы. Чего раньше не бывало — все банки теперь охранялись часовыми-солдатами, а по городу ходили вооружённые патрули.

И потеряться бы можно во всём ералаше этой весны, да отметилась она в Ростове ещё одной стихией: небывалым, как говорят, за тридцать лет наводнением Дона! Уж во всяком случае за жизнь Юрика ничего подобного никогда не происходило! Сперва от таянья взбухла Темерничка, залила привокзальную площадь и отделила вокзал от города. Потом и Дон стал подниматься и разливаться, и поднимался, и разливался, — и во вторую и в третью неделю апреля это стало уже настоящее море: с высоких правобережных откосов, с верхних этажей уступных зданий на Воронцовской, на Конкринской — ни простым глазом, ни уже в бинокль не увидеть было того берега, залило, говорили, на 15 вёрст. Залило Зелёный остров, даже и с верхушками деревьев, Батайск, Елизаветовку, Ольгинку, Койсуг, потом стали приходиться вести, что страшное что-то в Старочеркаске: снесло пятьсот домов?! И во многих верховых станицах тоже разорение. Но вода угрожающе поднималась и дальше! — в день приходило по несколько новостей. В двух местах смыло пути между Ростовом и Новочеркасском, поезда больше не ходят! И в Таганроге наводнение! — затоплены соседние сёла, уничтожено много скотского корму.

А наверно ещё потому эта стихия так влечёт, что отсасывает тоску от сердца. Тоску по девочкам.

Этой весной просто нестерпимо стало Юрику по девочкам. И с какими он был знаком, случалось разговаривать, ни с какой — просто. А одну, другую, пятую и седьмую, каждую недолго, он мечтал себе

в идеал или просто жарко целовать. Юрик вообще прыгал, бегал, плавал, дрался, обливался холодной водой, всегда ощущал себя подвижным и стойким — а только чувство к девочкам разливалось по телу слабящей мутью, ни на что не похожей, так что оставалось сидеть, лежать — а шевелиться и действовать невозможно. Всё в жизни — утро, звонок, книги, еда, лодка, лопата, коньки — звало к бодрости, и только это одно растравляло в слабость, как заболевание.

И именно теперь, в этот взбудораженный месяц, постиг его такой случай. В скаутском обществе, на Таганрогском, остался он как дежурный убирать зал после всех. Потом спустился в подвальный этаж в душевую. Обычно там мылись большой компанией, шумели. А тут — он ещё и воду не включил, услышал: за перегородкой, в женской купальне, кто-то вошёл, тоже одиноко, опоздав. Слышно было отлично, оказывается, перегородка не доходила до потолка на аршин. И, босыми ногами беззвучно, он стал переходить, искать щёлку, щёлку — и нашёл! Вполне довольно, чтобы как раз напротив щёлки увидеть раскрытую дверь в женскую раздевальню — а там! — там Мила Рождественская, дочь доктора, которую он сразу узнал, — раздевалась у скамейки! Раздевалась — и до самого конца! Юрик думал — сердце разорвётся, этого нельзя перенести. Он потерял всякое сознание. Но и тотчас смекнул, что по этой перегородке сумеет взлезть, есть куда ставить пальцы ног, и под потолком можно беззвучно перемахнуть. а там — хоть спрыгнуть, спуститься внезапно перед ней — и будь что будет! Заднюю дверь её раздевалки она наверно заперла, не войдут — и, нисколько не стыдясь своего откровенного вида, открыто просить, умолять её о ласке. Они — довольно близко знакомы, она не должна слишком испугаться. Да разве он знал её до этой минуты? — только с этого прозора через щёлку Мила стала ему близка несравненно со всеми девчёнками Ростова. Всё затмилось! — и он полез как одержимый, но крадучись, ещё слышно, она тоже ещё не включила воды.

И — уже был головой у верхней перекладки, когда остановился. Не испугался, нет. И не отчаялся, что она его прогонит, пусть прогонит, он так же перелезет назад — он уже сейчас чувствовал себя соединённым с ней этой тайной, которую она через миг тоже узнает, — всё пылало в нём, стучало, ноги подрагивали, а не сорвался. Но уже под самым потолком, при перелазе, вдруг подумал: а неблагородно! она же беззащитна; и — может, она не заперлась? и оттуда, сзади, ещё войдут кто-нибудь? Не за себя испугался, за неё: что о ней тогда подумают?

Не решил. Раздумался.

Стал тихо спускаться.

А Мила включила воду, шум — и уже стояла не против щели. Кусал руки — в бессилии, и в презрении к себе.

И теперь на этом лихом наводнении Юрик разгуливался, забывал, не так жжёт.

А та-ам! Там — размыло дамбу через луга Владикавказской железной дороги за большим мостом! — вот-вот прервётся и сообщение России с Кавказом! И — ура, прервалось! — снесло мост между Заречной и Батайском на 8-й версте, там теперь пассажиры поездов переходят по всяческому мостику! В Батайске вода поднялась до окон, переселяются в товарные вагоны. При ветре ходят по этому морю — прямо морские волны. А не подорвёт ли вода и огромный ростовский мост? (Вот бы рухнул, только без поезда!) Вода наступала и на главный ростовский вокзал, мобилизовали людей и ломовых спасать пакгаузы товарной станции. А в порту! — залило мастерские, газовый завод, конторы, склады, часть электрической станции, не говоря уже, что везде сносило баржи, лес, лодки. (Юрик с приятелями успели свою лодку вытащить почти в город, на подъём.) Мобилизованы были (от роспуска думы не сразу власти нашлись) все паровые катера, все

шлюпки яхт-клубов — и Юрий с друзьями тоже ходили помогать, и нагружали, и отгребали, совсем уже забыв ослабевшие теперь уроки.

Всякий порядочный ростовский мальчик хорошо плавает, гребёт, и рыбу ловит, и любит Дон, и проводит много дней на воде. Но такой воды никто сроду не видел, терялись и здоровые мужчины. (И Юрий всячески скрывал от мамы, что ходит бортыжать по наводнению, и низы брюк отмывал и высушивал. Но дома не замечали, своя суматоха: у сестры Жени родился Мишка, теперь ещё один юриков племянник.) Уже никак не речная, не озёрная — истинно морская ширь, прикатившая в Ростов! — как грудь дышала! как на моторке нестись!

Ясно, что ничего хорошего во всём этом не было, а какая-то колотилась радость. Почему-то нравится, когда происходят беды, и даже грандиозные катастрофы, — хоть бы и сомной, и с нами, и вот коров перевозят в лодках, а железнодорожные пассажиры поплыли пароходами на Азов. Здорово! Есть в этом захват. В катастрофе — что-то сладкое есть.

18

Может быть, зря Алина в марте уезжала от Жоржа в Борисоглебск, это была ошибка. Надо было встретить его в лицо и послушать, как он будет оправдываться. А уже поехав — напротив, не надо было писать письма, сорвалась, тут Сусанна права. Но поди не сорвись, когда грудь пылает как раскрытая рана.

Но Сусанна оценивает обстановку серьезней и опасней, чем она есть. Она не знает, насколько Жорж всё-таки совестливый, и этим даже не типичен для офицера: сделав дурное, обидев, он потом неизменно подвержен саморазбираниям, поиску прощения и желанию загладить.

Всё ясно: измена его произошла от того, что он отбил, отвык от жены. Она так заполняла всегда его жизнь — и надо снова так после войны. Надо — окружить его собой.

И вдруг — Жоржа возвратили в Ставку! — перст судьбы. (Конечно, ещё бы лучше — вернули б его в штаб Московского округа.) И Алина, не колеблясь, решила покинуть свою московскую жизнь и наладившиеся концерты — и ехать к нему в Могилёв, чтобы постоянно быть с ним, восстановить непрерывность семейной жизни, главное — непрерывность. Создать в Могилёве хоть и временное, но уютное существование.

Перевозить обстановку было бы, конечно, безумием. Да и найти квартиру в переполненном городе совсем нелегко. Но у Корзнеров оказались в Могилёве дальние родственники, и по просьбе милой Сусанны согласились сдать Воротынцевым меблированный флигелёчек у себя в саду. Конечно, вести хозяйство здесь намного трудней, но дело к весне, печей не топить. Конечно, кое-что изменить, перевесить, переставить, довести из московской утвари, а одну комнату освежить побелкой — хлопот много, но всё это живо, радостно. Алина бурно действовала, и даже хозяин удивился, «какой она орёл». Да энергия её — неукротима, если есть на чём развернуться.

А кончились хлопоты с устройством — и вдруг надвинулась страшная апатия, пустота.

Нет, только ни за что не скисать! Держаться.

Сусанна, провожая, настаивала и настаивала: не поддаваться влекущему урагану упреков, сердечной жажде высказаться до конца: от шквала самых справедливых обвинений может стать только хуже, и даже всё развалится. Гораздо умней притвориться, что всё прошло, на этом всё и забыто, что с той мерзкой женщиной всё кончено, отрублено, и навсегда. Принять полностью как искреннее, сделать вид, что принято и поверено, и теперь только зорко следить. Но, добавляла Сусанна: ещё и быть весёлой для него, лёгкой, — с такой жгучей раной в сердце попробуй!..

Во флигеле стояло и пианино — но боже какое расстроенное, как можно было до такого состояния довести, дикари! А в чужом городе не так сразу найдёшь и хорошего настройщика, с первым попалась: он стал молоточки обрезать, и плохо. Нашла второго, этот бранился, что первый испортил, ещё резал, исправил. На всё ушло немало времени и волнений, но вот музыка полилась и здесь! (Свой бы рояль сюда!) Алина теперь не могла бы без музыки и неделю, да после всего пережитого в чём другом душу отвести, если уста обречены на немоту? — только ежедневной музыкой она и вырывала себя из апатии. И пусть эти звуки охватывают мужа при входе. Уж там вникает, не вникает, какая вещь играет, но чистая музыка должна очищать и его замутившую развратом душу.

— Знаешь, — сказала ему значительно, и хорошо у неё вышло: — Что бы там в мире ни случилось, войны, свержения, революции, но человек не должен погубить себя и свою душу.

И в этот миг глубоко-внимательно смотрела на него, вкладывая всё то, чего обещала не выразить открыто. Он вздрогнул, принял взгляд — и отвёл. Его это глубоко достало, она видела.

Да не только музыкой. Здесь, в вынужденной провинциальной запертости, можно было многое доделать и завершить — например, привести в порядок свой архив фотографий? Делать бы и новые снимки, ведь жизнь в Ставке — это не повторится. Но не такое отягощённое сердце надо иметь, нужна беззаботность. А так — делаешь-делаешь, да как вспомнишь, как потянется вся эта цепь мук и унижений, как он восторгался той негодницей, — прутьями раскалёнными пронзает всё существо, руки расслабляются, всё вываливается.

И — не стало ощущения обычного настоящего здоровья. Всё время какая-то слабость, без болезни. Записывала своё состояние в дневник.

Даже вспоминать себя отвергнутой — ад палящий! И ни с кем не поделишься: как рассказывать о пренебрежении мужа? Это уж с Сусанной так прорвалось в грозную минуту, слишком даже и перед ней распахнулась, теперь и перед нею гордость требует не проиграть мужа.

Держаться, держаться! Поплачешь скрытно — станет легче. Надолго ли?

Теперь бы в Могилёве восстановить? — чтобы он в свободные полчаса рассказывал ей из службы, о лицах, отношениях, препятствиях, удачах?

А её рассказов — он и вообще не ждёт, не спрашивает. Не угадывает, какие б её желания выполнить. А ведь в мелких признаках внимания вся и любовь. Уходя и возвращаясь, норовит поцеловать в щёчку, если Алина настойчиво не подставит ждущих губ. Правда, видно, что минувшая история ему не далась легко, он помучился хорошо, и это несколько облегчает: если страдал — значит любит.

Но снова подумаешь: а насколько ему действительно нужна жена? Придёт поздно вечером, свалится и заснул. И не знает, что ночью она лежала комочком и тихо плакала.

Может быть, всё-таки, он поддерживает тайную связь с ней? Не проверишь, не получает ли от неё писем на штаб. В карманах — пока ничего нигде ни разу не нашла. Но он может оставлять в штабе же. Алина остро ждала: а не заикнётся ли он, что ему необходимо ехать в Петроград «по делам службы»? Она, разумеется, поехала бы с ним, но не сразу бы о том объявила: сперва посмотрела бы, с каким видом он будет отпрашиваться. Другие офицеры ездят, в Ставке нетрудно изобрести повод. Но нет, он не заикнулся. Можно поверить, что если у них и не порвано, то прервано.

Алина понимала, что изменившаяся — нет, уже не прежняя! — жизнь велит ей быть вдумчивой и вникнуть в загадку происшедшего. Тогда в пансионе он был в таком размягчённом состоянии, всё бы вы-

ложил: чем же она его так привлекла? Как бы он ни успокаивал, что обе — разные, и области жизни разные, но в самом жгучем неизбежно пересечение, сравнение, предпочтение. А и из гордости уже не спросишь. Даже простой непосредственности с ним он лишил её своей изменой. А что ты рассказывал ей обо мне?.. Да истерзанное сердце толкает: а как же она могла сходить с тобой без страдания, что ты женат?.. А мог ли бы ты совершить, что совершил, если бы уже тогда знал, ценой каких моих страданий это обойдется?..

Даже свою живую откровенность надо перед ним душиТЬ! Но — взялась держаться.

Чем заняться? чем заняться?! Пришла счастливая мысль: навалить на себя ещё одно дело, освежать французский язык. В двух кварталах нашлась учительница, Эсфирь Давыдовна, знакомая хозяев, и совсем недорого бралась давать уроки, у себя дома. Да Алина больше всего на свете всегда любила учиться, ведь это наслаждение. «Давай вместе, — вызывала Жоржа, — как бы интересно, дружненько!» Некогда, да он и сколько-то помнит. «Ну давай, я на ночь буду тебе повторять свои уроки?»

Да ведь он не только дни, он и все вечера в штабе, и по воскресеньям, — много ли видятся они? Переездом в Могилёв Алина обрекла себя на прямое затворничество.

В одиночестве целыми днями — как не растравиться этим грызением? не сойти с ума?..

19"

(по буржуазным газетам, до 14 апреля)

**ОТЧАЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВСТРИИ.
СТАЧКИ И БЕСПОРЯДКИ В ГЕРМАНИИ.
НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ В БОЛГАРИИ.**

Добывание немцами жиров из трупов... из них выделяется маргарин...

...на фронте между Суассоном и Реймсом куётся заключительное звено счастья народов...

Неудача русской армии на Стоходе до некоторой степени затушёвывается исторической важностью русско-английской встречи в Месопотамии...

...Вековечное тяготение русского народа к Царьграду разве можно ставить в ряд завоеваний? Оно внушено культурными защитными целями, нельзя жить без выхода в белый свет. Царьград — ключ ко всеобщему миру. Именно демократия должна отстаивать интересы своего народа, созданные географией.

Лондон. «Таймс» пишет: «Переворот разогрел историческую дружбу между Россией и Соединёнными Штатами. Друзья России с дружеским вниманием следят за развитием революции».

Президент бюро депутатов британских евреев в публичной речи указал на долг русских евреев в ответ на их освобождение — помочь продолжению войны.

Похороны жертв революции в Петрограде были смотр духовным и душевным силам нашей революции. Кто не следил с замирающим дыханием за стройными колоннами! Нельзя было не заразиться душевным напряжением, какой-то особенной проникновенностью... волшебная законченность организации...

Кадетский съезд. Совесть, разум и чувства нашего народа мощно вылились на съезде Партии Народной Свободы... Речи трёх министров — по своей политической ценности, душевному подъёму, государственной мудрости разве можно сравнить с лицемерным трусливым лепетом слуг старого режима?.. Партия Народной Свободы остаётся верна своему принципу широкого народовластия...

...Русской Республике суждена удача. Она родилась — чтобы жить! ...Уже парят в весеннем воздухе ласточки общемировой свободы.

Нельзя не преклониться перед моральным, духовным, то есть религиозным величием этой революции. Воистину, вера горы сдвинула. Мы переживаем нечто подобное тому, как 2 тысячи лет назад двое учеников Господних, шедших в Эммаус...

(Философов)

Товарищ министра внутренних дел Д. Щепкин заявил корреспондентам: «Успокоение в стране растёт с каждым днём. Все опасения о возможности аграрных беспорядков устранены. По всей стране к земельному вопросу население относится спокойно. И Совет рабочих депутатов не вызывает никаких трений с Временным правительством».

Из речи министра Некрасова на всероссийской ж-д конференции: «Те, кто видели, как метался Николай II под наблюдением железнодорожников... Вы были первыми проводниками идей, брошенных из центра. Вы своими мозолистыми руками выковали дело освобождения. Революция не расстроила ж-д дела, можно быть вполне спокойным за будущее железных дорог. Необходимо демократизировать ж-д строй... Содействовать установлению в России полного народовластия...» ...Министр говорил с непередаваемой задушевностью, сразу создавшей удивительную близость с аудиторией.

Вопреки всяким слухам, в русской армии на Румынском фронте царит полная дисциплина.

(«Речь»)

Дезертиры, расположившиеся в Кишинёвской губернии, местами организуются, через делегатов ведут переговоры с гарнизонными комитетами, попутно посягая на частную собственность населения. Местные деятели ведут непосильную борьбу с этими явлениями, но не встречают поддержки ни в штабе Военного округа, ни в штабе Румынского фронта.

...Из болезни перелома армия выходит более сплочённой, окрепшей и воодушевлённой.
(«Биржевые ведомости»)

...Спаянная железной дисциплиной, объединённая пламенным желанием забыть всё, кроме боя, наша армия порадует нас желанной победой!

(«Русская воля»)

...Не принимайте приказов от лиц, которых вы не знаете, какие бы подписи и печати под ними ни стояли...

(«Армейский вестник»)

Ген. Шуваев обратился к дивизионному комитету с дружеской откровенной речью. Он горячо взывал к гражданскому чувству солдат, призывая прийти на помощь Временному правительству прекращением продажи сапог и обмундирования. В ответ ему оратор заявил, что армия пойдёт на все лишения для блага отечества. Растроганный генерал расцеловался с оратором.

Гомель. Свыше 2000 дезертиров со знамёнами «Долой дезертирство в Свободной России» явились к воинскому начальнику и просили отправить их немедленно на фронт.

Кременчуг. Состоялся митинг дезертиров, организованный Советом солдатских депутатов. Дезертиры поклялись грудью защищать завоёванные свободы от контрреволюционных покушений.

...Крестьянство в стихийной основе своей — глубоко государственно... То, что казалось утопией для прежней власти — планомерная организация сельского хозяйства, сегодня уже в стадии практического осуществления.

(«Речь»)

...Революция несомненно застала крестьянство врасплох и неподготовленным к великим историческим задачам.

(«Русская воля»)

Одесский уезд. ...усиленная доставка хлеба. Многие крестьяне жертвуют хлеб на нужды армии, отказываясь от платы.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ КАЗАКОВ. Казаки Кособродского станичного юрта Оренбургской губ. пожертвовали для нужд Действующей армии в е с ь х л е б, оставшийся от продовольствия и обсеменения полей. «Мы будем с утра до вечера у плуга, а рабочие — пусть у станков, а дети наши — против врага».

С 1 апреля во всём Донцеком бассейне введён 8-часовой рабочий день.

Киев. У местного миллионера Бродского состоялось собрание виднейших представителей киевского еврейского финансового мира, обуждавшее, как торжественно ознаменовать новый порядок, освободивший угнетённый еврейский народ. На собрании собрали свыше миллиона рублей. Решено собрать среди местного еврейства ещё четыре миллиона — и создать образцовый народный университет.

РЕЧЬ ГРУЗЕНБЕРГА В СОВЕТЕ. Москва. ...Мы щедро отдали революции огромный «процент» нашего народа — почти весь его цвет, почти всю его молодёжь. Когда в 1905 восстал революционный народ — в его ряды с неудержимой силой потекли без счёта еврейские борцы... Кто раз выпрямился — того никто уже не согнёт.

...От имени стотысячной еврейской общины Екатеринослава отдадим свои силы, гру-
дью встав вокруг стяга демократической республики.

Подготовительное совещание к созыву Всероссийского еврейского съезда. Имеет
целью выработать основы еврейского национального самоуправления.

ЕВРЕИ-ОФИЦЕРЫ. Из авторитетных источников сообщают о предстоящем в июне
производстве 2600 евреев в прапорщики.

(«Биржевые ведомости»)

Одесса. ...Полковым комитетам необходимо разоблачать и арестовывать агитаторов
против постановления о допущении евреев в офицерство...

ОПАСЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ в юго-западных и западных губерниях... Боль-
шинство мест губернских и уездных комиссаров ныне занимают предводители дворянства,
а они настроены реакционно... Товарищ министра вн. д. ответил, что не поступало сооб-
щений тревожного характера...

Житомир. Исполнительный комитет телеграфно просил ген. Брусилова арестовать
почаевского архимандрита Виталия, развившего вредную агитацию в войсках.

...К сожалению, наша новая обер-прокуратура не проявляет пока решительности
к действиям церкви. Не пора ли вообще упразднить Синод впредь до церковного собора?
Это надо сделать без всякого колебания ради блага будущей свободной церкви... Москов-
ский митрополит Макарий был арестован по инициативе московского Совета рабочих де-
путатов — и нельзя не признать, что это действие *по существу* правильное.

(«Речь»)

На Минском фронтовом съезде выступил священник Влащенко... Горячая проник-
новенная речь: «Взять из всех церквей золотые сосуды, кресты, переплёты с евангелий
и заменить деревянными. Для закрепления священной свободы снять золотые крыши
с церквей и заменить их чёрным железом. Снять драгоценные камни с риз, драгоценные
балдахины со св. мощей — и переложить мощи в простые деревянные гробы, это не
кошунство. Взять сокровища Александровской, Киево-Печерской и Троице-Сергиевой
лавы, тяжёлые митры, которых архиереи не в состоянии поднять... Взять капиталы мона-
стырей. И потребовать 20% с жалованья наших генералов церкви, отдать наперсные кре-
сты и обручальные кольца — всё отдать для укрепления свободы и завершения войны!»
И тут же снял с себя крест, поцеловал и передал президиуму. Съезд ответил бурной ова-
цией... речь напечатать и разослать духовенству.

...Выступил и солдат из Ставки, рассказал: «Мы с музыкой и марсельезой прошли
мимо дома Николая. Он глядел в окно, а как увидел нас — отошёл и заплакал»...

А. Ф. Керенскому приходится вникать во все подробности жизни узников царско-
сельского дворца. Даже увольнение поваров и судомоек не обходится без санкции А. Ф. Ке-
ренского.

(«Новое время»)

...Бюрократия петроградского Совета искренно убеждена, что она может управлять
из Петрограда всей революцией российской... Но стремление какой-нибудь организации
конкурировать с властью Временного правительства встретит решительный отпор про-
винции.

Социал-демократы, не представляя собой ни нации, ни даже большинства её, на деле
владеют Советом, а через него — всей территорией русского государства.

(«Новое время»)

В Совете рабочих депутатов — помощники присяжных поверенных, до революции
больше известные по ночным клубам, чем в рядах борющегося пролетариата.

(«Биржевые ведомости»)

...Мы, служащие почты и телеграфа брянской конторы, молим вас, товарищи из
Совета рабочих депутатов, сойти с опасной дороги... Не допустим до Учредительного
Собрания никакой другой власти, кроме Временного правительства...

...Съезд Советов этих дней — какой-то «вселенский собор» верующих людей, источ-
ник величайших чудес, — нельзя не найти духовной поддержки в том, что там происхо-
дило... Не бойтесь немцев, не бойтесь «Правды»: люди, у которых «золотой сон», не могут
быть врагами России. «Крайности большевиков» — это жупел современных купчих.

(Философов)

Недопустим контроль союзников над возвратом русских эмигрантов в зависимости
от их взгляда на войну. Очевидно, в Англии и Франции не сразу поняли смысл и дух
произошедшей у нас революции. Мы обязаны им напомнить, что русская демократия не
может мириться... Пусть у большевика Ленина и его товарищей не будет даже мнимого

оправдания, что он вынужденно использовал германское радушие... К счастью, «ленинизм» более криклив, чем действителен. Аплодисменты г-жи Коллонтай не делают истории.
(«Биржевые ведомости»)

Есть великая нелепость в самом предположении о возможности сепаратного мира после революционного переворота. Даже большевизм, даже выросшая в наших перепуганных глазах «Правда», даже сам Ленин — не заикнулись о сепаратном мире. Все эти слухи о сепаратном мире — сознательная ложь, дискредитирующая русскую демократию. Никто не смеет оскорблять русский народ таким предположением. Именно революция вдохнула новую силу в лозунг «войны за свободу».

Киев, 8 апреля. Вчера здесь открылся украинский конгресс, краевое учредительное собрание. Небывалый взрыв энтузиазма вызвала хоругвь с портретом Шевченко, внесённая в заседание. Предложено: снести памятник Николаю I перед университетом и поставить памятник Шевченко. Съезд признал за российским Учредительным Собранием право санкции автономной Украины. Только национально-территориальная автономия Украины может обеспечить потребности украинского народа. Центральной Раде выработать проект статута автономии Украины в рамках Российской Федеративной Республики. Председательствующий Грушевский: «Мы знаем о шовинистических намерениях безответственных украинских деятелей, но мы ведём борьбу с ними как с национальными преступниками». Отвечая представителю киевского гарнизона, с-д Винниченко: «Сепаратистское течение может считаться умершим, нам Россия более дорога, чем вам». Артельный батько Левицкий протестует против домогательств поляков: «Украина — не часть Польши! Поляки организуют свои полки, но не посылают их на фронт, а держат здесь, ожидая осуждений на Украине. Руки прочь от наших земель!»

Петроградский общественный градоначальник обратился к городской милиции с воззванием: энергично прекращать попытки разрушить старинные здания и украшения на них. Разъяснять, что гербы часто не имеют общего со свергнутой династией, но являются эмблемой государства Российского и в них заключена часть истории русского искусства.

...претензии многолюдных организаций занять дворцы, столь ценные по старине и художественному убранству. Но это гибельно, даже и по конструктивной прочности, как видно по Таврическому. Мраморный уже занят, Елагинский решено отдать под лазарет, Ропшинский — под колонию малолетних преступников, в деревянном Екатерининском водворилась какая-то ассоциация...

Наиболее возмутительный памятник голштин-готторпской династии, который надо непременно убрать от глаз народных, — это монумент Николая I на Исаакиевской площади... поверхностно-казённая щеголеватость... обратить в металл для военных целей... А монумент Александру III — гениальная бронзовая сатира:

Стоит комод,
На комодѣ бегемот,

язвительный гений Паоло Трубецкого... пусть стоит.

(Амфитеатров, «Русская воля»)

В день похорон жертв революции в Петрограде произошло несколько дерзких разгромов магазинов...

ДЕНАТУРАТ. Министерство финансов решило усилить денатурацию спирта, чтобы прекратить распространение его как напитка.

ОТМЕНА ЭКЗАМЕНОВ выпускных в низшей школе и переводных в средней в этом году.

Кража драгоценностей. ...М. Кшесинская заявила начальнику уголовной милиции о краже у неё в дни революции бриллиантовых и золотых вещей на несколько сот тысяч рублей. Все шкафы оказались взломанными...

«Ротмистр Сосновский» (Иосиф Рогальский) был назначен Бубликовым на должность начальника охраны министерства путей сообщения. У всех служащих потребовал все золотые и серебряные медали. Помощником себе назначил крупного авантюриста, которого разыскивали по делу ограбления. С другим помощником сделал удачный «обыск» у миллионера. Исчез в конце марта.

Штаб командующего А. Е. Грузинова, своей энергией и самоотверженной деятельностью доказавшего преданность народу, теперь расположен в Малом Кремлёвском дворце, в просторных покоях императорской семьи. Место праздной жизни врагов народных обратилось в демократический военный центр. Ещё недавно здесь ковались тяжёлые цепи, душившие Россию... Работают в штабе, не считаясь со временем, даже думать о 8-часовом дне считают преступлением. Родина требует титанической работы, и штаб готов оставаться 24 часа. Сам Грузинов внимательно прислушивается к голосу общественных орга...

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ обращается с усердной просьбой к тем лицам, которые в дни переворота обнаружили пулемёты на крышах или задержали полицейских чинов с пулемётами,— явиться в скорейшем времени для дачи свидетельских показаний. Сведений, опирающихся лишь на слухи,— не сообщать.

В Москве острый недостаток фуража, гибнут лошади.

В Екатеринославе свергнут памятник Екатерине II. Фигуру предполагалось установить в городском музее, но население потребовало отправить на переливку в снаряды.

Одесса. Импозантна была манифестация партии народной свободы по поводу Займа Свободы: разукрашенные плакатами автомобили в сопровождении оркестров разъезжали по городу и собирали импровизированные митинги. У подножия памятника Пушкину неустанно раздаются призывы к подписке на Заём. Уже подписано на несколько миллионов.

Благовещенск. Совет рабочих и солдатских депутатов постановил реквизировать амурскую флотилию, больше ста судов.

Ялта. Тут — огромный съезд сановников, знати, великих князей. Николай Николаевич пребывает на свободе, один гуляет по городу, раздаёт мальчишкам конфеты, татарам — папиросы. Чувствуется сильная агитация тайных и явных монархистов.

КАБАРЕ БИ-БА-БО, рядом с Художественным театром. Премьера: «ГРИШКА В САЛОНЕ», «ЦАРСКАЯ СОДЕРЖАНКА».

В театре **Зоя ПАЛЕСТИНСКИЙ ВЕЧЕР** в пользу евреев русскоподанных в Палестине, пострадавших от войны.

Продаётся ЗАЛ АМПИР за отъездом СПЕШНО.

БАРСКАЯ ОБСТАНОВКА НЕМЕДЛЕННО продаётся.

ПРОДАЕТСЯ ЛОЖА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА на сезон 1917—18 г.

НУЖНЫ АВТОРЫ для составления популярных брошюр.

ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ плачу за бриллианты, жемчуг, золото... Ювелир А. Фистуль.

Нужна деревенская девушка для комнатных услуг.

ОТДАМ мальчика за неимением средств.

ЗАЁМ СВОБОДЫ. Воззвание Временного правительства.

К ВАМ, ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СВОБОДНОЙ РОССИИ, К ТЕМ, КОМУ ДОРОГО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РОДИНЫ... СИЛЬНЫЙ ВРАГ ГРОЗИТ ВЕРНУТЬ СТРАНУ К МЁРТВОМУ СТРОЮ... НУЖНА ЗАТРАТА МНОГИХ МИЛЛИАРДОВ, ЧТОБЫ СПАСТИ СТРАНУ... И ЗАВЕРШИТЬ СТРОЕНИЕ СВОБОДНОЙ РОССИИ НА НАЧАЛАХ РАВЕНСТВА И ПРАВДЫ.

На совещании монархий центральных империй решено продолжать войну.

КРУПНЫЕ ЗАБАСТОВКИ В БЕРЛИНЕ.

Английский социалист заявил: «Мы не намерены прекратить эту войну, пока не докажем, что мировая демократия сильнее на поле боя, чем дисциплинарные войска».

«Таймс»: Положение в Греции внушает надежду на падение королевской власти...

«Кёльнская газета»: Нынешняя война стала войной против монархической идеи. Уже 5 монархов на стороне союзников лишились своих корон или владений: Бельгийский, Сербский, Румынский, Черногорский, Русский. Зашатался и Греческий. Мировая война всё больше принимает вид великой европейской революции — большей, чем в 1848 году.

Париж. Французский парламент вотировал законопроект о выдаче солдату вознаграждения в один франк за день, проведённый в бою. Половина его будет выдаваться солдату на руки, другая составит капитал, выдаваемый наследникам.

«Форвертс» просит русских социалистов не вмешиваться в дела германских. России объясняется, что через сепаратный мир она может получить назад все оккупированные у неё земли.

Английские войска в 70 км. от Иерусалима... Занятие Иерусалима произойдёт при участии всех союзных армий.

...Первая революционная Пасха должна быть так же светла, как темна бывала Пасха самодержавная. Слова о Светлом Воскресении были кощунством в устах слуг самодержавия. Теперь для молитвенного настроения есть элемент высокого пафоса. И только теперь, когда вихрем революции... только теперь может проявиться любовь к родине. Слиянность народа и армии — вот крепость свободного народовластия и народовластия...

(«Биржевые ведомости»)

Надо надеяться, что новая свободная Россия покончит с праздниками во имя предстоящего гигантского труда, оставит себе только воскресные дни. Церковные праздники кроме Рождества и Пасхи — личное дело. Нечего праздновать Покров Пресвятой Богородицы, и не для того было Введение во Храм или Усекновение главы, чтобы в России создавались неприсутственные дни. Новая Россия должна бояться именно праздников, восстановить дореволюционную инертность и лень, это и будет контрреволюция.

(«Новое время»)

Ставка Верховного Главнокомандующего неузнаваема: всюду кипит горячая, живая работа, лишённая былой суетолики.

(Из резолюции дновского гарнизона:) Не должно быть привилегированных частей — гвардии или петроградского гарнизона. Считать преступным пребывание в тылу маршевых рот, предназначенных к отправке на фронт. Этим наносится предательский удар в спину товарищам на фронте. В Петрограде и вообще в тылу пора прекратить празднества и манифестации... Рабочие, заботясь о своих личных интересах, не должны забывать об армии.

Письмо гарнизона Петропавловской крепости... Мы, товарищи солдаты, должны защитить себя от этой гнусной муштровки. Если мы достигли равенства, что мы не попугаи, так не должны отдавать честь. Честь нужна только тем, кто глумились над нами, а для нас она — позор и праздная забава.

Делегаты команды, писаря...

Общеполковой совет 86 пех. полка... с призывом к тем своим товарищам, которые в минуты общей радости всего русского трудового народа отлучились из полка... Вернитесь, товарищи, до 30 апреля, мы протягиваем вам руку. Если же вы отвернётесь от нас — будем требовать предания вас суду...

Новое министерство земледелия не может справиться с насущными мероприятиями в сельском хозяйстве, которые были намечены ещё старой властью. И главные потребительские центры живут ещё старыми запасами...

(«Биржевые ведомости»)

Всероссийский Продовольственный комитет просит министра земледелия обратиться ко всем местным комитетам с разъяснениями о важности посева свекловицы...

...В дни Самарского губернского крестьянского съезда вокруг Самары была распутица, делегаты прибыть не могли. и съезд составил преимущественно из горожан...

ЗАЁМ СВОБОДЫ. Народ! Прислушайся! Это Россия-мать протягивает просящую руку. Вались, народ, от всех ворот! Давайте, кто сколько осилит! Денег, денег правительству! Врёте, чёртовы немцы, подавитесь!

(Амфитеатров, «Русская воля»)

...Собравшаяся на московской бирже купеческая Москва после отъезда министра Терещенко и перед приездом министра Коновалова решила, что Москва, как и Петроград, должна подписаться на заём на миллиард. И если остальная Россия подпишется ещё на два...

Создан еврейский комитет успеха Займу Свободы — Каменка, барон Гинзбург, Слиозберг. Постановил обратиться телеграфно к представителям еврейских обществ в Америке, Англии, Франции, Голландии, Италии с просьбой образовать аналогичные комитеты для размещения займа в их странах.

Французские евреи во главе с бароном Ротшильдом подписались на русский «Заём Свободы» на 1 миллион рублей. Барону Гинзбургу поручено передать заявленье об этом министру финансов.

В собрании евреев г. Москвы подписка на заём Свободы дала 22 миллиона. В Саратове на собрании еврейской общины собрано 800 тысяч.

...помощь евреям, пострадавшим от войны, в трагическом состоянии. Более активные работники оставляют местные комитеты помощи и переходят в ряды политических деятелей. Во многих городах беженцы сами стараются захватить в свои руки дело помощи...

Через Слиозберга получена телеграмма ведущих американских евреев русским: «Евреи в Америке уверены, что их братья в России всемерно поддерживают Временное правительство, каждый шаг которого встречает в нашей стране всеобщее сердечное сочувствие. Русское дело теперь является делом гуманности и, следовательно, еврейского сочувствия...»

По приказу начальника штаба Московского военного округа ген. Окунькова в Александровское военное училище зачисляются в качестве юнкеров более 300 студентов-евреев.

— ...вы понимаете,— сказал полковник Грузинов,— что в случае контрреволюции пер-
вою пала бы моя голова.

Эти жуткие слова о голове Грузинова приходят на память каждый раз, когда подумаю, что было бы в случае успеха контрреволюции с евреями!.. Завоевания революции еврею должны укрепить во что бы то ни стало, не считаясь с жертвами. Тут все начала и все концы, погибнет всё. Если у правительства не хватит денег для войны... Гнусное отродье контрреволюции должно быть раздавлено в зародыше. Умерщвлено должно быть самое семя его. Для этого нужны деньги — и деньги еврею должны давать, не считая.

(Д. Айзман, «Русская воля»)

118 чиновников бывшего департамента полиции обратились к Керенскому, во Временное правительство, в Совет рабочих депутатов и в Государственную Думу: «Мы только вели делопроизводство, а никакой провокационной деятельностью не занимались, руководились существующими правилами... Какие тёмные силы организуют преступления — нам было неизвестно».

...Контрреволюция таится в скрытых гнездах. Остались крепкие и цепкие корешки старого режима, которые требуют незамедлительной выкорчёвки... Также необходим внимательнейший контроль над лицами, попавшими революционным порядком в вершители народных судеб... Сколько там жандармов, наскоро сделавших себе другое лицо. Просеять их надо сквозь густое сито.

(«Биржевые ведомости»)

...Надо до Учредительного Собрания быть всем равными, полная свобода агитации... А то у нас возникла революционная аристократия, которой всё дозволено и которая может вертеть страной по своему произволу... Иначе массы вырвутся из-под гипноза и перейдут к другой крайности... Давайте же полюбовно, в мире и единении, постом и молитвой, как в 1613 году...

(«Московские ведомости»)

...И куда пропали миллионы «истинно-русских», которыми пугал нас доктор Дубровин?..

АРЕСТЫ ВРАГОВ НАРОДА, 12 апреля. Вчера снова арестованы освобождённые на днях...

От духовенства требуется искреннее признание демократического государства — только тогда их разъяснения о том, что такое истинная свобода, дойдут до души народной массы. Можно пожалеть, что духовенство сейчас мало выступает, а некоторые священники пытаются превратить церковные амвоны в кафедры для черносотенной пропаганды.

(«Речь», 12.4)

ИНТЕРВЬЮ В. ЛЬВОВА. ...поделился взглядами в беседе с представителями московской прессы... «Я поневоле оказался центром современного церковного движения. Некоторые выражают неудовольствие, что обер-прокурорская власть захватила то, что ей не должно принадлежать... Не скрою, что я желал удаления митрополита Макария, однако угроз с моей стороны не было».

В ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Телеграмма. Копия по всей сети российских железных дорог.

Просим другие газеты перепечатать.

Мы, рабочие и служащие военно-срочного участка Казань — Екатеринбург, заявляем:

Не для того Россия свергла власть придворной шайки изменников, чтобы подчиниться диктатуре петроградской группы рабочих и солдат большевицкого направления, пытающегося узурпировать власть над всей Россией. Мы, железнодорожники, не позволим никакой местной организации присваивать себе право издавать для всей России приказы. Недаром лилась кровь на фронте, море этой крови поглотило каплю крови, пролитую в Петрограде. Теперь всякий, кто против войны до полной победы,— или слепец, или помешанный.

Армейская депутация спросила министра-председателя, верны ли слухи о намерении захвата власти некоей другой организацией. Князь Львов ответил: «Прежде чем допустить такой захват, Временное правительство обратилось бы к благоразумию народа и сложило бы с себя ответственность и полномочия, принятые перед страной».

...А чем занимается «Правда»? У неё одна задача: разъединять и сеять недоверие. Она не останавливается ни перед какой неправдой...

(«Речь»)

Опасность для революции безответственных выступлений Ленина сильно преувеличена: в среде рабочих, проникнутых инстинктом государственности, он встретит суровый отпор.

(«Биржевые ведомости»)

ДЕМАГОГИЯ. Есть люди, у которых личное тщеславие и самовлюблённость заслоняют решительно всё. Говорят, что такими чертами обладал низверженный самодержец России. Очень похож на него г. Ленин. Он переступил пределы, превратившись в нравственный труп. Своим проездом через Германию он плюнул в душу русского народа, среди которого хочет иметь влияние. Немудрено, что теперь от него отворачиваются даже большевики. Ленин не может «очухаться», это — конченный политик. Для России он нравственно неприемлем, мы советуем ему вернуться в Германию. Россию Ленин не обманет, в какой бы «коммунистический» плащ он ни рядился.

(«Русская воля»)

Протянул не для привета
 Руку нам он братскую:
 «Ни к чему свобода э т а!
 Ставьте власть батрацкую!»
 Под свободы стягом зреет
 Что-то ей обратное,—
 И опять как призрак реет
 Что-то сепаратное.

(«Новое время»)

К ОТКРЫТИЮ БИРЖИ! Держатели дивидендных и фондовых бумаг приглашаются в помещение кинематографа Солейль, Невский 48, на организационное собрание.

Музей Александра III. Администрация просит не устраивать в залах музея собраний, что может повести к непоправимой порче художественных сокровищ. Берегите каждое произведение, независимо от того, кого оно изображает...

Одесса, 10 апреля. В Александровском парке состоялся митинг дезертиров и уклоняющихся от воинской повинности. Решено избрать особый комитет для заведывания делами дезертиров. Собравшиеся устроили овацию воинскому начальнику. «С падением старого режима мы счастливы вернуться в ряды свободной армии», но поставили условия: вернуться не в свои части и чтоб их семьям выдавали пайки.

ПРИСКОРБНЫЙ ИНЦИДЕНТ. В день приезда Гучкова в Одессу группа кадет младшего возраста сорвала с ворот корпуса красное знамя и сожгла его. А мимо шли пехотные части на смотр военного министра, они заставили кадет отправиться на смотр с полуобгорелым знаменем — и так продефилировать перед министром. Директор кадетского корпуса подал в отставку. Кадеты в полном вооружении ходили извиняться к Совету солдатских депутатов: старая власть закрывала для них путь к идеалам, а теперь они пойдут со всей Россией. Совет депутатов назначил комиссию для выяснения вдохновителей инцидента.

Киев. На многих станциях Юго-Западных ж-д наблюдается большой наплыв дезертиров, возвращающихся в свои части. Ими заняты все станционные помещения.

ПРИВЕТСТВИЕ НАРОДУ ОТ ПОЛИЦИИ. Чины елисаветградской уездной полиции послали Государственной Думе, Временному правительству и Совету рабочих и солдатских депутатов «искреннее поздравление с получением свободы. Разве мы не сознаём, что переворот сделан на пользу бедному народу, из которого большинство нас происходит, и приятно сердцу нашему знать, что детям нашим будет жить лучше, чем нам. Посылаем проклятие чинам петроградской полиции, дерзнувшей расстреливать голодный народ из пулемётов...».

Симферополь. ...беспокойство о сгущении приверженцев старого строя на южном берегу Крыма. Поднят вопрос о Романовых и бывших сановниках: в интересах безопасности рассеять их по разным концам России.

Симферополь. На бывших царских землях у Алушты во многих местах хищнически истребляют животных. Совет рабочих депутатов обратился к населению с призывом...

ИНТИМНЫЙ ТЕАТР — ПЕРВАЯ НОЧЬ... Небывалые трюки!

СПЛЕНДИД-ПАЛАС — НОЧЬ КАЗНИ...

Продаётся д о х о д н ы й РОСКОШНЫЙ ДОМ.

ПРЕКРАСНАЯ БАРСКАЯ КВАРТИРА *продается.*

Продаётся ИМЕНИЕ в Финляндии.

ЕДУ В СКАНДИНАВИЮ! Принимаю коммерческие поручения от русских фирм.

Молодая интеллигентная полька...

Кассирша (еврейка) требуется.

Нужна бонна-лютеранка.

Модистку французской школы рекомендую.

ЗАКОННЫЕ БРАКИ устраиваю исключительно на деловой почве.

Требуется видная горничная — за лакея и служить у стола, во Владивосток. С предложением выслать фотографические карточки.

ЗАЁМ СВОБОДЫ. К ВАМ, ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СВОБОДНОЙ... КОМУ ДОРОГО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ... НУЖНА ЗАТРАТА МНОГИХ МИЛЛИАРДОВ... НЕ ЖЕРТВЫ ТРЕБУЕТ ОТ НАС РОДИНА, А ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛГА. ОДОЛЖИМ ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВУ, ПОМЕСТИВ ИХ В НОВЫЙ ЗАЁМ. И СПАСЁМ ЭТИМ ОТ ГИБЕЛИ НАШУ СВОБОДУ И ДОСТОЯНИЕ.

ВОЙНА АМЕРИКИ С ГЕРМАНИЕЙ И АВСТРИЕЙ... Посол Френсис: Именно русская революция и повлияла на окончательное решение Америки вступить в войну.

СЛУХИ О СЕПАРАТНОМ МИРЕ. Видные общественные деятели Америки Маршал, Моргентау, Шифф, Штраусс и Розенталь прислали на имя Милокова телеграмму:

«Американское еврейство встревожено сообщениями, что некоторые элементы работают в пользу сепаратного мира между Россией и Центральными империями. Такой мир имел бы последствием... создание для русских евреев ещё худшего положения, чем то плачевное, в котором они ранее находились. Мы уверены, что русские евреи готовы принести величайшие жертвы для поддержки нынешнего демократического правительства... Американское еврейство готово оказать содействие своим русским собратьям в этом великом движении».

Ответная т-ма Милокова: «...Глубоко тронуты... Могу заверить, что никакая русская партия не обсуждала даже возможности сепаратного мира».

Лондон, 13 апреля. Палата общин. В ответ на вопрос, сделало ли британское правительство какое-либо предложение русскому относительно будущего местопребывания бывшего царя, помощник статс-секретаря м.и.д. ответил, что британское правительство не выступало ни с каким предложением.

...Судя по показаниям перебежчиков... германцы готовят решительное наступление на Рижском фронте...

«Фоссише Цайтунг»: «Россия и её армия находятся накануне полного разложения... Скоро будет вынуждена заключить мир».

Ещё ни одна революция в мире не открывала таких горизонтов, не имела такого мирового охвата и не проходила при столь малых трениях. Революция обладает необычайной силой самозащиты и почти сверхъестественной силой самоисцеления.

(«Буржевые ведомости»)

На районном собрании к-д Петербургской стороны... Обсуждались предстоящие муниципальные выборы... «Мы как партия никогда не проходили мимо боя, чтобы не ринуться в него, и если не одержим полной победы, то известное место мы себе отвоюем. А прусские нашей партии ум, знания и опытность обеспечат...»

Совещание банков... Настроение публики понизилось... Принять меры, чтобы выбрасывание на рынок бумаг не было слишком стремительным.

...Пришла пора установить всеобщую трудовую повинность!

...усилить контроль отпуска спирта из аптек...

Донецкий бассейн. На рудниках Алексеевского и Прохоровского обществ по настоянию рабочих инженеры-штейгера и лица администрации собственноручно грузят уголь в вагоны.

Нижний Новгород, 14 апреля. Местные «Известия СРСД» отмечают участвовавшие случаи насилия, бесчинств и самоуправства солдат, особенно на железных дорогах и водных путях, грозящие полным расстройством сообщения.

Симбирск. Телеграмма военному министру. ...всеми товарными и пассажирскими поездами... требуют немедленно отправки, задерживая встречные поезда, не дают прицеплять вагоны с продовольствием, которые стоят неделями. Продолжать службу невозможно...

Собрание офицеров Саратовского гарнизона вынесло резолюцию, что введение 8-часового рабочего дня равносильно лозунгу «долой войну»...

Одесса. Собрание делегатов жён запасных вынесло резолюцию: «Внешний враг может быть сломлен лишь при тесной сплочённости солдат на фронте и солдаток в тылу. Паёк солдаток должен быть увеличен на 10 рублей».

Киев, 14 апреля. Забастовали военнопленные, обслуживающие городские предприятия. Остановились пекарни, бани, нарушения трамвая, водопровода. Требуют 8-часового рабочего дня и улучшения положения...

НА ФРОНТ! Собрание комитетов гвардии Егерского батальона, заслушав вступительное слово прапорщика... и доклад прапорщика... по вопросу об отправке маршевых рот в Действующую армию и прения по означенному вопросу, постановили: немедленно открыты во всех ротах запись добровольцев.

Тревожное положение... для подавления возможных контрреволюционных попыток со стороны буржуазных классов просим Совет рабочих депутатов пересмотреть возможность отправки на фронт маршевых рот, как это допускает Егерский батальон...

Письмо с фронта. ...Мы чувствуем себя как бы отрезанными от тыла, от его помощи. Крикуны тыла кричат о нашей доблести. А мы боимся, что наша смерть будет началом смерти России.

(«Русский инвалид»)

Самовольные действия крестьянских обществ. Циркулярное распоряжение министра-председателя губ. комиссарам. ...Многочисленные заявления об арестах и самовольных действиях, мешающих засеву земли... Считая недопустимым насилие над личностью... предлагается вам самым широким образом организовать оповещение населения о недопустимости... могущих погубить единение для укрепления нового строя... Благоволите тем не менее всю силою закона прекращать грабежи...

...Впереди — пустыня, которую мы должны неотложно оросить и на ней возрастить цветущий сад нашей жизни. Засейте крестьянский чернозём надёжными семенами — и он уродит нам!..

Споры о женском равноправии в деревне. Наиболее левые крестьяне как раз и возражают против допущения женщин в Учредительное Собрание; женщины неграмотны и не от мира сего. Взгляды их фантастичны, смысла событий они не понимают. Когда объявили, что за обедней больше не будут молиться за царя,—женщины громко плакали. Нельзя допустить их выбирать в Учредительное Собрание, они 999 проголосуют за монархию.

На собрании армян Ростова и Нахичевани в пять минут подписка на заём дала около двух миллионов...

Евреи граждане Петрограда, подписывайтесь **НА ЗАЁМ СВОБОДЫ!** Сионистская организация принимает подписку от евреев в особой кассе Сибирского банка... Каждый еврей должен иметь облигации...

В Азово-Донской банк поступило заявление от Якоба Шиффа, что он подписывается на Заём Свободы на 1 миллион рублей... Г. Слиозберг составил воззвание о Займе на древнееврейском языке и на идиш.

Если мне нельзя критиковать еврейскую молодёжь, то скажу: надо мной совершают насилие. Охранное отделение угрожало мне высылкой. Ещё худшими приёмами пользуются при новом отделе...

(Корреспондент «Таймс» Р. Вильтон в «Биржевых ведомостях»)

Еврейское бесправие в Финляндии. ...В передовой культурной стране, как будто преданной идеям права, установлен бесчеловечный закон, запрещающий въезд евреям...

ПОГРОМНАЯ УГРОЗА. Чуть ли не со второй недели революции приходят сведения с мест о погромной агитации — но мы ничего не слышим о правительственных мерах. Между тем, если власть имеет право быть нетерпимой и суровой, то только в таких случаях. До сих пор по-настоящему не убрана с мест старая администрация, которая выросла на еврейских погромах. Не выполнена азбука революционной политики. Мы всегда считали погромщиков менее опасными, чем они были. Самая слабая контрреволюционная попытка сегодня может вызвать несоизмеримые потрясения. Нужно вытравить в сознании масс всякое представление о возможности погромного акта. Надо раздавить самый зародыш погромных действий. Пусть Временное правительство объявит самую суровую судебную кару за ничтожнейшее проявление погромной агитации — и применит её сейчас же! Призовите население к осведомлению власти... Каждый час промедления толкуется как нерешительность власти. С горечью приходится признать, что и Совет рабочих депутатов до сих пор не сделал ничего энергичного, разъясняющего преступность еврейских погромов.

(«Биржевые ведомости»)

...Приходится удерживаться от физической расправы над ленинцами. Приходится напоминать о недопустимости насилий, о борьбе только словом. Мы не сомневаемся, что насилие и не будет допущено, что большевизм умрёт естественной смертью среди высокого подъёма, вызванного революцией. Но желательно, чтоб и большевики со своей стороны считались бы с народной психологией.

(«Речь»)

ПУГАЧИ. Коммунисты из «Правды» угрожают нам возмездием. Но оно уже наступило для ленинцев: возмездие — в глубочайшем одиночестве, в котором они очутились, превратились во всероссийское пугало, оскверняющее величие русской революции. Они никого не пугают и даже, м. б., не следовало бы присматриваться к политической смерти этих недоносков революции.

(«Русская воля»)

Постановление матросов. Мы, представители того почётного караула 2-го Балтийского флотского экипажа, который встречал г. Ленина, возвращавшегося из-за границы, заявляем, что считали торжественную встречу актом воздаяния выдающемуся деятелю, оказавшему услуги русскому революционному движению. Ныне, узнав, что г. Ленин вернулся в Россию с высочайшего соизволения его величества императора германского и короля прусского, мы выражаем своё глубокое сожаление по поводу нашего участия...

...Если кто сомневается в гражданской зрелости русского народа — вот, смотрите: крикливые речи ленинцев разбиваются о здоровое гражданское чувство слушателей.

Телеграмма кн. Львову от русских солдат из Франции. ...У нас лишь очень смутные сведения о русских событиях, но велика была наша радость, когда мы узнали о неудаче, постигшей Ленина и его сторонников, которые проповедуют немедленный мир на любых условиях.

Надвигается церковная революция. Волна возмущения церковных низов растёт... Кое-где уже делались попытки ареста епископов, — да и может ли быть иначе?.. Верующие люди не могут равнодушно видеть людей с прожжённой совестью у алтаря Господня.

(«Русская воля»)

Пропаганда духовного отца. Ростов. ...в Успенской церкви, по поводу евангельской истории: «нашего батюшку-царя мы тоже встречали и ликовали, а теперь свергли с престола. Он отдал себя тоже добровольно на поругание, отказавшись сам от престола ради спасения нашей родины». Кошунственная и наглая параллель.

...Гражданская свобода вскрыла много брачных недугов, до сих пор не замечаемых. Потребность к освобождению от тягостных уз возросла. Больные вопросы брачного права должны быть немедленно разрешены правительством независимо от духовной власти.

...В разных почтово-телеграфных конторах за последние недели сменяют начальствующих лиц и назначают новых по выбору. Комиссар Временного правительства при главном управлении почт и телеграфа просит чинов ведомства не производить такого самочинного удаления, поскольку это не соответствует принципам свободы и неприкосновенности личности...

«РЕВОЛЮЦИЯ В СЛОВЕ И В ЗВУКЕ». Вечер-митинг... На сцене — оркестр в 250 чел. из музыкантов разных театров и кинематографов... В. Фигнер прочла страницы своих воспоминаний... Горький — две сказки. Бальмонт — стихи. С энтузиазмом было встречено заявление, что в зале находится министр Миллюков. Распорядители вынесли его на руках на сцену. Обратившись к оркестрантам, он призвал их и к политическому искусству... Народопрямство невозможно без активного участия всех граждан. Выразил надежду, что в скором времени на дымящихся развалинах будет создан просторный храм народной свободы... После антракта выступил Керенский: начал с приветствия жрецам искусства, которое вносит радость в нашу жизнь, и в ней особенно нуждаются трудящиеся.

...Отчего так медленно и вяло откликнулись русские музы на великую победу 1917 года?..

Кража драгоценностей. Вчера ночью совершена кража в ювелирном магазине Фистулы. Воры разобрали стену...

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ обращается с усердной просьбой к тем... в дни переворота обнаружили пулеметы на крышах... Сведений, опирающихся лишь на слухи, не сообщать.

16 апреля в Первом кадетском корпусе Республиканский Союз Народа и Армии устраивает литературно-общественную беседу «*Душа русского народа и сказка его освобождения*».

Прежде БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО! — «РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК по картам Генерального штаба». С 1 апреля издание возобновлено, еженедельно.

На днях **РАСПРОДАЖА С АУКЦИОНА** всего движимого имущества ресторана **К Ю Б А** (Морская 16, «Кафе де Пари»).

Автомобиль **МЕРСЕДЕС** продаётся...

Продаётся... **АРАБ ЧИСТОКРОВНЫЙ**, жеребец, под верх.

Богатую обстановку спешно продают за 80 тыс. рублей.

БАРСКАЯ ДАЧА в Куоккале продаётся.

Железные ставни продаются.

Коммивояжер энергичный, свободный от воинской повинности, ищет места.

Барышня-еврейка ищет места в конторе.

Лифляндец честный расторопный ищет места.

Нужна русская, без претензий, ухаживать за больным господином.

ТОВАРИЩИ ОХОТНИКИ приглашаются на обсуждение экстренных мер защиты дичи. КАЖДЫЙ ЧАС ДОРОГ.

СОЛЕННЫЕ ОГУРЦЫ хорошего качества продаются с доставкой, не менее бочки.

*Деньги нужны для побед,
Это знает целый свет.
Дело Армий — бить ружьём,
Наше, граждане, — рублём.
Потому, честной народ,
Покупай Заём Свобод.
Много выгод он несёт,
Шесть процентиков даёт.
Три миллиарда, знает всяк,
Для Святой Руси пустяк.*

ДОКУМЕНТЫ — 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

(Опубликовано 14 апреля)

...Временное правительство просит всех граждан, сельских хозяев, продолжать засеять поля, выполнить в тяжёлую минуту свой долг перед свободной Родиной. Каждая незасеянная десятина — непоправимый ущерб для обороны... Возложить на само население охрану посевов и инвентаря отдельных посевщиков от возможных насильственных действий, которые должны быть рассматриваемы не только как нарушение интересов отдельных лиц, но и интересов государства как целого. Правительство вправе рассчитывать на участие в охране посевов всех свободных и сознательных граждан.

...Но если бы общественная охрана оказалась бессильной предупредить насильственные действия — Правительство сочтёт обязанностью государства возместить владельцам причинённые убытки. Поэтому всякое насилие над посевщиками будет ложиться тяжёлым бременем на средства государства...

20

Когда позавчера пригласили Милюкова в Зимний дворец дать в Чрезвычайной Следственной Комиссии свидетельские показания об этой швабре Штюрмере, воткнутой теперь в камеру Петропавловки, — то повторяя, уже без страсти, свои прежние обвинения, что Штюрмер тайно сочувствовал Вильгельму, готовил сепаратный мир и выдавал тайны союзников (хотя конкретные подозрения ни одно пока не подтвердилось), — Павел Николаевич испытал отчётливое чувство странности от того, как далеко укатила История за эти пять месяцев.

Его штормовая первоноябрьская речь уже необратимо отдалась как горная вершина. А сам Павел Николаевич, вознесясь по государственной лестнице на облачные высоты межгосударственных дел, заняв свой измечтанный пост в здании у Певческого моста, — как будто, обратно тому, не возвышался, а соскальзывал и соскальзывал куда-то вниз. Непредсказуемая бы прежде странность проявилась в том, что как раньше всеобщей излюбленной мишенью было самодержавие — так теперь почему-то мишенью для всех левых становился лидер партии Народной Свободы. И, министр победившей революции, либерального правительства, о котором, кажется, уж никак не крикнешь «глупость или измена?», как о ничтожном правительстве Штюр-

мера, — он не только не был счастлив, но был ли он воистину волен в своих действиях? Увы и увывы — нет. С разных сторон жёсткая повседневность наносила ему много язвящих уколов — и железной выдержкой надо было защищать своё сердце.

И только где отдыhalo и влажнело оно — под лепными потолка-ми самого министерства, в беседах с послами союзников да на публичных выступлениях в дружественных аудиториях: на съезде Союза городов в Москве, на кадетском московском совещании, а выше всего, разумеется, на кадетском съезде, где Милюкова буквально фетировали, встречали немолкнувшей овацией, весь зал стоя, именовали мужественным и негибачаемым вождём, так что должен был он умерять своих почитателей, что его роль преувеличивается тут, но взоры всего мира действительно устремлены на наш съезд, и среди бушующей грозы наша партия являет истинный пример государственного благоразумия, она — арбитр между классами и сословиями, — говорящий понял это, находясь на посту, который даёт возможность расширенного горизонта. Ни одна революция не прошла так гладко, как наша. Правда, ни одна и не приходила так поздно. Она была неизбежна. Мы не хотели этой революции, но теперь надо спасать Россию. — И в пылом съездовском единении Милюков без душевного усилия присоединился к резолюции о республике и радовался её мудрости, хотя всю жизнь и даже вот в начале марта так неудачно настаивал, что без монарха будет гибель и разложение.

Однако съезд длился неполных четыре дня и лишь под замкнутым куполом Михайловского театра. А даже на уличных протяжениях Петрограда авторитет Народной Свободы и её лидера совсем не устоявал так прочно. И пекло и оскорбляло не с правой стороны, как привыкли прежде, а всё с левой, с левой, с левой.

Социалисты, когда-то несостоявшиеся союзники кадетов, становились теперь невыносимы. Они демагогствовали, что нельзя отдавать чиновникам международные задачи нации и нельзя примириться с «закулисной антинародной дипломатией замкнутой чванной касты!» Они упрекали Милюкова, почему он «не демократизирует» внешнюю политику. Кидали безответственно, что «война продолжается во имя идей, объединяющих царя (!?), Милюкова, Бриана и Ллойд Джорджа!». Острили, что Временному правительству не хватает парламентского контроля: непроницаемая завеса! дайте широкое осведомление! отныне демократия (под «демократией» странно стали понимать лишь тех, кто левее кадетов...), — демократия сама должна направлять внешнюю политику!

И интересно: как же это она будет делать сама? А — тонкая структура дипломатической вязи? И зачем тогда все традиции, и министерство иностранных дел, и сам министр?

Но поспешней и чаще всего стали социалисты язвить, что министерство иностранных дел не только не помогает революционным эмигрантам скорей вернуться на родину, но даже мешает. Совершенно истерически это подавалось в социалистических газетах, а известный сверх-истерик Зурабов напечатал, что в нашем копенгагенском посольстве ему показали телеграмму Милюкова: «Соблаговолите не выдавать видов на проезд тем из эмигрантов, кто занесен в международные контрольные списки». (Очень неблагоприятно это обнаружилось, посольство не имело права показывать.)

Честно-то говоря, Милюкова за последнюю неделю и пугало, как это весь революционный эмигрантский муравейник или даже саранча спешили все скорей переползать в Россию. Болтались-болтались по заграницам — а почему они теперь должны скорей хлынуть в Россию и сбивать её с пути? Было бы куда лучше и спокойней тут пока организоваться без них.

Но правительство, воздвигнутое революцией, никак не могло выставить прямого кордона революционерам и даже тень подозрения о

том допустить. И оставалось только абсолютно негласно распорядиться нашим консулам за границей и просить союзников всячески задерживать эту публику. Но вот копенгагенское посольство проболталось, Зурабов приехал и тут печатал в «Известиях» памфлеты против Милюкова, и складывалась исключительно неприятная обстановка, надо было как-то выворачиваться и отрицать. А тут и другой вопиющий случай: Троцкий, известный ядовитый тип, с группой единомышленников поплыл из Соединённых Штатов морем, а в канадском порту Галифаксе английский власти задержали их. Англия и сама понимала германофильскую опасность этой группы, и Милюков тоже просил Бьюкенена всячески этих задерживать, но начался шум и с Зурабовым, и с группой Троцкого (травила «Правда»), и Милюков в не свойственных ему колебаниях то просил Бьюкенена, чтоб Троцкого пропустили, то снова просил задерживать их, то снова — пропустить. Но это — в крайнем секрете! А публично, за последние недели четыре или пять раз, даже ещё вчера и сегодня, Милюков сам или от имени министерства отгораживались и оправдывались, что никаких задержек нигде нет, а все ворота реэмигрантам распахнуты: что даны срочные распоряжения всем миссиям и консульствам отменить все ограничения по въезду в Россию политических эмигрантов и даже оказывать им самое благожелательное и предупредительное содействие, вне зависимости от их убеждений, а правительству Великобритании и Франции указано на недопустимость каких-либо помех; и министр-де особенно энергично протестовал против задержки группы Троцкого; и паспорта выдаются эмигрантам безо всяких препятствий и даже если неизвестны их личности и вообще ли они из России, — паспорта выдаются по заверениям эмигрантских комитетов, и ещё сверх того реэмигранты снабжаются в консульствах средствами на путевые расходы. Так что задерживает их всех не Временное правительство, но опасность переезда по морям и невозможность всех сразу перевезти, немцы потопили часть пароходов, ходивших в Норвегию, а также строгие правила, существующие в промежуточных странах. Однако, ещё точнее, спешил Милюков оправдаться и за союзников: они не отвечают за задержку, они тотчас выполняют все просьбы русского министерства. А дело в том, Временное правительство не сразу было осведомлено (и правда, Милюков узгал уже только на Певческом мосту), что кроме списка «политически неблагонадёжных» был ещё союзный «контрольный список нежелательных лиц», заподозренных в сношениях с неприятелем. Так вот, в таких списках ошибочно числились и Зурабов, и Троцкий, и Ленин. И если некоторые задерживались на время, то лишь — необходимое для телеграфных сношений с Временным правительством, а по получении подтверждений тотчас же пропущены. (Заявил и Бьюкенен, что именно Троцкого задерживали потому, что он всю войну высказывался в пользу Германии, но вот уже охотно пропущен.) Сейчас наш м.и.д. просил союзников пропускать решительно всех и безо всяких согласований. Так что проезд Ленина через Германию, по-видимому, не был вызван какими-либо затруднениями со стороны союзников, ещё с 20 марта наше бернское посольство имело указание облегчать возврат эмигрантов.

Но и наивен же был Павел Николаевич, предполагав одной публикацией фамилий пацифистов, едущих через Германию (ещё когда они станут известны!), дискредитировать их и лишить политического влияния. Они проехали — даже салфеткой не утёрлись. Всегда заявлял Милюков, что обвинять политических противников в простой подкупности — неприлично... Но эти люди — Ленин, Троцкий — эта какая-то совсем новая порода, она просто за пределами всяких человеческих правил, не знаешь, что против них и предпринять.

К счастью, Ленин сразу же провалился в Таврическом, в первый же день по приезде: защищал пацифизм с такой бесцеремонностью и бестактностью, что ушёл с совещания освистанным. Даже для самых

воспалённых социалистов его речь была глупостью и безумием. Так что Ленин — совсем не опасен, и даже хорошо, что он приехал, вот у всех на виду и сам себя опровергает: ещё одна прививка циммервальдского утопизма.

Но, при всех его крайностях, он подталкивает в социал-демократях стремление к миру поскорей. Вот и ОК меньшевиков — а как не посчитаться с меньшевиками? они самые солидные у нас социалисты — опубликовал путаннейшую резолюцию, по сути повтория Циммервальд: самая неотложная задача русской революции — борьба за мир без аннексий и контрибуций. Побудить (читай — принудить) Временное правительство официально и безусловно отказаться от всяких завоевательных планов — и даже: выработать такое коллективное заявление ото всех правительств Согласия! А сами они тем временем декларируют «к пролетариату всех воюющих стран» оказывать согласованное давление на свои правительства. И это — серьёзные меньшевики? Милюков убеждал Чхеидзе и Церетели в Контактной комиссии, что это — всё утопия, совершенно неосуществимо: социалисты западных стран свободны от этих бредней и стоят на национальной почве.

Он уверен был в этом! Но и западные социалисты оказались подвержены тому же головокружению. Вот 8 апреля приехали Альбер Тома (теперь он во Франции и министр) и Кашен. (Кстати, встречая их на вокзале, Милюков с Палеологом, Терещенкой и Коноваловым унизительно толкались в толпе, всеми теснимые: толпа встречала с того поезда Чернова и других эсеров.) Тома особенно засверкал глазами от русской революции, тотчас стал поддакивать Совету — и вовсе выбивал почву из-под Милюкова: как же призывать к верности союзникам настойчивей, чем это делает французский министр военного снабжения? На приёме в Мариинском дворце пытался его поправить: «Несмотря на переворот, мы сохраняем главную цель этой войны — уничтожение немецкого империализма. И франко-русский союз связан со звуками марсельезы в России. Благодаря демократизации Россия стала вдвое сильнее и вынесет все военные невзгоды». Но и тут — в своей среде! — бессовестный Керенский дал подножку: «Мы, русская демократия, раз навсегда прекращаем все попытки к империализму и захвату. Наш энтузиазм истекает не из идеи отечества, а из братства народов, и как мы тут влияем на свой буржуазный класс — так и вы там влияйте на свои!» (И ещё одним унижением было, что Милюков же должен был его и с русского переводить...)

Но и Павел Николаевич на своём посту не мог потерять ощущение всей глубины государственной традиции — ну хотя бы от XVIII века, не мог не чувствовать от своей спиной ну хотя бы Остермана, Бестужева-Рюмина, Никиту Панина, Румянцева, Горчакова. После полоумного Манифеста 14 марта (кстати, скандальнейше безотзывного по Европе) — он тоже не мог молчать и не отстаивать разумную точку зрения. Да показалось тогда: народная стихия улегается, перелом к лучшему в гарнизоне, печать имеет смелость укорять рабочих в отлынивании от работы, — и можно же подать голос и министру иностранных дел? И он побеседовал с журналистами: об освобождении славянских народностей от Австрии, о слиянии австрийских украинских земель с Россией, о ликвидации турецкого владычества в Европе и что обладание Константинополем — это важнейшая проблема войны, а нейтрализация проливов вредна для России. Обладание Царьградом всегда считалось исконной национальной задачей России. И что пресловутая формула «без аннексий и контрибуций» есть формула германская, а для союзников неприемлема, Германия — должна возместить убытки от своей агрессии. Но надо же так неудачно: появилось это в газетах в день похорон жертв революции 23 марта (и рядом со зловещим нашим стоходским поражением) — и было истолковано как *вызов демократии, игнорирование революции* — вообразить

было нельзя, как расхлещутся социалисты, буря! — и перекинулась внутрь правительства, и робкий князь Львов не в первый раз отступился от Милюкова, а Керенский публично опроверг, что это было частное мнение Милюкова, а не взгляд правительства, — и это уже не первый раз за мартовские недели его «частное мнение».

Так что ж получается: ничего нельзя и заявить?

А напуганная свободная пресса — не защищала Милюкова.

А социалисты уже не только бранились, но прямо лезли направлять, советские с ножом к горлу стали требовать: правительство должно публично отказаться от завоевательных целей. Церетели, к счастью теперь заменивший в Контактной комиссии грубияна Нахамкиса, убеждал Милюкова пламенно, горя тёмными глазами: именно, не теряя времени, послать ноту союзникам (уж Павел Николаевич сумеет выразиться дипломатично, верил Церетели) и одновременно обратиться к армии и к населению с торжественным заявлением: во-первых, разорвать с империалистическими стремлениями, во-вторых, обязать предпринять шаги к достижению всеобщего мира. Он убеждал, что тогда правительство приобретёт огромную нравственную силу, «за вами все пойдут как один человек», последует небывалый подъём духа в армии, и так проявится творческая сила русской революции.

Церетели подкупал и тоном своим, и манерой, хоть и сам усумнись. Но нет, Милюков твёрдо понимал всё положение — и уже сразу отодвигал «во-вторых» и сильно оспаривал «во-первых»: ничего это обращение не даст и только испортит отношения с союзниками и с могучей вступающей Америкой.

Но — не было тыла за спиной: сами же министры полухором упрекали Павла Николаевича, и надо же было удерживать их от порывистого согласия.

Трагедия состояла в том, что тут возник не какой-то маневренный тупик, случайная острая ситуация, из которой надо только изощрённо, ловко вывернуться, — но это был принципиальный тупик всем понятиям всей жизни Павла Николаевича, шлагбаум, отрицавший всякий смысл его деятельности. То было и трагично, что он знал свою абсолютную правоту — и полную неподготовленность своих оппонентов. На утопическую доктринёрскую точку зрения социалистов, младенческие бредни этого Церетели, солидная дипломатия стать не могла. Революционные беспорядки в Германии? поддержка германской социал-демократии? — абсолютно необоснованные надежды, вы уже имели время убедиться. Австрия — да, очень хочет мира, но без разрешения Германии не посмеет его заключить. Что за фанатическая узость: естественное стремление России обеспечить свою безопасность — заподозрить в «империализме»? (Вообще это хлёсткое употребление слова «империализм» не применимо и к английскому промышленному расцвету. Германский империализм — другое дело, да.)

И на следующий день среди одних министров: из-за чего и свергнуто старое правительство? — за неспособность довести войну до победного конца. И мы теперь повторим его ошибку? — так свергнут и нас. Теперь, когда в войсках энтузиазм от нового строя, вы же видите — столько поддержки от фронтовых deputаций, установилась духовная связь правительства с армией, — и вдруг нам начать пятиться перед чьей-то усталостью? Да не имеем мы права забывать о национальных задачах и интересах России! Нам нужен окончательный и длительный мир — а для этого решительная победа. Мы уже заявляли, что русский народ не стремится к захватам, к покорению других народов, — но не допустить же и собственного уничтожения! Как? — война унесла миллионы русских жизней — и теперь вернуться к *status quo*? — невероятно! Не захваты, но должно произойти органическое переустройство Европы. Аннексий для себя в Европе? — не хотят и союзники (колонии у Германии они отнимут в Африке), но

именно мы, русские, нуждаемся в проливах. Да как бы кто ни смотрел теоретически на возможность изменения целей войны — не сейчас же это поднимать, когда военный успех борьбы ещё не окончательно выяснился. В таких условиях нельзя же на ходу менять задачи, взаимно уговоренные с союзниками. А сепаратный мир?? — страшно подумать, он вычеркнул бы Россию из списка великих держав — и был бы гибелен для завоеваний революции. Нет! — на такой путь русская демократия не станет! *Conditio sine qua non*: вместе с союзниками — к окончательной победе!

Однако министры, расслабленные давлением Совета, мялись — но совсем ничего не уступить было невозможно. Какое-то заявление приходилось дать. В правительстве теперь больше половины составляла, как Павел Николаич называл, «оппозиционная семёрка» — и во главу её выдвинулся даже не князь Львов, он только покорно примыкал, — а звонкий фигляр Керенский, на заседаниях правительства стесняющий своим присутствием, нельзя откровенно высказываться. То, приехав из Кронштадта, он бесовестно лгал даже министрам в узком составе, что там всё, якобы, успокоилось. То, с 21 марта, необъяснимым путём объявлен заместителем князя Львова, а когда в конце марта министры второй раз ездил в Ставку, то в газетах было обозначено, что «просили» Керенского принять на эти дни председательство. Ещё усвоил он себе отвратительную привычку во время заседаний правительства нервно расхаживать по залу, то подходить, то далеко отходить, как будто он самый главный тут, может их и покинуть. А однажды устроил Милокову мерзкую сцену, раскричался и просто убежал. Скрытая с поверхности, тянулась безотказная связь его с Терещенко — Некрасовым — Коноваловым. Близоруко примыкали к ним неуравновешенный второй Львов и безликий Годнев. Вот, с податливым князем, и семёрка, большинство в кабинете. А Гучков — всё болел или уезжал, хмуро уклонялся от всяких коллизий внутри кабинета. А Шингарёв фанатично упёрся в земледелие и продовольствие. Мануйлов — не фигура, не поддержка.

И проклинал себя Павел Николаевич, где же были его глаза и разум, когда он единовластно составлял правительство? Мог взять больше кадетов, и кадетов настоящих, не предателей, как Некрасов, да Набокову первую дать важное министерство, и Винаверу, да насколько Бубликов энергичный был бы тут хорош. Да и премьером — во сто раз было бы лучше иметь тут громового патриота Родзянку, чем мямлю Львова. Не предвидел, что так сразу покатит налево. Чего тогда опасался? какие-то дутые вздорности преувеличил, переуступил и перелавировал. Его лучшее качество — компромисса и лавирования — и подвело в те дни.

Но — хоть теперь бы оно должно выручить. Не имея силы не уступить вовсе, Милоков каменно упёрся, что не оформит этой новой декларации как дипломатическую ногу союзникам, а лишь — обращение к гражданам России. (А уж тем более — не будет вырабатывать для союзников проекта коллективного заявления! — никогда он не возьмётся передавать давление на союзников — это неблагородно.) И конечно же не вставит этой ходячей пошлости «без аннексий и контрибуций», как его вынуждают. Заяви мы «отказ от аннексий», господа, это ни на шаг не приблизит нас к миру, но выйвит перед Германией и перед союзниками нашу военную слабость. Милоков тщательно подбирал выражения декларации так, чтоб они не исключали его истинного понимания задач внешней политики и не потребовали бы никаких реальных перемен в её курсе. Тут душевно помог Набоков: да изошритесь выразить эти «аннексии и контрибуции» настолько иносказательно, что сохранится *reservatio mentalis*, простор для самого широкого и субъективного толкования. И такое сегодня обращение к народу никак не есть дипломатический документ, не *expressis verbis*, и никак потом не свяжет нас на мирных переговорах: победителей

не судят, кто будет помнить это обращение? Да вон президент Вильсон выражался же и так, что вообще никто не должен победить в этой войне, — а сейчас вступил в войну с другим тоном, и никто ему не напоминает.

И Павел Николаевич выговорил себе перед министрами: что если этот компромиссный документ получит одностороннее истолкование — Милюков оставляет за собой право толковать в своём смысле и раскрывать неопределённые выражения в направлении своей политики и национальных интересов России. И очень гордился удачнейше вставленными там выражениями (Кокошкин посоветовал их): «Русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных своих силах», но — «при полном соблюдении всех обязательств, принятых в отношении наших союзников». А Керенский неожиданно добавил «государство в опасности» и «напрямь все силы для его спасения», так и ещё лучше стало. Но и всё же «не насильственный захват чужих территорий» вместо аннексий пришлось в последний момент вставить под давлением советских — и становилось трудно истолковать это в уклончивом смысле. А Контактная комиссия нашла, что и это слишком уклончиво, и возмущалась теми «жизненными силами, какие не должны быть подорваны», и «правами родины» — и грозили на следующий же день начать в газетах кампанию против Временного правительства. Но тут и Некрасов посоветовал им, что им выгоднее истолковать декларацию как уступку со стороны правительства. Ещё одобрили текст осуждением старого режима — и в конце концов советские социалисты согласились.

Но когда эта Декларация, от 27 марта, напечаталась — она имела столь шумный общественный успех в России, что Милюков испытал смущение: неужели он, сам не заметив, слишком согнулся и капитулировал перед Советом? Хвалил и правосоциалистический «День», что это — шаг в сторону от империализма и навстречу советскому манифесту 14 марта, истинно-демократические слова. Хвалила и меньшевицкая «Рабочая газета». Плохо. Декларацию определённо истолковали и как отказ от Константинополя. А тут повеяло и недовольство от союзников, с подозрением и неприязнью они приняли «не господство над другими народами, не отнятие у них национального достоинства, не захват чужих территорий, ничьё унижение». А тут — и германо-австрийская печать приняла декларацию слишком доброжелательно, это вовсе плохой знак. И в эту же болезненную точку клевало притаившееся перелицевавшееся «Новое время»: декларация психологически разрывает наш договор с союзниками, создаётся моральная почва для сепаратного мира.

Да неужели же так?? Да где это прочли?

Да, прочли! И Палеолог с Бьюкеном жестоко упрекали Милюкова: у вас — 8 союзников, и некоторые пострадали больше вас, а вот прибывает и 9-й, Америка, и вся война начата за славянское дело, — и вы же первые выходите из игры?? (Бьюкеном требовал, чтоб мы активно продолжали наступать в Месопотамии на Мосул.) Тут и американские еврейские банкиры прислали тревожный запрос: неужели — сепаратный мир?? И Милюков искренно ответил им: «Глубоко тронуты симпатиями выдающихся американских граждан иудейского вероисповедания... обеспечить торжество великих демократических принципов... Что касается слухов о сепаратном мире — могу заверить, что лишены основания...»

Но так болезненно ранили Милюкова все эти упрёки и до такой степени он был един со своими упрекателями, что лучше бы отказался от министерства, чем от своих принципов и от дальнейшего твёрдого ведения этой войны. И на прошлой неделе на московском кадетском совещании сам, теряя осторожность и весь скрытый выигрыш от декларации 27 марта, проговорился: что она никак не означает отказа

правительства от союзных обязательств и прав, и вопрос о проливах будет разрешён в связи с результатом войны, и конечно же мы будем требовать от Германии возмещения расходов по восстановлению разорённых ею областей.

Дьявольски трудное это лавирование: между анархическим морем внутри страны и твёрдыми обязательствами вовне. И не выглядеть империалистом — и сохранить же честное кадетское лицо. И перевысказать нельзя, и невысказать нельзя.

А тут достиг удар, от кого и ждать было нельзя: от президента Соединённых Штатов! Уж как приветствовало Временное правительство его вступление в войну! — блестящий шаг! с восторгом поздравляем! Свободная Россия чувствует себя особенно обязанной по отношению к Соединённым Штатам! А Вильсон сейчас, принимая в Штатах лорда Бальфура и маршала Жоффра и отклоняя же судить о всяких будущих политических образованиях и мировых границах, нашёл нужным вмешаться в три: признать (ещё не существующую) греческую республику с Венизелосом во главе (неплохая мысль, но значит свергнуть греческого короля); создать еврейскую республику в Палестине (отличная мысль и прудумованно высказана); и — о проливах!.. Совсем не подумав о русских интересах (с Россией можно не считаться?), он: не имеет мнения, но надеется, что русские откажутся от Константинополя! Не имеет мнения — но имеет... (Да не обидно, если бы мы реально уже эти проливы брали. А то ведь и не готовимся. Вот только появилась тайная надежда, что Болгария перейдёт к союзникам — тогда мы проливы быстро бы взяли.)

Балансирование требовалось — нечеловеческое. И вот так, достигнув своего заветного поста — Милюков загадочно лишился своего бывшего авторитета и прочности. Ничтожество Керенский не только явился на все иностранные встречи — с Альбером Тома, на завтрак у Палеолога, чествование американского посла (всюду примазывая и своего неразливного дружка Терещенку, с иностранными языками, и уже сунулись они к Бьюкенену, что согласны на нейтрализацию проливов!) — нет, он уже и публично перехватывал себе инициативу внешней политики, публично хвастался в Совете, что он теперь — реальный направитель внешней политики и декларация сделана под его влиянием (да так оно отчасти и было).

Да кто теперь у нас не хозяин внешней политики! Исполнительный Комитет Совета тоже ведь завёл свою внешнюю политику! — создал свой «отдел международных сношений», — ну что за нахальство?! Чуть ли не своих послов посылать в другие страны, и во всяком случае — советских комиссаров в наши посольства: «соответствует ли их деятельность новому строю и задачам демократии», а не то — «парализовать». Не знаешь, посмеяться? или удивиться?

Исполнительный Комитет нависал над головами министров как высокая скала — и уже наклонная, грохнуться на них. Временное правительство отвечало перед ИК за каждый свой шаг, даже принятый под давлением ИК, — а ИК не отвечал ни за что. (Одна сокровенная надежда питала Милюкова, что в ИК произойдёт внутренний раскол.) Уже не только Контактная комиссия спрашивала отчёта с правительства, но и в каждое министерство норовил ИК всунуть своего комиссара. А на своём конвентартовском совещании Советов они так прямо развязно и обсуждали, особенно Нахамкис: брать им власть или пока не брать? Звучало там, что «нынешние министры не желали этого переворота», и «не берём ни одной личности, ни Гучкову, ни Милюкову», и «Милюков недостаточно определён в своих чувствах к дому Романовых», и «мы не можем дальше терпеть этого правительства», — поносили так, как прежде поносилось царское, не считаясь ни с какими допустимыми границами. И даже, такая безвкусица и наглость, — хотели вызвать министров на своё совещание. (И — что бы делать, если б вызвали?..) Далеко же это ушло от «поддержки по-

стольку, поскольку», обещанной Нахамкисом и Гиммером в первомартовских переговорах.

Но даже — нельзя было этого выразить вслух нигде. И перед фронтовыми делегациями в Мариинском дворце, тревожно призывающими правительство не подчиняться никакой посторонней власти, — самому ж и Милюкову тоже приходилось заверять, что правительство действует вполне самостоятельно, что никакой второй власти нет: хочет — выполняет пожелания Совета, а то — отклоняет.

Маленький эпизод — но сколько в нём. В день похорон жертв революции Львов, Милюков, ещё несколько министров поехали на Марсово поле в одном большом роскошном лимузине, все вместе. А патруль милиционеров на мосту через Фонтанку — задержал их! потребовали — пропуск от Совета рабочих депутатов. Нету такого, но здесь — правительство, здесь — сам князь Львов. И — узнали же Львова. Но — всё равно не пропустили! И пришлось правительству повернуть и ехать в ближайший комиссариат за пропуском. А комиссариат оказался — в фонтанском бывшем доме м.в.д. И там не дали сразу пропуска, а стали по телефону искать Керенского. А министры беспомощно унижительно сидели в зале и размышляли, что ведь это — недавний дом Протопопова, откуда они его выкуривали. А теперь — как бы сидели и ждали у него приёма? Да плюнуть бы, уехать, — но нельзя решиться не присутствовать на таком революционном празднестве. И — ждали, ждали, пока наконец приехал Керенский, взял правительство под своё покровительство — и повёз их на церемонию. (Довольно гадкую, кстати, и в дурную грязную погоду. Обнажили головы у могил на временных деревянных мостках, рядом с ИК. И хоть умолчать бы о своём позоре! — но глупый Мануйлов тут же и разболтал всю историю задержки обступившим корреспондентам.)

Да *цыфирный* отдел (тайная расшифровка телеграмм дипломатов) доносил Милюкову, что швейцарский и ещё другие послы докладывали в свои столицы... о весьма вероятном падении Временного правительства! Хорошенькое начало! Нет, до этого далеко, однако читать неприятно.

А ситуация с министром иностранных дел — никак не смягчалась. Не говоря о том, что не уставала травить Милюкова «Правда», — завели ещё такую новую моду: заводские, якобы, резолюции. И «Известия» Совета публиковали их на месте передовых. «Треугольник», видите ли, постановил: «Предлагаем Совету депутатов категорически потребовать от Временного правительства немедленного опубликования во всеуслышание всех договоров с союзниками. Рабочий класс России не желает вести войну во имя захватнических стремлений английских и французских капиталистов. И чтобы Временное правительство тотчас обратилось к союзникам: отказаться от аннексий и контрибуций. И взять на себя инициативу начала мирных переговоров». Вот так. И это всё, и этим языком — составляли рабочие? Мы должны поверить?

А рабочие «Старого Парвиацена» будто бы требовали и большего: «Сместить Временное правительство!»

А «Известия» печатали — самыми крупными буквами.

И что ж это за новый стиль такой? — почему случайная сходка берётся направлять правительство Великой России?

И вот, при всей деликатной шаткости положения министра иностранных дел, вчера, 13-го числа, раскрыл Павел Николаевич утренние газеты — и глазам не поверил. Повсюду напечатано: «Как стало известно, Временное правительство в настоящее время подготавливает ноту, с которой оно в ближайшие дни обратится к союзным державам и в ней подробно разовьёт свой взгляд на задачи и цели войны».

Как ужалили Павла Николаевича, не умел подсказывать, но подскочил: да кто ж это за него распорядился? да что ж это за подлость такая? что за невиданные политические приёмы?

Вспомнил: на Контактной комиссии вечером 11-го появившийся Чернов разливался о своих европейских впечатлениях и что там никто не знает о нашей декларации 27 марта, так хорошо бы повторить это в ноте, в Европе, мол, будет очень благожелательно принято. И Милюков тотчас же отрезал, что он не хуже знает западное настроение; что такая нота вызвала бы не сочувствие, но тревогу среди союзников: будут слухи, что Россия готовится разорвать союз. Но черновское «Дело народа» стало подкипичивать — ноту! ноту! — какой-то аноним. «Свободный» а в этой же их шайке и Керенский.

Но кто ж это дал сообщение? — из правительства??

Покатил Павел Николаевич в Мариинский, выяснять. Набоков уже и разведаль: это Керенский!

Ах мерзавец! Еле высидев заседание, при конце Милюков ледяно спросил: кто дал прессе это коммюнике?

Львов? — ничего не знает.

Керенский, чуть-чуть смутясь, но дерзко: он не отвечает за форму, в которой пресса передала его слова, но при сложившихся обстоятельствах такое сообщение было необходимо.

Да каков же наглец! Всё так же ледяно (а сам клокотал) Павел Николаевич сказал князю Львову, что немедленно подаёт в отставку, если Керенский тотчас же не опровергнет. И началась буря. И даже в оппозиционной «семёрке» все от Керенского отшатнулись, находя его приём неприличным. И Керенский, кусая губы, впервые ощутил себя «заложником», каким всё время хвастал, — и по телефону из набоковского кабинета передал в телеграфное агентство опровержение.

И сегодня — оно тоже во всех газетах.

Но — что подумают союзники? Что подумает Россия? На одном таком странном опровержении тоже долго не продержись.

И заметил Павел Николаевич: министры осудили Керенского только за форму вмешательства в чужое ведомство, а по сути — они хотели уступить и ноту послать, ещё под этим давлением «рабочих резолюций».

И совсем не уступить — стало невозможно и для Милюкова. Какую-то ноту, какую-то ноту... а придётся посылать.

Но ощущал он: как это не вовремя! Если в марте союзники ещё думали, что мы сами справимся со своими затруднениями, — то теперь они уже жёстче приглядываются к нам. И хотя Милюков ну совсем же не был чувствительным человеком — но больно ему было представлять, как же союзники разочаруются в нас!

ДОКУМЕНТЫ — 9

14 апреля

ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР ТОМА ИЗ ПЕТРОГРАДА — ВО ФРАНЦУЗСКОЕ М.И.Д.

Телеграмма, шифровано

...Ни судьбе войны, ни судьбе Альянса ничто не угрожает. Я умоляю, чтобы не волновались.. Все те, кто находятся в контакте с революционной армией, подтверждают, что постепенно происходит реальное улучшение положения.. Революционный патриотизм может и должен проявиться...

ДОКУМЕНТЫ — 10

14 апреля

ГЕРМАНСКИЙ СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЦИММЕРМАН — ПОСЛУ В БЕРНЕ РОМБЕРГУ

Шифровано

Генерал Людендорф согласен пропускать через наши линии Восточного фронта русских эмигрантов до сих пор сопровождавшихся через Стокгольм. — с тем, чтобы они вели мирную пропаганду непосредственно в армии. Если бы нашлись готовые к тому, что можно было бы сделать такую попытку.

После бурного заседания Исполкома 5 апреля, когда, вокруг при-яги и Платтена, чуть не разорвали с правительством, заслушали на следующем свой скандальный протокол и постановили: впредь вести протоколы в безличной форме, чтобы не навешивать на товарищей одиозность, кто именно что говорил. Вообще крайне неудобно и нежелательно разглашать подробности того, что и как происходит на ИК. И в советской прессе и в социалистических газетах не надо этого печатать, уже скрепя сердце напечатали полный список ИК, ещё и с раскрытием псевдонимов, хватит этого.

Левые несколько раз предлагали публично дезавуировать Керенского за его фактическое предательство ИК. Большинство Исполкома не соглашалось: всё же полезно присутствие Керенского в правительстве и приходится учитывать его популярность.

Но тут же выдвинулась опасность и побольше, обсуждали как первый серьёзный вопрос. Пока кипели неделю на Всероссийском Собрании Советов — а тут под боком, в петроградском гарнизоне, выросло неконтролируемое движение, как-то связались батальоны между собой (да похоже — через большевиков): кроме Солдатской секции Совета, которой им оказалось мало, они желают избирать своё отдельное гарнизонное бюро, как это уже есть в некоторых городах (ведь повсюду строится хаотически, где как придётся), — якобы для решения специфических военно-технических вопросов. Но это — исключительно опасное предложение. Создание другого центра вне Совета — абсолютно недопустимо, там может выработаться своя политическая линия — и что тогда? гарнизон не станет подчиняться Исполкому. Размаху революционной инициативы тоже должен быть предел. А что же смотрит Станкевич (мастер критиковать других)? Наша солдатская Исполнительная Комиссия должна перехватить это начинание, убедить гарнизон, что она их достаточно представляет, что она — уже и есть это самое гарнизонное бюро.

Солдатская комиссия теперь заявляет, что их мало (человек сорок), что они перегружены общероссийской работой, а чтобы им заменить гарнизонное бюро — надо провести по гарнизону дополнительные выборы, хотя бы по человеку от батальона, — и всех их тоже включить в Исполнительный Комитет.

Хорошенькое дело, еле этих терпели, а теперь ещё добавлять шестнадцать? Но из двух зол придётся выбирать меньшее, иначе мы потеряем гарнизон. Постановили: добавить этих 16, но не новыми выборами от батальонов, ещё неизвестно, кто попадёт, а — делегатов от действующих батальонных комитетов, уже более притёртых.

Тут ведь только что, от Собрания Советов, уже добавили тоже 16 новых членов, чтобы ИК стал считаться Всероссийским. (Он уже разрастался государством, к нему обращались и учреждения — правительственные и провинциальные, к его дверям шли и пёрли жалобочки всех видов, толпа посторонних, чиновники, офицеры, мужички с котомками, плачущие женщины.) Эти новоизбранные шестнадцать, правда, стесняются, считают себя временными, до съезда Советов, и сами заявляют, что не хотят включаться в органическую работу ИК. Это хорошо. Богданов придумал загнать их всех в иногородний отдел. (Самому развитому из них Гуревичу-Беру поручили организацию областных съездов советов, по несколько губерний в области.)

А если дополнительные выборы по солдатской секции, то придётся провести дополнительные и по рабочей, ещё с десяток рабочих (Но их можно разослать в командировки по заводам.) А после того, что мы включили в ИК и всех членов с-д фракций четырёх Дум, и представителей районных советов, и ходит на заседания вся редакция «Известий», и новоприехавшими усилены представительства каждой партии, и заменённые члены ИК тоже нередко приходят, — мы что-

то разбухаем чуть не до 90 человек, наши заседания становятся тоже неуправляемые, и тоже не остаётся никакой дискретности, сказанное здесь конфиденциально — разносится далеко.

Ход дел в Исполкоме всё больше зависел от Церетели, а замученный Чхеидзе и вечно весёлый Скобелев, хотя формально во главе ИК и всего Совета, всё меньше значили после включения приехавших лидеров — Гоца, Дана, Либеры, а затем и Чернова. Приехавшие эмигранты и ссыльные неизбежно вытесняли здешних, петроградских. (Между тем Станкевич и Дан всё мотали Стеклова с реорганизацией «Известий», а Гиммер увлечённо готовил при Горьком свою собственную газету, которая должна была затмить и все революционные и все вообще петроградские.)

Тут верхушке ИК надо было ехать на Минский фронтовой съезд: там собрались тёмные солдаты, их ориентация неизвестна, могут поддаться монархической агитации, — надо сразу крепко взять в руки и провести как социалистическое совещание. Уезжала головка в Минск всего на три дня, и полагали, что тут без них, каждый день собираясь, будут решать только мелкие вопросы. Такие и были. Являлся надоедливый Громан: какую разработать тактику при выборах в петроградскую продовольственную управу? есть возможность захватить все места, но, пожалуй, не следует этого желать, иначе нам придётся взять на себя и ответственность за продовольственное дело в Петрограде, которое всё хуже. Никому не хотелось и брать на себя хлопот по организации первоймайской манифестации, придумали поручить Суханову, наименее приспособленному. (А он исхитрился найти энтузиастов вместо себя.) Долго спорили, какой лозунг должен быть написан на первоймайском знамени ИК: эсеры настаивали — «В борьбе обретишь ты право своё», но пересилили социал-демократы — что «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» более интернациональный и всеобщий. Обсуждали предложение Лурье: отпраздновать 1 мая прекращением военных действий на один день, пусть Совет выступит с обращением к нашей армии и к противнику — не делать в этот день первого выстрела. Красиво. Но удастся ли это технически? успеем ли предупредить немцев? как они утесутся? И будут противодействовать наши военные власти. А если случится в этот день неудача на фронте, вроде Стохода? — и свалят всё на нас, и используют против дела революции. Спорили и с межрайонцами: они настаивали занять пустующую дачу Дурново, а ИК не решался дать санкцию: и так уже кричала буржуазная печать о захвате особняка Кшесинской. Тут — от гельсингфорсского Совета жалобы на Гучкова, что он самоуправничает в морском флоте. От московского Совета — на Милокова: что на московском кадетском собрании он смазал всю декларацию 27 марта: что ничего в ней нового нет, что условия мира не могут быть выработаны без союзников и, конечно, должны включать присоединение к нам Армении и Галиции. Этот гадина Милоков хорошо хоть всегда выбалтывает, что он истинно думает; прижать его надо будет основательно. Да с Временным правительством и так уже два месяца тянулись две неразрешённых болячки: не отпустили они 10 миллионов на содержание Совета и не отменили искренно и окончательно воинскую присягу, — теперь иные полки запрашивали ИК: как же быть, кому верить? И как, правда, теперь быть, когда три четверти армии присягнуло? (Зря мы с этой присягой полезли.) А тут — телеграмма с фронта от 2-й гвардейской дивизии: ряды наши тают, не получая пополнений из Петрограда, хотим знать, всё ли ещё петроградский Совет настаивает на невыводе войск? Невывод петроградского гарнизона, такой революционно ясный в начале марта, сейчас становился всё более уязвимым. Уже рады были бы и отсылать их на фронт — но все батальоны знают свою льготу и не желают ехать. (А из провинциальных городов телеграммы: их гарнизоны, подражая петроградскому, тоже постановили не ехать на фронт, а защищать на

своих местах революцию.) А тут — посыпались телеграммы из-за границы, от наших эмигрантов. В Канаде — арестована англичанами группа Троцкого—Чудновского, не пускают в Россию! Тут — сразу утвердили резолюцию Лурье, Войтинского и Бера: от имени ИК дать телеграмму английскому правительству, копия — во все английские газеты, и чтобы Милюков сам указал эмигрантам выход из положения. А вот — телеграмма из Швейцарии от группы Мартова: требуйте от Временного правительства принять наш план проезда через Германию!

Но прикатила в эти дни телеграмма от московского солдатского Совета, ещё тревожнее: какими-то воинскими чинами ведутся переговоры со Ставкой и с Гучковым о созыве отдельного Военного съезда, фронта и тыла, без рабочих депутатов! Так это что — раскол? и уже во всероссийском масштабе? будет не один съезд Советов — а два?? И что останется от единой воли Советов? Тут на ИК и споров не было: помешать, сорвать! Это — опять гарнизонное бюро, только в десять раз опасней.

Надо бы обращаться — прямо в правительство. Но Контактная комиссия чуть ли не вся в Минске. Дали им телеграмму в Минск, ещё лучше: на минском съезде вынесут резолюцию против Военного съезда, это будет наиболее авторитетно. А ИК — пока обратился ко всем провинциальным советам: противодействовать этому начинанию.

Совсем не так легко вести советский корабль, крепко держать советский руль. Стали поступать резолюции от некоторых фронтовых полков в пользу отдельного Военного съезда и отдельного Всероссийского Совета солдатских депутатов, который потом сольётся с Советом рабочих и крестьянских. Вот-вот, всё более вырисовывался чей-то ловко проводимый черносотенный замысел. А от гарнизона Дна пришла резолюция: переизбрать петроградский совет *демократически*, чтобы он стал *истинным* представителем рабочих и солдат. То есть значит: лишить революционные партии их значения и влияния.

С этими выпадами совпал — или это части всё того же замысла? — провокационный (и с антисемитским душком) выпад Шульгина в его «Киевлянине» против товарища Стеклова. И одновременно — выпад шофёра товарища Стеклова против своего седока. О первом постановлено — довести до сведения родзянкинского думского комитета, о втором — произвести расследование. И тут же, в один день, всё сгрудилось: пришли слухи, что в первореволюционном Волыньском батальоне солдаты готовятся арестовать товарища Ленина. А этого — даже в намерении нельзя было допустить, ибо с этого края мог начаться погром всех революционных сил! Предотвратить! Немедленно послать в Волынский батальон делегацию — Суханова, Богданова, Венгерова, — рассеять ложные слухи о Ленине, которые распространяются среди солдат. (Возражал только Дан: предварительно ИК должен вынести мнение, от которого уклоняется: как принципиально оценить факт проезда эмигрантов через Германию?)

А вернулась из Минска головка — и все, все, все эти вопросы отодвинулись настоятельной необходимостью реорганизовать же Исполнительный Комитет: из узкого собрания революционных вождей он превратился в громоздкий постоянный двор всяких случайных депутатов, где уже нельзя ни говорить откровенно, ни спорить, — да и надо ли нам столько изнурительно спорить? И форму реорганизации предложил Дан в докладе такую: в нынешнем полном составе собираться реже. Вермишель мелких вопросов — раздать по отделам, которых будет 11 или 13. Для решения же принципиальных вопросов — избрать небольшое новое бюро, желательно из одних партийных представителей, и только через него вопросы могут поступить на обсуждение полного состава ИК. Но ведь мы собирали бюро месяц назад, в середине марта. Да, но оно не работоспособно. И не включает активных новоприехавших товарищей.

И тут стал проясняться замысел оппортунистов: не только отде-

латься от солдат, простых рабочих, от чужих, — но и от своих слишком задиристых утомительных левых, а чтобы там собрались сходные единомышленники. Левые, ведшие ИК в марте, а теперь его теряющие, — Суханов, Соколовский, Кротовский и все большевики, один за другим резко возражали: тогда составим бюро так, чтобы было пропорционально представлено и наше циммервальдское меньшинство! Но Церетели, со своей обычной смелой откровенностью, ответил, что меньшинство в бюро только мешало бы деловой работе: в ИК его постоянная оппозиция и принципиальные споры по каждому практическому вопросу ничего не меняют, а только парализуют работу. В бюро надо избрать таких, кто не будет словопреть: умели бы легко друг с другом сговориться и не жертвовали бы работой в пользу фракционных соображений. Завоюйте себе большинство в ИК — будет и бюро ваше.

И — хуже: отклонили предложения Каменева, чтобы в бюро были представлены хоть по одному от каждой партии (тогда б и большевик — один). И ещё хуже: отклонили настояния большевиков разрешить членам ИК присутствовать на бюро без права голоса и с обязательством не предавать сведения гласности и не использовать их в своих партийных целях.

Эта битва заняла три дня подряд, три заседания.

Большевики (извечные демократы) потребовали, чтобы такое бюро было представлено на утверждение пленума Совета, — отказали им и в этом.

По новому замыслу упразднялась и Контактная комиссия, а переговоры с правительством будет вести бюро. Тем самым из неё выбрасывался отчаянный и крайний Суханов, сперва не пожелавший войти в бюро в гордом одиночестве. Но и Стеклов как предчувствовал — оспаривал отмену Контактной комиссии. Как предчувствовал, потому что в качестве редактора «Известий» он должен был в бюро войти. Но в минувших днях произошло скандальное разоблачение его верноподданного прошения на высочайшее имя о перемене фамилии Нахамкис, и тут подбавила жару эта статья Шульгина, — и вот Церетели заключил:

— По совершенно особым причинам группа президиума считает невозможным выдвигать сейчас товарища Стеклова на ответственный пост...

Всем была понятна причина: бюро ИК не хотело себя компрометировать и быть мишенью язвительных нападок. Вполне понятно, но Церетели выразил это недипломатично открыто.

— А к а к а я причина? — потребовал знать раскалённый Гиммер, да и сам Нахамкис.

И Церетели пришлось назвать всё вслух. И тут бы ещё обошлось гладко, если бы смена фамилии не была с еврейской на русскую. Церетели ничего противоеврейского тут не имел в виду, но оппозиция сейчас же истолковала это как антисемитский выпад.

Поднялся страшный шум. Один за другим выступали, а затем уже слитно кричали, что это возмутительно, позорно, недопустимый приём, хуже этого не бывает! Это — полное предательство революции, это — хуже, чем Ленин проехал через Германию. А Стеклов настаивал, что это — его личное дело и никак не относится к общественной деятельности. Ссылался на прецеденты: сколько известных европейских деятелей тоже меняли еврейские фамилии и избирали себе произвольные. Это — пустая формальность, что прошение адресовалось царю, до него оно не доходило, и в нём не было никакой политической мотивировки. И оно не может опорочить 28-летней революционной деятельности.

Шум, гнев и дрожание были неопишутемы, многие растерялись. Президиум объявил, что считает невозможным вести заседание под крики «позор», — и удалились: за долгим Церетели маленький старый

обожающий его Чхеидзе, за ними неунывающий здоровяк Скобелев. (Да уж не рады они были, что затеялись с ничтожной фамилией, не трогали бы лучше.)

Оппортунисты — панически дезорганизовались, и потерпели бы поражение, если бы присутствующий простак, солдатский депутат (музыкант) не воззвал горячо, что он умоляет старых революционеров, наших вождей и учителей жизни, прекратить эту распрю, потому что мы, молодые, растерялись и не знаем, кому верить. И большинство — очнулось. Дан поставил вопрос о доверии президиуму. Набрали большинство, сообщили тем, и те вернулись.

В этот день уже не выбирали бюро, на то пошло ещё одно ожесточённое заседание, в бурных перерывах которого большинство и меньшинство расходились на свои совещания в разные концы Таврического, меньшинство попало полностью к большевикам и председательствовала Каменев. Всё же часть левых отшатнулась от Стеклова и перебежала к большинству. Под конец уже *приглашали* индивидуальных представителей меньшинства войти в бюро — они выступали один за другим и демонстративно отказывались. И только Гиммер, в отчаянии от этих большевиков, вечных мастеров бойкота, вошёл один.

Впрочем, и бюро не стало тем, чем его задумали, — и не заменило собою ИК, продолжавшего заседать чуть ли не каждый день.

Всё же и в эти бурные три заседания нашёлся момент, когда создавали отделы, — из недавней шутки выросло формальное предложение: образовать при бюро свой отдел контрразведки.

Подумали, подумали. Отклонили.

22

(фрагменты народоправства — деревня)

* * *

Грязью залита сельская улица, дождь, даже собак нет. На церковной ограде намочка, отрывается прокламация «социалистов-революционеров». Весь народ пошёл в школу — *люцинера* слушать.

Объясняет он так: лишь бы покончить с богатыми помещиками! — у всех у вас прибавится земли, хлебушка будет хватать, смотришь — другая коровёнка.

* * *

А на другой сельской сходке приехавший эсер объяснил не так: сперва у всех землю отберут — и каждому будут давать в пользование. Взнялась буча:

— Да ежели по-твоёму исделают — так в каждой деревне война пойдёт. Кто у меня отымет, какой пьяница? Да я его вилами! Ты мне за землю допрежь заплати, а потом отбирай. Земля моим потом полита!

— Переворот не для та гомсзили, чтоб народ обижать!

* * *

Сельский комитет села Покровско-Васильевского арестовал и отправил в Козлов богатого помещика Можарова — за то, что он «старого режима».

И за тот же «старый режим» арестован милиционером учитель села Красивого Добровольский, уроженец села, проучивший там 47 лет. Его заставили идти в Козлов 18 вёрст пешком. А там — освободили, милиционера же оштрафовали на 5 рублей.

* * *

Только просят у приезжающих: удешевить бы товары. Пусть правительство установит на жалезо, на ткани, на кожу, на карасин — божеские цены, и запретить торговцам продавать выше. И просить правительство проверить отсрочки военнообязанных на заводах: кто там прячется?

И так на сходках предлагали: а сделать хлебу перепись, чтоб никто не мог утаить ни зернятки. И — составить список. И жертвовать хлеб и деньги новому правительству, дай Бог ему здоровья. И — шить сапоги, и бесплатно посылать их в армию.

* * *

И так на сходках решали: пока суд да дело — а не давать чужим рубить леса. И заготовку дров для города в нашем лесу прекратить. И чтоб лесов никто никому не продал: уйдёт от нас на сторону.

В Петроградской губернии совсем не дают рубить лес — ни для отопления столицы, ни для военного ведомства.

А сами пока — почали рубить для себя, по соседству, хоть помещичий лес, а хоть и казённый. Крестьяне Сергинской волости Пермской губ. самовольно стали рубить лес голицынских наследников, лесную стражу обезоружили, её контору разогнали. Стали рубить помещичий лес и в Хвалынском уезде.

А в Мозырском леса стали жечь — за то, что они помещичьи.

* * *

Два села Хиленской волости под Белозёрском потребовали 10 тысяч рублей за пропуск мимо себя по сплавной реке дров и брёвен, заготовленных для северных железных дорог. Пока спорили с заготовщиками — а вода быстро спала, и брёвна остались неогнанными.

* * *

Для армии, то есть на станцию, а не в ближайший город, мужики во многих местах охотно везли хлеб. Но на станциях всё расстроилось, хлеб не хотят принимать, нет вагонов, сваливает под открытым небом. Нарастают залежи, и хлеб гниёт. Мужики то видят.

* * *

И так на сходках постановляли (Одоевский уезд Тульской губ.): с весны не допускать помещиков к работам на земле. И наследственные земли — начисто отымать, а покупные — не трогать. И — прекратить платежи земских сборов: это — раскладка старого режима.

Приезжие солдаты — чужие, мимоходные — боле всего настаивали: все законы теперь кончились, а будут такие, как установят сами мужики.

Что-то их много в отпуска поразъехалось.

* * *

Всю пасхальную неделю просидели на завалинках, обсуживали новый закон, будто всех городских рабочих освободят отнюне ото всякой работы. А мы сами себе губернатора будем выбирать.

А молодёжь всю неделю дулась в карты.

* * *

Ещё в марте решали: как только начнётся пора пахоты — захватим помещичьи земли, и пусть тогда помещики с нами поразговаривают.

— Теперь, братцы, настала такая время, что мы имеем полные права, а дворяне никаких. Баская жизнь теперь начнётся.

В Рязском уезде, в Княгининском: мы всё будем делать по закону, помещиков не тронем. Только согнем у них рабочих и заберём скотину — тогда они сами от нас уберутся.

В Елизаветградской губернии напуганные помещики и не стали сеять.

* * *

Какие теперь власти? — теперь везде сами повыбирали: комитеты народной власти, общественной безопасности, временные, исполнительные, распорядительные, — где как им сказали назвать. Учителей в комитеты чаще не брали: «учитель землю не пашет» и дела не понимает, он в калошках ходит, свою линию соблюдает. А в каких волостях, напротив, избирали, и батюшку тоже, и кооператора, и лесопромышленника. Только стали из городов приезжать и требовать: этих всех из комитетов повыкидывать, и отрубников — тоже повыкидывать, а включать лишь непримиримых бедняков.

Оглянулись: а в комитетах-то — одни горлопаны да озорники. А как им откажешь? От них теперь нет защиты, подпалит деревню. (И вместо урядников милицейские — тоже шатя). А что комитет может? Да всё: он — сам себе закон, он — и рука. Насажали себе начальства на голову — стали и своих арестовывать, во как.

* * *

В Мелитопольском уезде новыми комитетами арестовано несколько священников: за сочувствие к старой власти, за неуважение к новому правительству.

И в Киев стали прибывать священники, высланные из своих деревень.

Проявилось отвержение священников кой-где и в Нижегородской губернии.

Крестьяне сёл, прилежащих к Крижскому монастырю под Сумами, отобрали и монастырские земли и леса, выпустили туда свой скот. И потребовали, чтоб монахи шли на обработку общественной земли.

* * *

Толкует приезжий:

— По новым законам вы не можете препятствовать вашим бабам участвовать в выборах.

Бабы со смехом:

— Тебя выбираем! Ты за нас постоишь.

Мужики осердились:

— Он с вами, суками, снюхался? Нету нашего согласия, чтобы баба верховодила.

Смотри за своими горшками. Да, може, каких две-три хабалки на всю волость найдутся, а сурьёзная баба на это дело не пойдёт. Не бабье дело, и крышка. Чего тут баба может понимать? *(Из Наживина)*

* * *

В Селищенской волости Тверской губернии крестьяне ночью пришли к волостному старшине, душили за горло, требовали раздать волостные деньги. Старшина еле отпросился, хрипел: «В банке, на бумаге выигрышно! Ей-Богу, ничего дома нету».

А нашли несколько лишних пар сапог — забрали.

* * *

В селе Пёски Туровецкой волости Островского уезда собрался сход и (волостной старшина уехал в город) постановил арестовать писаря. И стали сперва утаскивать у него бумаги, а там серебряные ложки, пальто и все вещи: «Довольно! много попользовался, всё с нас тянул, будя!» А на денежный сундук в волостном правлении навесили ещё один замок и поставили выборного сторожить. *(Из Муйжеля)*

* * *

В Бессарабии поселяне разгромили имение князей Гагариных. Из многих мест просят охраны. В селе Избештах Оргеевского уезда крестьяне захватили две табачных плантации и ружейными выстрелами ранили двух управляющих. В Сорском уезде Кишинёвской губ. захватили вспаханную землю госпитала св. Спиридона да и засеяли. Власти не мешали.

* * *

В нескольких губернских городах, несмотря на весеннее бездорожье, сумели собрать крестьянские съезды — уж там кого от кого выбрали, кто доехал, а в губернском городе добавлялись кооператоры, земцы, от союза городов и от совета рабочих депутатов. На минском съезде постановили: самоуправство с землёй недопустимо до Учредительного Собрания, но чтоб и помещики не повышали арендной платы и не сводили леса; вся земля, и крестьянская надельная тоже, станет теперь государственной. — На ярославском: довести войну до полного закрепления свободы, равенства и братства и сокрушения германского империализма. — На воронежском: война должна быть прекращена как можно скорее, но без контрибуций и захватов, а пока стоять несокрушимой стеной; земля должна быть отобрана у владельцев без выкупа, но не захватывать до Учредительного; и — запретить выдел из общины на отруб. — Харьковский: отменить столыпинский закон о выделении из общин. — Саратовский (по эсерам): частная собственность на землю в Российской республике отменяется навсегда; все имеют право обрабатывать трудовую норму. — Самарский: запретить покупки, продажу, залог и сдачу в аренду; право на землю имеет только кто на ней работает; если помещик этой весной не сеет — его земля и инвентарь передаются крестьянам волости; волостной комитет — полный хозяин и может устанавливать добавочное обложение имуществ. — На тамбовском, пензенском, черниговском: комитеты своею властью могут вводить принудительную аренду земли, не возделанной этой весной. — На херсонском съезде усумнились хлеборобы: да если и всю землю по России забрать — хватит ли обеспечить безземельных? Эсеровский публицист Зак заверил съезд, что «земли на всех хватит, я сам подсчитал». — Черниговский принял всю программу эсеров. — Тамбовский — уже не «землю и волю», а «всю землю и всю волю». — А Томский ещё и утвердил конституцию будущей России.

* * *

В Ново-Гаритовской волости Козловского уезда задержан студент Политехнического института Смердков. Выдавал себя за представителя министерства земледелия, предлагал крестьянам покупать у казны землю по дешёвке, полтора рубля за десятину. Спрашивал у крестьянина, сколько он желает купить, брал деньги и записывал в книгу.

* * *

Что же дальше будет? Скинули царя, а кто ж хозяином будет? Понять нельзя. Какие-то ка-дэ, се-дэ, се-рй — а откуда они повылазили?

И ещё «меньшевики» какие-то-сь, мелкота значит.

Нет, это они — за «меньшого брата», значит за нас.

* * *

Замаялись крестьяне с этими «партиями» — которой верить? Как в лесу дремучем... Куда они все гнут-то? куда нам записываться, в какие? Тут приехал из Москвы свой Ванька Наживин, образованный, позвали его разъяснить.

— Ты-то сам к каким приписан?

— Ни к каким.

— Эх, пропадай наша головушка!

Стал он им излагать про каждую партию, чего она возглашает, на что зарится.

— Э-эт нам ни к чему. Ты давай о деле говори.

— Я и говорю.

— Не: казённая дача — будет наша или не?

— Земляки, да почему ж она должна быть ваша? В ней 12 тысяч десятин строевого сосняка, ей цена 50 миллионов.

— Так — межа с межей у нас.

— А заклызьменские деревни что ж? У них нет леса.

— А это — пусть их кручина. У них, может, клад зарыт. Кому как пофартило. Они к нам не лезь.

Дотолковал им, что лес остаётся казённым.

— Хэ-э-э... Да на кой лад было и всю волюнку затевать?

(Из *Наживина*)

* * *

По бездорожью — деревни как островки, не в каждую и пешком дойдёшь. Но прут и прут дезертиры, приезжают сторонние — и все кричат, что надо сейчас же делить землю, рубить лес. Громить имения. Громить кооперативные лавки.

Так объясняют: «Теперь — всё ваше!»

— И правда, нады нам, ребята, лавочников разбивать. Теперь слобода дана, хватит им наживаться.

В Симбирской губернии, в сёлах Убейх и Тарханах разбили и пограбили много лавок.

Волнения почти всегда начинаются с приезда дезертиров: прогон стражи, рубка леса, погромы имений. Вооружённые дезертиры ведут односельчан в атаку. В Кирсановском уезде Тамбовской губернии погромили имения Нарышкиной, Горяинова, Рейтерн. В Темниковском — Новосильцевой, в Липецком — Кожиной. В Моршанском — запахивали помещичью землю, средь неё — и губернского комиссара Юрия Васильевича Давыдова.

* * *

В Нижегородской губернии в сергачском имении Пашковых волостной сход устроил управляющего имением, постановил засеять помещицьи поля и распорядиться служащими. В Барановской волости сожгли усадьбу Погуляева, землю взяли самовольно. В Лукояновском уезде в имении Философова крестьяне захватили амбарный хлеб, семенной овёс, скот, лошадей, прогнали служащих, сняли рабочих и военнопленных.

В Нижегородской — укоренённая давняя вражда крестьян с помещиками. Но всё ж сейчас не как в Пятом году: помещицьи лошадям не вырезают языков, не вспарывают животы. Ещё и потому, что самый задиристый возраст — на фронте.

* * *

Во многих сёлах Одесской губернии крестьяне стали запахивать помещицьи поля, оставленные под озимые или под пастбища: мол, не используются. Межевые знаки уничтожают. Сходы решают описать живой и мёртвый инвентарь помещицких экономий, чтоб он не продавался до Учредительного Собрания.

И даже когда помещик уже вспахал землю под яровое, только засеять осталось — снимают у него рабочую силу (против схода никто не посмеет наняться), военнопленных, — а раз не сумел землю засеять, засеем мы в свою пользу. (И кухарку тоже у помещика отбирают, али — плати ей больше.)

И так: лишив рабочей силы, сами назначают себе низкую арендную плату или утреннюю подённую, тогда идут работать.

Или покруче: уже засеянные поля — отбирают, как якобы редко засеянные. Отнимают инвентарь, лошадей по цене в 10 раз ниже рыночной. Забирают и такой инвентарь, с каким по сложности не умеют обращаться.

В Тамбовской губернии стали от помещиков требовать подписку, что от земли сам отказывается. А иначе арестуем.

И в Сердобском уезде Саратовской губ. тоже взяли такую подписку. И в Темниковском уезде.

Многие помещики по разным губерниям — потянулись из усадеб вон.

* * *

— Ой, ребята, как бы нас не обманули!

— Чего ж обманут? Бери, дело ясное.

— Ой, не ясное. Ой, досмотреться надо. Теперь начальства не будет — надо самим смотреть, чтоб худого не было.

— Чего ж смотреть? Это по справедливости будет: всю землю в Расее поделить и чтобы была ничья.

* * *

Оратели эти кричат, а мужикам бы вот что кто б объяснил: как теперь будут судить? что будет делать теперь старшина? Как будут теперь торговать? Кто будет смотреть за дорогами и мостами?

— Пока ты про одно говоришь — понятно, как следоват. А как про другое заговоришь — так первое из головы вылетело. Мужикой башке всего не удержать.

— Вишь ты: «всеобщее, прямое, равное, тайное...» Тайное! Прямо же сказано: наложить на всех, хоть и равно, — из-под того бремени нам, ой, не вылезти...

Надо, мол, устроить какие-то-сь «примирительные камеры» промеж крестьянами и помещиками.

— А чего тут примирять? Взял да и засеял!

— Сицилизм — это все имущества и все деньги разделят, и каждому достанется по 20 тысяч.

— А буржуазы — это кто?

— А которые на бирже заправляют.

— На лесной?

* * *

В Горбатовском уезде Нижегородской губ. приехали крестьяне за осьмнадцать вёрст к управляющему:

— Давай ключи от амбара. Тута хлеб у тебя, а у нас вышел.

— Не могу я дать ключов, чужой он, хлеб. Желаете — ломайте сами.

— По какому ж закону ломать? Мы не можем самовольно.

Опять за ключами приступили — не даёт.

Тогда один мужик и крикни:

— А жги, ребята, амбар! Ни нам, ни им!

И сожгли. Хлеб-эт шибко горел.

А хлебушка-то — святой...

Очнулся тот мужик:

— Вяжите меня, ребята. Я — причинён.

А мужики не стали вязать.

Тогда побрёл виноватый мужик в новый уездный комитет. Там говорят:

— Худо ты сделал, да. Но теперь и без тебя делов много, иди себе.

Подумал-подумал мужик виноватый — и пошёл пешком аж в Нижний Новгород: у тамошних епутатов найти на себя суд.

И тама — тоже не нашёл.

* * *

Стали крестьяне отказываться от почтовой повинности, почту перевозить: на кой она нам?

Где и содержателям почтовых станций угрожают: прекратить!

В Пензенской губернии перестали крестьяне исполнять и все прежние договора.

* * *

В Семёновском уезде Нижегородской губернии посчитали крестьяне, что низко им заплатили за землю, отчуждённую для новой железнодорожной ветки, — и прекратили на ней работы. А ежели им немедленно не уплатят по 3 рубля за квадратную сажень, то будут и мешать работам.

* * *

На сходке разъяснитель: «Вот изберём земство волостное, потом уездное, потом губернское, потом Учредительное Собрание, оно и установит новые порядки». Толпу взорвало:

— Довольно с нас этих земствов! Мало они нашего брата околпачивали!

— Гыр-гыр, царя не надо, того не надо, — а работать кому? Всё ездютъ.

Там и сям — где распустили земское собрание, где разогнали земскую управу. В Скопине — добавили в управу крестьян.

* * *

По Рязанской губернии — больше спокойно. Но в Ранненбургском уезде сильно побуянили. (В этом уезде иные помещики загубили, не сняли урожай прошлого года, — крестьянскому глазу переносно смотреть.) У помещицы Ознобишиной землю всю разделили, стали засевать. Забрали у неё и 27 лошадей, заплатили в 7—8 раз меньше стоимости. Помещице Вячесловской велели в три дня засеять яровые, а через три дня захватили полностью имение Трубецкого.

Толпами крестьян предводительствовал безумный старик «драматург Полевой». (Прежде какие редакторы отказывались печатать его статьи — присылал в открытке «смертный приговор».)

* * *

А что рядом-то хуторян смотрим? Стали на сходках решать: «отруба вернуть обществу». И боле никого впредь на отруба не отпускать.

В с. Уды Харьковского уезда отрубники согласились вернуться к общинному землепользованию, если им дадут собрать озимый урожай и по сделанной уже пахоте засеять и собрать яровое. Общинники — не дают.

В двух уездах Нижегородской губернии произошли драки между общинниками и отрубниками. В Семёновском уезде, в деревне Захаровой, общинники устранили отрубников, разделили отрубные участки и запахали.

* * *

В с. Степной Кучук Барнаульского уезда 10 апреля, за Светлой неделей, арестовали пятерых, подозреваемых (но не пойманных) в воровстве. Выбивали им глаза, зубы, подвешивали к потолку и оттуда сбрасывали. Так — два дня. Одного крестьянина признали невиновным, а четверых отвезли в волость.

В соседних сёлах воротившиеся с фронта солдаты выкалывали вора́м глаза лучинами, разбивали молотками черепа, резали на куски. Дети прощаются с искрошенным отцом среди озверелой толпы.

* * *

А тут потекли слухи про *монополию*, но не с водкой, как до войны. А что: само правительство будет отбирать хлеб по половинной цене, а кто добровольно не повезёт — у того возьмут даром.

Мужики сильно заволновались. Местным образованным больше не верим: оманывают. И какие крестьяне в город ездили на сборища — тех там тоже охмурили.

А команды привычной сверху — нетути и нетути.

* * *

Пошли бестолковые порубки и культурных лесных хозяйств, пасли там скот, и зверя, птицу били. Теперь всё ваше!

В Саратовской губ. захватили, разделили опытное поле в 30 десятин.

В Рязанской получили развёрстку реквизиции скота на убой для армии. Так крестьяне вместо своего сдали без разбору помещичий племенной.

* * *

И всё-таки, если окинуть всё необъятное российское крестьянское море — то волнений было ещё мало. Редко охватывали целую волость, а уезд — так один Ранненбургский. А много сельских пространств — и полного мира.

И во многих деревнях неласково встречали дезертиров, так что они и на фронт возвращались. Приезжих ораторов слушали с молчаливым презрением. К помещикам держались с почтением.

* * *

14 апреля в «Правде» Ленин признал: аграрное движение — ещё пока предвиденье, а не факт. Его ещё надо развивать!

* * *

Много крестьян недовольных, хмурых, никому не верят, во всём видят обман.

— Докуль будет начальство — не будет слободы. Поничтожили одно начальство — выбрали другое. Отстрят пузы — такие ж будут.

— Понавыбрали всякой сволочи себе на шею. Раньше один старшина с писарем все дела вертели.

Там — и буржуазы, там — и фабричные: устроили себе 8-часовой день, грабят и хозяев и народ. А мужик гни на них, подлецов, спину от зари до зари.

* * *

В деревнях переполох: Питер распорядился почитать 18 апреля как 1 мая. А куда ж зйти 13 дней? А святых, какие на них приходятся, обминуть? — как это можно? А на численнике на первом мае стоит понедельник, а у нас вторник, — так не стыкается?

И так говорят: новый святой объявился, ему и праздник теперь. Только не знают, зажигать ли ему лампадку.

* * *

И тот мужик с хутора Лоски:

— Кажуть, будут тыждень зминивать. Запречь нэ будэ ни среды, ни пятницы. В тыждне будэ пять днив, а в роци — 13 мисицев. С того 18 апреля — свято.

И такой слух: «Теперь воскресенье будет через раз». — «А в тот раз — что же после субботы?»

* * *

На сельском митинге, приезжий:

— Теперь будут все — граждане, и брак — гражданский, не церковный.

Бабы переполошились:

— Гожанский?.. Говянский?.. Баранский?..

— Эт значит: какую хошь — взял, и прожил с ней, сколь хошь, а надоела — по шапке? А дети куда ж?

— Не, мужики! В чем другом — как хотите, а — от Господа мы не откажемся.

* * *

Товарищи! Разъясняйте населению, неустанно твердите ему о необходимости приложить все усилия к своевременному обсеменению полей и к сохранению сельскохозяйственного инвентаря.

(Союз служащих министерства земледелия)

* * *

И вот простота и правда — закрылись между ними. А наступила — условность.

Если не ложь.

Каждый раз идя домой, обедать или на ночь, не знаешь, в каком настроении Алина встретит. Очень переменчивое, какое-то пилообразное, и меняется по два и по три раза в день: после светлого отрезка — потемней, потом опять светлей, опять темней. Раньше в ней такого не бывало. Но надо как бы не замечать, не раздражаться. Постепенно это сгладится. Когда-то прежде установился между ними натурально лёгкий, весёлый тон отношений, и какой-то ритуал обраще-

ний, жестов, поцелуев — так всего сохранив придерживаться этого и теперь, как ни в чём не бывало. И как было принято называть её нежными именами — называть и сегодня, это гораздо сносней, чем ввергаться в возможное объяснение. И если был обряд — протянуть сразу две ручки для поцелуев, чтобы принять от мужа восхищение и благодарность, и теперь Алина иногда снова протянет так, то — из неловкости, из вежливости — не дать почувствовать натянутость — а принять и поцеловать, не уклонясь.

В минуты темноты, да и в минуты света, всё равно: жалко её! Надо всеми силами её беречь, и уступать ей, сколько можно. Вот упрекает: у тебя неприятные черты характера! ты уходишь в себя, угрюмо, с тобой жить невозможно! Георгий не спорит: хорошо, я за собой послежу. Да и кто, правда, за собой всё видит? Уступить — всегда в конце концов оправдывается. Да будешь угрюмым, теперь. Да только бы — ещё тут не терзаться.

Вся их нынешняя жизнь, в общем, терпимая. Только вот к ночи гнетёт. Если бы без ночей.

Каждый час дома — осаживает и спутывает. Да нельзя же терять времени, события катятся — что-то делать!

И всё так же не находишь: чт о? И — с кем?

Да отдал бы энергию оперативной работе — так замерла совсем. Формально разрабатывались возможные наступательные операции Юго-Западного фронта — то ли в мае, то ли позже, но никто в них не верил и никто серьёзно не торопил. И ответа на возможное немецкое наступление не разрабатывали, да в общем и не ждали его. Да всё расплылось, слишком неясно. Только подсчитывались колонки перебойчатого снабжения и не приходящих укомплектований, — так этим не Воротынцев был занят.

Зато прямо в комнате, где он сидел, несколько стальных шкафов было набито главными оперативными документами ещё с Четырнадцатого года. И в первый же вечер с приезда, и каждую свою дежурную ночь, а потом, не стесняясь, и опустелыми днями, — Воротынцев, от бесприложности сил, травя себя, кинулся изучать скрытую историю прошедших кампаний, чего он не мог узнать и догадаться из полка.

И вся та война — заново зажгла его теперь. Так втягивал он страстно, забываясь, как будто ещё можно было вмешаться и от него зависело что-то спасти.

Начали войну двумя независимыми фронтами, как бы в двух отдельных войнах — против Австрии и против Германии. Динамичная кампания Четырнадцатого года — и поразительная же по глупости с нашей стороны, как будто мы специально подтверждали установившееся у немцев низкое мнение о русских. Успехи в Галиции — никак не использовали для общей цели. Зачем так зарывались в Австрию и такими крупными силами? Нелепо притеснялись к Карпатам, вплотную к ним, лицом, несколько армий сгущённо — кто это наманеврировал? Иудушка Иванов с Алексеевым или тупица Данилов из Ставки? Теперь оказывается, читая их переписку: все вместе, Бессмысленное притеснение к горам фронтом четырёх армий — а тут оказалось легко было догадаться раньше: на польском участке не хватает сил. И из расположения неудобнейшего, растянутого, кому и через предгорья, — в сентябре совершать тремя армиями грандиознейшую рокировку на север, к Варшаве. А на Сане — внезапное наводнение от дождей, рвёт мосты, а рокадных дорог, ни железных, ни шоссеиных, — у нас конечно не предусматрено. Многие корпуса совершили весь путь, больше двухсот вёрст, полностью пешком. А дороги оказывались — и накатник по болоту, да по которому австрийцы уже дважды прошли, а ремонтировать некогда, да и снова дожди. А и большаки разбитые, и русские колонны вязли в грязи, не то что артиллерия, но по-

возки застревали на каждом шагу, для пушек спрягали по 12 коней, губили их.

И где же во всём этом — великий план? Да одна суета, читал теперь Воротынцев. К Варшаве не успевали, и расслабленный Шейдеман, принявший самсоновскую 2-ю армию, — без боя сдал линию кругваршавских фортов. Тогда придумала Ставка, чтоб Юго-Западный отвлёк наступлением через Вислу, — и тяжело строили мосты по паводку, и сорвась на первых шагах наступления — сами и уничтожали эти мосты.

Не взвесишь, что больше душило сейчас: суетливые и почти всегда опоздавшие распоряжения Ставки — или панические донесения чучела Иванова, его постоянные воззвы о помощи, его постоянная неготовность к назначенному сроку, его полная неприкладность ко всей той боевой осени. Дальше, вот, немцы замаялись, а австрийцы обнаружались вовсе не добыты (ведь Рузский выпустил их целыми из-под Львова, за что возвысился в Главнокомандующего фронтом), и вот, едва закончив в сентябре рокадное перемещение направо, — в октябре, внимая воплям Иванова, погнали многие те же корпуса рокадно налево! Всё не на том, нужном, месте у нас оказывались армии. (К счастью, 12-й корпус, где состоял воротынцевский полк, оставался слева, в 8-й армии, и в этих рокировках не участвовал.)

А немцы не только замаялись, но в начале октября стали даже отходить у Ивангорода — но как? Отходили в полном порядке, успевая капитально портить железные и шоссейные дороги, мосты, виадуки, каждый третий рельс, спиливали телеграфные столбы, даже разбивали изоляторы, даже проволоку разрезали. И вот это продвижение было засчитано Ставкой себе как наша успешная Ивангородская операция.

А в ту осень французы первые обнаружили у себя недостаток снарядов — и замерли — и требовали от русских наступать на левый берег Вислы, у нас-то снарядов хватит... И мы, разумеется, пошли, и широко, девяносто дивизиями, от Бзуры до Сандомира, сопротивления большого не было. И широким уступом справа подставили свой фланг германскому сгущению с германской же территории, от Торна, — уже и так нависший над нами рукав Восточной Пруссии мы как бы ещё удлинити. Так можно же было ждать удара справа? Но Рузский не только не ждал его, а даже заверял Ставку, что немцы ничего там, справа, не стягивают. А там наш знакомец Макензен по частым и спорным немецким дорогам собрал шесть пехотных корпусов и шесть кавалерийских дивизий, и проломив многострадальный — и так знакомый Воротынцеву — 23-й корпус, откуда натягивал он в августе эстляндцев прикрывать Найденбург, — пошёл Макензен в прорыв между растянутыми зеваками Ренненкампомф и Шейдеманом, между Вислой и Вартой, — и целых пять дней он так наступал, а Рузский, боком к нему, тем временем беспечно гнал три своих армии на запад! А через пять дней очнулся, что немцы уже подпирают к Лодзи.

Отказно! решительно не понимал Воротынцев: если ты командующий, или Главнокомандующий, или Верховный, и знаешь свой долг, а значит ведёшь разведку и неусыпно сидишь над картой, — как можно такого не предвидеть? и даже не увидеть, когда оно уже совершается?.. Донесения этих пяти дней — невозможно было читать, не закипая. То, что в круженьи того ноября с ветренными морозами, а ещё без снега, рядовым исполнителям представлялось умонепостигаемой завертью — теперь тихо таилось в старых бумагах как слежалая бездажность нескольких генералов. В той ноябрьской чернеди какой-нибудь командир полка всё же не мог предположить такой безмерной оплошности своих командующих — да недосуг ему было о том гадать, а только успевать полк врыть, сохранить и накормить. А командующим, в их благоразумно дальних штабах, непосильно было те чернотропные бои представить.

Жалкая Ставка! — так мало и поздно узнавала, так мало влияла, даже Елизавета с конными нарочными из Петербурга умней и своевременней давала советы по тактике своим слабеньким фельдмаршалам на Одере. А так феерически репрезентативно выглядел Николай Николаевич (впридачу с Янушкевичем глядящий в рот Данилову-Чёрному), и так великодушно снисходителен был царь ко всем негодным начальникам. И как же за всю великую войну в великой российской армии не возвысился настоящий Верховный Главнокомандующий, а только подставные фигуры дяди и племянника?

И опять роковую 2-ю армию тот же Макензен, обходил под Лодзью с той же стороны, с востока и юга, — так же с востока не успевал выручительным подходом тот же Ренненкампф, где-то плёлся за десятки вёрст. Да оказывается, читал теперь Воротынцев, в самый разгар лодзинского «слоёного пирога» Рузский потерял связь с окружаемой армией, и Ставка тоже была готова на генеральное отступление. Только в этот раз в захват попадал со своей 5-й армией ещё и Павел Адамович Плева, ныне покойный, — такой малорослый, такой некрасивый, такой уверенный и спокойный генерал: сам под захватом с другой стороны — спас и свою армию, вызволил и 2-ю, и ещё 6 и немцев захватил в кольцо. не опоздай поддержка от Рузского.

Из тех боёв слышал Воротынцев живой рассказ Кости Попова, тогда подпоручика там, а потом у него в полку. Им там достался участок на Бзуре, подле Брохова. Местность — ровная как стол, и на тысячу шагов приказано атаковать, и ещё перед самыми немецкими окопами обойти два болотца. А стрельба такая: на десять немецких снарядов наши отвечают одним. (Да ведь у нас за перерасход снарядов тогда наказывали больше, чем если людей уложишь.) Только и мог командир полка отложить атаку до ночи — глубокой чёрной осенней ночи, и послать два батальона в несколько линий, и сам в одной из них. Ещё спустился туман и пошёл мокрый снег. До той ночи осветительные ракеты были и у немцев редкостью, наши солдаты и не знали такого чуда, — и вдруг немцы стали взвывать и взвывать ракеты — и выхватились линии атакующих, в тумане и в снегу. И заметались светящие жала стреляющих пулемётов, немецкие окопы обозначились взблёсками ружейных выстрелов — уже близко! а не добежать. Кого посекали, кто залёг. И такой был непрерывный долгий низкий немецкий огонь — не только надо было отползать плотно по снеготряси, но сперва даже задом отползать, ибо не решиться повернуться в ползке и минуту быть удолженной мишенью. А Попов уже лежал под самым немецким пулемётом — «как бреют голову тупой бритвой» — и оттуда дополз через всё поле назад. Линия перед ним, человек пятьдесят, на его глазах уже врывается в окоп, и при ракетном свете упала, он говорил: вся полсотня как один, в один миг, но своими телами защитила их вторую линию. Всю ночь потом с поля приползали поодиночке, а поле кричало, стонало: «Братцы! помогите!.. Спасите!.. Не бросайте меня!», и рыдания слышались. Но нечего было и думать подбирать, а снег всё шёл, шёл и покрывал лежащих как саваном. А потом — день, и снова подобрать нельзя. И только следующими ночами оттягивали в братскую могилу.

И вот эту всю кровь — мы теперь сами затопчем? Ливанём её под свинячьи копыта?

Боже мой, что делается! — помрачились разумом.

И сколько же за эти годы таких потерянных эпизодов, как на Бзуре? и сколько таких участков? и сколько таких полков? Когда занимая окопы после сибирцев — на двухсотшаговом фронте одной только роты подбирали 90 их трупов. Если копаем ход сообщения как будто в новом месте — а вырываем трупы немцев или своих. Когда немецкий огонь таков, что воронка попадает в воронку, и тщетен известный расчёт прятаться в них. А это вдолбленное понимание: держать линию *во что бы то ни стало*, вместо сочетания огня, отходов и

контратак? Из опасения потерять линию мы и сидели в болотах и ямах, а противник — всегда на выгодных позициях. Когда батальон подтискивается из болота к немецкой грядке так, что немецкие проволочные заграждения становятся его собственной защитой. Когда в марте земля ещё мёрзлая и цепи не могут вкопаться, жмись к земле как к родной матери. Но в полдень верхний слой оттаивает, и шинели намокают. А к вечеру снова подмерзает, и шинели становятся грязной корой, и раненые, предсмертно корчась, облепливаются грязью.

И — что из этого воспарялось тогда к Ставке? к Верховному?

А ещё ж вот — злополучная предвесенняя вылазка через Карпаты — безумный план Иудовича с Алексеевым, а Николай Николаевич, конечно, согласен. Воротынцев тогда, и с полкового места, в ужас пришёл. Теперь читал: да цель была — брать Будапешт, а потом Вену. Теперь мог прочесть и мудрые советы Жоффра, что в горах русским понадобится меньше снарядов.

А за тем же сразу — бездарный проворон макензеневского прорыва под Горлицей в апреле Пятнадцатого. А ведь оказывается — ещё с марта с передовой доносили о симптомах подготовки прорыва: к австрийским частям прибавляются немецкие, и номера их двух дивизий, и даже немецкой гвардии, и с тяжёлой артиллерией, и с несколькими авиационными парками, и показания австрийских перебежчиков, что наступление будет в середине апреля, — но в штабе 3-й армии Радко ничему этому верить не хотели, и ещё спокойней был штаб фронта, уверенные, что — все главные действия будут на Карпатах, — и с нашей стороны участка не укрепляли ничем. Немцы создали пятикратный перевес в орудиях, а наши не получили даже инструкции: в случае артподготовки пересидеть на запасных позициях.

И с того прорыва — Великое отступление двух фронтов на 4 месяца, при норме 8 снарядов на орудие в день, потом и меньше, редко на каком рубеже удерживались два дня подряд, а то — каждый день бой при разительном неравенстве огня, и каждые сумерки в отступлении, и бессонные ночи. На полк — 8 пулемётов, и не хватало даже винтовок, даже патронов. То — устроили оборону, но где-то в стороне нас обходит невидимый противник, и мы отступаем по приказанию. То — нет средств к обороне, и уходим сами, и так без конца. И никаких свежих частей на поддержку, да даже бывало — нет солдат унести на себе пулемёты, тащат офицеры. И уже так все измучены и офицерам грезится: лёгкое бы ранение, да отдохнуть.

И — всё то теперь забыть, как не было? и всех тех однопольчан забыть?

А где-то далеко, вот теперь в донесениях: как в мышеловку Новогоргиевска мы загнали на гибель четыре дивизии (уступая общественному мнению, что слишком легко у нас падают крепости.) А там, ещё сбоку, бросили в небрежении Риги-Шавельский район, и немцы разлились по Курляндии, уже в Пятнадцатом году могли угрожать Петрограду. И — бездеятельность Балтийского флота, всё берегли его. (Вот он, застоявшийся, теперь и ударил в революцию.)

А Шестнадцатый год, а гвардия? Общий слух в армии был, что её уложил генерал Безобразов, на болотистом Стоходе. Но теперь-то, по документам, Воротынцев видел, что Безобразов и не мог бы сопротивляться: то был приказ Брусилова: безумная и бессмысленная атака Ковеля именно с юга, да ещё и управиться в пять дней! Приказ Брусилова — но и Ставка же согласилась. Брусилову — как-нибудь дотянуть картину своего наступления. А — что нам тот Ковель?.. И нужно же было трону так возиться с гвардией столетиями — чтоб вот так утопить её в стоходских болотах ни за что?

А солдаты — те солдаты, которые в Четырнадцатом в сутки важи-

ли на мобилизацию и отшвыривали медицинский осмотр — «здоров!»,— ничего этого не знали, как их водили эти три года.

Но за всю эту цепь неумелостей и позоров — имеют солдаты и право на гнев!

Имеют — но и сегодня ещё не догадались. Только — ярость к каким-то изменникам, скорей всего с немецкими фамилиями. И — слепая ненависть к отдаванию чести, к офицерскому погону.

Раздумаешься — поразишься: не сегодняшней распущенности, на что их подстрекают из Петрограда, — а ещё сегодняшнему их доверию к новым верхам, к Временному правительству.

А безжизненное правительство не только не умеет собрать, направить, использовать силу фронта против тыловой шайки Совета (как упустили мартовский массовый солдатский поворот!) — но чего вообще хочет это странное правительство? Вот, оскорбляя чувства воинов, оно спешит специальным указом освободить от уголовной ответственности земгусаров, кто из них за военные годы совершил мздоимство и подлог. Значит, просто — вытягивай своих?.. А четыре дня назад и ещё указ: срок явки дезертирам — продлить на 5 недель, уже до 15 мая!

Так зачем же: самим — настаивать на войне до конечной победы, «только победой мы укрепим новый строй», и такая же директива Ставке, — и тут же самим разваливать армию? И что за наивность: всё твердить, что от революции боевой пыл только усилится? Неужели верят сами? От того, что «за Россию» переменили в «за революцию»?..

А это пасхальное двухнедельное братание — как они естественно чувствуют, сразу выказывает условность врага — и условность этой войны. Солдат всегда ждёт только *замирения* — а не думает о границах, о смене политических режимов и лиц. Праведная тоска по *замирению*. И от Временного правительства ждут теперь — не чего иного, как *замирения*.

А Леонид Андреев раскатывает статью: «не от войны мы устали». Да, конечно, ты не устал.

И — право ведь народное чувство, хотя и слепо, и невежественно: расширению — надо же знать меру, оно не может быть безграничным, мы и так раскинуты — уже между рук не удержим. Вся эта «общеславянская задача» на Балканах, Константинополь — всё ведь надуманный вздор. Союзники — знают, чего они в этой войне хотят. А мы — не знаем. Но они вот и сегодня не надрываются: за неделю-другую и выдохлась «великая битва народов у Суассона и Камбре».

Уже в прошлом году было ясно, что пора кончать, — хотя тогда так бы и довоёвывали покорно, из привычного повиновения. А теперь, после революции, грозит уже полный разгром!

Кадровый военный — и против войны?.. Но война не существует сама по себе, война — не икона и не святыня. Война — только способ охранения своего государства. И если государству полезней не вести войну — так и не вести. (А вот сослуживцам по штабу — так ясно этого не скажешь...)

Но стал теперь выход из войны — ещё, ещё и ещё сложней и опасней, чем раньше. Если раньше мы прочно держали фронт и могли вести переговоры с крепкой позиции — то сейчас: кто станет с нами считаться? Нас только толкни.

Можно понять, почему немцы нас сейчас не трогают. Но и не будут слишком долго смотреть на наш развал — пойдут и захватят, сколько им угодно. В запас для торга. Двинули на Стоходе — почему не ещё где?

Не для дальней победы, а чтобы только выйти из войны, не отдав земли, надо до последней силы держать фронт! А *держать* — невозможно без гибких наступлений. А *наступать* солдаты не хотят ни шагу!.. Будем свободу праздновать! Айда, Ванька, землю делить!

Одновременно надо выйти — и из войны, и из революции. Какое-то комбинированное сложнейшее отступление.

И — кто бы это мог? У кого такая сила? способность?

Но высшие стратегические задачи — это и суть задачи отступления из безнадежного положения.

Если это правительство не смеет разогнать Совет депутатов, а вместе с ним разваливает Армию — так гнать их вкуче, только и остаётся.

Нашлось бы немало офицеров примкнуть — если б раньше создать ядро движения. Твёрдый союз военных людей.

Но его создавать — надо тайно. Это — трудно.

Кто же бы? кто бы стал во главе?

Алексеев? Нет. Нет, не решится никогда.

Гурко! — несомненно, вот кто может возглавить! Острый, мгновенный, крутой!

Надо поехать к нему — и предложить откровенно.

24

Когда после переворота уже стали достигать газеты — усумнился генерал Гурко в умственных способностях наших англо-французских союзников. Российскому перевороту ликовали — и германцы с австрийцами, но это понятно, и одновременно же англичане и французы, — эти-то чему, если в здравом уме? Не могли ж обе воюющих стороны получить выгоду от одного и того же события? — кто-то жестоко ошибался. А убедаясь в нашем расстройстве, союзники (было у Гурко от них особое впечатление с петроградской конференции) поведут себя свободно от обязательств к нам, и даже заключат сепаратный мир за наш счёт, ведь немцы на Западе ничего и не ищут, они вполне удовлетворяются нашими землями.

Хотя в первую же минуту царского отречения пронизало Гурко, что всё пропало, — он, разумеется, не дал себе и подчинённым генералам опустить руки. От нахлына этой «армейской демократии» возник как бы новый род войны, внутри самой армии, — так надо было быстро выработать и новую тактику. И: всеми силами — не дать разъединить офицеров и солдат. Все приказы по Особой армии Гурко велел открыто вывешивать во всех населённых пунктах. Призывал солдат *брать пример с царя*: он предпочёл отречься от престола, нежели затеять внутреннюю усобицу. Урок нам всем: только не усобица! И опровергал «слухи о выборе начальников» — это невозможно, это повело бы к полному расстройству армейского управления; все такие мысли могут подавать только злонамеренные люди или подосланные врагом. Теперь стали модны солдатские собрания под приклеенным английским «митинги», — указал Гурко своим генералам и штабам: проводить в руководство такими собраниями умеренных людей; успевать посылать на такие митинги своих инструктированных унтеров или развитых солдат, чтоб они умели вмешаться и придать собранию нужное направление. — Один раз, выходя из собора с панихиды по жертвам революции, Гурко и сам произнёс речь перед толпой солдат. Получилось отлично. Луцкий гарнизонный комитет принял постановление: никакое решение никакого собрания не считать действительным, пока его не утвердит командующий армией. Всё-таки что-то можно устроить.

Однако недолго пришлось генералу Гурко урять свою Особую армию: в десятых числах марта назначенный на Западный фронт Лечицкий — отказался. И тотчас прикатило распоряжение: Гурко — принять главнокомандование Западным фронтом.

Снова, как и в Ставку в прошлом ноябре, Гурко обгонял генералов старше себя по чину и по выслуге. Но это не удивляло его. Внут-

ренне почему-то хранилось в нём убеждение, что ему предстоит сыграть выдающуюся роль в спасении России. Может быть, это и были все шаги к тому.

Однако Гурко по датам рассчитал, что его назначение подписано в Ставке Николаем Николаевичем, которого самого с тех пор уже отставил князь Львов. И ответил Алексею: нет, пусть утвердит Временное правительство. В нынешней шаткой обстановке чтобы действовать — надо опираться твёрдо. А в повадке Временного правительства уже замечено было: уклоняться и смалчивать.

Назначение от правительства пришло ещё девятью днями позже — и только тогда Гурко простился с Особой армией и поехал в Минск, где пока вместо Эверта управлял старик Смирнов, командующий 2-й армией. Он был старик кремнистый — но не за сегодняшней зыбью угнаться.

Из-за этой задержки — не при Гурко произошло и наше жестокое стоходское мартовское поражение. Из Луцка Гурко был близко слева к этому месту, но не он командовал. Не он командовал — а извёлся. Ещё в Луцке по штабным слухам, затем и в Минске, он охватил всю картину. Этот плацдарм на левом берегу Стохода у деревни Червище, по фронту 10 вёрст, а в глубину 5, мы заняли прошлой осенью, потом дожди и морозы не дали расширить. Сил наших сидело там около корпуса, не меньше, чем противник против них. Река — многоводная, труднопроходимая, с топкими берегами. Ясно было, что на этом плацдарме нельзя оставаться в разлив: или расширить плацдарм, или отойти на правый берег. Ещё сам Гурко из Ставки в феврале запрашивал Эверта, какие меры приняты на время разлива, — и командующий 3-й армией Леш отвечал, а Эверт подтверждал, что разработан заградительный огонь, положение плацдарма считается прочным и противник не может рассчитывать на лёгкий успех. Оказывается, совсем не было так, но главное — тут сразу начался переворот, и никто уже тактикой не занимался: и заботы командиров и внимание наблюдателей отвлеклись на внутреннюю перебудоражку, и противник имел месяц без помех: немцы подвезли к передовым несколько тысяч газовых баллонов, тяжёлую артиллерию, лишнюю пехотную дивизию — и никто из наших не заметил того за революционными бреднями и испугами, и Леш тоже. Дождались немцы широкого разлива реки, и 21 марта с первым солнцем пошли в атаку на беспечный плацдарм — тяжёлый обстрел укреплённых линий, а лёгкие батареи химическими снарядами по нашим резервам. Далеко поставленная, на другом берегу, наша артиллерия смогла отвечать только на своём пределе, не маневрируя огнём и без связи с потерянными наблюдателями на плацдарме. Немцы пустили 13 волн газовой атаки, ядом окутало юг плацдарма, а с севера они прорвались отрезать наши переправы, и переправ оказалось мало, часть уже разбита, часть снесена, часть залита водой, — покинутым нашим безумевшим солдатам и по мостам идти по колено. На Сердцевидной горке наши контратаковали и были переколоты. К концу дня Леш приказал отходить, но все переправы были закрыты немецким заградительным огнём. Только ночь остановила немцев, и наши убредали ночью. Ещё где держали подмёрзшие болота — немецкая артиллерия разрушила корку, и отступающих и раненых засасывало. Мы потеряли больше 20 тысяч человек, до двухсот офицеров, до сотни пулемётов, из строя вышло три дивизии, а из одной перешло на правый берег всего полсотни живых.

Конечно, бой остаётся местным, у немцев не было стратегической задачи, они и не переправлялись через Стоход. Но по плотности поражения, по ярости поражения — это грозный разгром. Первый бой революции.

И сразу за тем Гурко ехал принять фронт. И уже по пути решил: немедленно сместить Леша, чтоб неповадно другим и чтоб сразу по-

чувствовали нрав нового Главнокомандующего, — Эверт продремаал тут полтора года, распустил фронт.

Тут из первых представился ему командующий 10-й армией Горбатовский. Он предлагал против грозного развала одно средство: быстро собрать дивизию из одних офицеров, это можно прикрыть как фронтовые учения, везти её на Петроград и разогнать Совет депутатов. Только — мгновенно, сейчас же!

Гурко оценил — как сильную мысль. Может быть, для этого и вручила ему судьба Западный фронт? Это — верный удар!

Но и надо же ему сперва оглядеться тут, узнать обстановку, людей. Немного подождём.

Уехал огорчённый Горбатовский — а дня через три Гучков снял его с армии сам, через голову Гурко, не уведомляя.

Гурко взбесился.

И тут же вскоре приехал в Минск сам Гучков.

Они виделись последний раз в середине февраля в Петрограде, во время союзной конференции, брат Владимир устроил обед, были там и другие видные думцы. Но тогда, ещё не пришедший к власти, Гучков был намного задорней и живей, чем сейчас — с сильными подглазными отёками, вялым взглядом, медленными движениями, не пошла ему власть впрок. Тогда — все они искали и ждали содействия от Гурко как реального Верховного, сегодня Гучков приехал начальником. А разве — годен он был в вождя воюющей армии? Он хорош был — волновать общественность на поддержку оборонных вопросов, — но какой же он военный руководитель?

Гурко встретил его теперь бурной сценой: что вся его «чистка» только притягивает карьеристов, а оставшихся настигает неуверенностью и пассивностью. Что Гурко и двух дней не останется тут, если будут сменять командующих через его голову.

А у Гучкова уже был готовый список «омоложения» дальше. А Гурко ещё многих тут не успел и узнать, чтобы защищать или уступить. Да даже гурковского любимого начальника штаба Гучков не давал перевести сюда из Луцка.

И охолодилось между ними ещё больше.

Но и не время спорить с правительством: ещё ж сидят в боку советы депутатов, вот и минский, — и оба они, военный министр и Главнокомандующий фронтом, не могли миновать идти представиться. Заседал Совет в театре, и с делегатами общественных организаций, президиум на сцене — адвокаты, солдаты — поднялся поздороваться с генералами каждый за руку, а зал тем временем хлопал. А председателем тут их всех устроился Позерн, земский мелкий служащий, напивший на себя неумело солдатскую шинель. И перед этим залом, странным сборищем, Гучков рекомендовал Гурко как председателя общества военной мощи России, закрытого Сухомлиновым, Гурко же Гучкова — как участника борьбы буров. Потом оба произнесли по речи: что надо усилить борьбу с внешним врагом и прекратить пасхальное братание, введённое с одобрения немецкого командования и обессиливающее нас. Оно не местное, оно не случайно идёт по всем фронтам.

В зале хлопали, одобрительно кричали. А — мерзко было от глупой роли. И ещё Гучков потянул Гурко зачем-то на собрание сестёр милосердия, выступать и там. Не так бы начинать главнокомандование.

Гучков со своим списком омоложения поехал дальше — а всё нестройство осталось вокруг Гурко.

Тут в Минске застал он, что не командование управляло событиями, а события вертели командованием. Приезжали докладываться высокие воинские начальники, покорившиеся тому, что солдатские собрания выразили им *недоверие*. Уже 3—4 раза полки, а один раз дивизия отказались выполнить боевое задание. Всё, что притекало в армию из столиц, постановления правительства, газеты, — кричали о правах,

о правах — и никто о долге. И непросвещённый низший слой охватывала соблазнительная мысль, что общественная жизнь состоит из прав, а обязанностей никаких. Главное — разрешили открыться и распуститься страху смерти, на самоподавлении которого держится вся война, и теперь охватывало солдат: не наступать! (Очень кстати тут подвернулся всем трусам «мир без аннексий».) И вообще не воевать — главное право. Оттого что фронт стоял мирно, никаких боёв, это не открывалось сразу в последствиях, — но Гурко понимал, что дух армии — на шатком перевесе, и может рухнуть вот-вот, в две недели. И командованию надо было избрести совсем новые меры, не предусмотренные никакими уставами.

И Гурко начал с того, что объявил по Западному фронту такой приказ: Главнокомандующий объявляет прощение всем незаконным действиям, совершённым в дни революции, но отныне военные законы вступают в силу, и нарушение их не останется безнаказанным. (Он просто брал на голос — а как это исполнить? как удержат?) «Солдаты! Враг угрожает сердцу России. Если путь к окончательной победе лежит через свободу, то и путь к окончательной свободе — через победу». И ещё приказ: о недопустимости выборного начала на фронте. Если ввести выборы — отвечать за операции будут не начальники, а подчинённые, тогда разбирайся.

Придумал: каждого подстрекателя, особенно прапорщика, вызывать лично к себе в штаб, в Минск, — а за неявку будет привлечён к суду как за невыполнение приказа. Неожиданно подействовало! — не было случая, чтоб не явился. (Иногда со своей вооружённой командой.) Но не каждому же внушать. Стал Гурко применять собственный объезд частей. Однако необычные условия: теперь не мог Главнокомандующий инструктировать офицеров отдельно от солдат — только вместе, иначе это воспринималось как заговор. (Вот и собирай дивизию из офицеров.) И ещё страдать, видя на солдатских грудях эти красные лохмотья, и не сметь их сорвать. Один раз музыкантская команда держала над собой на красной бязи «Да здравствует демократическая республика», по-русски и по-еврейски. Гурко подошёл к главному образине и спросил: «А что такое демократическая республика?» Но ни он, ни другие оркестранты ответить не могли. И только унтер-офицер из разведчиков выручил их: «Это — все свободы, которые нам теперь дали».

В одну такую поездку увязались с Гурко привезенные из Петрограда англо-французские социалисты. Гурко даже со злорадством их повёз, чтоб они больше увидели своими глазами. Но они умудрились не заметить развала (зато «демократия!»), воротились с розовыми надеждами. Нет, окончательные бараны. Ещё их отдельно пришлось убеждать, что армия теряет боеспособность.

И всё ж — ещё держалось! Ещё в эти дни — можно было удерживать. Говорил Гурко на собраниях: «Всё решит Учредительное Собрание, а в армии надо избегать политической борьбы», — и постановляли: ждать Учредительного Собрания. А в 1-м Сибирском корпусе Главнокомандующего встретили на загляденье, строго по-военному, ни одного красного лоскута, председатель корпусного комитета публично приветствовал его патриотической речью, назвал «солдатским отцом» — и солдаты хлопали.

Ещё до приезда Гурко в Минск тут было затеяно Советом рабочих депутатов собрать фронтовой съезд солдатских и офицерских депутатов, и уж этого он не мог остановить, и взять в свои руки не мог — легко сорваться. Приходилось и тут приноровиться. Устроено было очень красное шествие по городу — и приходилось Главнокомандующему (уж разумеется безо всякого красного значка) стать во главе колонны, а по одну его руку неизменный Позерн в помятой солдатской шинели, а по другую сам громадный Родзянко, неожиданно приехавший на этот съезд. И с построенной трибуны на городской площади

произносить к *гражданам и гражданкам* речь в числе других, а потом той же тройкой, стоя, ехать в грузовике вслед грузовику оркестра и помахать толпе — а оттуда кидали цветы. И потом войти внутрь городского театра с его лепными ярусами, бледно-розовыми, как в дамском будуаре, а сидят в креслах, не снявши шинелей и шапок, лускают семечки на пол, возносится чадный дым к возвышенному потолку, а с ярусов на верёвочках спускают записки с вопросами, милиционеры внизу отвязывают и носят в президиум. И этот плечистый нависающий Родзянко — да двух месяцев не прошло, как он приходил к Гурко в номер «Европейской» гостиницы и долгий вечер убеждал уговаривать Государя снять Протопопова, и всё будет спасено, — а вот громовым басом со сцены:

— Старое правительство, приведшее страну на край гибели... Неправильны были надежды старого режима на ваш фронт...

Он намекал, повторял эту басню, что Эверт готовился открыть фронт? Безумный и глупый. Правда, дальше: положить голову за свободу и победу.

И за ним — Родичев, член Думы, и французский полковник, и английский майор: русский солдат — первый в мире... Поменьше политики в армии, побольше боевого напряжения...

И самому же Гурко не избежать выступать. И не избежать общего тона, но от общей пробитой дорожки скорей поворачивать их на боевое дело:

— Я, первый Главнокомандующий, назначенный революцией... Краеугольный камень — близость офицера с солдатом. — И самое главное, отрезать в начале же: — Недопустимость в армии выборного начала.

И прошло под овацию. Уехал.

Всё же надеялся Гурко, что съезд отболтается в два-три дня. Куда там! И пятый день болтали, и седьмой, и даже девятый, — и Главнокомандующий же распоряжался о продлении отпуска депутатам.

Сам он, разумеется, на эти заседания не ездил, но докладывали ему. Качалось так и этак, весы: «Долой войну» отвергли, не стали слушать. И в секциях — у них и секции! — отвергли выборы командного состава — но только для фронта, а в тылу можно. И строгая дисциплина — но в *тесных* пределах служебных обязанностей. (И кто же в каждом батальоне рассудит — тесно или не тесно?) Но — отменить наказания. Отменить чиновничество. Отменить денщиков. В день отлучек право ночевать вне казарм. Право на штатскую одежду. А на восьмой день со сцены уже договорились, что вообще отменяется звание офицера, все чины армии теперь — солдаты. И солдаты участвуют в формировании командного состава так, чтобы командиру было обеспечено доверие подчинённых. И ограничить единоличную власть комитетами. Не должно быть в армии бесконтрольного начальства. Самоуправление «для защиты профессиональных солдатских нужд»! И солдатские комитеты периодически дают аттестацию своим командирам — и эти аттестации следуют за каждым командиром к месту нового назначения. А кто получит отрицательную аттестацию от своих солдат — тот вообще устраняется от должности!

Тут ещё то, что грузный басовый Родзянко с членами Думы уехали, ни в чём на съезде не повлияв, а понаехали и затмили их социалистические вожаки — и известные по Петрограду Чхеидзе, Скобелев, Церетели, Гвоздев, и вовсе уже социалистическая шантрапа, и многолюдные делегации советов депутатов из разных городов, и все выступали, выступали, вожаки уже по три раза, и некому им возразить.

И уже выступилось больше — не как бороться с внешним врагом, а с внутренним. Этот Скобелев (смел носить великую генеральскую фамилию) обвинял, что в Петрограде офицеры не поддержали революции в первые дни, и убитые кронштадтские офицеры вроде того что достойны своей участи, а потом пришли лобызаться с революцией, но

надо и сейчас кой-кого под замочек сажать, и не в порядке генеральский состав, надо его чистить, а революционная армия взамен выдвинет своих великих генералов... А офицерам революция продезинфицирует мозги.

Ах же ты губодуй, пёсья лодыга! — на что ты людей толкаешь?! Этот недоносок поговорит, уедет — а ты здесь команду!

И полезли, полезли: один — восстановить Интернационал, другой — о классовых интересах и что Путилов заодно с Крупшом, третий — забрать из Петрограда на фронт все полки, четвёртый — оставить там какие нужны революции, и уже со сцены выступал священник, и зачем-то снимал с себя и отдавал наперсный крест, а по залу ходили-собирали кресты и медали в жертву, а минский совет депутатов клепал на Эверта, что он готовил поход для усмирения (да ещё не видели вы усмирения!), а там вызывали Позерна на балкон дворянского собрания приветствовать проезжую маршевую роту.

И весь этот сумасшедший дом направлялся же к резолюциям, и весь этот бред мог теперь закрепиться в постановлениях съезда. Но привезенная из Петрограда резолюция, что война не нужна, всё же обратилась тут в призыв к дисциплине. Однако чего только не несли! И офицерам упразднить квартирные деньги и деньги на наём прислуги (это писари надоумили), а солдатам на время отпуска сохранять фронтową продовольственную норму. И жёнам «отлучившихся» (дезертиров) паёк не прерывать... И ещё почему-то (нашептали им): ходатайствовать перед Временным правительством об ассигновании Петроградскому Совету 10 миллионов рублей (да вам-то что?).

Упуская гораздо более важные дела, ничего не оставалось Главнокомандующему как поехать выступить ещё раз. И чтоб слушали и доверяли — повторить, как другие: что прежнее правительство вело нас к пропасти, а теперь боеспособность армии возрастает с каждым днём. — (В такую глупость затягивала эта мельница необузданной всеобщей говорильни.) — И мы должны показать немцам нашу силу хотя бы мелкими активными действиями, а при первой возможности перейти в наступление и вымести их из нашей Родины, не дать России подпасть под пяту заклятого врага, а этого не добиться без наступления.

О том-то и кипел спор, он знал: допустить ли в резолюции «способность к активным действиям» или «способность к наступлению». Так спорили, что распускали их на три часа успокоиться. И уже проголосовали: «к активным действиям».

А сейчас съезд встал — и пять минут хлопал Главнокомандующему и кричал «ура».

Ещё и так и этак могло переклониться. И даже малый толчок решал — в какую же сторону.

Позерн кричал со сцены: подавить буржуев! контроль над Временным правительством. А социалист постарше его, Церетели, весьма разумный, возгласил, что сепаратный мир с Германией был бы гибелью для демократических идей, а после съезда посетил штаб фронта и обещал генералу поддержку: нельзя вести армию в бой без беспрекословного повиновения. Спросил: как налаживаются у генерала отношения с общественными организациями? Гурко ответил без раздражения, но озабоченно: революция ото всех требует умения приспособляться к неожиданным обстоятельствам. Новая система уговаривания трудна, но приходится к ней прибегать, чтобы предотвратить худшее.

Расходясь, съезд создал постоянный фронтовой комитет (с двойным перевесом солдат), а из него «контактную комиссию» со штабом, и уверяли: это только увеличит доверие массы к штабу, а мы не будем мешать.

Трудно поверить. Но в первые дни комитет не мешал — а когда

тыловые части начали грабёж соседних имений, то комитет и помог успокоить.

А что мог сделать теперь Главнокомандующий сам?

В декабре он так решительно отказал Германии в мире — за всю Россию, за всё Согласие. А — что теперь? Неужели солдаты уже повернуты — и воевать не будут?

Съезд фронта — ещё перетерпел Гурко. Но тут же открылся в Минске съезд Красного Креста. И оттуда прибежал к нему с жалобой граф Беннигсен, что выдвигают требования, при которых воевать вообще нельзя.

И Гурко гневно ринулся — туда, в тот же театр. Теперь не солдатами он был полон, но интеллигентными людьми, а несли они горшучую околесицу: о полной независимости военно-санитарной службы от распоряжений командования и чтоб она могла реорганизоваться на выборных началах.

При появлении Главнокомандующего на сцене — никто в зале не встал и никто не приветствовал.

Гурко произнёс им бурно и гневно. Что им, образованным людям, стыдно разваливать армию и предавать Россию. Что смысл деятельности Красного Креста — служить армии, а не армии ему. Что если они не будут соблюдать положений службы, то армия обойдётся и без Красного Креста, а их, служащих, всех пошлют на фронт.

Сказал — и ушёл, не дожидаясь. А вослед ему поднялся шум необразимый.

Но к концу дня признали его правоту и сменили мятежное руководство.

И вот в такой ничтожности — состояло его призвание сыграть роль спасителя России?

Упускал он какое-то большее движение? решительней?

Но — какое?

25

С тех пор как он уехал — будто затормозили время: то оно несло; а то — поползло.

Но всё время, когда Ликоня и не думает о нём, — она о нём думает, он — есть у неё.

И прежние мартовские дни, которые лились сплошным потоком, она потом различила отдельно, каждую встречу.

Потому что тогда — задыхалась.

Страшно другое: а после новой встречи — уже потом не ждать? Даже подольше бы встречи не было, скорее — не ждать.

Увидела поразительно красивую — и захотелось быть такой же красивой, для него!

Письма. (Пишет!!) Радость даже смотреть, как он пишет решительные буквы на конверте — но каждое и страх открыть, пугает: а вдруг?.. За строчками вдруг окажется — изменился?

Но одной только «Зореньки» уже довольно для чуда. Но если, как начнёт письмо, в него «вступает тёплое волнение» — то это уже так много, что не помещается.

Всякое письмо — как разговор в темноте, лица не видно.

И сама бы рада писать ему каждый день. Только боязнь навязываться.

Хочу — благодарить!

Не благодарить — всё равно что и не получать.

26

(фрагменты народоправства — Москва)

Несмотря на революцию, Пасха в Москве прошла с обычной торжественностью. Гул всех сорока сороков, обилие света от свечей и плашек. Христосование на улицах.

На трамваях — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Александровский сад под Кремлём всегда был такой чистенький,— уже к концу марта усыпан семячной шелухой.

И много её на всех площадях, на улицах.

* * *

Жители становятся в хлебные очереди и с карточками, с 3 часов ночи. Из продажи повсюду исчезли дрожжи. Стало не хватать молока. Милиционеры с красными карточками обходят лавки и назначают скидки с цен.

Не стало санитарного надзора — и на рынке продаются порченные мясо и рыба.

* * *

Зато митингам — нет препятствий, нет границ. И дни и ночи тёплые, вся Москва — сплошной митинг. На площадях, скверах, бульварах, от кучек и до толп, не могут наговориться, наспориться. В одном месте угасло, рассосалось — растёт в другом.

А больше всего — у памятника Пушкину, постоянно и глубоко в ночь при скудных фонарях. Люди так облепляют основание памятника — кажется, что Пушкин, с торчащими из него флагами, стоит на головах толпы. Солдаты, рабочие, бабы, дамы, лавочники, студенты. От каждой казармы присылают сюда солдат: слушать, потом своим передавать. Наверху — оратор, и близко к нему двое — ждут очереди. Главный спор — насчёт 8-часового дня. Солдат:

— Вот, они 8 часов требуют, а мы по 26 часов в сутки в окопах. Подай им плату высокую, а кто за эту плату расплачиваться будет? Да мы все, каждый бедняк и крестьянин, все российские люди. Фунт гвоздей шёл 12 копеек, а нонче рубль сорок — это как? А как они 8 часов будут работать — так ещё больше будем платить.

Другой:

— Давай поменяемся: вы — на фронт, на наше место, а мы на фабрику. И будем работать 18 часов, ой-ой!

Рабочий:

— А на военных заказах *баржуй* наживается, а мы ему — отдавай труд! Почему не позаботиться об себе? Чтоб на нашем поту баржуй оттопыривал карман?

* * *

На другом митинге, на Скобелевской площади, с постамента кричат, что фабрики надо отдать рабочим. Из толпы баба истошно:

— Батюшки! Да что ж он говорит? Да ведь всё ж пропеть!

* * *

А проняло, и по Москве развешаны объявления: рабочие ввели 8-часовой день, не имея в виду сокращать работу на армию, для неё — хоть день и ночь. А эти нежелательные трения с солдатами подзуживаются фабрикантами.

В брезентной мастерской Земгора рабочие накрыли заведующего мешком — вывели прочь, чтоб больше не было его.

* * *

За пасхальные недели прокипело в Москве съездов: и областной учительский, и врачебный Пироговский, и кооперативный, и женский, и Союза городов,— и везде же министры приезжают-выступают. И—съезд рабочих организаций. И—съезд крестьян Московской области (шесть губерний), руководимый интеллигентами, иные — только что из эмиграции: как наконец создать Совет крестьянских депутатов?

Собрание московских старообрядцев призвало старообрядцев всей России: поддерживать Временное правительство, хлебную монополию, заём Свободы и продавать хлеб.

Возник острый недостаток бумаги для газет. Социалисты стали захватывать её на складах самовольно, с дракой.

* * *

А шайки солдат ещё ходят по квартирам и грабят. Или — под видом милиционеров ночные «обьски» в домах (Бутырский комиссариат). 20 человек ворвались в лавку Щенникова на Сенной площади.

В селе Богородском ограбили церковь Преображения: воры спустились через потолок, похитили дарохранильницу и церковную утварь.

На Пресне обокрадена часовня Михаила Архангела.

* * *

Подполковник Грузинов перевёл штаб Военного округа в Кремлёвский дворец и просторно разместился там. (Вообще же, по новому проекту, Кремль будет превращён в городок-музей.) Дворец окружён автомобилями, извозчиками, парные часовые у дверей, у парадной лестницы. Грузинов ничего не предпринимает, не выслушав «Военного совета 33-х» (22 солдата, 11 офицеров).

Тем временем он обнаружил, что в гарнизонных ротах занятия не только не начинаются в 8 часов утра, но даже офицеры не все собираются к половине десятого. Пришлось издать разъяснительный приказ.

* * *

По городу прошёл слух, что пресловутый «батальон 1 марта», сформированный из дезертиров и уклонявшихся, останется в Москве. Батальонный комитет опровергает: «Цена выше всех благ в мире добытое освобождение родины... как можно быстрее организовать, вооружиться и выехать на фронт». Но, де, не хватает офицеров и инструкторов.

Сибирские воинские части с фронта жалуются, что в Москве принимают дезертиров с распростёртыми объятиями и даже включают в Совет солдатских депутатов.

* * *

На Брянском вокзале ежедневно: солдаты врываются в вагоны, выбрасывают оттуда пассажиров и их вещи, занимают места. Многие обладатели плацкарт остаются в Москве. Комендант вокзала заявил, что не в силах бороться.

* * *

В аудитории Политехнического музея лекция Андрея Белого на тему: «Россия в настоящем и будущем». В диспуте: Бердяев, Гершензон.

Секретарь духовной консистории предложил изъять «монархическую литературу», накопившуюся за царские времена в Чудовом монастыре и в церкви Сергия на Рогожской.

* * *

В помещении Союза 17 октября состоялось собрание членов крестьянского союза «Освобождение земли». Но пришли от социал-демократов, заявили, что никаких налогов на землю ввести не дадут, сорвали собрание, рванули со стены портрет Столыпина, изорвали в клочья и ушли.

* * *

Близ памятника Пушкину кто-то пристроил плакат: «Не забывайте, что он написал «Сказку о рыбаке и рыбке»!»

* * *

Московское градоначальство отменило регистрацию проституток — и само это слово уничтожается навсегда. Постановлено закрыть притоны разврата и дома свиданий. Прекращается действие жёлтых билетов и административно-принудительный врачебный осмотр: борьба с венерическими болезнями — на основах лишь добровольного обращения пациентов.

* * *

У памятника Гоголю на Пречистенском бульваре — митинг. Публика — самая разная. слушает и стайка гимназисток. Ораторы разных направлений. Большевик успеха не имеет. Тогда он вопит с памятника:

— Товарищи солдаты! Не слушайте буржуев, они только заворачивают вам мозги. Присоединяйтесь к нам, и все эти девки, — показывает на гимназисток, — будут ваши!

В толпе — звериный рёв солдатских глоток. Гимназистки шарханулись. Митинг сорван.

27

Для кого война минует — лишь воспоминанием. Крута гора обминчива, лиха беда избывчива, — и лет ли через пять, через десять, отсохнет проклятая, начисто. А от тебя, кто оставил там руку, ногу, или перетравил навеки себе нутро газами, или свет отнялся от твоих глазонек, — от тебя она уже никогда не отступит, раньше ты сам уберёшься из жизни. Так и врежется тебе тот хуторской садочек, где ты, кровотока из локтя, своё предлокотье левое последний раз понячил. Или высокие кущи чужой задалёкой деревни Брусно-Ново, какой тополь повыше, какой пониже и круглей, — а больше ничего в жизни ты никогда не увидишь, это последнее, так и стоит, а всё прочее вокруг по догадке.

И потом протрясёшься ты на телегах и по вагонам, проелозишь, провыстонешь на лазаретных койках, вот и в Питере пасмурном, где никогда побывать не грезил, и месяцами многими тебя ещё гоняют по лазаретам, — и теперь, когда срок подходит домой — обрубком или незрячим, уже не тот ты работник и муж не тот, ещё как тебе век дозлыднеть? — достигает слух, что через Германию доставлен к нам какой-то Ленин, говорит по-нашему, и с ним же ещё нашлись какие-то тут, — и кличут они: кончать войну, замиряться с немцем, без одоления, просто так, ни на чём. И из Питера, кто тут по улицам с паширосками шастает, другого дела не знает — ни на фронт ни один, нет!

Вот это та-ак! Вот это — одурачили нашего брата. Горько — аж дышать не могу: значит, нас перекалечили и побили — и кому это? Мы теперь в обрубках — а вы гулять?

Всю Фомину неделю сгуживались, и сёстры многие справились, и врачи. А нынешним воскресеньем — все инвалиды войны, какие в Питере содержатся, — собирались.

Одни — к Казанскому собору, и там была инвалидная сходка, большое толпище. Говорили речи: войну затеяли — так надо кончать по правде, немца — добить, за всех убитых, за всех газом травленных и за наши раны. Чтобы второй раз больше он на нас не полез. Держали речи — и даже 13-летний малец, слава Богу целый, а уже георгиевский кавалер.

А потом, кто мог идти, поздоровей. — пошёл пешком, кое-как шеренгами, а кого сёстры держали под руки, а кого — со всех разных лазаретов обвязанных, и уже выписанных ампутированных, со сборных пунктов — повезли на линейках придворно-конюшенной части, и на грузовых автомобилях и на легковых даже, — и все к Таврическому дворцу. Поперёд калечных и перебинтованных рядов, лиц в ожогах и лиц слепых, — шли три военных оркестра и играли, подбадривая и калек и зрителей. И кому было чем держать, те несли, в пешеходных рядах или с линейек: «Слава павшим. Да не будет их гибель напрасной». — «Война за свободу до последнего издыхания!» — «Ленина и компанию — обратно в Германию!» — «Здоровые, замените больных в окопах!» — «Посмотрите на наши раны, они требуют победы». — «Пересмотрите законы о пенсиях». И опять: «Верните Ленина Вильгельму!» — «Долой Ленина, он позорит Россию».

И ещё успели подвезти с Финляндского вокзала только что прибывших увечных из плена: они свои увечья и болезни протаскали через скудные немецкие лагеря, и подо зверством их.

На улицах перед шествием обнажали головы. Глаза в слезах. Какая-то женщина в жалёвом чёрном с плачем упала на колени. На углу Литейного рабочая толпа плескала в ладоши калекам.

У Таврического, как положено, на крыльцо выходит речевитый встречать. Моложавый, белобрысый, а ряжка наеденная. Член Исполнительного Комитета Скобелев:

— Народ, сумевший вырвать с корнем гнилое дерево русского царизма, — возьмёт и судьбы страны в свои руки. Пролетариат не позволит... Но вместе с вами мы будем поддерживать и Временное правительство, потому что до сих пор оно выполняло свои обещания, данные в известной программе...

Офицер-инвалид снизу из-под крыльца тут и спроси:

— Мы пришли выяснить тактику Ленина и ваше отношение к ней.

Скобелев:

— Мне легко говорить с вами, потому что я не сторонник тактики Ленина. Уже 14 лет я против него борюсь. Но позвольте высказать наше мнение: всякий гражданин свободной России имеет право свободно выражать свои мысли. На вашем знамени мы видим: Ленина обратно в Германию, долой Ленина. Это, товарищи, неправильно. Мы должны отнестись терпимо и к его мыслям, всякий волен говорить что хочет, а у нас есть своя голова на плечах.

Стал над толпою инвалидов вскручиваться шум:

— Долой!.. Долой!.. Не желаем слушать защитника Ленина!

А тот инвалид-офицер поднялся на ступеньки рядом:

— Так значит, мы защищали благосостояние тех, кто сейчас кричит «долой войну»? Но мы отдали жизни и не можем допустить, чтобы в России взяли верх подлецы и провокаторы, купленные Германией. Мы отдали руки, ноги, а теперь должны видеть, как трусы кричат «долой войну»? Нет! Пусть нас, полулюдей, сперва убьют, а потом на наших трупах заключайте союз с Германией.

— Так! Так! — кричали калеки. Голоса тоже не у всех здоровы. И офицер ещё:

— Да, за торжество свободы мы готовы отдать и остаток наших сил. Но только победа над Германией и утвердит нашу свободу.

Опять Скобелев замесил:

— И мы тоже говорим — продолжать войну, пока стороны не откажутся от завоеваний, и позади этого лозунга стоит штык. И вы, товарищ офицер, глубоко ошибаетесь, говоря, что мы уйдём в сторону и отступим. Нет, мы останемся вместе с вами, дорогие товарищи, до конца или тоже умрём. Но не надо забывать, товарищи, и о свободе слова. Пусть ленинцы говорят что хотят, а действовать мы им не дадим.

Но опять ему кричали несогласные, и он быстро ушёл.

С кем же теперь толковать? Стали инвалиды затекать, заталкиваться в сам дворец — да и зябко снаружи.

Во дворце — просто как на площади. Длинный зал с колоннами, колоннами, тут и стоялись, сгустились. А на верхнюю площадку выступил сперва низенький рыжий староватый, фамилию не разобрали, сильно неясно выговаривал, про Совет, пролетариат — а про Ленина ни звуком. А за ним выступил попростей, Гвоздев:

— Я доложу вам, товарищи, о результатах Минского фронтального съезда, с которого я только что приехал.

Послушали. Там много чего. Но там, ближе к передовым, ребятам своё видней, они там управятся. А в Питер им не видно, про Ленина они не знают.

— А с Лениным как? — кричат инвалиды.

— А по поводу Ленина я должен заявить, товарищи, что предлагаемый вами способ борьбы с ним совершенно недопустим. Нельзя его подавлять и нельзя арестовывать. Он — не реакционер, не контрреволюционер. И войну конечно надо ликвидировать, но путём соглашения с германским пролетариатом. А лозунг «война до победы» может заставить ихний пролетариат ещё больше озлобиться.

Тут — такое поднялось, такие крики, гул, долой! — не дали Гвоздеву кончить, прогнали вовсе.

И полезли на площадку инвалиды, кто и с посадкой сестёр. И все заодно: Ленина — долой! Ленина — в Германию! Тутешние таврические заправилы — заелись, засиделись, на войне не были, нас не поймут.

— Мы не говорим — Ленина убить, но ежели он провокатор, германский шпион — почему и арестовать нельзя? А почему он около своего особняка — арестует людей?

— Да мы его — и сами арестуем, одни инвалиды! Хватит у нас на это сил, хоть и окружися он пулемётами и броневидами. Так — все на него и пойдём.

А за то время кто из инвалидов и дальше того колонного зала потёк искать. И нашли большой белый зал с креслами по круговому подъёму. И стали инвалиды по креслам рассаживаться снизу и доверху — и фотографы тут возникли, делать с них снимки для газет. А набилось битком и тут — взошёл на верхотуру высокий чёрный кучерявый. Приготовился ли долгую речь говорить — а ему инвалиды кричат сразу про Ленина. Он тогда:

— Среди вас, товарищи, раздаются негодующие крики «долой Ленина», а некоторые даже требуют принятия к нему репрессивных мер. От имени Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов я заявляю, что мы стоим на совершенно иной точке зрения, чем Ленин, он с нами разошёлся.

— Со всей Россией! — из зала.

— Но мы считаем, что с Лениным и его последователями надо бороться не запрещением ему высказывать свои мысли, ибо в свободной стране должна быть свобода мнения.

— Какая ему свобода, — кричат, — когда он немецкий провокатор и шпион?

Этот чёрный с вышки:

— С идеями можно бороться не насилием, а только доводами.

Куда! кричат, не слушают. Так не договорил, сошёл вниз и вон ушёл.

А вместо него — да кто наверх лезет? Да наш Родзянко, богатырь. Захлопали инвалиды, захлопали и сёстры, ещё прежде, чем он туда на верхотуру забрался.

— ...пришёл приветствовать вас, не пожалевших крови в борьбе с врагом. Земной вам поклон, я преклоняюсь перед вашими святыми ранами. Свободная Россия оценит ваши подвиги... Теперь первейшая забота государства будет именно о вас. Вам будет дано — всё, государство вознаградит вас за все жертвы... Но враг не дремлет, он хочет отнять у нас дорогую нашу свободу, восстановить старый порядок, — но мы этого не допустим! Я уверен, что великий русский народ победит — и после победы наступит время братства и равенства... Лишь бы была жива наша матушка Русь!..

Инвалидный зал — хлопал, кричал в одобрение. Родзянко высился там, отдышивал, счастливый. Русский народ — не забыл его! Русский народ любил его!

Один из раненых офицеров предложил «ура» во славу первого русского гражданина. Кричали ура, многократно.

Да сегодня и с утра Родзянко уже слышал подобное про себя: из дома своего на Фурштадтской увидел, как неподалеку собирается, по воскресенью, толпа — приветствовать американское посольство. И пошёл влился в толпу рядовым участником. Но разве утаиться ему рядовым, хоть лицом, хоть и по фигуре? — посол Френсис с балкона узнал его и пригласил подняться. И толпа шумела радостно, когда он стал на балконе рядом с заатлантическим послом, а тот объявил: «Нет такого места на Земле, где б не знали Председателя Государственной Думы как героя свободы и человеческих прав!..»

Ещё потом долго инвалиды пробыли в Таврическом, заполняя весь дворец. А в думском зале обсуждали и принимали резолюцию. Тут появились и говоруны, не инвалиды, но с нужными словами, которых не хватало калекам.

Полное доверие Временному правительству! (А за Советом — право контроля.) Решительно против агитации Ленина — она сеет рознь в революционной армии и натравливает одну часть демократии на другую. Проезд Ленина через Германию — бестактен и вреден для интересов русского народа. Совет рабочих депутатов должен парализовать его деятельность всеми доступными средствами. Ратников старых возрастов заменить уклоняющимися представителями революционных классов. И привет тем, кто остался в окопах. А землями наделять всех, кто может обрабатывать своим трудом. Наконец и увечным: чтобы дети их до 15 лет бесплатно обучались. А самим увечным: пожизненно бы, за счёт государства, возобновляли протезы — и бесплатный проезд на родину и для лечения.

Всего только и просили из вороха, обещанного Родзянкой.

...Не знали увечные, что ещё утром у Казанского собора, как они оттуда ушли, — какие-то с чёрными флагами защищали Ленина, а толпа рвала их чёрные флаги и потащила в комиссариат, но там отказались арестовать.

А сейчас, в 4-м часу дня, когда инвалиды выходили из Таврического садиться на свои линейки и грузовики, — наскочили откудошные солдаты, рабочие, лихо вырывали из слабых рук свёрнутые знамена, плакаты и кричали:

— К чёрту эту армию, нанятую буржуазией!

Вскакивали на грузовики и вместо «Война до победного конца»

встромляли там приготовленные с собой «Долой войну!». Одного, другого инвалида стащили с грузовика и повалили на землю.

И некому заступиться.

Ещё солдат, залезший на грузовик, держал речь к инвалидам — какие они бараны.

— А ты был на фронте? — отзывались увечные.

— Был! — врал или правду говорил. — Но не хочу как дурак терять руки-ноги.

И тогда один увечный в ответ, чуть не плача:

— Да мы не только руки-ноги, мы и жизнь готовы положить за победу России!..

Но ленинцы не дали ему дальше, подговорили оркестр играть похоронный марш, заглушить.

И долго играли.

И тут, при дворце, где и Совет и Дума, — не нашлось никакой заступы увечным, никого сильных и здоровых против озорников, ни комендантской службы, ни милиции, ни тех, кто утром рукоплескал инвалидам с тротуаров.

Сёстры милосердия обходили, уговаривали грубиянов: не мешать инвалидам садиться на линейки и автомобили, они не ели с семи утра.

Ленинцы перестали мешать садиться, но обсыпали инвалидов матом.

ТЯНИТЕ, ЖИЛЫ, ПОКУДА ЖИВЫ

28

Министры, после двух мартовских наездов в Ставку по пятеро сразу, опубликовали заключение: дисциплина крепнет и не наблюдается тревожных симптомов в войсках, кризис лихорадки революции на фронтах миновал. Спешили и заявить журналистам. Некрасов, странно: мы нашли в Ставке организацию, совпадавшую с единым желанием народа свергнуть старый строй. (Что он имел в виду? Такой организации сам Алексеев тут не знал.)

А за этим вскоре пришла в Ставку, на второй день Пасхи, и телеграмма генералу Алексееву, что Временное правительство назначает его Верховным Главнокомандующим. И нарочито была помечена телеграмма полночью пасхальной ночи — мигом Воскресения Господня. Тут узнавалась рука князя Львова: он хотел этим выразить генералу особое доверие и теплоту как христианин христианину.

И изо всей телеграммы Михаилу Васильевичу дорожке всего легла к сердцу именно эта датировка: такая сень над его назначением какую-то помощь обещала, очень ожидаемую в столь неустойчивое время. А в остальном она как бы и не меняла его положения: исполняющим обязанностями Верховного он и состоял уже месяц. Хотя, как все военные, Алексеев не мог не желать каждого нового своего производства и повышения, но он и не был честолюбив. (Впрочем, остаться начальником штаба, получив над собою Рузского или Брусилова, было бы неприятно.)

Однако за месяц революции положение так неизвестно повернулось, что вместе с должностью не получил генерал Алексеев прежнего её значения. До революции ни одно лицо и учреждение в государстве не имело права давать указания или требовать отчёта от Верховного Главнокомандующего. А вот в какой-то миг — наоборот, Ставка стала подчинена военному министру и правительству. На это не было выпущено никакого специального акта, но вот уже и гражданское управление прифронтовых районов — беззвучно выскользнуло из рук Ставки. И вот уже это заметили главнокомандующие фронта-

ми — и стали искать снести с министерствами минуя Ставку. А военный министр как раз развернул вакханалию смены высшего командного состава — и часто, в своих поездках, согласовывал смены не со Ставкой, а с фронтами. И сколько же поспешности и сумбура! Может быть, и назначены единичные таланты, но и двинулись вверх сотни людей по игре случая, — сотни, потому что за каждым генералом перемещается ещё пяток штабных. Ото всех этих перетасовок многие командиры отрывались от своих частей, где их знали, любили, слушались, — и этим лучшим командирам приходилось завоевывать влияние заново в новых частях, в необычной революционной обстановке. Но хуже: массовое снятие начальников подрывало общую веру в командиров — и давало оправдание комитетскому надзору и солдатскому произволу.

Чтоб успевать оспорить, противиться этому, да ещё решениям драной поливановской комиссии, — не хватало коротких вагонных встреч на гучковских поездках. (Алексеев мог только негласно поощрять начальников дивизий и командиров полков слать Гучкову телеграммы, протестующие против развала.) Даже начальника «дежурства» Ставки — отдела всех назначений и наград, Гучков устранил, не советуясь с Алексеевым. Да ещё же месяц висело на Ставке и обвинение в контрреволюционном заговоре, измене казачьего штаба, лишь позавчера закрыли дело. В целом всё Временное правительство скрылось в тень, уклонилось твёрдо поддержать офицерство.

И — какая ж тогда могла сохраниться Армия?

Ставка потеряла свою власть внутри страны, но союзникам она виделась прежнею, всесильной, — и они, через военных представителей, тербили и требовали: когда ж наконец русская армия пойдёт в наступление?? И не мог Алексеев им открыть ни истинного состояния русской армии, ни своего бессилия. С конца марта французы пошли в наступление на реке Эн — к счастью, не в великое наступление с решающими целями, как они грозились перед тем (и от чего отговаривал их Алексеев, пока русские не могут поддержать). Вежливость требовала послать Главнокомандующему Нивелю поздравление с (весьма посредственными) успехами французского оружия. Нивель встречно поздравил, что Алексеев назначен Верховным, и обнадеялся, что «русская армия скоро присоединит свои усилия к нашей борьбе». И нельзя было ответить: как далеко до этого. Теперь терзался Алексеев, что месяц назад поддался уговорам своих главнокомандующих и обещал русское наступление в начале мая, — теперь-то окончательно была видна совершенная невозможность. А англичане волновались: неужели русские упустят неоценимый момент к решительному удару по турецким силам в Месопотамии? И приходилось оправдываться трудностями в снабжении (что и правда было нелегко через все хребты) и приходилось командовать конному корпусу Павлова двигаться энергично на Мосул. (И сносился с Юденичем: что, может быть, если скорее втянуть ещё не повреждённые войска Кавказского фронта в боевые действия, то это и морально укрепит армию?) И на днях отговорился английскому Главнокомандующему, что русские войска возобновят согласованные с союзниками действия, как только позволят климатические условия, — и уже передано в английские газеты, и те цитируют с восторгом.

Вот Лукомский, уехавший принять корпус, докладывал: с субординацией не считаясь, командир полка телеграфировал в Таврический дворец, что он и полк благодарят за присылку студента Горного института, хранителя свободы. Из тылов хоть и отправлялись маршевые роты — они наполовину разбегались по дороге. Самы запасные батальоны теперь и вовсе превратились в школы развала. По тыловым округам советы депутатов стали требовать отпускать солдат в сельское хозяйство — и Гучков делал распоряжения об этом, но не чёткие, не единообразные: где — старших сорока лет, где раненых, где ждать

заместителей, где не ждаты, и это внесло ещё большую путаницу, а Рузский стал увольнять старослужащих густо, не спрашивая Ставку, не считаясь с убылью, — и так поставил в затруднение остальных главнокомандующих. А тут из-за недостатка продовольственного подвоза к фронту приходилось и Ставке отпускать в тыл всех инородцев с подсобных работ — и это вносило новую тревогу и зависть в солдатские массы. (И всё равно уже на фронте не хватало на человека по 2 фунта мяса в день.)

Силы утекали из армии в тыл, а из тыла впрыскивалось одно разложение. В Петрограде под шумок заодно с охранными отделениями громили и контрразведывательные — да на частных квартирах — откуда же знали? кто-то умелый наводил, кто ж как не немецкая разведка? Алексеев вообще стал склонен видеть немецкую руку в наших революционных событиях. А в Кронштадте? — убивали как на выбор, по спискам, лучших морских специалистов, — не похоже на матросские счёты... А с Кавказа вот доносят, что турецкие агенты проныривают туда, мутят мусульманское население, может быть, к восстанию. Опасаясь и за контрразведку в Могилёве, где только что распугали и разогнали секретную службу царской охраны, Алексеев вынужден был опубликовать специальное воззвание Ставки, что просит не излавливать тайных агентов контрразведывательного отделения, но граждане Могилёва должны им, напротив, помогать, ибо нет сомнения, что противник сейчас предпримет все меры свить шпионское гнездо в Могилёве. А из Петрограда Главное военно-судное управление предписало всем армиям (минуя Ставку) приостановить разбор всех судебных дел. Воюющая армия осталась без военных судов. Обезоруживают демократией.

Ставка и правда почти никем не охранялась сейчас. Георгиевский батальон вконец распустился, не повиновался. А сменить его и вызвать на охрану с фронта сохранившуюся часть — Алексеев не мог из-за подозрительности петроградского Совета. А приезжал в Могилёв — кто хотел, непроверенные депутаты, делегации, рабочие, солдаты, матросы с какими-то странными «мандатами» от советов и исполнительных комитетов, и носились по городу и уже в Ставку совались — и никто не смел задерживать их: попробовать их окоротить — сейчас же взвоят во всех газетах, что Ставка — гнездо контрреволюции и сопротивляется завоеваниям революции. Автомобильный отряд при Ставке проверял распоряжения штаба на автомобили: может, генерал едет на прогулку или по частному делу — так не давать мотора, — хорошенькая обстановка для штаба!

И ещё же разливалась демократия: все национальности стали требовать своих отдельных частей — как будто это можно переформировать на ходу войны! Была допущена прежде слабость, поощрили латышские части, потом польские. И теперь — другие требовали, больше всех украинцы, приезжала в Ставку делегация во главе с харьковским адвокатом в чине подпоручика. И просили — сразу корпус, и будто Гучков им уже обещал. Алексеев замылся с ними, обещал хлопотать о двух бригадах. (А вскоре узнал, что Брусилов, не спросив, уже украинские формирования как будто и начал. И уже требовали: чтобы по всей Украине стояли только украинские части, и чтобы со всей России украинцев слали только туда. Совсем сошли с ума, что ж остаётся от войны?)

И всё же — нет, нет, армия ещё не разложена. Однако надо спешить спасать. Вот наступление бы, сопровождаемое удачей, конечно, сразу бы оздоровило. Но в нынешнем состоянии можно ли будет практически сдвинуть армию в наступление? Да ещё прежде того: посметь ли о наступлении заговорить вслух?

Однако и нельзя дать укрепиться мысли, что мы не будем наступать: противник снимет все силы на Запад. *Говорить о наступлении во всяком случае необходимо.*

А если строимся — и в наступлении откроем наше бессилие?.. Ещё хуже.

По необычности обстановки, теперь и положение армии лежало на каких-то путях, не привычных для полководческого ума. Что-то требовалось сделать в духе и манере этого сумасшедшего времени. Заморочивалось генеральское сознание. Клембовский предлагал поставить во главе всей армии триумвират: из Верховного Главнокомандующего, правительственного комиссара и выборного солдата. (Командование — совсем уже в сторону?) Тем временем сами собой начались фронтовые съезды — может быть, вот это и есть правильный выход? Но вот десять дней бурлил минский съезд — а что обсуждал? Всё — вне своей компетенции: отношение к Временному правительству, к Учредительному Собранию, к демократической республике, аграрный вопрос, рабочий вопрос, — и это занятие воинов на фронте? А кто был председателями съездов? Западного — присяжный поверенный Позерн, Румынский собирал врач эсер Лордкипанидзе, Кавказский — штатский меньшевик Гегечкори. Да и во главе всех крупных комитетов кто стоял? — вольноопределяющиеся, студенты, врачи, адвокаты, случайно в шинелях. Так и Грузинов, такой же штатский подполковник, но захвативший Московский округ, придумал ещё новое: созвать всероссийский чисто военный съезд. И два делегата от него приехали к Алексееву в Ставку: просить разрешение выбирать по всей Действующей армии делегатов на этот съезд, и уже просят сообщить им расположение всех частей и численность их. И ведь станешь в тупик: может быть, вот это и есть то сильное и плотное, что надо противопоставить петроградскому Совету депутатов?.. Не мог Алексейев решить, да и права не имел, отправил их к Гучкову. А Гучков ответил, что не может решить без предварительного совещания с Алексеевым. И так бы ещё перекидывали их, но тут Гучков приехал в Ставку, и делегаты за ним сюда же — и добились совместного одобрения. И уже объявили, что такой съезд будет собран в Москве 15 апреля. Но тут московский же Совет солдатских депутатов запретил им, тем и показывая, что общего фронтового голоса Советы боятся, и такой съезд был бы, наверно, неплох. Но вот провалилось.

А что злокачественно развивалось по всей армии как чирь, как нарывы — это комитеты. Они передавались от части к части эпидемически. Невозможно было их подавить — но вот уже месяц бились, как их использовать на пользу боеспособности. В конце марта, как раз при Гучкове, приехал в Ставку из Севастополя вкрадчиво-сладкий подполковник Верховский и с воодушевлением описывал, как, будто бы, севастопольские комитеты разумно регулируют стихийное солдатское движение в направлении государственной пользы. И Гучкову понравилось, и он поручил Ставке разработать единое положение о комитетах. Да если уж всё равно зараза лилась, то лучше было забрать её в твёрдые каналы: стараться ограничить их хозяйственными функциями, усилить в них влияние офицеров. И Алексейев тогда же подписал приказ «о переходе к новым формам жизни» — а Деникину, новоприбывшему к должности начальника штаба Верховного (впрочем, тоже назначенному помимо Алексеева), поручил разработку разумного положения о комитетах, используя севастопольский опыт, и удержать там не меньше трети мест для офицеров.

Но такая кодификация совсем необычного материала — не на день, она заняла в Ставке две недели. Тем временем жизнь комитетов буйно развивалась безо всякого единого устава, а где кому как вздумается. Низшие комитеты парализовали всю службу войсковых частей. А дивизионные, корпусные, армейские, которые сам же Алексейев и допустил, с надеждой, — эти уже занимались почти одной политикой, развитием «революционных начал» и лезли поправлять растерявшихся генералов. Вот сообщали, что Выборгский крепостной комитет имел дерзость судить: об обороне крепостных уча-

стков, о размещении частей и о постановке контрразведки. Образовывались свои комитеты и в каждом штабе, и в каждой сопливой команде, и отдельные комитеты фельдшеров, ветеринаров, интендантских чиновников, радиотелеграфистов, нестроевых чинов, и отдельные комитеты украинцев, поляков, мусульман, грузин. Надо было спешить с единым положением! — но Гучков умудрился дать такое же поручение и своей поливановской комиссии — и четыре дня назад притянулся из Петрограда проект поливановского Положения! — и весьма капитуляционного. А в Ставке готово было — крепче, строже, и уже нельзя и бессмысленно от него отказаться, и как в этом задуренном разномудрии теперь сноситься с заболевшим Гучковым? сколько ещё дней пройдёт безо всякого устава? Алексеев велел Деникину кончать ставочное Положение. И сегодня, в воскресенье 16-го, подписал его. А Гучков пусть разбирается.

Подписал — со слезами на глазах. Как будто же спасая армию от худшего? — а подписал своей рукою гибель армии.

Да этим не кончалась неразбериха. Во вчерашних газетах объявлялось как решённое ещё новое мероприятие по спасению армии. Какие-то случайно съехавшиеся в Петроград делегаты быстро, на ходу, кто-то им в Таврическом подсунул, — утвердили «устав комиссариата», и вот уже опубликовано, и что же там? Создать при каждой армии, при каждом фронте и при Ставке! — комиссариат из трёх человек: один от правительства, один от совета депутатов и один от фронтового, армейского комитета. Рассмотрению их подлежат *все дела и все вопросы, входящие в компетенцию (главно)командующих!* — и все приказы по армиям, фронтам, должны подписываться также и комиссариатом!

Сумасшедший дом! Так они будут командовать вместо генералов? И в Ставке тоже? И Верховного тоже будут расследовать? Да месяц назад Алексеев и сам просил у Львова прислать комиссара в Ставку — но не на таких же условиях!

Сумасшедший дом! Правда, это был пока проект: передать его Исполнительному комитету петроградского Совета (при чём тут он?) — для утверждения в три дня! Проект, но так отрубисто-энергичен, что для неграмотной страны — уже и опять закон?..

С отъезда царя как-то сами собой прекратились в Ставке еженощные посещения церкви всем составом штаба. Сам Алексеев был ещё раз на посту, был на пасхальной заутрени — да и всё. Не потому чтобы прежде ходил изневольнo, отнюдь, а вот — отпало как-то. От тревожности ли времени, от неурочного прихода всех новостей? И икону Владимирской Божьей Матери, после отъезда государя, распорядился Алексеев вернуть в московский Успенский собор.

Так и сегодня, он не был утром в храме. Но от этого не стало его воскресенье досужным, а напротив: тем более сосредоточился он с утра над делами, бумагами и размышлениями, в расчёте, что сегодня меньше будут и мешать.

Вот, ещё раз изучил одуряющий проект о комиссариатах.

И сегодня же сел написать Гучкову большое письмо. Что: положение в армии ухудшается с каждым днём. И генерал удивляется безответственности тех, кто повторяет о «прекрасном состоянии армии». (Намёк и на самого Гучкова.) И даже: армия погибает...

С бесчувственными министрами в Петрограде уже не оставалось разговаривать иначе.

По-настоящему и неотложно надо самому ехать в Петроград и попробовать объяснить правительству в последний раз: что они делают??? Ещё раз-другой подтолкни — и Россия будет в пропасти.

И штабы фронтов, и штабы армий были вот так же все угнетены. Алексею было стыдно глядеть в глаза своим подчинённым — что он не мог их защитить. Такое постыдное чувство, будто он во всём этом и виноват, хотя вершили в Петрограде.

Михаил Васильевич вообще стал уязвимей, чем когда-либо, всё принимая на свой счёт. То прочёл в газетах и сопоставил, что в самый тот день, когда приехавшие в Ставку министры были так ласковы, — на совещании Советов в Петрограде этот кровожадный Стеклов продолжал поносить генерала Алексеева и угрожать ему. И «Рабочая газета» меньшевиков тоже печатала, что «Ставка занимается контрреволюционной работой». Вдруг прочёл в газетах, что на съезде Западного фронта выступал ставочный полковник Сергиевский, и произнёс так: «В дни революции распоряжение об отправке войск на фронт давал бывший царь. А большинство начальствующих лиц в Ставке сочувственно относились к освободительному движению. И как только царь уехал из Могилёва — так Ставка порвала с ним и старалась парализовать его распоряжения. Только благодаря генералу Алексееву было предотвращено кровопролитие. Если бы не генерал Алексейев — ещё большой вопрос, было ли бы подписано отречение...»

И хотя тут не было прямой клеветы — только, пожалуй, слишком грубое акцентирование. И хотя при сегодняшнем политическом положении это звучало хвалебным звоном Верховному... Михаилу Васильевичу стало почему-то ужасно неприятно от этой заметки. И он поразился, как достойный полковник Сергиевский мог так гадко выразиться. И призвал его для объяснения.

Но полковник Сергиевский — впервые это всё прочёл тут, у Верховного! Он поклялся, что не только не говорил такого, но и в Минск не ездил, это легко проверить.

Удивительно.

На другой день из другой газеты объяснилось: эти все слова были сказаны на съезде полковником Плющик-Плющевским. Тотчас же Алексейев вызвал его к себе. Но и Плющик-Плющевский заверял, что ничего подобного не говорил.

Так и непонятно осталось: откуда ж это взялось?

Но очень неприятно.

Как ещё и очень неприятно было встречать в Ставке рыжего рыхлого генерала Кислякова. Хотелось, чтоб этот Кисляков исчез вовсе с глаз.

Полтора года служил тут Алексейев — при самой руке государя, ежеден докладывая ему, почти никогда не встречая возражений. И про себя ему самому нередко казалось, что государь как бы вовсе ни при чём: не он прорабатывал ситуации, не он составлял решения.

А вот — он собою что-то осенял. Для многих Россия и Царь — были одно.

А когда сегодня им читают из газет, между собой во многом разноречящих, но все заодно лишь в том, что: Николай Второй — враг народа, дурак, преступник и немецкий пособник. То и чешет солдат в затылке: так тогда и война, какую он начал, — нам на ляд?..

СПОХВАТИШЬСЯ, КАК С ГОРЫ СКАТИШЬСЯ

Когда в прошлом месяце избирали Клима Орлова от Волынского батальона в Совет депутатов, так тот был толк у ребят: ты, мол, и так питерский и всё тут по Питеру знаешь, тебе будет легче. И ещё выставлялось, что это он первый крикнул Лашкевичу — «довольно крови!». Да он и был из тех четырёх-пяти, кто приложился Лашкевичу в спину, туда во двор. (Сам Орлов уверен был, что это он и уложил Лашкевича: верно прицелился, и грохнулся тот в аккурат.) А — кого

и выбирать? — все чураются, смущаются: куда это лезть? да там и речи держать надо?

Речи держать — нет, Климу за месяц ни разу не досталось. Да и не догородишься, речистые есть, а кто словами не досяжет, тот руками побольше махает. Да чуть не половина выступают вообще не наши, сторонние. Или начальство. Но даже и просто в кресле сидеть — тоже обык нужен и выглад, ведь в этих креслах ещё в феврале Государственная Дума сидела, поди попробуй. (Да и приходи пораньше: кресел на всех не хватает, остальные на приступках, и просто стоя.) Солдатская часть с Рабочей частью заседает тут через раз, а вместе не впереться, и тогда в Морском корпусе: зда-а-ровенный залища, и набили, наставили простых скамеек, все две тысячи с чем-то помещаются, после того как модели кораблей вынесли вон. (И даже там до того насидятся — жара как в бане, и в сон клонит.)

Хоть и питерский, и прежде на кружок ходил студентов слушать, а поначалу было Климу тут непривычно, как в чужую одежду нарядился. Но потом, через день ходя, мал-помалу пригляделись, кто и перезнакомился, табачком друг друга угощая. Меж заседаниями выходили в зал колончатый, там толковали, объясняли. И были сильно мозговитые парни. А один солдат из 176 полка, Матвеев, — так всё записывал, записывал, что говорили, — и как успевал? Как-то Клим сидел с ним рядом, удивлялся, до чего карандаш быстро гоняет.

От него, от других, разобрался Клим: на всякую пору выставляется один какой-нть в о п р о с — и надо, за ли, против, говорить только об нём, а не что сам размерекаешь. Но большинство сбиваются, говорят, что у кого в голове. Иной раз их поправляют с вышки, а то уж и не правят. И оттого бредёт собрание как усталая корова, ногами заплетаясь. И стучат с вышки: «Если ещё продолжать обсуждение, то пройдёт три недели!» А додыхаются, отголосуют вопрос — сейчас тебе накатывают следующий.

А уж с места — кричи, когда по нраву или супротив: «Долой! Вон! Убрать его! Просим! Давай, давай! И чёрт с ними!» — и Орлов тоже кричал не раз, выкладывая душу в крике. И иногда такой гамуз поднимется — ни на каком базаре не услышать. А один раз тут же в зале, в собрании, стали листки разбрасывать — как голубей по залу.

А то стали ходить меж людьми, допытываться: «вы, товарищи, к какой примыкаете партии? мы теперь будем разделяться по фракциям». Я — ни к какой, пока пригляжусь. Я и так — ефрейтор Воынского полка, а в прошлом слесарь с Людвига Нобеля.

Новых слов — тут много наберёшься, только уши распяливай, так и чешут неслыханными словами. Авторитет — значит кого уважают. Анархия — никого не уважают. Контр-революция. Контр-ибуция. Или кинут: «Сам Марс стоял за наступательную войну против русского царизма». Кто такой? Тут другой делегат, спасибо, объяснил: Марс — бог войны, и ему вскоре Вильгельм поставит памятник.

Вопрос-то вопросом, а чуть забудешься, не дослышишь — уже и не сразу, о чём это. Только перемежаются:

— Внутренний враг понятие растяжимое.

— Надо, чтобы автомобили зря не ездили.

Председатель: — 150 тысяч отпускаем на издание газет нашего духа. Пусть верят только нашим газетам, а не буржуазным.

Или корят: — Солдат имеет и два фунга чёрного, и полфунга белого, зачем же лезут к лавкам, отнимать хлеб у рабочих?

А кто в ответ: — Мы из двух с половиной фунтов жертвуем полфунга петроградским беднякам.

Про свару с рабочими немало:

— Всякий, вносящий смуту, является вредитель. Работайте, ибо каждая минута дорога! В противном случае враги отечества!

— Хочу подкопаться под авторитет и отколоть рабочих от солдат.

(Клим хотя и солдат теперь, а тут — за рабочих, понимает.)

— Да вы дайте армии сапогов и докажете, что вы с нами! Дайте — снарядов, масок, а хлеб потом.

Ну, конечно, про войну и про мир все касаются.

— Счастье возможно только при полной победе над немцами.

— Просим вас отстаивать дорогую свободу, не то смерть.

— Романов не знал, к чему он шёл, а новая Россия знает. Она предлагает свергнуть Вильгельма, чтобы протянуть руку.

А то сам командир Измайловского батальона, избранный:

— Рождение свободы одними ласками произвести нельзя. Пусть граждане наслаждаются светом, солдаты же должны опуститься во тьму страданий, это фундамент нашей свободы.

А из Шадринского совета приехал:

— Наша точка зрения — поднять восстание за границей.

И об Стоходе спорили, кто виноват в нашем разгроме, солдаты или генералы.

— Ежели мы свергли безответственное министерство — надо свергнуть безответственное генеральство. Наш генералитет требует полного критического отношения. Ни один мерзавец из штаба не бывает на позиции. Они говорят «революция виновата», так мы им покажем, кто виноват.

Вылез депутат какой-то Думы, запрежней, вспоминал стары времена:

— Коронование было в Москве. День торжественный, у них лилось шампанское, а на Ходынском поле 10 тысяч убитых. Русско-японская война — кому она была нужна? Учитель говорил: свет побеждает тьму, а сёстры гуляли по банкетам. Народ верил в царя и пошёл к нему, а царь не сказал ласкового слова, и на его глазах стреляли.

А то вскочил какой-то вертун на ходу, аж весь дёргается, а видно из начальства:

— С тех пор как я вошёл во Временное правительство, у меня совсем нет времени. Но меня тянет к вам. Я вошёл в правительство, чтобы судить, и сделаю суд, и все под моим контролем. Я про себя не допущу клеветы, что послабляю старому правительству, кто мне не верит — докажи. Из них тоже один убил Распутина. А мы должны работать на пользу поколений.

А то пришёл видный такой барин, холёный, казистый, Чернов. Он, вишь, из-за границы только что, и много лет там странствовал, и всё знает:

— За границей идёт травля против Совета рабочих депутатов. Там чувствуется движение революции с Востока на Запад. Рабочие западных стран подавлены кошмаром эксплуатации. Лучезарное видение мы увидели здесь. На этот раз земля из рук народа не уйдёт. Но надо протянуть руку стонущей Европе.

А про землю-то солдаты, которые не питерские, любят поговорить. Выступали тут и советские вожаки, объясняли, как будет. У крупных землевладельцев отберём всё бесплатно. А хуторяне скажут: мы платили за землю, и будет с ними громадная свалка. Но не надо землю хватать самим, будем ждать Учредительного, а пока комитеты распределят и землю и инвентарь, по дешёвке.

Но, конечно, кипливей всего бурлили солдаты по устройству армии. Несколько заседаний и пошло на тот вопрос. Сперва обсуждали Права Солдата, и постановили издать как Всеобщий Приказ. Тут — много было соспороно. Жарче всего жадалось солдатам контролировать каптенармусов и интендантство. И думали сперва: в каждую проверочную комиссию включать солдат с решающим голосом. А потом додумались: не. Взять на себя решающий голос — это взять на себя отвечать за снабжение? А ну как продукта какого не станет — как тогда управимся? Нет, голос только наблюдательный, но чтобы

там шурудили. Ну, а об офицерах — самый долгий спор, у каждого нагорело.

— Нужно сделать полнейшую перетасовку офицеров, иначе дело будет дрянь. Теперь постановили у нас: офицеров к пулемётам не допускать! («Правильно! Bravo!» — кричат ему.)

— Офицер для нас, а не наборот!

— Офицер нисколько не умнее солдата, особенно в настоящее время.

— А наши меж собой говорят на других языках. Мы не дозволяем им по-иноземному.

— Нет, — толкуют, — и в 70 верстах от фронта нельзя производить выборы офицера.

— Да что вы тут! — взобрался. — Тут хоронят всё хорошее! Я предлагаю ввести: чтобы офицеры были сменены.

— И в полковой суд их не три к три, а пять солдат, один офицер.

— Не, братцы. Справедливо, когда поровну.

— А комитету дать право арестовывать?

— Да если крикнет кто — да здравствует Николай, шею ему свернуть, зачем арестовывать?

— Так это и фельдфебеля будут выбирать? и взводного? Не, их пусть начальство назначает. А то молодые солдаты навыберут Бог знает кого.

— Дисциплинарный устав — его надо просто уничтожить.

— Не, ребята! Дисциплина — нужно, но вразумить офицеров, что такое дисциплина. Это не под козырёк взять.

— Мы надеемся, что вредных офицеров уберут. А если мы сами это сделаем, то воспользуется враг.

Тут — выступил мордатый от 1-го Пулемётного полка, они Питер заняли и держат:

— Мы Корнилова не слушаем. Наши постановления должны приниматься беспрекословно, а не надо их просить. Мы потребовали от Корнилова немедленно отменить все приказы.

— Вопрос об Алексее ликвидирован тоже.

— Солдат надо из рабов превратить в свободных граждан. Он имеет право рассуждать о своих правах. И теперь отменено обязательно ходить в церковь.

Какого солдата армейский порядок не трогает! — под ним жить. Но и ещё не такая горячка поднялась, как зачали обсуживать: двигать ли петроградский гарнизон на фронт или нет. Вроде, по революции, отодвинулось, так на фронт ехать? — а вот промашно проголосуем, и тебе, Клим, ехать, из родного города, семья тут — а ехать.

Сперва выпускали полковников речи держать — того из Измайловского батальона, а то полковника Якубовича, толстого хохла с чёрными усищами: мол, Семёновский и Павловский решили отправлять маршевые роты немедленно.

Ну что ж, пуцай отправляют, а мы посидим, поглядим. Офицеры — ясно хотят на фронт отправлять.

То с фронта приезжих стали выдвигать:

— Петроградский гарнизон допустит крупную ошибку, если попустит себя в прилированное положение.

— Нет! Охранять революцию может не всякая воинская часть, а только наш испытанный гарнизон.

— Я прошу вас, ради Бога пополняйте, гвардейцы. Если вас назначат ехать к нам — вы не стесняйтесь.

И уж кого пробрало:

— Может, по две тысячи в батальоне оставить, а остальных послать?

Пулемётчики в рёв:

— Мы — на фронт никого посылать не будем, и оставим, сколько нам тут необходимо!

А сегодня, в воскресенье, собрали опять в Морском корпусе всех вместе, рабочих и солдат, и прямо: отправка маршевых рот из Петрограда. Вышел такой растрёпанный Соколов, уж его знали. И стал уговаривать. Мол, мы всегда стояли за то, чтоб не выводить, и так обязались передо всей Россией. Из буржуазных кругов говорят: а зачем вам тут столько войска? А мы отвечаем: мы держим не для военных действий, а для авторитета. Но вот нам указывают, что большие пулемётные полки, только в одном 17 тысяч человек, и что такие полки организованы не для петроградского гарнизона, а для всего фронта. Или тяжёлый дивизион в Гатчине. И мы решили иногда давать согласие на отправку. Будет выработана норма, и часть войск пошлём — конечно только по мере надобности, и только с разрешения Исполнительного Комитета.

Стали и этому шикать, закрикивать.

Выставили какого-то писаря, от них же и наученного: мол, контрреволюционных армий нигде не обнаружено. Если мы теперь не дадим маршевых рот, то попадём в чёрный список укрывающихся. И ещё потому мы должны посылать, что каждая маршевая рота понесёт с собой на фронт наш революционный дух.

Так ты — иди и неси, а других не заманивай.

Тогда выступил солдат: если в ротах по 1500 человек, но они не вооружены, — какая это релюциённая армия? Предлагаю оставить в каждой роте по 350, но вооружённых.

Ему со всех сторон:

— Сла-бо! Ма-ло!

Это что ж, из каждых пяти четверо шагай на фронт?

Полез решимый солдат:

— Ни в коём! Ни в коём! Петроградский гарнизон сыграл крупную роль в революции, и он весь должен остаться. Могут пополнять фронт другие города. Выходит — мы должны уходить, а тут преспокойно погуляют полицейские? Вот полицейских и шлите.

Кричат:

— А где их взять, столько полицейских?

— Фронт не помойная яма, городских посылайте!

Тут от сапёрного батальону: их в России 25 сапёрных батальонов, почему именно от нашего? Мы уже генералу Корнилову заявили и объяснили, что мы — защищаем свободу, и не пойдём. Будем тут углублять революцию. Контрреволюция усиливается, и усиливается клевета, и принимая во внимание посылку на сельскохозяйственные работы — я говорю, вывод войск из Петрограда сейчас не может быть решён. И считать нежелательным.

— Пра-а-авильна! — Клим заорал. И многие в зале тоже, гудят. Потолочище — высокий, под ним крик расходится.

А начальство Совета там своё легурирует, знает, кого выпускать: вот вам делегат с фронта, от 50-й дивизии. Вылез на вышку и шапку снял:

— Поклон вам от дивизии! Я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Мы там защищаем светлую красивую свободу. Мы стоим десять месяцев в окопах, не выходя. У нас остаётся по 80 человек в роте, где раньше был батальон, теперь рота, а здесь только в запасном полку 16 тысяч, то мы можем просить о помощи. Мы можем потерять все укрепления, которые стоили так дорого.

Пристыдились солдаты, не кричат, не находятяся. Но попросил на два слова от 180 здепшего полка, с места, да с подтрункой:

— Что это он слишком пугливо говорит? Не так там дела плохи. Он часом — не из обоза второго разряда?

И — разгрохотался зал. А кричат и:

— Не касаться личностей! —

ну всё равно смех, как и не выступал. А следующий — большевик:

— Было соглашение — не выводить. Важно правительству первый раз нарушить договор, а дальше будет уже всё. Везде в России есть солдаты, а почему-то все хотят от нас посылать. А сюда — нагонят полицейских, и тогда вам свобода? Везде контрреволюция, и наше правительство этому способствует. А мы требуем — вооружить и рабочий класс. И не позволим вывести ни одного солдата!

И вот сейчас переспроси каждого солдата по залу — из четырёх трое скажут тебе не выводить. Но есть у советского начальства какая-то механика, уже кумекал Клим не раз, и другие тоже замечают, она тянет где-то невидимо, а перетягивает, как хочет Исполнительный Комитет. А того Комитета и не видели вместе никогда, маячат тут на верхушке по два, по три из них.

И сегодня уж так кричали, ногами топали, думали — нипочём не уступим, мы тут хозяева. Нет, выпустили опять какого-то хлюпика — «социалист-революционер», а, мол, позиция большевиков противоречит друг другу:

— Контрреволюция невозможна, потому что если какая рота слушает офицера, то другая ему не верит. Мы лежим на нарах да ходим на митинги, когда надо ехать на фронт. Может, нам ещё мягкие стулья подать? А в батальонах много маменькиных сынков, их надо отправить на фронт.

Ну вот разве что их.

И опять Соколов:

— Мы конечно не будем ослаблять себя. Исполнительный Комитет очень осторожен, мы выработаем инструкцию, вы её рассмотрите, и только тогда примете. Гарнизон конечно остаётся. Но отдельные команды выводятся — но каждый раз только с разрешения Исполнительного Комитета.

И — как-то приняли, сами не заметили как. Да тут когда и руки поднимают — так их не считают. Да их меж рядов и не пройдёшь посчитать, сидя в теснице.

Нет, тут глаз да глаз, вот что. То сами ж говорили: не доверять правительству ни в коем случае, классовые интересы всегда дадут себя знать. И вдруг — так повернули: хотя правительство и буржуазное, но нет оснований ему не доверять. И надо утвердить им денежный заём.

Лынды-мулынды.

И прицепились с этим заёмом, и одно заседание за другим: надо утвердить. А на голоса не ставят, мол, доклад не готов. Тут большевики насели, красивая у них такая бабёнка, Коллонтай, и говорит джужечисто, звонко: не дадим денег на братоубийственную войну, которой пролетариат не желает! Пусть дают деньги толстосумы, капиталисты и помещики, пусть забирают золото у буржуазии! Пусть заём составляют, кому он нужен, а нам он не нужен. Ни копейки Милюкову и компании! ни копейки переалистам!

И верно же баба крыла! Кричали ей «правильно! так!», — и если б тут же на голоса, тут же бы и отказали, так она распалила. Нет, вылез Чхеидзе-старичок, голосование ещё не готово, надо отложить, — так чего и шарманку заводите? И от партий выступали, и все в нетях: мол, не готовы голосовать. Одни большевики требовали — сейчас же. И бойчек от их, Зиновьев:

— А пока объявить 1 мая массовое братание на фронте! А если произойдут помехи-недоразумения — возложить ответственность на офицеров!

А сегодня, уже после маршевых рот, уже измучились все, — опять с этим займом, свербит он у них. И опять Чхеидзе, его половины не слышно. Да ничего и не предлагает, на голоса не ставит, а — пождать ещё три дня, узнаем ответ правительства об а-нексиях — и тогда уразумеем, содействует ли заём ходу революции вперёд или

назад, и какие шаги вытекают. Исполнительный Комитет постановил ждать три дня.

И ещё за ним выступил взрачный Церетели, и он другого ничего, а: отложить на три дня как вопрос величайшей важности, и тем покажем, насколько мы внимательны к правительству, а оно покажет, насколько к нам прислушивается. И оно не пошатнулось в отказе от захватов. На днях пойдёт нота союзникам, и это будет новая победа демократии.

Тут — от большевиков: нет, надо сейчас же сказать, кто за заём, а кто против. Мы, большевики, — всегда против займа. Поддержка займу — измена революции. Если деньги надо взять — так и берите из сундуков буржуазии, она нажила за войну большие состояния. Мы должны идти впереди правительства, а не сзади. Нам надо знать, есть у нас народоправство, или правление Милюкова—Шингарёва?

И правильно, какой дурак захочет свои деньги давать.

А ещё есть эти анархисты, так от них:

— Буржуазия нажила деньги нашей кровью. Ни одной копейки на войну, контрреволюция готовится со всех сторон. Посылка маршевых рот, а ещё и заём будут нас утешать. Ни минуты доверия правительству! И — никакого доверия вообще никакому правительству никогда!

Смеялись.

Смеялись-то смеялись, а головка, смотри, опять по-своему повернула, и ещё раз Церетели: — Мы являемся авангард революции. Мы положили первый камень Тринадионала. Да если правительство нам изменит, то я первый пойду против него. Деньги? — конечно 99 процентов из кармана буржуазии. Но подождём три дня, чтоб увидеть нашу победу.

А большевики опять кричали — против займа. И из самой же головки разноголосил дюжий Стеклов: ох, не принимайте займа, падут деньги не на буржуазию, на само же население. Но смазали и его, установили ждать три дня.

Собираемся тут — как будто мы власть. А ведь — охмуряют, только и следи позорчей. То вот придумали: солдатскую Исполнительную Комиссию заново выбирать, снова из частей, помимо нас. Да — из кого ж там выбирать? мы же знаем, там голов не осталось, все тут. Это — под нас подкоп, мы чуем. Нет, всяка комиссия теперь должна быть выбрана из нас.

Кто там, в батальоне? Кирпичникова с Марковым Клим и раньше дразнил: «Пензенцы в Москве свою ворону узнали». Орлов всё больше обыкался в Совете, видел тут своё место, не то чтобы с маршевой ротой вдруг пойти, но и к себе в Волинский не так часто заглядывал, отвыкал. Ночевал — дома, в семье, но и на завод бы Нобель не желал бы сейчас вернуться: пошла иная жизнь, а впереди, вот говорят, ещё будем революцию углублять. Так понадобимся.

В батальон свой ходил — на заседания батальонного комитета. Разъяснял им в те дни, как они на рабочих обижались зря. Ну и в роту свою учебную заглядывал, конечно. Занятия шли куда не так строго, болтались во дворе и по городу. А в кружке Тимофея Кирпичникова услышал: затевают ребята пойти к этой Кшесинской, Ленина арестовать.

— Да кто ж это вам такое право даёт? — осторожил их Клим.

— А Лашкевича погнажи, — Марков ему, — кто на то право давал?

— Да за что же такое Ленина?

— А он — на немца работает. Всё говорит, как немцам надо, они ж его и подбросили.

— Да вы спятили, ребята! Какой немец? Он — хороший наш человек, и большевики его — самые правильные.

— Нет, — угрюмо Кирпичников, — моя кровь там осталась, в Галиции. А он ноне говорит — немец не враг, дружиться?

— Да вы что?! — заорал на них Клим. — Да вы и не думайте такого!

Но остались они при своём. И подговаривали команду из разных рот — намерялись пойти ночью, когда толпы там нет, и накрыть его.

Что тут делать? Один Клим сам по себе не мог им заборонить. Пошёл, первый раз, прям' в комнату Исполнительного Комитета. Думал найти или Богданова, или кто на солдатском Совете бывает. Посмотрел — все чужие. Тогда к двум маленьким востреньким: так, мол, и так, волянцы хотят Ленина арестовать. Перекройте!

Обещали. Благодарили.

30"

(по социалистическим газетам, до 17 апреля)

...Одним волшебным ударом революция перевела страну из плоскости самодержавия в плоскость народоправства... От края до края родились советы рабочих и солдатских депутатов, как бы в исполнение давно задуманного плана. В порыве революционного вдохновения рождается новая великая демократия. И всё же находят брызги, которые с недоверием относятся к гению русской революции...

«Народ русский вял, апатичен, ленив» — слышали мы на каждом шагу до революции. И что же? — пришла революция, и этой аполитичности как не бывало. Люди пугливые ждали полного развала, а увидели полный порядок, спасающий страну от гибели. Движутся ли поезда? Да, и ещё лучше, чем раньше. Исполняют ли солдаты свои обязанности? Да, и более сознательно... Настало время энтузиастов. Наша вера в народ нас не обманула.

(Н. Чагаев, «Дело народа»)

...Оказывается, жить без царя не труднее, а несравненно легче. Скоро в этом убедят представители самых отсталых слоёв народа.

Мы, русская демократия, находимся во главе народа, мы — направляющая сила страны.

(А. Гоц)

Народ раздавит всех, кто осмелится попытаться передать государственную власть какому-нибудь новому тирану...

...Крепче бей, железный молот!
Вспыхни кровью, небосвод!
Ужас бледный в небо кинет
Брызги пламенной волны.
Казнь народная не минет
Всех изменников страны!

(«Известия СРСД»)

...Никакого двоевластия СРСД не создаёт, но как верный часовой стоит на страже интересов трудового народа... Признать Временное правительство до тех пор, пока оно будет считаться с мнением СРСД... Крики об ужасах «двоевластия» — утончённые модернизированные формы контрреволюции...

Историческая роль СРСД столь значительна, а его политическое значение настолько велико, что он не нуждается в защите от тех грязных обвинений и двусмысленных инсинуаций, которыми осыпают его деятельность приват-звонари социалистической прессы и подпольные шептуны из буржуазного лагеря...

ПАРТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУДРОСТИ. Кадетский съезд с точки зрения самих участников проходит великолепно. Временами кажется, что это заседание общества взаимного обожания. Время от времени на сцене ставятся живые картины общего апофеоза, когда под гром аплодисментов вожаки окружаются группами единомышленников и замирают в позе исторических героев. Под иным углом зрения приходится смотреть на этот праздник именин сердца нам, социалистам, нам, революционерам, кто в годы реакции был загнан царским произволом во мглу подполья, между тем как конституционалисты-демократы чуть ли не одни парадировали на подюстаках в чине оппозиции Его Величества. В эту партию входят люди, изучившие все конституции на свете, проштудировавшие историю всех времён и народов, и всегда они доказывали, что революция противоречит всем законам, что русская республика относится к области утопии, а конституционная монархия есть высший принцип политической премудрости. И вдруг вот... им приходится доказывать, что революция была закономерна! И сама эта партия, правда подталкиваемая волянцами и «то-

варищами слева», разжалует монархический принцип в ранг простого тактического приёма, и поднят вопрос о переименовании партии в демократов-республиканцев. Такого быстрого отказа от партийных основ, такого внезапного приспособления к изменившимся обстоятельствам...

(«Дело народа»)

Теперь прежние медали «За храбрость», «В память 300-летия», «В память 1812 г.» стали совершенно ненужными, так как никто из нас не станет носить на своей груди изображение лица, приведшего нашу Родину на край гибели. Ясно, что каждый из нас должен с негодованием сорвать с груди этот портрет. Но чтобы не бросать такой ценный металл, давайте пожертвуем все эти медали и поможем нашей свободной России.

...В командном составе русской армии теперь многие надели на себя красные маски. Ставка, где твоя отставка?..

Контрреволюционных сил в армии гораздо больше, чем обыкновенно думают. Величайшее огорчение: окопы устроены так, что в них легче действовать наушникам и негодяям, чем честным и смелым социалистам. Контрреволюционный агитатор делает своё подлое дело где-нибудь на наблюдательном посту, в линии сторожевого охранения... Прежде всего — свободное посещение окопов и блиндажей партийными работниками. Временное правительство обязано...

...Ввиду несоответствия обстановки, в которой живёт бывший царь и бывшие царицы, тяжести их вины перед народом и явной опасности оставления их в Царском Селе, где они могут сношаться с сочувствующими кругами, — предъявить ИК СРСД категорическое требование к переводу бывшего царя и бывших цариц в Петропавловскую крепость.

Собрание делегатов со всех фронтов 12 армии

Излишняя щепетильность. Для того, чтобы царизм был навеки похоронен в сознании народных масс, надо не «снять эту тему», а продолжать разоблачать всю гниль и ложь... Все эти деспоты и палачи, обманщики, лжецы и клятвопреступники, развратники и идиоты, восседавшие на российском престоле, окружались ореолом добродетели и славы. 300 лет молчания, 300 лет запретов. И только сейчас тайны царских дворцов раскрылись — и вот находятся щепетильные люди, что надо оставить в покое царя и царицу. Нет и нет! Теперь десятилетиями надо разоблачать этот обман, раскрывать наготу царизма, бичевать его негодованием и смехом. Шире, возможно шире раскрывайте окна и двери царских палат, беспощадно срывайте покровы — чтобы все могли видеть преступления и позор, порок и бесстыдство! Пусть знают всё до мелочей и о Распутине и о Вырубовой — обнажайте наготу царизма!

(«Дело народа»)

А все ли меры приняты Временным правительством для подавления поднимающегося там и сям голову черносотенства и антисемитизма? А взял ли рабочий класс на себя почин организованной борьбы по деревням против погромной агитации, против пропаганды восстановления царизма?

...Аресты лиц, подготовляющих избиение евреев, это, разумеется, очень хорошо. Но арестом дело не кончается, а только начинается. Необходимо примерное наказание. Мы уверены, что гражданин Керенский примет все зависящие от него меры, чтоб ускорить следствия по этим делам.

(«Единство»)

Опровержение известий о погромной агитации. Член ГД Фридман просит нас сообщить, что прежние его сведения, будто в Подольской губернии ведётся погромная агитация и есть опасность эксцессов, не соответствуют действительности. Нигде в Подольской губернии вражды к евреям не наблюдается.

Если сравнивать русскую революцию с Великой Французской, то нельзя не заметить отсутствия в ней антиклерикального движения. Тёмные силы уже пытаются запугать народ: «они свергли царя, теперь будут свергать церковь и Бога». Но за все эти дни мы не получили ни одного известия о движениях против свободы совести. Никто не мешает верующим, никто их не оскорбляет. Свобода совести не затронута нами, революционерами, свободными мыслителями, скептиками и атеистами.

У нашего правительства есть сейчас передовой отряд длинноволосых жандармов, которые ведут народ за царя. Это — попы. Мы должны потребовать от Временного правительства, чтоб оно арестовало тех митрополитов, которые имеют влияние в тёмных массах, и чтоб устроен был контроль волостных комитетов над попами.

По поводу распространившихся слухов об аресте митрополита московского Макария... не соответствуют действительности. Было получено сообщение, что в архиерейской типографии печатается явно погромная литература. По распоряжению властей в типографии произведен обыск — и не подтвердилось. На время обыска к митрополиту была представлена стража...

Революционное изменение текста богослужебных книг...

Рижский СРСД постановил, что возвращение высланных из Прибалтийского края баронов и пасторов недопустимо ввиду их реакционности.

...Жалкая кучка приверженцев старой власти из своего мрачного подполья распустила провокаторский слух, что товарищи рабочие начинают отходить от нашего обогрённого кровью пути, который привёл нас к желанной свободе. Нет, товарищи солдаты, это наглая ложь; рабочие готовы работать круглые сутки и умереть на своих местах...

Испугавшиеся за свою землю помещики, оберегающие свои барыши капиталисты хотят натравить солдат на рабочих, будто те не хотят работать на оборону... Ведётся систематическая травля петроградских рабочих, что они, якобы пренебрегая интересами обороны, расстраивают работу на заводах. И в некоторых резолюциях воинских частей уже слышатся угрозы. Но после революции рабочие стали работать ещё дружнее, и несомненно армия будет получать всё нужное.

...Мы, солдаты, знаем, что раз взошло солнце свободы, оно и наши оставленные семьи согреет. И мы просим вас, дорогие товарищи рабочие, не ставьте вопрос ребром о немедленном улучшении вашей жизни, не прекращайте работ на оборону, не бойкотируйте самих себя.

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ. Раньше никакому трезвому человеку не могла прийти в голову мысль, что царизм в состоянии реализовать всеобщую трудовую повинность. Теперь всё чаще раздаются голоса в пользу положительного разрешения... Есть обширные социальные группы, которые ничего не производят, у них достаточно средств для праздной жизни. Для них применение трудовой повинности безусловно необходимо, и чем скорее — тем лучше.

(«Известия СРСД»)

...Вот, мы были в числе первых, заслонивших Петроград от царских карателей, а теперь просимся на фронт! Яркому солнцу народной свободы грозит с запада большая чёрная туча. Если германские полчища ринутся на Петроград — что же будет тогда? Товарищи рабочие — к станкам! Не оставьте нас без пушек и снарядов, как старый режим.

...благороднее проливать кровь во имя свободы на баррикадах улиц Берлина, чем бесцельно уничтожать наших братьев-соседей... Мы верим, что человеческая совесть в конце концов заглушит ураганный рёв пушек.

Товарищи пулемётчики Великой Русской Революционной Армии! Мы, пулемётчики 1-го пулемётного полка, поднявшие красное знамя свободы, шлём вам братский привет в сырые окопы. Ждите нас. В тяжёлую минуту для защиты дорогой нам свободы мы будем возле вас, и пусть грозный звук русского пулемёта заставит врага принять наше честное предложение: мир без порабощения народов. Пулемётная лента, связавшая солдат-революционеров 1-го пулемётного полка в дни революции, отныне свяжет всех нас... а пулемёт, выбивающий звук свободы, будет работать без задержек на страх всем, кто против нас.

*Председатель полкового комитета Горнштейн
Секретарь Карпов*

Рабочая гвардия... Неясно: будет ли она длительной или только оплотом революции до Учредительного Собрания? Если даже это более узкая задача, то не поставит ли она пролетариат в изолированное положение от остальных революционно настроенных слоёв? Пусть пригласают себе инструкторов-солдат, а на парадах чередовать отряды рабочей гвардии, поменьше размерами, с солдатами — чтобы не раздражать солдат.

...Из каких слоёв ещё пойдут в эту рабочую гвардию? Из наиболее демократических — приказчики, конторщики, угнетённые служащие и демократическая молодёжь... А мелкая буржуазия не пойдёт. А с солдатами будем, конечно, дружить.

(«Известия СРСД»)

Для принудительных мер против народа новая власть не нашла бы исполнителей, попытка применения их была бы самоубийственна для Временного правительства и для самого дела свободы. А между тем хлеб нужно извлечь из крестьянских тайников и запасов во что бы то ни стало — в интересах той же свободы. Хлебный вопрос можно решить... на основе четырёхчленной формулы избирательного права...

Будничные задачи кооперации, превалировавшие в годы реакции, не потушили в кооператорах огня партийных идеалов. Мы, социалисты-революционеры, можем быть довольны их съездом.

...Какое право имеет Временное правительство расходовать народные деньги на пенсии старым министрам, которые защитили самодержавие от народа? А бывшие политические, пострадавшие кровью сердца и соком нервов, считаются достойными поддержки только из добровольных пожертвований?

ПРИВЕТСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОСВОБОЖДЁННЫМ. Товарищи страдальцы!.. Просим вас вашими созрелыми идеями ковать скорее благополучие угнетённых народов свободной страны!..

ДО КАКИХ ПОР?!.. По поводу ареста в Галифаксе (Канада) группы Троцкого — Чудновского ИК СРСД направил телеграмму английскому правительству: «Революционная демократия России с нетерпением созывает под свои знамена тех, кто усилиями своей жизни подготовил низвержение царизма. Между тем английские власти задерживают эмигрантов в зависимости от их убеждений... Наносят оскорбление русской революции, отнимая у неё верных сынов...»

...Сколько их, годами борьбы и страданий купивших себе право на признательность свободной России, но доселе вкушающих горький хлеб изгнания!..

Цюрих. По сообщению русской миссии, Ленин и его товарищи не обращались в миссию за визированием паспортов. Итак не следует, что они были вынуждены отправляться через Германию.

...Анархо-кшесинцы, зарвавшиеся безумцы! Не забывайте, что имена Плеханова, Дейча и Засулич находятся в истории международного социализма, а имена лиц, определяющих линию «Правды», — в списке провокаторов департамента полиции. Революционную линию большевизма в 1914 году определял Малиновский. Друзья Малиновского цепко держались за него уже после того, как он сложил депутатские полномочия, и сознательно отпустили его без объяснений... Сегодня из дворца Кшесинской проповедуют анархию в хозяйственной жизни, дезорганизацию в войсках и уничтожение созданной революцией государственной власти. И ещё смеют называть группу «Единство» погромщиками... Но борьба для нас может быть только словом.

(«Единство»)

...требуют, чтобы руководители партий перестали прятаться за анонимными подписями «ЦК»...

Письмо в редакцию. Товарищи социал-демократы меньшевики! Слухи о том, что социал-демократы большевики шли громить американское посольство, есть вымысел провокаторов. Слухи, будто большевики производят какие-то аресты у дворца Кшесинской, есть тоже вымысел. Это злостная клевета, будто большевики стоят за сепаратный мир с Германией.

...Совет рабочих депутатов — главный штаб революции, а Временное правительство — только ставленник её... Знайте, товарищи, что наш запасной полк и в будущем поддержит вас всегда в вашем стремлении усиленно контролировать Временное правительство. Это не двоевластие, о котором с пеной у рта кричит буржуазия и пресса, а разумный отрезвляющий голос трудящихся масс...

Митинг военных писарей Петрограда... Считая единственным выразителем интересов трудящихся масс СРСД, мы поддерживаем его всеми силами, а Временное правительство — постольку, поскольку оно выполняет волю СРСД.

Мы смеем напомнить неизвестному автору, что пора прекратить игру на чёрную и красную, ибо теперь национальная гвардия вся красная, и ставим ему на вид. Что мы, солдаты, природные политики и тонко разбираемся, и сумеем заставить буржуазный клан замолчать.

...через могилу самодержавия далёкий Юг в нашем лице протягивает руки братскому Северу. Во всём нашем крае ведётся самая широкая пропаганда контрреволюции. Обилие вина в Бессарабии облегчает работу черносотенцев. Губернский комиссар Мими отдал распоряжение игнорировать действия ИК СРСД... Всё изложенное не есть исчерпывающий материал, а только отдельные штрихи.

СРСД, г. Бендеры

13 апреля в казармах гв.-Московского батальона разнеслась весть: «Товарищи! Освобождают фараонов и министров-генералов из Крестов, и наш караул уже весь там перебит». Через 10—15 минут наши первые команды автомобилями и трамваями явились к Крестам, а затем и весь батальон стройными рядами. Мы оказались обмануты. Но ничего, мы с этим не будем считаться. Но пусть ещё кто попробует пустить такой пробный шар, то я уверен, что он расширится о гигантскую силу свободных сынов. Мужайтесь, свободные защитники новой России.

гв.-московец рядовой Половинкин

В Москве в последнее время уличные митинги приняли характер контрреволюционного движения. Решено командировать на все митинги членов СРД.

Группа граждан Москвы возбудила ходатайство с сношением безобразного памятника Александру III у храма Христа Спасителя.

...Среди московского духовенства поднят вопрос о возбуждении ходатайства перед властями об аресте священника Восторгова.

Одесса. Присоединение ген.-губернатора Эбелова к лозунгу «демократическая республика» вызвало всеобщий энтузиазм.

В окружной станице Каменской 10 апреля толпой чернорабочих арестован и отправлен в тюрьму генерал Makeев. Посаженный по требованию толпы в общую камеру с уголовными, он подвергся насилию. Затем шум толпы снаружи вселил арестантам мысль, что их пришли освобождать, — и они стали бить стёкла.

Казакки ждуд знаний.

Воззвание Исп. К-та ССД Невельского гарнизона... Кто задумывает самовольно отлучаться без разрешения комитета — тот изменник... Кто продаёт казённые вещи — тот враг народному благосостоянию... Кто позволяет себе пьянство, брань и неприличное поведение на улице — тот недостойн имени солдата-гражданина.

...«приветствуем Чхеидзе как вождя российского пролетариата и дорогого товарища бойца за народное право Керенского... Никакой формы правления не желаем и не хотим, кроме как демократическую республику»... Волюстной сход... (Тверская губ.)

...Из Бетовской волости Козельского уезда нам пишут: есть много любителей изображать собою начальство и арестовывать друг друга с большим легкомыслием. Есть и дезертиры с фронта. По волости собираются сведения, сколько у кого коров. Предполагается реквизируют их, оставляя одну корову на 5 человек семьи. Хлеб исчезает из обращения. Старые крестьяне наивно обращаются за советом: «Надо нам быть довольными новым порядком, аль нет?» И когда ответишь: «Конечно надо», — уходят облегчённые.

Из Оршанского и Горецкого уездов Моршанской губ. сообщают, что там ещё остались тёмные силы в лице бывших волостных старшин, писарей и священников, настроенных реакционно...

Розыски афериста под именем ротмистра Сосновского до сих пор не дали результатов. Его помощник по охране министерства путей сообщения Рогальский причастен к убийству артистки Сезах-Кулери, и рассылал по линиям министерства телеграммы своим сообщникам.

Товарищи милиционеры! Только объединившись в профессиональный союз, мы сможем обеспечить себя от проникновения в наши ряды нежелательных элементов. Только таким союзом мы сможем поддержать свой авторитет перед населением...

...Собрание союза необученных рабочих... Союза аптечных делегатов... Союза рабочих прачечных заведений.

Мы, служащие трактирного промысла — официанты, горничные, номерные, коридорные, мальчики, судомойки, швейцары, должны организовать около нашего союза и общими усилиями сбросить крепостной гнёт...

Социалистический кружок глухонемых...

На днях — созыв Учредительного Собрания раненых и больных воинов петроградских лазаретов.

...апреля у меня вынули записную книжку с удостоверением, что я был политический ссыльный...

ПРОШУ ВОРА, похитившего у меня чемодан с вещами, вернуть копию свидетельства о ранении, метрические выписки детей. Я рассчитываю, что у него сохранилось достаточно совести, чтобы не подвергать офицера, потерявшего руку на войне...

...Религия, цивилизация, прогресс — зовут людей в траншеи. Только социализм всё величественней пробуждает совесть. Это он, социализм, несёт утешение матерям. Он поднимает из могил поверженный оклеветанный идеал. Будит выстрелами страну, задышающую от рабства. Несёт конец всем войнам...

...Отныне дело мира между народами рабочие берут в свои честные и мозолистые руки. Мы не распылены по частным интересам, но кровной нуждой движемся к единому пункту.

ПОД ЗНАКОМ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ... Русская деревня и сейчас широко пользуется началами коллективизма... Коллективизация, то есть обмирщение крестьянского хозяйства: коллективно убираются поля, в руки коллективов передаются с/х машины, посев, осенние вспашки — по возможности коллективно... Демократически организованная армия тру-

да, армия созидания и творчества... Может быть — города-сады?.. Под знаком коллективизации должна протекать эпоха...

(В. Чернов, «Дело народа»)

Рассуждают как бабы: «Новое правительство, а хлеба нет, и очереди ещё больше». Нельзя же в короткий срок исправить все язвы трёхсотлетнего хозяйничанья Романовых. Чтобы заставить прикусить языки не в меру разболтавшихся прихвостней буржуазии...
(«Дело народа»)

Закон о хлебной монополии нельзя понимать как насильственное отобрание хлеба: закон предлагает хозяевам *свободно* поставить избыточный хлеб государству. А если они не поймут этой государственной необходимости и свободной поставки не последует — тогда реквизиция наступит как санкция. Мы живём в период решительных мер.

В заседании Солдатской секции Петроградского СРСД Пасукевич сделал внеочередное заявление, что матросы г. Кронштадта прислали в Петроград выборных, которые срывают с офицеров погоны. Представитель Кронштадта дал разъяснение, что такого постановления кронштадтского гарнизона не было, и необходимо проверить, кто эти лица, имеют ли документы и полномочия.

МИЛЮКОВ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ... Господин Милюков думает управлять великой пробудившейся страной при помощи завоевательной политики. Он предпочтёт упереться лбом в стену и с упорством надоедать своими захватными планами, пустыми и нелепыми. Он не ощущает веянья обновления, охватившего нашу жизнь. И авгиевы конюшни министерства и. д. остаются не затронутыми чисткой. Но рабочий класс — не осёл, и жалкой комедии, которую с ним играет г-н Милюков, не потерпит. Мы за Временное правительство и против г-на Милюкова.

...Мы посылали за рубеж почти исключительно архаических дипломатов школы Меттерниха и требовали в обмен даже от передовых дипломатических наций таких послов, которые по своему византийскому низкопоклонству могли бы удовлетворить вкусам разлагавшегося самодержавия. Нужна основательная чистка.

(«Дело народа»)

...Никогда за всё своё существование Англия не вела войны за моральные и идеальные интересы, а всегда с практическими целями: уничтожить сильного противника, завоевать земли. И даже когда её лозунг был «за свободу» — то за свободу торговли невольниками.

(«День»)

...общее собрание 2-го парка... Требовать от министра иностранных дел Милюкова отказа от самоличных выступлений как в печати, так и в беседах с журналистами на темы завоевательной политики...

«Заём Свободы — заём революции». Революционная демократия теперь такая большая сила. Если заём надо поддержать — так решительно, если против — так надо иметь мужество сказать. Неподдержка займа трудовыми массами — удар по власти и подрывает также её международную позицию. Заём — политический экзамен свободной России.

(«День»)

Нижний Новгород, 17 апр. — На собрании евреев в течение получаса собрано подписки на заём полмиллиона.

...опасность анархии производства... Печальные факты омрачают великий праздник народного самоосвобождения...

(«Рабочая газета»)

...под шум дряг и распрей солдат и рабочих поднимает голову гидра контрреволюции и начнёт расправлять свои крылья. Обсудив положение переживаемого момента, осуждаем клевету буржуазной печати...

...если требование наше — прекратить натравливание солдат на рабочих, не будет исполнено, то мы не ручаемся, что не может произойти взрыв мести против буржуазной прессы...

(из резолюции Финляндского запасного батальона)

...Это не травля, недовольство рабочими испытывают и многие.

(«Единство»)

Призывы к борьбе с несуществующей «буржуазной реакцией» — пагубная тенденция форсировать события. Понятная у «Правды», она непонятна со стороны «Известий СРСД»...

...нарекания, которые сыплются со страниц буржуазной и другой лубочной прессы на рабочих и защитницу рабочих интересов «Правду»...

Наша «травля» не упрощает физической безопасности Ленина. Наоборот, мы защищаем его полную свободу слова в надежде, что его политическое безумие наконец станет очевидным для всех.

(«Египтово»)

...Но и борьба словом не ведётся. «Известия» закрывают глаза на кампанию коммунистов против Совета.

...Конечно, крики солдат-инвалидов «Долой Ленина» и требование изгнать его — явление тёмное и печальное. Но надо «Правде» считаться, что тёмная стихия может обочиваться и против, и не возбуждать её.

(«Рабочая газета»)

Со вступлением в редакцию «Правды» Ленина мы имеем теперь орган, открыто и определённо защищающий идеи гражданской войны, то есть войны против русской революции. В этом смысле «Правда» — первый партийный орган контрреволюции. А контрреволюция слева — опасней, чем контрреволюция справа: давно уже в России так повелось, что левые насюки пользуются большим успехом, чем правые. Но мы не думаем, чтобы ленинизму удалось изменить течение русской революции, изумительное по своей интеллектуальной сознательности. У этих анархистских поджигателей руки коротки. За ними останется слава неудачливых геростратиков.

(«День»)

...На митингах в Петрограде, на заводских собраниях говорят речи даже не анархические, а которые нельзя назвать иначе, чем политическое хулиганство. Имена этих тёмных личностей должны публиковаться.

(«Рабочая газета»)

Провокаторские листки. По Петрограду распространяются кем-то два листка, отпечатанные на mimeографе. Один подписан «Сознательные члены СРСД» и натравливает солдат на членов ИК. В другом за подписью «Тайная группа из СРСД» — против рабочих. Мы не станем передавать гнусное черносотенное содержание этих листков. Если при полной свободе слова они прибегают к рассылке анонимных листков, то ясно, что они не смеют выступить открыто со своей гнусной проповедью... Мы объявляем их гнусными провокаторами. Очевидно, это бывшие жандармы и охранники, а может быть отставные сановники. Мы призываем товарищей солдат не верить. Все сведения, распространяемые помимо ИК и «Известий СРСД», являются просто провокаторскими листками.

(«Известия СРСД»)

...Во имя свободы слова требовать искоренения анонимных воззваний...

...Мы примем все меры, чтобы парализовать деятельность контрреволюционных групп, наводняющих Петроград и окрестности газетными статьями и листками от имени партии народной свободы, союза армии и родины, союза республиканских солдат. Заявляем, что весь лужский гарнизон не сойдёт с платформы СРСД.

По поручению собрания секретарь ефрейтор Лейберг

Двуличный митрополит Владимир... Вызвал недоумение прогрессивного киевского духовенства: отказался признать полномочность «Исполнительного Комитета от духовенства и мирян», обозвав его самозванным органом. Потом, под давлением, вынужден был согласиться. Теперь, переехав в Петроград, основал штаб-квартиру контрреволюционной агитации и ежедневно сносится со своим заместителем в Киеве еп. Никодимом, известным черносотенцем, председателем погромного Свято-Владимирского братства.

Мы, рабочие петроградского Металлического завода, в количестве 7000 человек присоединяемся к резолюции... немедленно заключить в Петропавловскую крепость бывшего царя Николая Романова с женою и всеми приспешниками...

Открылся с позволения сказать солдатский клуб Петропавловской крепости. Деньги на него дала Ассоциация Христианских молодых людей, известная своей противосоциальной деятельностью в Западной Европе, а теперь намерена произносить реакционные проповеди в твердыне петроградского гарнизона.

Резолюция. Мы, рабочие завода «Старый Парвайнен», на общем собрании 13 апреля в количестве 2500 чел. постановили: 1) Требовать смещения Временного правительства, служащего только тормозом революционного дела, и передать власть в руки СРСД; 2) СРСД, опирающийся на революционный пролетариат, должен положить конец этой войне, принесшей выгоды только капиталистам и помещикам; 3) Потребовать от Временного правительства немедленного опубликования тайных военных договоров, заключённых старым правительством с союзниками; 4) Организовать Красную Гвардию и вооружить весь народ; 5) Протест против займа Свободы, на деле служащего закабалению Свободы; 6) Реквизировать типографии всех буржуазных газет, ведущих травлю против СРСД, и предоставить их в пользование рабочих газет; 7) Впредь до отобрания типографии бойкотировать нижеследующие (перечень 13 газет)... 9) Реквизировать все продукты продовольствия для широких масс; 10) Произвести немедленный захват помещичьих, удельных, кабинетских, монастырских земель...

(«Известия СРСД»)

Из резолюции 1-го пулемётного полка... Учредительное Собрание должно быть созвано не после победы над Германией, которая совсем нам не нужна, а в кратчайший срок...

Резолюция 1-й радиотелеграфной роты. 1) Бойкотировать буржуазные газеты; 2) Потребовать от союзных правительств отказа от завоевательных целей; 3) Признаём СРСД как единственный представительный орган, а Временное правительство признаём до тех пор, пока оно идёт об руку с СРСД.

Р. С. Ввиду того что некоторые солдаты роты говорят о неправомерности собрания, считаю нужным заявить, что было собрано в субботу, но за отсутствием достаточного количества солдат постановлено собрать в воскресенье, и правомерность второго собрания не зависит от числа присутствующих.

(«Известия СРСД»)

...Даже под самым Петроградом и в уездах псковских и новгородских до сих пор царит полное непонимание того, что произошло.

Нашу революцию слишком рано назвали «великой». С продовольствием, ценами, финансами плохо, а вместо объединения видим, что все тянут в свою сторону: народности, классы, профессии — все спешат заявить о своих частных интересах.

(«День»)

Интересы свободы даже выше классовых. Есть поворотные моменты истории, когда классовые интересы должны быть подчинены общему делу.

Неужели всем сановникам, которых увольняют, назначают пенсии? Пора бы, кажется, Временному правительству понять, что народные деньги должны расходоваться на нужды народа, а не на нужды его врагов.

*Сборная команда солдат-писарей и зауряд военных чиновников
Главного военно-судного управления*

...Мы, группа солдат из 2-й батареи, узнав из газеты о проекте Временного правительства назначить бывшим министрам годовую пенсию в размере «не свыше 7 тыс. рублей», очень возмущены. Преступники, которые продавали Россию и нас, бедных солдат, получают по 7 тысяч, а мы только 75 копеек...

...против выдачи народных денег бывшим прислужникам преступного самодержавия и ненужным в данный момент вековым угнетателям...

...и такой педагогический зубр, слизняк царизма, и такая начальница гимназии до сих пор не ликвидированы...

На днях состоялось собрание петроградских домовладельцев. Произнесенные речи отличались таким оголётанным мародёрским характером, что даже буржуазная пресса стыдилась. Чем люди себя откровеннее держат, тем лучше, знаешь, с кем имеешь дело. Ими решено обратиться к правительству с ходатайством об издании благоприятного для господ крокодилов закона... Необходимо создать домовые комитеты, которые будут следить за домовладельцами и при необходимости привлекать их к уголовному суду...

...не допускать никакого протеза при поступлении в милиционеры. Протезе могло существовать только при старом правительстве.

Резолюция Общества Торговли Аптекарскими Товарами. ...Решительно протестуем против тех газет и лиц, которые под видом патриотизма занимаются натравливанием солдат на рабочих. Считаем их врагами Великой Русской Революции, врагами Свободы. Обратиться ко всем Рабочим Аптекарского Дела с призывом сплотиться вокруг СРСД.

Собрание фельдшеров орловского гарнизона считает необходимым скорейшую отмену принудительного телесного осмотра солдат как не соответствующего правам свободного гражданина. И существование сестёр в военных госпиталях нежелательным.

Москва. Комиссариат 2-й Тверской части получил сообщение, что за последнее время обществом «За Россию» устраиваются многолюдные собрания представителей тёмной Москвы.

Нижний Новгород. Крайняя медлительность епархиальной власти в рассмотрении ходатайств прихожан о смещении неугодных пастырей и частые случаи отказа в этих просьбах раздражают население и вынуждают его прибегать к самочинному решению.

Житомир. Ввиду разлившейся погромной агитации в чайных попечительства о народной трезвости — комитет постановил изъять попечительство из рук прежних деятелей.

Одесса. Вольноопределяющиеся евреи с глубоким удовлетворением встретили весть о привлечении их в кадры офицерства и приветствуют Временное правительство.

Кишинёв. На бессарабских ж-д линиях наблюдается массовое движение дезертиров, в патриотическом порыве возвращающихся в Действующую армию.

Самара. В губернской тюрьме уголовные с глубоким вниманием прослушали лекцию присяжного поверенного и приняли бурными аплодисментами резолюцию с негодованием и порицанием заключённым одесской тюрьмы, учинившим беспорядки.

В селе Медведь Новгородской губ. солдаты маршевых рот разрушили памятник Николаю I, возмущившись надписью: «Нашему высокому покровителю».

Симбирск. В Корсуни толпой разрушен памятник Александру II, недавно сооружённый на средства крестьян.

Якутск. Решено собирать деньги на памятник Чернышевскому.

...с теми беглецами, кто не явится в полк в указанный срок, будут поступать, как с изменниками Родине. Военный комитет Кустанайского гарнизона просит все комитеты и организации в России задерживать его дезертиров.

...В Мелитопольском уезде солдатки решили не принимать дезертиров.

...апреля у меня похищен бумажник...

Найдены Георгиевские кресты: 2-й степени... 4-й степени...

Товарища солдата убедительно просят вернуть велосипед, взятый им у дверей Таврического дворца, ведущих в Военную комиссию...

Товарищ Н. Ленин просит нас сообщить, что на митинг Гренадерского полка его никто не приглашал, что он о митинге ничего не знал, что он очень удивлён, что его имя без предварительного извещения было внесено в список ораторов. В это время т. Ленин выступал на митинге броневого дивизиона в Михайловском манеже.

(«Известия СРСД», 16 апр.)

ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ. Вот уже несколько дней по всему Петрограду идут слухи... Какие-то тёмные личности расхаживают по улицам, рынкам, баням, лавкам, собирают толпы и всюду и везде возбуждают легковерных людей арестовать тов. Ленина, бить его, громить газету «Правда» и прочее и прочее. Нужно ли говорить, что вся эта погромная агитация ведётся с преступной целью... Эти гады старого порядка, прихвостни чёрной сотни, шептали всем и каждому: вот хлеба нет — и будет ещё хуже! рабочие не работают — и нас побьёт немец. И всё оказалось гнусной клеветой. Чёрная сотня начала искать нового случая. Приехал Ленин, занявший крайнюю позицию, — и вместо того чтобы спокойно обсудить вопрос, сейчас же стали распространять чёрные слухи, умышленно искажая его мысли и взгляды. Для чего это им нужно? Да для того, что междусособица — самое выгодное дело для них. Подвернулся Ленин — великолепно! Травля т. Ленина, бесчестная и отвратительная, нужна этим тёмным силам, чтобы начать травлю против социалистов вообще, а потом против СРСД, а там авось удастся всё повернуть по-старому. Можно соглашаться или не соглашаться со взглядами Ленина, самым решительным образом спорить с ними, но разве можно у нас, в свободной стране, допускать мысль, что вместо открытого спора будет применено насилие к человеку, всю жизнь отдавшему на служение рабочему классу, на служение всем угнетённым и обездоленным?.. Вот почему, товарищи рабочие и солдаты, надо решительно и смело прекратить эту бесчестную травлю.

(«Известия СРСД», 17 апр.)

Исполнительная Комиссия Петроградского Совета солдатских депутатов заслушала сообщения о контрреволюционной пропаганде Ленина и его единомышленников. Считать её не менее вредной, чем контрреволюционная пропаганда справа. Признавая в то же время невозможным принимать репрессивные меры против пропаганды, пока она остаётся лишь пропагандой, — Исп. Комиссия признаёт крайне необходимым противопоставить ей нашу пропаганду. А всякому контрреволюционному действию — в любой момент наше действие.

Бойкотируйте буржуазную прессу! Мы, солдаты Измайловского полка, обсудив вопрос о бессовестной травле буржуазной печатью вождя и ветерана Совета рабочих депутатов т. Ленина и защитницы наших пролетарских и крестьянских интересов «Правды», самым энергичным образом постановили: всю буржуазную печать бойкотировать, а товарищам печатникам предлагаем не печатать их.

К сему следует 9 подписей.

17 апреля. Исполнительный Комитет солдатских депутатов 12-й Армии заявляет, что он никого не уполномочивал проверять охрану царя и требовать перевода царского семейства в Петропавловскую крепость. Выступившие от имени 12-й Армии являются самозванцами.

ПЕРВОЕ МАЯ. Увы, мировой социализм не сумел героически встать поперёк дороги натыщевой военной колесницы. И во время войны он не чувствовал 1 мая. Но вот землетрясение революции обрушило здание азиатско-византийского деспотизма. И вот, как красное знамя сделалось национальным знаменем России, так 1 мая становится национальным праздником

её. Мы верим, что не умерла революционная совесть у пролетариев Средней Европы. Мы — на распутье мировых дорог.

На сохе я развешу кумач,
Красноту загоревшихся дней.
— Эй, дорогу, дорогу, богач,
Дай дорогу клячёнке моей.

П. Орешин

Земной и небесный владыки рода человеческого, оба жестокие, деспотичные, требовали рабского повиновения и слепой веры. И в праздниках, приуроченных к мукам и страданиям искупителя рода человеческого, не было бодрой радости и ликования. Но вот родился праздник братства всех трудящихся — 1 мая!

Царская власть и православное духовенство старательно охраняли старый стиль, видя в нём символ оторванности России от Европы и европейской мысли. Но пала плотина, отделявшая русских рабочих от европейских, — и 18 апреля мы восстанавливаем международный праздник 1 мая по новому стилю. Капиталисты всего мира уже облегчённо вздохнули, надеясь, что рабочие на время войны отказались от празднования 1 мая. А вот...

Среди гула воюющей Европы празднование 1 мая превращается в действенную силу. Трудящиеся всех стран через леса штыков братски протягивают друг другу руки. И уже приходят вести, что на отдельных участках фронта солдаты враждующих сторон бросают на землю оружие и стремятся приступить к мирным переговорам. Война будет прекращена самой трудовой демократией.

Противники пролетариата могли бы указать на необходимость непрерывной работы и в день 1 мая, и что не время для праздников. Но в этот день пролетариат куёт оружие для завоевания царства социализма. А весь заработок рабочего воскресенья пролетариат отдаёт на нужды революции.

В день 1 мая пролетарский праздник должен быть и на фронте, окопы должны быть убраны красными знамёнами...

...Производительница хлеба,
Разбей оковы прежних меж
И нас, детей святого неба,
Простором вольности утешь.
В поту идущего за плугом
Спаси от долга и от клятв
И озари его досугом
За торжествами братских жатв.

Ф. Сологуб

ДА ВОСКРЕСНЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

31

Ещё снаружи рык раздался:

— Цыж! А собери-ка поснидаться!

И вот он, вкатился в землянку — кажется, ещё шире в плечах, да и ростом будто повышел, землянка ему мельче стала:

— Сань-ка!! Га-га-га-га!!

Стукнул ли тушей железной в грудь или обнял — фуражкой по столу хлоп! — и сам на чурбачный стул плюх! —

— Всё! Отзаседались.

Саня рад, соскучился:

— Да сколько ж вы заседали?

— А вот не поверишь — девять дней! В пятницу начали, а в субботу кончили — девять. Ну разбалакались, ну разбалакались, во мастера языком болтать, и что мы раньше их тут не видели? Да они бы все зараз взялись — Вильгельма бы заплевали.

Ездил Чернега в Минск на съезд военных делегатов Западного фронта.

— А из Питера приехали социалисты из Совета, четверо, двое русских, а два грузина — так эти по три раза выступали, и хлопают же им, идиоты. Тут слух пронёсся, что и Керенский приехал, — так троих из Совета понесли на стульях наружу встречать — а его и сле-

да нет, не приехал. Распотешились. Ну, целовались там, на сцене: полковник с грузином, унтер с полковником. Этому Чхеидзу пятнадцать минут хлопали, а он и лыка не вяжет, половины не разберёшь, чего говорит. На трибуне рукава засучил и показывает, как они Временному правительству морду бьют, — ну и в зале рёв.

— Морду бьют?

— Ну, или за узды держат.

— Да неужели уж, Терентий?

— Да наверно так и есть. Иначе б не осмелели.

— А ты — не выступал?

— Выступал, а как же! В первый день — выступал. Там до драки дошло. Председателя съезда выбирали. Мы все — за Сорокалетова, артиллериста, он на сцене в полной амуниции, и видно, что вояка, — я, мол, ещё вчера сидел на наблюдательной вышке и зорко следил за врагом, а сегодня явился исполнить гражданский долг. А нам суют — яврея какого-то, Позерна, шинелку напялил, от минского де совета, присяжный поверенный. Почему мы сами собой не командуем, фронтовики? — обида уступать. Вот по этой картонке записываешься, — достал из кармана твёрдую картонную карточку табачного цвета, № 220, — со сцены вызывают уже не Чернега, а слово 220-му! Как мы ни бились, как ни горланили, и много нас больше, — и в чём их сила, скажи, кто-то где-то ещё до съезда решил, что Позерн, — и будет Позерн, и всё, а Сорокалетова — ладно, в заместители. Вот так, Санька, я на этом выплеснулся, и думаю: не-е-е, тут надо поприглядаться, тут карты под столом передают. Я думал — я на язык боек, — а тут такие — ну-у-у. Вишь ты, на правительство локти засучил, и всё у них заранее решено — так ещё докумекать надо, зачем же они нас-то собирали.

— И на девять дней? Да ты расскажи по порядку, где ж это услышать? — Сане интересно, сел тоже к столу.

Дохнул Чернега кузнечным мехом. Подумал:

— Э-этого, брат, не рассказать. Там ни концов, ни начал, одна свистопляска. Такого я в жизни не видел, только на конных базарах.

Встал, шинель стянул, метнул её на свою койку вверх, а сам опять сел.

— Делегатов нас — полторы тысячи, разместили даже по госпиталям. Ну что, ходили на вокзал Раззянку встречать. Раззянка он, иначе я его не зову, он раззявился, а всё дело мимо его плывёт. Караул, оркестр и эта марсельеза, кто её знает, а мы только голос подаём — и повалили по улицам, тут и генерал Гурко, и рядом с ним же Позерн. Раззянку перед тятром стал речь держать. мол, примите от меня поклон всей русской земли, с невыразимым волнением, возврата к старому нет, великая свобода, — а тут дождь пошёл. Мы, депутаты, конечно, попёрли в тятр, а толпа на площади его ещё полчаса слушала, и с ним которого-то, Родичева. Потом они это же самое и внутри повторяли — что старое правительство привело на край гибели, а теперь отечество в опасности. надо сшибать божьих помазанников — Вильгельма, Карла, Фердинанда, султана, многим из вас не придётся увидеть новой счастливой жизни но счастье за неё умереть. Поди ты и умри. И потом всё воскресенье в празднике прошло: дождя не было, все на Соборную площадь. И отдельно евреи ходят своё поют, и отдельно малороссы. И опять же все держали речи — и скажи, ну что такое за песня «марсельеза», ну к ляду она нам, и куда ей до наших песен хоть «Распрягайте хлопцы, коней», а двадцать раз её пропевали, и всем залом тоже пели, хоть мычи. Да что! один раз почали кресты-медали отдавать Совету рабочих депутатов! Пошли сборщики по рядам, с фуражками.

Но чернегин крест и две медали — тут, на колёсно выкаченной груди. Придержал рукой:

— Я — не в тех дурوماзах, не.

Ну, и Саня бы тоже не отдал, какое-то полоумие.

— Полоумие и есть. Слышал бы ты, чего на офицеров несут: мол, нам приварка мало, а офицеры шлют продовольствие в тыл — ну, чего бредят? И даже — вообще упразднить звание офицера. И каждый четвёртый: офицеров — выбирать! Ну, три остальных ему: заткнись! И — генералов сократить, а солдатское жалование за тот счёт увеличить, — ну и на сколько ж душ хватит с одного генерала? Ну и Смирнова нашего, конечно, чистили, что он контрреволюционер, — а два года он нас вёл — не замечали. Кто упал — того и кусай. И чтобы так теперь офицеры вели, чтоб каждый солдат мог иметь полное доверие к каждому офицерскому распоряжению, ну!

Побывал Чернега и в унтерах, побывал и в офицерах — знает что почём.

— А завёл волынку — Скобелев, из питерского Совета: мол, во время революции офицеры попрятались под кровати. И — хлопали ему, дурачье. А офицеров в зале, на полторы тысячи — всего, может, человек тридцать. Вот тут я поломился второй раз выступать: мол, врётся, может, вы там сами в Питере попрятались, а мы — на боевых постах были! И что думаешь? Извинился Скобелев: сожалеет о впечатлении, отдаёт должное жертвенности офицеров.

Сидел Терентий приосаненный.

— Но, конечно, теперь, Санька, — комитет — старше офицера. Я вот в корпусном комитете — так уж старше нашего комбрига, точно. И ещё и с корпусным могу поспорить.

— А что Гурко? Выступал?

— Гурко — орёл. Плещут ему: наш Главнокомандующий! И — круто завернул: никаких выборных офицеров! в одном полку избрали командира, а через неделю просили корпусного, как бы своего избранца сменить. И ещё — как надо оборону понимать: это не значит застыть на позициях, обороняться можно только наступлением, только так можно вырвать победу из рук врага. Плескали. А ушёл — кинули вопрос: а вот дадут приказ наступать — откуда мы будем знать, что он одобряется демократией? Отвечал Церетели: если где подозревается измена делу революции, — то довести до сведения Совета рабочих депутатов, изменники будут заключены под стражу. А что получается? — значит, опять подозревай офицеров?

Саня посматривал на Терентия. С улыбкой:

— А ты сам в партию никакую не записался?

— Не, говорю ж тебе: присматриваюсь. Теперь время такое: надо хорошо оглядеться. Но в тятре перед главным залом ещё проходной зал — так там от каждой партии суют тебе книжечки: читай, мол, читай по-нашему. И чего там поненаписано: и как с землёй по России распорядиться, пять линий на выбор, никак земля — их главная заботушка. А о правительстве чего несли, ну! — нет у нас, Санька, правительства, это дым один, на него не располагай. Этот вот Позерн чего ни нёс: Совет был повивальной бабкой правительства, и будем на него давить, и будем ему руководить, и контролировать, и не допускать порядка-умиротворения, а ему из зала: разя наша цель — беспорядок? Один поручик вылез: правительство составлено из народных избранников, и Совет не имеет права давить, — а ему из зала в двести глоток: «имеет! имеет!» Фу-у-у, не, этого не перекажешь. А сколько ещё телеграмм поразослали — и Керенскому тому, и Плехану, и какой-то Брехо-Бреховской...

— Но всё ж — какой был порядок дня? повестка?

— Поряд-ядок? Порядка, Санюха, не спрашивай. Даже воды хорошей нет, из кранов в уборной мутную пили. Говорили, кто во что горазд, потом разбредались на такие секции и там горланили, потом опять же соединялись. Ты лучше спрашивай — чего постановили.

— А — постановили?

— Ой, много чего. И путёвого и непутёвого. Да главные резолюции у них готовые, они и не скрывают: мол, в Питере так приняли на совещании Советов, давайте и мы так примем. Ну а мы добавили, в чём были мы все заодно: немедленно пересвидетельствовать всех белобилетников! И всех призвать, кто где укрылся от военной службы! И немедленно отправить на передовые позиции всех уже призванных, и кадровых, и запасных, и ратников, и причисленных к ополчению.

— Да зачем же они тут все?

— А чтоб неповадно! — гулко хохотал Чернега. — И всех жандармов и полицейских — на фронт! И в ихнюю там новую милицию — военнообязанных не принимать, чтоб не прятались! И дезертирам, позорникам, ни дня больше отсрочки, а — на фронт! И в тылах всех денщиков и вестовых заменить увечными и престарелыми — а лбов на фронт! И с заводов, с рудников кто там приписался для виду — на фронт! И хорошо почистить эти земгоры, красные кресты, военно-промышленные комитеты, их там много сволочей попряталось, — на фронт! — торжествовал Чернега, скалил белые крупные ровные зубы без ушербинки. — Потом: у дела снабжения армии сменить всех несоответственных лиц — и всех под контроль наших комитетов! Учёт запасов, чтоб ни крохи мимо армейского рта!.. Пото-ом... Что ж ещё потом? — уже с меньшим жаром вспоминал Чернега. — Совсем неправильно постановили: уравнивать питание военнопленных с русскими солдатами — где ж это видано? разве немец наших так кормит? да с голоду морит. Потом — рабочих одобрили, что пусть им идёт 8 часов — только чтоб работали все четырнадцать. Пото-ом... Да чего там не впёрла эта шайка, как будто наше дело: чистить метлой духовенство, чистить инспекторов народных училищ, и библиотеки ихние чистить от реакционерских книг — и везде вставлять революционные.

Что ж ещё? — вроде бы морщил Чернега лоб, да гладкий лоб его в складки не собирался.

— Да! Все постановления наши — перевести на немецкий язык, и немцам кидать через проволоку. И — не последний это наш съезд, только первый, теперь будем ещё сокликать.

И Цыж уже шаркал, нёс всю снаряду на стол и парующий котелок.

— Ну, я тебе очень рад, — говорил Саня. — Ты теперь нас не жалуешь, ты всё по комитетам!

— И буду! — уже откусывал Чернега от ржаной краюхи, щёки ещё шире и ложка в руке. — Я теперь при корпусе, а как же. Комитет должен быть при месте и всё проверять, понял? А тут меня — из другой батареи пришлют, заменят, — ещё не прислали?

На круглых губах, на толстых щеках Чернеги было размазано полное удовольствие. Пожевал, проглотил, крикнул:

— Эх, Цыж, и борщига у тебя, ну! Где достанешь? Надо и тебя проверить.

И бегали весёлые глазки Чернеги, радуясь своей землянке.

— Да ты хоть переночуешь?

— Вот переночую, да. Завтра в штабе бригады ещё отмечусь — и айда в корпус.

Цыж вышел — и Чернега сказал серьёзно, черпая деревянной ложкой и придувая чуть:

— Сейчас, Саня, спать не пора. Сейчас время началось — ухо остро держать. Со всех сторон нашего брата объегают.

Схлебнул.

— Сейчас надо верно присматривать: где же главная бечёвка, где главный конец — вот за него и хвататься. А власть теперь — труха, читай, как они про хлеб воззывают, ластят, — негу у них силы, по всему видно.

И он ел, вкусно чавкая.

— Ну, а в батарее чего нового? Все на месте?

— На месте. Нет, Бару откомандировали в военное училище, в Петроград.

— Да, а отпуск твой как?

— На той неделе еду, — улыбнулся Саня.

Сколько ни повторяй слово «отпуск» — так и разливается по тебе теплом.

— В Саблю поедешь?

— Да нет. Как решил — в этот раз в Москву.

И Москва — ещё теплей почему-то ему отзывалась, предстояла, наступала.

— Подполковник вернулся, теперь и меня пускает. Да стрельбы-то никакой.

— Воротился? — кивнул Чернега, с простотой переходя от зубоскальства и прямо к поминкам. — Похоронил? И где ж это столько тело было? И как сохранилось?

— Сам не скажет, а спрашивать неудобно.

Лейтенанта Анатолия Бойе убили в Гельсингфорсе 4 марта. А схоронили в Питере только через месяц, в Страстную субботу.

ДОКУМЕНТЫ — 11

17 апреля

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИССАР СЫТЕНКО —
ПЕТРОГРАДСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ЯКОВЛЕВУ

Шлиссельбургский революционный уездный народный комитет доводит до сведения как Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов, так и Временного правительства, что с сегодняшнего дня, 17 апреля 1917 г., комитет считает территорию Шлиссельбургского уезда вполне автономной. Вся внутренняя жизнь Шлиссельбургского уезда устривается только гражданами этого уезда; все же внешние вопросы, относящиеся к интересам граждан этого уезда, но связанные с интересами граждан всей России, — разрешаются только лишь взаимным добровольным соглашением между всеми автономными единицами, входящими в состав территории всей России. Петроградский СРСД, а также Временное правительство ни в коем случае не должны предписывать каких бы то ни было декретов гражданам Шлиссельбургского уезда, не спросив на это согласия у самих граждан этого уезда.

32

Утекали весенние недели — и накатывала с юга на север золотистая, славная, а ныне и грозная сила — Посев! Посеву — некогда ждаты всех наших устроений, к нему надо быстро поворачиваться. А дальше-то выситя ещё самая страшная глыба — Земельная Реформа. И мы же, мы же и обещали крестьянам её всегда как первую — так теперь тоже руки не отвернёшь! А слухи о возможной конфискации земель — это гибель всех посевов.

Россия, до войны не знавшая, куда вывезти хлебные избытки, к счастью и сегодня сохраняла старые запасы даже и во всех потребительских губерниях, что смягчало днёвную остроту, — но глядя вперёд на месяцы, надо спешить вводить нормы потребления во всех крупных городах. Да даже и во всех мелких? Да даже и в сельской местности? (Да не обидно же для городских: чтоб сельские нормы не были выше.) Но не расширять же и на Сибирь, Туркестан, Закавказье? А — сахар? Кажется, не избежать теперь вводить и сахарную монополию? и чайную? и может быть, табачную? И карточки на мясо?

Хлебная монополия оказалась необозримо трудна организационно, Россия к ней совсем не готова. Объявить все хлебные запасы собственностью государства мало: надо их знать, а значит, прежде переписать. А значит — прежде чем закон войдёт в силу, надо сверху донизу создать контрольные органы. Естественно стать такими — продовольственным комитетам, губернским, уездным и волостным. Но сколько же членов должно быть даже в волостном продовольственном комитете, чтобы в короткий срок переписать в се зерновые запасы у всех, определить семенную и фуражную потребность каждого хозяина (и каждой лошади рабочей, и жеребёнка), и излишки — записать государству, и чтобы владельцы хранили, пока этот хлеб у них заберут. Перевешать хлеб в каждом амбаре? — этого и за 3 месяца не сделать. Поверить личным показаниям и проверять только в сом-

нительных случаях? Но будут ли крестьяне искренни в самом для них дорогом? Да на этот контроль не хватит всех культурных сил деревни. Да подсчитали: система продовольственных комитетов и продовольственных управ составит по России как бы не 180 тысяч человек, это новая громадная армия чиновников. И их же всех содержать за счёт казны. А сколько расходов ещё на заседания и суточные? всего — подсчитали — не 500 ли миллионов рублей? Да не обойтись собрать в мае и их всероссийский съезд? А в центральном продовольственном аппарате быстро нарастает своя бюрократия. А жизнь — идёт, и пока монополия ещё только готовится — а зерно уже повсюду исчезает из продажи. Каждая тут поддержка радовала Шингарёва, вот банки взялись помогать хлебной монополии, кредитовать продовольственные операции, вот поддержали «Биржевые ведомости». Но как же расстраивали его возражатели — а много их было. Кто резко: что весь проект — «безумие Шингарёва», нельзя было решаться с лёгким сердцем на такой малоизученный вопрос. (И не слышали оправданий Шингарёва, что не он же самолично это ввёл, это вышло в общественных организациях.) Кто въедливо: что при нашем раздробленном землевладении не осуществить монополии, или нескоро, ведь хлеб — самый разный у всех, и засоренный, каким коэффициентом это уравнивать? А хранить, сортировать запасы — где? Да как в недели заменить аппарат, сложившийся веками? Принудительная реквизиция не соберёт того, что умел выудить торговец: чиновник способен только угрожать. Да захочет ли население попасть в зависимость от продовольственных чиновников? А как заставить земледельца продать (и самому ещё привезти) — следующий хлеб, который не обмолочен? А как заставить сделать ещё следующий посев, если он видит, что невыгодно, отбирают? И пугали, что насильственные меры сейчас вряд ли осуществимы. Что будет сопротивление населения: нормы оставляемого владельцам хлеба и фуража — полуголодные. И ещё пугали: что объявляя хлебную монополию, правительство берётся и прокормить крестьянство в случае недорода. Оставляет только «до нового урожая» — но тогда при недороде дайте казённый паёк.

Ох, и правда. Кругом шла голова, и минутами — просто отчаяние. И незаметно стал Шингарёв послаблять, послаблять. Увеличил и норму, оставляемую крестьянину — как занятому тяжёлым трудом. (Социалисты — сразу в атаку: обездоленный городской потребитель! у него и мяса, и молока стало меньше, а в деревне больше!) И сам не оглянувшись, как стал беззвучно повышать твёрдые цены на отбираемый хлеб — вот уже и на треть выше риттиховских. И только одной, последней, уступки Риттиху Шингарёв ни за что сделать не мог: оплачивать доставку зерна на станцию: этим бы нарушалась теория ренты. Нет! Доставка — бесплатная. (А смотри — лошадей в деревне сильно поредело, так надо разрабатывать и нормы гужевых перевозок?)

Да одно цепляется за другое. В конце марта, объявляя монополию, там же опубликовали и правительственное обещание теперь же приступить к установлению твёрдых цен и на железо, ткани, керосин, кожу. Но одно дело — приступить, а другое — установить. Быстро убедился Шингарёв, что нет у него сил ломать ещё и сопротивление промышленников и банков. Нет, надо признать, что монополия будет неполна: государство берёт только готовый хлеб, но не касается, как его произвести.

Во всей этой огромной задаче горячее всего надеялся Шингарёв на кооператоров — и ему удалось собрать в Москве их съезд в конце марта, ещё до объявления монополии. И как же ловил он каждый звук поддержки! Кооперативный съезд не только проголосовал за закон, но и какие же слова довелось там слышать. Кооператор Зелгемей выразительно призывал: «Протяните руку Временному правительству! Переработайте саму психологию кооператоров — надо идти на жертвы. Чтобы деревня дала хлеба в кредит, не ожидая кож, металла и керосина! — под залог заверения, что правительство сделает всё, что в силах человеческих. Если свобода — не метеор, если мы — граждане, то так и будет. А если нет доверия слову — то пусть свершится неизбежное...» А один крестьянин Владимирской губернии произнёс так: «Да, мы просим правительство применить этот закон! Пока враг на русской земле... Скажите там, в Петрограде, что если не хватит наших молодых детей, то и наши старые руки ещё сильны на защиту России. Те из нас, кто отдал последних сынов — отдадут и последний фунт хлеба!» Да — эти же! да — эти же самые слова Шингарёв и предсказывал всегда! Он ухом слышал их за несколько лет вперёд — и вот они прозвучали! Шингарёв в президиуме еле умел скрыть слёзы. И отвечал съезду: «Теперь я спокоен: подставлены могучие плечи кооперации! Она ещё мала по сравнению с нашими огромными просторами, но через несколько лет мы сами изумимся, во что она выросла. Это старый прогневивший строй боялся всего. Ему, как убийце Макбету, чудились страшные видения...»

Произнесение речей — все эти недели была ещё отдельная непрерывная струя жизни. То и дело его зазывали куда-нибудь произносить речи, много по Петрограду, и два раза ездил в Москву, и всё на съезды. И обдумывать и сочинять те речи было совершенно некогда, а так, толчком, что выльется. С кооперативного съезда попал на концерт в Большой театр, неизбежная овация, и что-то же надо сказать, — «Дружно, строить новую Россию!.. Поклонимся перед павшими героями из серой русской рати». Оттуда — сразу на поезд, а в Петрограде с поезда — сразу на кадетский съезд, бурные овации, и уж где держать речь, как не тут: «Мы получили продовольственное дело в отчаянном виде. Институт твёрдых цен был разрушен прошлым министром, и разрушено им понятие о земельной ренте. Горькая и печальная мера — взять хлебные запасы в руки государства. Приходится получать немало протестов, они вносили смущение в нашу работу, но не изменили мнения». А дальше нельзя было не поехать на возобновление заседаний Вольно-экономического общества — и значит опять речь, а что говорить? «Старая власть душила все проявления общественности. На долю нашего поколения выпало редкое

счастье вернуться к культурной работе... Нам предстоит исправить бесчисленные безумства старой власти...» А там — опять надо ехать в Москву на съезды, под Клином из-за крупного крушения простояли 5 часов, опоздали, — но на пиროговский съезд успел к закрытию, к родным братьям-врачам, хранителям священного огня русской интеллигенции, — к ним самые возвышенные пламенные слова! «Пиროговские съезды были моими воспитателями. Первый раз я выступал у вас в Девятьсот Пятом. Прогнивший старый строй... Товарищи, скажите всем, чтобы бросали роскошь! Без хлеба погибнет свобода!» Громовая овация! — уж мы-то понимаем друг друга. И как ни поздно — везут на московское кадетское совещание, тут — трезво — однопартийцам: «Временное правительство — как кормчий, которому ещё не повинуется руль и ещё нет компаса. Поддерживайте нас!» — А на следующий день — на съезд городов, и зал дрожит от аплодисментов, и: «Отношу аплодисменты не к себе, а к Временному правительству. Только теперь и можно жить и работать в полном единении с народом. Старый строй рухнул, потому что в нём изверились народ и армия. Почему крестьяне воздерживаются продавать хлеб? Им не стали нужны деньги. Хлеб в России — есть, но необходимо правильно его распределить, а это возможно только при государственной монополии. Сейчас от хлеба зависит всё государство, и долг гражданина — отдать государству свой хлеб».

А в эти же дни был объявлен заём Свободы — и всем министрам вменялось во всех выступлениях пропагандировать его. И так, перемешивая с хлебной монополией: «Свобода далась почти бескровно, и это побуждает многих предъявлять бескрайние требования. А прежде всего государству для всех дел требуются деньги и деньги. Выпускать кредитные билеты? Станки и так печатают их день и ночь, этим сладким ядом нельзя пользоваться до бесконечности. Народ должен отдать правительству свои сбережения и лишние золотые украшения». А вот (это уже опять Петроград) надо в воскресенье специально ехать в Благородное Собрание и говорить в пользу займа. «Мы здесь слышали голос министра свободной Франции, что русская свобода теперь так же велика, как и французская. Да, Франция первая зажгла светоч свободы в Европе. А теперь — что может нас разделить? Между Великой Французской и Великой Русской Революцией действительно поразительное сходство... Ошибки старой безумной власти должны быть исправлены. Наши сбережения отдадим стране!»

Но взмолился на заседании кабинета: отпустите меня от займа! у меня земля не засевется, а нас ждёт голод!

И с чувством подписывал, и рассылалось по лику Руси ещё одно воззвание: «В порыве негодования народ разбил вековые цепи. Но помогите родине освободиться от тяжёлого наследия старого строя: мало осталось хлеба. Пусть рука ваша крепче ляжет на плуг, пусть он глубже войдёт в сырую мать-землю. Вы — чуткое сердце России, откликнитесь на призыв Родины. Земельные беспорядки недопустимы, нельзя самовольно рубить леса и жечь имения помещиков — так только сократятся посевы, это будет шагом к несчастью».

Засев земли этой весной становился как жизнь или смерть. Уже озимые были засеяны намного хуже обычного из-за дороговизны рабочих рук. Теперь из-за сельских волнений, а ещё шире из-за угроз — помещики не хотят сеять яровых, и даже начался их отлив из деревни. Уже и средние землевладельцы задумываются, сеять ли. По Югу самая горячая пора посева уже упускалась. А если помещики не посеют яровых, то уже в мае крестьяне сообразят — и не станут продавать своего хлеба. И наступит голод. Шингарёвское министерство всё хлопотало о заготовке, а надо было спасать производительность. Землю, которую помещик сейчас не берётся засеять, — надо успеть сдать в аренду крестьянам. А если откажется помещик? передавать в аренду насильственно? Решиться так? (Насилие над помещиками всё ж не пугает последствиями.) А кто это будет делать на местах? Очевидно, продовольственные комитеты. А как дать сельскому хозяйству рабочую силу? Даже военнопленные уже так рассвободились теперь, что их надо заинтересовать: надо платить им не меньше среднего, сколько платят в этой местности.

А между тем крестьянские угрозы усиливались — и при всей опасности обострять социальные проблемы в деревне, не могло же правительство не стать на помощь тем помещикам, которые несмотря на всё намеревались засеять? Однако правительство считало невозможным пользоваться против крестьян военной силой (да это практически сейчас и невозможно), его принцип был: исключительное нравственное воздействие на население. Надо было как-то популярно всем объяснить. Провёл Шингарёв, опубликовали: продовольственные комитеты имеют право принудительно передавать пустующие земли в арендное пользование по справедливому ценам. Но и: продовольственным же комитетам, самому населению — поручить и охрану посевов — и тех, кто не сдал в аренду. А кто это будет? какими силами? (И — захотят ли?) И вот шёл Шингарёв на небывалую меру: а если произойдёт порча посевов, то государство берёт на себя возмещение владельцам убытков. Небывалое и огромное бремя на правительство — а иначе не будет в России хлеба в этот острый переходный период. Да неужели свободный народ после этого не устыдится разорять собственное казначейство?..

Да ведь корень сельских волнений не в посевах, а — в переделе земли. Крестьянство истрадалось, ожидая этого передела. Накопилось в них: ждать нельзя, разряди! Земля так соблазнительна, а тут нет военной охраны — как удержаться мужику? Но нельзя допустить раздела хаотичного, до Учредительного Собрания. У всех партий свои земельные программы, своя и у кадетской, и Шингарёв, хотя не вовсе её разделяя, но обязан по партийной дисциплине придерживаться её. Но как раз в земельной программе кадеты всегда шатались: все левые партии требуют землю отнимать, и притом без выкупа. А кадеты хотели бы раздавать лишь удельные и монастырские земли, а частные? частные если и брать, то во всяком случае достойно уплатив. Левое крыло партии тянуло ко всеобщей национализации. А сейчас, в революционном расплохе, на мартовском съезде ни-

чего не решили по земле, отложили до мая. Но — министерство земледелия не могло не принять хоть какого-то мнения. По накалу борьбы многих лет надо было решать только и именно против стольпинского решения, против хуторов и отрубов, — и все землемерные и землеустроительные работы согласно стольпинской реформе министерство земледелия теперь остановило. (Но тогда остановилось и исправление заблоченных покосов Северо-Запада, солонцов Заволжья, сибирских урманов.) Однако и не настало же против Столыпина, чтобы всех насильственно загонять в общину? — кормит-то хозяйственный мужичок. Да отрубники — и не пойдут. А ещё для дележа придётся разорять крупные культурные хозяйства и отдавать их по кускам в технически несовершенные руки. Многопольные участки, скотное, птичье, садовое, огородное, свеклосахарное хозяйство, питомники, рассадники — и всё дробить? делить?

Нет, революция застала Россию врасплох. Сегодня и знатоки земельного дела не стыдятся публично признать в скудости своих сведений о точных данных земельного дела в России. Передача земли народу оказалась далеко не простое дело, такая реформа может отбросить Россию далеко назад, подорвать производительные силы земли. Пока в деревне неразумная агитация подбрасывает огня — а реформа плавает в тумане. Прежде всякой реформы нужна всероссийская земельная перепись: в какой губернии сколько именно крестьян нуждаются в земле — и сколько может к ним отойти? А ширятся овраги, не укрепляемые в войну, — сколько они занимают сегодня? А если ещё хлынет на землю и громада городского населения? — нормы станут и вовсе урезанными, и земли никак не хватит. Но сегодня поздно убеждать в этом крестьян, разожжённых нашей же агитацией, особенно тех, кто живёт рядом с удельными землями. А перепись — долга, а время не терпит. А далеко переселяться — ещё все ли захотят? Надо и это узнать заранее опросом.

Пока — ещё одно воззвание Временного правительства к населению: заветная мечта многих поколений, земельная реформа, несомненно станет на очередь в Учредительном Собрании, но только путём закона, а не захватов. Большая беда грозит нашей родине, если население на местах, не дожидаясь... Большая ошибка думать, что каждый уезд и волость могут сами решить этот вопрос. Начнётся борьба между общинниками и подворниками, село возстанет против села, волость против волости. А вот — создаётся Главный Земельный Комитет...

Сперва создавали (и недосоздали) повсюду продовольственные комитеты. Само собою во всех местах создавались разнокалиберные, где какие, «исполнительные комитеты», скорая местная власть. Теперь повсюду — при продовольственных комитетах? — надо было создать «примирительные земельные камеры», где крестьяне и помещики при помощи общественности находили бы общий язык. (И князь Львов рассылал отдельный циркуляр о таком примирении.) Но вот, там и сям, сами собой стали образовываться ещё новые — земельные комитеты, — это была уже третья параллельная власть. (Эх, нет волостного земства!) Однако в нынешнее безвременье правительство не могло бы их отменить — а лучше поддержать и возглавить. И объявило от себя, что для подготовки материалов к реформе, а также и для законного решения всех возникающих недоразумений, земельных, арендных, создаётся система земельных комитетов — от Центрального и до волостных. Толком никто, и сам Шингарёв, не понимал, чем же именно точно будут заниматься земельные комитеты, как они разграничатся с другими властями, какие у них будут права и способы действий, — но остановить этого процесса тоже было нельзя.

Вот — грянуло в Раненбургском уезде: там исполнительный комитет постановил насильственно обсеменить помещичьи земли по дешёвой аренде и не спрашивая согласия владельцев. Применить воинскую силу? — уже прежде правительство зареклось. Значит? — телеграмму исполнительному комитету: указать на недопустимость самовольного решения земельного вопроса без общегосударственного закона. Из Рязани послан был прокурор — расследовать погром, но рязанский Совет рабочих депутатов нарядил и свою «демократическую следственную комиссию» над прокурором.

И — какая же голова это всё могла охватить? А каждый день ещё десятки же вопросов. Вот, надо законом удлинить в этом году сроки рыбной ловли в Астраханском бассейне... Вот, упорядочить частную рубку лесов...

И в этой каменоломне работы — почти всё успеть самому, не походя, чтобы чиновники министерства понимали бы всё напряжение и смысл происходящего так, чтобы силы отдать беспредельно. Надежда на одного Сашу Хрушова, друга юности, его Шингарёв когда-то вызволил через Столыпина от ссылки, а сейчас вызвал к себе в товарищи.

И благодарности — не ждал или нескоро ждал Шингарёв. А сегодня — больно поразил упрёк от князя Бориса Вяземского, пришло письмо из Усманского уезда. В начале марта он же был у Шингарёва, и такие важные вещи высказывал о состоянии деревни, и кажется так хорошо понимали друг друга. А теперь:

«Андрей Иванович! Не верю глазам: когда же вы успели стать социалистом? И ваша ужасная хлебная монополия, и эти всевластные комитеты из охлократии — ведь вы же насаждаете в России социализм!..»

Тёр, тёр лоб Андрей Иваныч, тоже не веря глазам: социализм? он? Никогда...

А под Воронеж уже грядёт прямая весна. И на родную Грачёвку: И хотя уж столько в России земель в эту весну останутся сырыми, незасеянными, — а крохотное пятнышко Грачёвки ноет само, отдельно: я-то как же? Отцовская земля... А отцу уже восемьдесят. Долг старшего сына. И всю же Россию равно любишь — а Усманский уезд как-то ещё особенно. В позапрошлом году починили в Грачёвке и дом, уж ветох был.

И решили теперь с Фроней: всё равно занятий в школах практически нет, экзаменов не будет, разрешено разъезжаться, — бери-ка детей, да поезжайте все в Грачёвку, да обрабатывай.

— И с посевом?

— Ну, с зерном сил у вас не хватит, опять отдайте. Но ваш — огород, сад. Да не только свежий воздух, а и с питанием в Питере будет плохо.

— А — ты? Как же ты?

— Да я-то один.

— Так именно один! Пока доберёшься по ночам на Монетную — а тут всё запущено.

— Господи! Да я студентом и двадцати пяти копеек не тратил — и сыт был.

— Да уж знаю. И мне ж помогал.

— По воскресеньям у сестры буду обедать. Когда — у Саши Хрущова. — (Казённую министерскую квартиру отдал ему.) — Да обойдусь, до еды ли мне будет. Зато душа будет спокойна. Как спокойно будет, правда, Фроня.

И уговорил. Стали собираться. А достать билеты — тоже труд. Очереди тысячные, билеты уже на май. Просить у Некрасова не хотелось — настолько Некрасов недоброжелателен за эти министерские месяцы, и даже публично подковыривал Шингарёва, что вот, мол, вагоны теперь есть (где они есть?) — а хлеба нет для погрузки. И даже было публичное распоряжение: чиновникам путей сообщения запрещается всякое протезирование в покупке билетов, а спекулянтам — тюрьма до 4-х месяцев. Но нужда гонит — и нашёл Шингарёв связь, получил купе второго класса на семью.

И сегодня вечером отвозил их, с шестью чемоданами, два рейса автомобилем. Сам же устроил — а теперь вдруг такая тоска взяла, такая тоска, как будто расстаются навеки. Успокаивал себя:

— Да я, может, ещё по России поеду, и тогда в Воронеж обязательно, и к вам на денёк. Вот уж радость — в Грачёвке побывать! Как бы хотелось с вами вместе покопаться в огороде.

Не сказал Фроне, как сердце сжато, но по её суженым напряжённым глазам видел то же.

Целовал детишек. А после второго звонка — лицо её ненаглядное, каждая морщинка родная, а вот уже 22 года. Скоро серебряная свадьба.

33

Мерзкое свинство там получилось, в манеже Гренадерского батальона, — чуть не двенадцать часов варился этот митинг, пятьдесят ораторов, лучшие либеральные и социалистические болтуны и даже один революционный поп, — но то и дело кричали: «Где Ленин? Он обманул нас!» Послали туда выступить трёх кронштадтских матросов, мало: «Где Ленин? Мы хотим задать ему вопросы!» Послали туда Дашкевича объяснить, что Ленин приносит извинения, но он очень занят на заседании, — «Дайте Ленина! он обещал! мы потому и собрались! Ленин струсил!», и оскорбления, и угрозы, и неистовые крики — и тем более появляться в этом бурлении было безумие и заведомый проигрыш. Какой-то волынец там выступал, что вот германское правительство пропустило ленинцев с комфортом... А старый Дейч, никак не окачурится: что германская пропаганда среди наших военноплен-

ных — точно то же самое, что говорит Ленин. Тут придумали товарищи, чтобы Владимир Ильич тем временем смотался бы в Михайловский манеж, и выступил бы там перед полусотней броневоего дивизиона, наших сожителей по Кшесинской, — значит «выступал в другом месте». Хорошо придумали, съездил. А в Гренадерском кипело и до поздней ночи, и ещё вспоминали и ругали Ленина.

Вообще кампания травли и озлобления к большевикам оказалась серьёзней и продолжительней, чем можно было ожидать. Например, товарищи из Москвы передают, что там — исключительно раскалены, и кто бы где бы ни собрался — кричат: «Арестовать Ленина!», и не от партий, а самые тёмные типы. А вчерашняя демонстрация инвалидов — хитрейший и болезненный пропагандный трюк, опасный своей мнимой наглядностью этих обрубок, эксплуатация бессознательных масс. И хотя вчера же устроили демонстрацию кронштадтцев и 180 полка против травли — но это не перевесило.

Совершенно ясно, что надо быть гибче и осмотрительней: и лозунг «конец войне» и лозунг о перевороте — прикрыть, подавать только исключительно умело: мы стоим не за резкие действия, но за настойчивое терпеливое разъяснение буржуазного обмана. И когда вчера тут рядом, в цирке «Модерн», собрали большой митинг, то в резолюцию поставили только самые неопровержимые лозунги: конфискация всех помещичьих земель! 8-часовой день! *военная контрибуция* на капиталистов! сплошное вооружение рабочих масс! невывод войск из Петрограда! И — всё.

Нельзя не заметить, что в верхних слоях, на уровне буржуазном и социалистическом, травля уже ослабла, если не полностью кончилась. Да у болтунов неисправимых (а это 99% всех русских политиков) она и не могла задержаться, если настойчиво отрицать — они легко согласны не видеть. Вот Милоков вчера же, на кадетском сборище, отступил: нельзя применять насилие против Ленина! вы же не хотите, чтобы мы боролись способами старого режима. Да уже захрипела, подавилась и «Русская воля», испугавшись своих же типографских рабочих. (Смеётся Ленин и над теми кадетскими сборищами, как они там выговариваются под аплодисменты, и над той перепуганной газетой, — высокое революционное наслаждение доставляет эпатировать буржуа!) А Церетели со Скобелевым тем более скинули тон: ни в коем случае никакого насилия, Ленин имеет право на свободу мнений. Смеялся над вчерашней статьёй Чернова о себе: как этот надутый эсеровский чинуша *объясняет* публике Ленина: Ленин — жертва ненормальных условий и катится, сам не зная куда, маниакальный ум. (Ну объясняй, объясняй.) Сегодня и стекловские «Известия» выступили принципиально и резко против бесчестной и отвратительной травли ленинцев. (Со Стеклова надо снимать удар, он там не из худших.) Тут ещё исключительная удача: вчера в газетах две телеграммы из Швейцарии: от Аксельрода — Мартова — Натансона (вождь эсеров!) — Луначарского: «Констатируем абсолютную невозможность вернуться в Россию через Англию», от Мандельберга — Рейхсберга — Кона — Балабановой: выход в обмене эмигрантов на интернированных немцев. А что, господа из «Русской воли», — они тоже все немецкие шпионы?

Так газетная травля истошилась за 12 дней, отскочила как шелуха. Всё было правильно предусмотрено.

Но это — среди публики образованной. Однако русские низы в печатном плохо смыслят — и в низах травля тем временем ещё усилилась, на улицах рвут и топчут «Правду». А в низах — это и есть истинная опасность, ибо она ведёт к прямому погрому, тут нельзя оставаться беспечным. И вот — ударило: Исполнительная комиссия солдатской части Совета постановила: что пропаганда ленинских взглядов не менее вредна, чем контрреволюционная пропаганда справа!

Опаснейший удар! Этого нельзя так оставить! На большевиков хотят натравить всю солдатскую массу!

Впрочем, и они с благоразумной оговоркой: невозможно принимать репрессивные меры против пропаганды, пока она остаётся лишь пропагандой. Это — приемлемо, но растравленные массы разве вникают в оговорки?

И Ленин решил на дерзкую контратаку. Очень, очень не хотелось идти выступать публично — но вынуждали. И сегодня туда, в Гаврический, послав на солдатский Совет натолкать сколько можно своих большевиков, отзываться из зала, — без всякого предупреждения тех вожаков — явился в Белый зал, тихо поднялся по ступенькам мимо оратора к президиуму и объявил растерявшемуся председателю, что вот, я — Ленин, и прошу слова для внеочередного заявления. У того от внезапности полезли глаза на лоб — и он сразу объявил:

— Товарищи! В зале находится Ленин, и он желает дать свои объяснения по поводу резолюции Исполнительной комиссии. Угодно ли вам его выслушать?

— Ленин! — закричали из зала. — Наконец-то!.. Просим!.. — свои с настойчивым одобрением и аплодисментами, а кто — со смешками, тоже с аплодисментами, но ироническими.

И отстранив очередного оратора, председатель показал Ленину на трибуну.

Ту самую думскую трибуну, с которой было произнесено столько подлых парламентских речей. И вот перенёсся Ленин из Швейцарии тоже сюда.

Было в зале человек семьсот — восемьсот, да ещё на хорах сколько. Но тут, услышав крики, что Ленин, — стали вваливать ещё и из нескольких дверей. Как овладеть такой толпой? Ленин не терял хладнокровия, и не мог бы так грубо ошибиться, чтобы произнести тут формулировку, какая говорится только между своими у Кшесинской, но он и не имел отчётливой методики, как построить речь. Ясно было, что говорить надо много, как можно больше, это будет для толпы убедительней.

— Товарищи! Я хотел бы дать вам свои объяснения по поводу резолюции вашей Исполнительной комиссии, признавшей пропаганду так называемых правдивов такой же вредной, как и контрреволюционная пропаганда справа. Это, товарищи, очень тяжёлое обвинение, и так как я являюсь в полной мере ответственным за пропаганду моих единомышленников, то я позволю себе высказаться по существу тех идей, которые мной пропагандируются. Чего добиваются правые? Возврата к монархии. А капиталисты — хотят власти капиталистов. А наша пропаганда: что вся власть в государстве должна перейти в руки только Советов рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов, то есть заведомо огромного большинства народа. И добиваться этого мы хотим только терпеливыми разъяснениями.

Он старался говорить как можно мирней, даже с невыносимой доброжелательностью.

— Не было с нашей стороны ни одной прямой или косвенной угрозы отдельным лицам. И мы впредь будем действовать только разъяснением, пока кто-нибудь не перейдёт к насилию над массами. Но мы убеждаем, чтобы власть взяло большинство народа. И как же можно назвать нашу пропаганду «не менее вредной, чем правая», если контрреволюционеры хотят силой посадить нам опять царя? Это явная несообразность, и Совет солдатских депутатов не сможет разделить взгляда его Исполнительной комиссии.

Ленин ждал хуже: что на первых фразах начнут кричать — «немецкий шпион», «изменник», и не дадут говорить, и получится фиаско, ещё хуже, чем не выступал бы. Но вот введение прошло благополучно. А теперь выигрыш, теперь тянуть за то, что тянет все их сердца: земля.

— Пойдём дальше. В чём по существу наши разногласия. Главным образом по трём пунктам. Первое — это о земле. Мы всегда отстаивали, чтобы вся помещичья земля перешла бы в собственность трудового народа, и за это нашу партию жестоко преследовали при царизме. И что же тут, товарищи, контрреволюционного? Вы скажете, что это — трюизм, и другие партии тоже имели это в программе? Но разница та, что сегодня только единственная наша партия выступает за немедленную передачу земли народу! И это — наш лозунг дня. У помещиков — десятки миллионов десятин земли. И никакая свобода не поможет народу, пока земля не перейдёт в собственность народа. И если её не забрать у помещиков немедленно, то она останется незасеянной. Захват всей земли немедленно — есть движение вперёд революционного народа. А те, кто советуют крестьянам ждать Учредительного Собрания — (уже с ударением, уже в атаку!) — обманывают их. Временное правительство навязывает помещичий способ решения аграрного вопроса.

А тут вышла противоположная ошибка: он ждал одобрительного рёва солдатского зала — а не было его. Во многих местах курили, не торопясь, тяжёлый табачный дым поднимался и сюда. Зал стал гудеть разговорами, но они не показались Ленину одобрительными. А это был самый выигрышный возможный момент речи. И — не выиграл. Ленин смутился.

— Как это так? Если капиталисты захватили власть у царя — то это великая и славная революция? А если крестьяне отбирают землю у помещиков — то это самоуправство? Вот министр Шингарёв дал телеграмму в Ранненбург, чтобы не смели самовольничать с землёй, — да похоже ли это на народную свободу, если крестьяне, громадное большинство населения, не имеют права взять землю, как решили, а должны ждать «добровольного» соглашения с землевладельцами? В чём же тут демократизм, если триста крестьян должны искать соглашения с одним помещиком? Да помещики никогда добровольно землю не отдадут! Кто же может помешать большинству, если оно хорошо сплочено и вооружено?

Нет, не брало! Гул становился нетерпеливей.

— Но мы никогда не проповедовали насилия. Пусть захват будет произведен на основе строжайшей дисциплины. Конечно, землёй будут распоряжаться и распределять Советы крестьянских и батрацких депутатов. Организация крестьян без всякого контроля и надзора сверху, без помещичьих прихвостней. А солдаты должны помочь крестьянам взять землю. Если крестьяне начнут брать землю тотчас, не дожидаясь соглашения с помещиками, то не только выиграет дело свободы, но солдаты получат больше хлеба и мяса: увеличится производство того и другого. Но саму землю нельзя есть. Миллионы дворов ничего не выиграют без лошадей, орудий, семян, — и потребуются их также реквизировать.

А одобрительного рёва всё не было. Но и уйти с этой темы было жалко: она — самая выигрышная, а дальше будет хуже. И Ленин стал говорить о преступной столыпинской политике хуторов и отрубков, которая... Богатым крестьянам надо так же не доверять, как и капиталистам.

Из зала стали кричать:

— Довольно! Довольно!.. Здесь не митинг!.. Ограничить время! А большевики кричали:

— Просим! — и хлопали, но не пересиливали враждебных криков.

Владимир Станкевич, председатель Исполнительной комиссии, который и сочинил и провёл эту резолюцию против Ленина, сегодня в начале заседания был в зале, а потом вышел в дальнее крыло дворца и пропустил приход Ленина. Потом от кого-то узнал сенсацию, что в зале сам Ленин, — и поспешил сюда. (И не он один, и другие члены ИК кой-кто пришли с любопытством.) Но не стал уже проби-

ваться в президиум, остался в толпе прохода. Он пришёл, когда Ленин говорил, что с немедленным захватом земель увеличится производство хлеба и мяса, — и усумнился: не недостаёт ли у того умственных способностей? или уж такой он последний отчаянный демагог?

А голос плоский, невыразительный, ещё и прикартавливает, бесчувственно к аудитории употребляет иностранные слова и нервно похаживает около трибуны, хотя ходить там негде. Фигура его несравнима с природно красивым покоряющим Церетели, с благородно осанистым Авксентьевым.

Станкевич успокоился: этот — не может увлечь солдат.

А тут ещё стали кричать «Довольно! Хватит!», и со многих мест, и Ленин запнулся, хотя по виду оставался невозмутим, ни в чём не переменился, — да бывали ли на этом закованном азиатском лице с реденькой рыжей бородкой переменные выражения? Поднялся сплотившийся председатель и только теперь спросил, какие есть предложения ограничить время оратора. Стали кричать:

— Две минуты!

— Пять минут!

— Два часа! — (Это большевики.)

Член Исполнительной комиссии, военный доктор Менциковский, сидевший в близкой ложе, поднялся на трибуну, отстраняя Ленина, и обратился, как всегда энергично:

— Вот уже двадцать минут, как нам говорят здесь избитые вещи, полемизируют со Столыпиным, с Шингарёвым. В дальнейшем мы, может быть, услышим полемику с графом Паленом или Николаем II? Кому нужны эти азбучные истины? Я думаю, Ленин мог бы, не отнимая у нас так много дорогого времени, сформулировать своё заявление вкратце.

Доктор тоже не подбирал слова, чтобы быть солдатам понятнее.

Тут же выступил военный чиновник: чтобы речь Ленина не ограничивали. Но в зале поднялся против него такой шум, что доносились только отрывки фраз. И он ушёл с трибуны. А Ленин оставался. И под весь этот шум даже, кажется, слегка улыбался. Самоуверен же. Или у него тупая реакция?

Беспорядочно кричали из зала, кричал председатель. Ленин поднял руки в локтях, укрепил большими пальцами под мышками пиджака, показывая, что готов ждать. Кричали, но выталкивать его никто не поднялся. И в наступающем успокоении председатель объявил, что даётся оратору полчаса. (От начала? или вперёд?)

Зал согласился, но тут большевики стали кричать — «долой председателя!» — и стучать пюпитрами, кто захватил сидячее депутатское место. Ленин приподнял руку, делая вид, что успокаивает единомышленников.

И как будто не было этого всего шума — без обиды, без волнения, так же плоско, серо и ровно продолжал:

— Теперь позвольте, товарищи, коснуться вопроса о государственном строе России и о будущих формах управления ею. Нам не нужны такие республики, какие существуют в других странах, — республики с чиновниками, с полицией, с постоянной армией. Не нужно нам и Временное правительство, сплошь составленное из капиталистов. Это правительство даже возвещённую им программу осуществляет только под напором революционного пролетариата и отчасти мелкой буржуазии, оно не хочет её выполнять. Прикрываясь знаменем Временного правительства, организующиеся силы буржуазной и помещичьей контрреволюции уже начали атаку против революционной демократии. Не нужно нам такое правительство, которое попустительствует контрреволюционной агитации Гучкова и компании в армии!

Агитация военного министра — в своей армии!

— Значит, вы против власти, спросят меня? Значит, вы анархист? Нет, отвечу я, это клевета. Мы — не анархисты, мы — сторонники власти. И власть должна быть тверда! — но власть революционная! Нас называют анархистами — за то, что мы не признаём ига капиталистов. Вся власть должна быть передана из рук капиталистического правительства — в руки Советов рабочих, солдатских, крестьянских и баграцких депутатов. Товарищи, что же здесь контрреволюционного? Мы за такую республику, в которой снизу доверху не было бы ни полиции, ни постоянной армии, ни несменяемого и привилегированного чиновничества.

То есть продолжить нынешний львовский развал.

Солдаты слушали очумело, для них это был — изрядный туман. Нет, Ленин успеха иметь не будет. Но на кафедре он совсем не так безапелляционно кровожаден, как в своей газете и с балкона особняка.

— Должно быть всеобщее поголовное вооружение народа, и непременно с участием женщин, и никакого «контроля» и «надзора» сверху...

(А Ленин и не сдерживался напустить туману: сказать всё прямо и чётко было незачем, неуместно, да и сам он ещё не видел до конца. После того что призыв немедленно захватывать землю не имел успеха — он уже обременён был необходимостью продолжать здесь свою неудачную речь, ему и этого получаса было много, а сейчас надо было переходить к самому режущему вопросу о войне, — и вот как тут проскользнуть умело?)

— На меня клеветают, будто я сторонник сепаратного мира. А я утверждаю только, что нынешняя война затеяна Николаем Кровавым и капиталистами всего мира, и новое правительство ведёт такую же разбойничью войну, в интересах тех же капиталистов. А рабочему классу эта война не нужна. Почему Временное правительство отказывается не только расторгнуть тайные грабительские договора, но даже опубликовать их? От имени России продолжают говорить люди, разжигающие войну, капиталисты, перерядившиеся в «республиканцев». Значит, договора, заключённые царской шайкой, остаются в силе, — и мы воюем ради них? А между тем — там заключён план разделения Китая между Францией, Англией и Россией.

Закричали:

— Откуда вы это знаете?

— Фантазия!

А с тем и взорвана бомба: пойдй проверь! Пока не опубликуют... На волне взрыва Ленин говорил увереннее:

— Разделение Китая! Мне точно известно. Никакого доверия не вызывает обещание правительства отказаться от аннексий: они переплетены тысячами нитей банковского капитала и не могут отказаться от аннексий. А поэтому будут только затягивать войну. Ни с каким капиталистическим правительством нам закончить войну не удастся.

— А как вы предлагаете??

— Война может быть закончена только рабочей революцией во всём мире, и к этой революции мы призываем. Мы никогда не говорили, что войну можно кончить сразу или даже односторонне, воткнуть штык в землю когда противник наступает. Мы не призывали сложить оружие и разойтись по домам. Войну можно кончить только путём перехода всей государственной власти в руки класса, действительно не заинтересованного в охране прибылей капиталистов. В руки Совета депутатов. Мы ещё в 1915 году говорили, что если во время войны власть перейдёт к рабочим, — мы будем стремиться к окончанию войны.

— Ну а всё-таки — к а к? — раздражающий крик.

Ленин не дрогнул:

— Одним из способов ликвидации войны является систематическое братание на фронте. Русские и германские рабочие и крестьяне в серых солдатских шинелях могут, по взаимному уговору, сделать дальнейшее продолжение войны невозможным. И братание — уже началось! И не только на нашем фронте. Нужна немедленная, энергичная, всесторонняя и безусловная помощь с нашей стороны — братанию солдат на всех фронтах. Такое братание — уже началось: давайте ему помогать!

Где началось? Как помогать?? А он гнал дальше:

— Скоро и в Германии большинство будет на нашей стороне.

— А если не будет??

— Наши идеи в Германии проповедовал Карл Либкнехт, и вот он сидит на каторге. Он — единственный представитель истинного социализма, остальные социалисты, к сожалению, на стороне Вильгельма.

— Так ничего и не будет??

Уверенно знал и тут:

— Если в России власть будет в руках Совета депутатов, а в Германии не произойдёт революции, свергающей Вильгельма, но это только полдела, а свергающей и немецких Гучковых — Милюковых, — вот тогда будем крепче держать винтовку против врагов нашей революции! Вот тогда мы согласны на революционную войну против капиталистов любой страны! И мы закончим её всемирной революцией, без грабежа земель и душения народностей!

И по какому-то его знаку большевики поняли, что он кончил, и стали бешено аплодировать и топтать ногами, этим очень отделяясь ото всего зала.

И Ленин уже уходил с трибуны, но председатель задержал его: тут поступили записки с вопросами. «Почему вы укрепляете единство Германии?»

— Мы не только не помогаем сохранять единство Германии, но разрушаем его, раскалывая немецких социалистов. А в России — да, мы разрушаем «внутреннее единство» рабочих с капиталистами. И пусть они сажают нас в каторжные тюрьмы, подражая Николаю II и капиталистической Англии!

«Почему вы призываете к гражданской войне?»

— Ничего подобного, — изумился Ленин. — Ни к какой гражданской войне я не призывал, а к терпеливому разъяснению добросовестным оборонцам.

«Проповедывали ли вы свои взгляды также и в Германии? Вы бы поехали со своими речами в Германию».

— Мы и печатали, и рассылали эти взгляды по Германии.

«Почему отвоёвание Курляндии вы называете аннексией?»

— Потому что если мы будем отвоёвывать назад Курляндию, то немцы захотят отвоёвывать свои колонии, и война фактически никогда не кончится. А пусть каждый народ решит, под властью какого государства он хочет быть. Организуйте в Курляндии совет рабочих и солдатских депутатов, и пусть он сам решит, чего хочет народ Курляндии.

Смеялись.

Ленин уменьшился в росте и спешил уйти с трибуны. Ещё огласили: «Почему вы призываете к ограблению банков?» — но уже он не возвратился отвечать.

Станкевич считал, что Ленин ничего не выиграл, — но хотелось и надо бы ему сейчас ответить. Однако прежде него — на трибуну взлетел оказавшийся тут — нервный Либер, темнобородый гном, «бундовский Демосфен» звали его свой, — и сразу заговорил быстро и страстно, так отличаясь от ленинского нудного вещания:

— Товарищ Ленин не учёл настроения всей сплочённой русской демократии, и его группа остаётся в меньшинстве. Мало говорить о

пожеланиях — надо ставить вопрос так, чтобы осуществить их без гражданской войны, к которой ведёт агитация Ленина. Ленин говорит или трюизмами, или выступает с ловушками, в этом и опасность его агитации. Чего требует Ленин? Вся земля, говорит он, должна быть передана в руки народа. Совершенно верно, то же самое говорят и другие политические партии. Но вождь большевиков говорит крестьянам: «Идите и забирайте эту землю немедленно». Вот против этого мы протестуем, вот эту агитацию мы и считаем опасной и вредной. Он ведь сказал что землю придётся отнять и у значительного числа крестьян-отрубников. Так разве он этим не призывает к гражданской войне? Да состоятельные крестьяне будут держаться за землю ещё покрепче помещиков. Звать при таких условиях на бой, не подсчитав своих сил, — значит повторить ошибки Пятого года. В том-то и ужас, что его требования не сообразуются с условиями момента и реальными возможностями. Многие возмущаются буржуазной прессой — и большевики говорят: «заберите их типографии, будем в них печатать рабочие газеты!» Это очень приятно, но, к сожалению, это невозможно. Очень приятен лозунг «экспроприация всего у буржуазии», но не значит ли это ринуться в бой, не рассчитав сил? Буржуазия ещё достаточно сильна. Если мы начнём гражданскую войну, мы восстановим против себя либерально-демократический класс общества, с которым мы идём пока вместе. И может быть, большая часть населения захочет возвращения к старому строю. Мы не сомневаемся в честности Ленина, но его агитация расцветает как удар по революции — вот почему Исполнительный Комитет находит агитацию Ленина вредной. Понимаете ли вы, что для буржуазии агитация Ленина выгодна, и если б его не было, то, вероятно, она бы выдумала его?

Ленин послушал начало этого пренаглого выступления — и, усмехаясь, проталкивался на выход. Надо, надо перенести удар со Стеклова на Либера, Стеклов ещё не потерял для революции, мог бы стать и нашим.

А в общем речь удалась: уже мы не пугалы, не анархисты, не контрреволюционеры и не сторонники сепаратного мира.

Да, пожалуй, сроки до победы будут более длительны.

За Лениным выходили и большевики. Потянулись и солдаты, ещё с вопросами: как он относится к отправке маршевых рот на фронт?.. Горячий вопрос.

— С этим вопросом не знаком, товарищи, не могу сказать.

Скорей в автомобиль.

ДОКУМЕНТЫ — 12

17 апреля

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В БЕРНЕ РОМБЕРГ — РЕЙХСКАНЦЛЕРУ БЕТМАНУ-ГОЛЬВЕГУ

Совершенно секретно

Г-н Платтен, сопровождавший Ленина и его сторонников через Германию, посетил меня сегодня, чтобы поблагодарить от имени русских за оказанные услуги. Ленину был оказан прекрасный приём его последователями. Вполне можно сказать, что за Лениным идёт три четверти петербургских рабочих. Трудней пропаганда среди солдат, среди которых сложилось мнение, что мы собираемся наступать. Может быть, достаточно будет заменить социалистами отдельных членов Временного правительства, таких, как Милюков и Гучков. Во всех случаях настоятельно необходимо увеличить число сторонников мира притоком из-за границы. Поэтому усиленно рекомендую: тем эмигрантам, которые готовы к отъезду, предоставить те же облегчения, как и Ленину с товарищами. Требуется тем более величайшая поспешность, что можно опасаться: Антанга окажет давление на швейцарское правительство, чтобы оно помешало их отъезду.

Эмигрантам очень не хватает средств на пропаганду. Собранные для них фонды большей частью попали в руки социал-патриотов. Я здесь поручил доверенному лицу выяснить деликатный вопрос, можно ли снабжать их средствами, не оскорбляя их.

С тех пор как Гучков воротился больным из поездки на юг, он ещё ни одного дня и здоров не был. Первые три дня — лежал, и принимал сотрудников в постели. Вчера как будто лучше, встал, принимал и посторонних. Но — не военные делегации, которые всё приезжали неутомимо со всего фронта, и нельзя остановить, толчая в передней домина, и Мойка запружена перед домом автомобилями и людьми, — устал он уже от этих делегаций, устал слушать и говорить одно и то же. И нехорошо, конечно: делегации эти все горды, что привезли в столицу свою преданность, а военный министр в ответ не находит силы и на несколько любезных слов.

Сегодня день уже расписан для всего делового, как здоровому. А с утра проснулся — с сердцем опять хуже, такая слабость. Несколько часов перележал. Но расписание надо выполнять. Поднялся.

Ещё ж — и флот на нём! Как он мог полтора месяца назад так уверенно взять ещё и морское министерство? Тогда казалось — заодно, всё сходно. А — неохватно. Надо было назначить сильного адмирала помощником по морскому министерству, он бы всё и вёл практически. Но Непенина убили. Поставить бы Колчака? — но Колчак отлично справляется в Черноморском флоте, нельзя его трогать оттуда. А больше... а больше не находил Гучков настоящего кандидата, да не знал он адмиралов хорошо. Назначил Кедрова, с Рижского залива. Но морские дела то и дело доплывали до министра. Тут, под боком, этот лукавый и глупый Максимов разваливал Балтийский флот — и не было рук спасти. Уволишь его — а он приведёт флот на Петроград. (И ещё, чтоб задобрить, пришлось повысить ему годовое жалованье, и даже за прошлое, от дней переворота.) На судах распорядились уже не командиры, а комитеты. Вакханалия отводов офицеров за «контр-революционность», за «несочувствие революции», — а куда девать этих офицеров, уволенных командами? — им тоже не наберёшь штабных и сухопутных должностей, да невидимо развелось и береговых комитетов, и эти тоже увольняют, изгоняют. В Петрограде чинам флота и морского ведомства разрешили вне службы носить штатское платье, чтобы лишне не дразнить толпу: морская офицерская форма почему-то бесит её. И Максимов доложил, как он думал, очень хитрый проект: чтобы морских погонов больше не рвали — вообще отменить погоны во флоте, слишком напоминают старый режим. Гучков сперва возмутился, потом подумал: неплохо. только надо иначе аргументировать: во флотах республиканских стран погонов нет, а только галуны. Введём так и мы. Морские штабисты разработали подробно — кому какие именно галуны, сколько, с завитками или нет, а середину прежней кокарды сделать красной. (Самое время для воюющей России заниматься перекраской военной формы...) И как раз сегодня, едва встав из постели, Гучков первое что сделал — подписал приказ об отмене морских погонов.

А как следующее первоочередное лежал на подпись приказ о переименовании балтийских линейных кораблей, вроде того что: «Император Николай I» — в «Демократию», «Император Павел I» — в «Республику»...

Пока Гучков ездил на юг, тут без него Керенский уже предлагал делить военное и морское министерство — и министры «признали желательным». И хотя Гучков взбесился, что этот вертунчик и тут лезет во всё, — а со вздохом надо признать, что два министерства — не потянуть, да.

Одно военное — подкладывало и подкладывало бумаг, выше его сил. Вот, долго готовили, недавно казалось самое необходимое для расчёта со старым режимом, а сегодня уже реликт, только чтоб угодить левым: в помощь Чрезвычайной Следственной Комиссии создать ещё две особых, сухопутную и морскую, по расследованию злоупотребле-

ний в снабжении, вооружении и поддержании боевой мощи, — то есть раскопать «корни сухомлиновщины». И этим комиссиям дать право (дух демократии) начинать следствия по заявлениям частных лиц. (Будут доносчики лезть.) Ещё недавно война с сухомлиновщиной так завлекала и самого Гучкова. А сейчас — по инерции текли бумаги, по инерции он и подписывал их. (Да в каждую такую комиссию теперь приходится — невыносимо! — включать и представителей Совета. Что они там будут вынюхивать и придираются?!)

Вообще в жизни несвойственна была Гучкову инерция бездействия или нерешительности. Но вот он с тревогой стал замечать за собой это странное: что поддаётся именно инерции: течёт само — и течёт, не вмешиваться без крайней необходимости.

Вот — разрабатывалось сокращение жалованья генералам и высшим офицерам — срезать разные «фуражные», «порционные». Ну что ж, это очевидно справедливо, в духе демократического времени. Но и в цвете же его требуют вот: всех членов всех советов уже не одна сотня, в губернских городах и уездных, и членов у них ничем не ограничено, выбирают сколько хотят, — всех их освободить от военной службы! Или: сборная команда писарей военно-судного управления требует от командующего округом немедленно арестовать таких-то офицеров как приверженцев старого режима, а затем — назначить и расследование. И командующий, посоветовавшись с министром, тихо от греха увольняет этих офицеров, — так в «Известиях» длинное кляузное письмо: почему их уволили с пенсией? А комитет одного стрелкового полка указал министру, что он не должен брать адъютантом такого-то капитана, потому что тот до революции был сотрудником правой газеты «Россия».

А что надо делать с обнаглевшими военнопленными? — они бастуют, требуют себе всех демократических свобод — и левые поддерживают их в духе Интернационала. А по-верному: вот как приняли в марте репрессии к питанию германских офицеров у нас — так сразу же Германия отозвалась, что готова открыть нашим военнопленным получение продуктов из Копенгагена. Вот так и действовать.

Но чем ни займись — хоть раскрытостью военной тайны в газетах, пропечатываются точные названия частей, идущих на фронт, и точные составы делегаций от точных частей, — чем ни займись, всё кажется: не это главное, главное — неотвратимо утекает, и не успеваешь его восстановить.

Дезертирство!? Наверно, оно главное. Если каждый желающий солдат может безнаказанно уехать с фронта — то какая ещё война? чем заниматься военному министру?

Да это — и не дезертирство вовсе, крестьяне-солдаты не от войны бегут, а в массовый отпуск — успеть домой к разделу земли. Больше всех и виновато само Временное правительство: что не имело в голове ясного решения, как же именно будет с землёй, а потому не заявило об этом чётко в первые же дни, никакого бы дезертирства и не было. В первые дни — но и в следующие дни, никакая ясность не появлялась, всё — до Учредительного Собрания. И когда Гучков публиковал своё воззвание о дезертирстве, то и он ничего не мог объяснить точно, а только: «ждите терпеливо», да о защите Родины, одни уговоры.

А потом пустили, от властей, слух: кто уйдёт из армии — тот и не получит земли. И дезертирство сразу уменьшилось. И даже стали возвращаться на фронт немало. Так что, может быть, дело не потеряно.

А между тем под боком у министра своя же поливановская комиссия промолачивает и прокручивает (и тормозит), но неотвратимо же к выходу: «Положение о комитетах» и «Декларацию прав солдата». Первая в мировой истории конституция армии. И — кто будет в этих комитетах? Кто грамотен в армии, кроме офицеров? Писари, фельдшеры да солдаты-евреи. Евреев — можно понять: они в эту революцию

влились за свои права. А русские — просто своё государство разваливают, не щадя.

Вдруг — телеграмма из Новочеркасска от донского съезда: приветствуем военного министра, готовы защищать Временное правительство от всяких попыток ограничить его власть!

Так и колебало Гучкова все эти недели: между надеждами и крушением надежд, между эйфорией и отчаянием. Всего полтора месяца назад он долгожданно рисовался себе умным волевым вождём русской армии и флота, окружённым плеядой умно-подобренных решительных блистательных офицеров. И вот — высился над армией бесильной сползающей верхушкой, и ничего не мог управить без Совета рабочих депутатов, — да каких там к чёрту рабочих, там не рабочие верховодят.

И как ни мерзко было Гучкову, как ни зарекался он не иметь больше дела никогда с этой сволочью — но именно на сегодня, вторую половину дня, он пригласил их головку к себе в довмин на разговор. И теперь, по воротившейся сердечной слабости, надо бы отменить — но уже неудобно, и из гордости, — пусть идут.

Никогда не бывал он на ночных заседаниях министров с их «контактной комиссией», — знал, что этим бесит советских, что именно его они хотят видеть, именно к нему их претензии, — так вот и не увидят. Гучков всё хранил унижение, испытанное во встрече с их делегатами здесь, в довмине, 6 марта. Разъезжая хозяином всех фронтов, он, кажется, ушёл от них навсегда на несравнимую высоту. Нет, с той горы, по всеобщей слякоти, он беспомощно сполз на заднем месте — снова к ним, на вторую встречу. И постыдно узнавал, что хозяином России — и уже тираническим — были, кажется, они, а министры — только приказчики, куда погонят.

Настороженные глазища и уши Совета-чудовища («чудище озорно, стозезвно и лайя»), оказывается, зорко ворочались вослед его всем перемещениям, и ловили каждый жест и каждое слово, недостаточно взвешенно сказанное на переходящих митингах. Обронил в Киеве, что Учредительное Собрание скорей всего соберётся только после войны (да по всему же так видно), — опровержительная публикация Совета! (Верят ли сами тому, дураки?) Произнёс в Яссах, что цель войны — разгром Австрии и Германии, чтоб они 20—30 лет не помышляли о новом вооружённом нападении, — оглушительные возражения: империалист! Да они на своём совещании — куда остервенели, кричали: чтобы контроль Совета «ударом молота подкрепил желания революционного народа!» *Вызвать* Временное правительство для объяснений! И — чуть-чуть, за малым, не вызвали. (И наши бы ничтожества поплелись?..)

И — какой же смысл встречаться с этими мерзавцами на равных?

А — не избежать.

На сегодня пригласил к себе Гучков — всю «контактную комиссию» плюс нескольких членов Военной комиссии.

Надел полувоенный китель для встречи.

С отвращением представлял, как будет возвышаться над ними де-белая фигура Нахамкиса. И с радостью увидел, что возвышался не он, а изящный интеллигентный грузин, которого не бывало раньше, — Церетели. Председатель их Чхеидзе — не удостоил прийти. Зато на месте был самодовольный болтун Скобелев. (Поневоле стал Гучков различать их фамилии и разбираться.) Не было того суматошного дурака, адвоката Соколова. Но — не было и разумного Гвоздева. Вместо прежнего угрюмого моряка-лейтенанта — тоже хмуроватый, но интеллигентный поручик — Станкевич. На месте был и заранее как бы припрыгивал для следующих вопросов и возражений — блоха Гиммер. А вот же ещё кто — «солдатские» члены — Венгеров (переводчик такой был Шекспира, ему родственник?) и Бинасик — писари, конеч-

но, оба. (Вспомнил, докладывали: это Венгеров сказал на советском совещании, что гучковский приказ № 114 — н и ч т о.)

От Военной комиссии пришли свои — полковники Якубович, Туманов (Половцов уехал в Дикую дивизию), — но в предстоящем диалоге не влиятельны они были помочь.

И вот эти советские внезапно обрели над Россией всю власть. Почему — они? За какие заслуги?

Но если был у разговора смысл — то обратиться к ним, как если бы они любили родину. Поговорить откровенно, честно: вот станьте на моё место и посмотрите отсюда. Можно ли вести войну, допустив вот такую роль армейских комитетов? вот такие речи советов?.. — что мы не будем наступать ни шагу?

Первый, конечно, выскочил Гиммер, держал себя как главный контролёр над армией и правительством. Но даже и великодушно: о да, понятное заблуждение: политические цели войны — не производить захватов, смешиваются с военно-техническими — можно ли шагнуть вперёд окопа. Но да, конечно, объяснить эту разницу тёмным массам до невероятности трудно, они плохо усваивают.

Но именно вы, господа, и внесли эти смутные цели в эти тёмные массы. Надо же как-то отыгрывать теперь.

Отыгрывать — они не хотели.

— Господа, это и во всех войнах так: всё идёт прекрасно, пока кем-то не брошено опрометчивое слово «мир». И — сразу все начинают полагаться на мир, и в армии наступает паралич. Надо — переставать говорить вслух о мире!

Но они — уже не могли перестать. Это была — их единственная форма политического существования.

— Мы — за мир, — объявил маленький Гиммер, для большей важности заложив ногу за ногу, но сбивая важность быстротой речи, — но мы и против дезорганизации обороны. К миру мы будем переходить организованным путём.

Оно и видно.

Но Церетели и Станкевич смотрели на министра очень серьёзно. И весьма искренно подтвердили то же.

— Тогда, господа! — взмолился Гучков. — Зачем же вы делаете всё, чтобы развалить армию?

Но они этого не понимали?

— Демократическая армия будет ещё крепче и надёжней.

— Но ведь работает поливановская комиссия. Мы сделали всё для изменения армейского быта. Чего вы от нас хотите ещё?

О-о! оказывается, многого. Вся инициатива разговора теперь перекинулась к Венгерову и Бинасику. Оказывается, на советском совещании они делали главные доклады: о правах и быте солдат, и об армейских организациях. Оказывается, уже разработано до подробностей и уже единогласно проголосовано депутатами. Армия наша, конечно, впрёд не будет армией постоянной службы, но — демократическая. Главное для солдат — пользование свободой слова, печати, союзов, гобраний. Немедленно отменить всякое принуждение к общей молитве. Побег из службы, неисполнение воинских приказов? — не должны разбираться особыми военными судами, но обычными гражданскими, на основе общих прав человека. И не может быть в армии никаких дисциплинарных наказаний или штрафованных состояний, ибо солдаты — полноправные граждане. И никаких «часов» увольнения из казармы или увольнительных списков — но если свободен от нарядов, то и может уходить в штатском платье, и с ночлегом вне. И мало, что прекратилось отдавание чести, — должна быть отменена и рабская привычка командовать «смирно» при входе командира. И должны быть отменены привилегии унтер-офицеров, фельдфебелей, подпрапорщиков: отныне все категории солдат равны!

Скорей надо было удивляться тому, что в этом бреде ещё оставались трезвые нотки: офицеры на фронте не подлежат переизбранию. (Но где выборы офицеров уже произошли — пусть остаются в силе. И за солдатами сохраняется право *отвода* неугодных им офицеров.) И на фронте, условно и временно. можно оставить денщиков (правда, только с согласия ротных комитетов).

А теперь — о комитетах в армии. Они должны пользоваться правами *правительственной власти* и выносить постановления, обязательные для своей части. Да, армия не может быть боеспособна при двоевластии — и поэтому: вся власть должна быть у комитетов.

Эх, не послушался Крымова в марте. А — разогнать бы их ещё тогда, пока не разгрозились.

С последней тоской смотрел Гучков на тонкие лица Церетели и Станкевича. На них — было сочувствие. С этими, с такими из них — можно было бы сговориться. Но ведь все они, все они подвластны *единогласному* решению своего Совецания. И последнее средство — просить у них помощи — тоже бесполезно.

Так Гучков и предвидел.

И последним аргументом, даже не для фигуры, а вполне серьёзно: — Уйти? Господа, я готов уйти по первому вашему слову. Я с радостью уступлю вам место — если только вы берётесь спасти русскую армию! Я пойду в адъютанты, в канцеляристы к любому другому военному министру, отдам все силы и знания — но пусть он спасёт русскую армию!

А?

Смотрел на всех, на все лица.

И ничего не дождался.

Ушли. И стало опять плохо Гучкову.

О каждом историческом моменте мы легко можем впоследствии рассудить, как правильно было поступить. И лишь в единственно происходящем сейчас — никак не увидишь правильного пути.

Не обедал, ничего в рот не взял, а полежал полтора часа до вечернего сбора министров, тут же, у него в довшине. Конечно, министры тягостятся, что приходится им заседать тут из-за его болезни. Самый мужественный из них, единственный боец, — он стал для них обузой. На их заседания в Мариинский он почти и не ездил, а то ещё фронтовые поездки, так вместо себя посылал Новицкого. (Что ж ехать? — они там на совете министров сочиняют кару за перепродажу железнодорожных билетов и плацкарт!..) Привыкли и они игнорировать его, мелкие постановления по военному ведомству принимали, не спрашивая его согласия. Они всё надеются на моральные силы революции: что — удержат в берегах. Смешно? Но на что другое, правда, остаётся и надеяться? Проявить твёрдость, прибегнуть к репрессиям? Для того не осталось на местах никакой власти, ни полиции, ни послушных воинских частей. И пока петроградский Совет постепенно реорганизовался, вот, во всероссийский, — всероссийское Временное правительство всё больше становилось лишь петроградским, висло без опоры. Посоветовал им Гучков — срочно собрать снова Думу, опереться на законодательное учреждение. Шингарёв отмахнулся: «Вы просто не знаете состава Четвёртой Думы. Если б надо было отслужить молебен или панихиду — то для этого можно было б её собрать. Но на законодательную работу она не способна». Львов даже забрал из Думы утонувшие там старые законопроекты — решить их самим.

Некрасов, который мотался выступать с речами не намного меньше Керенского (и в каждом выступлении особенно распинался перед голпой, что не висит никакое «двоевластие», полное доверие с Советом, голосом народной совести, ничто нас с ним не разъединяет, а именно от самодержавной полноты власти Временное правительство добровольно ограничивает себя контролем Совета, и так создаётся

равнодействующая народного мнения), — Некрасов усвоил такую манеру: едва поставив в правительстве требование к военному министру, спешит тотчас публиковать его и в газетах: обуздайте ваших солдат на моих железных дорогах; прекратите отпуска солдат в таком количестве; извольте назначать воинские команды для сопровождения поездов и охраны станций (разумеется, всё — в терминах «сознательности», и конвой тоже будут выделяться местными комитетами, а оплачиваться — военным ведомством).

Так получалось, что ни на кого в правительстве не хотелось уже и смотреть.

Но сегодня неизбежно было собраться всем до единого: обсуждался текст ноты союзникам.

И в том же просторном кабинете министра с окнами и балконом на Мойку, где когда-то сиживал Сухомлинов, а только что рassiживались советские депутаты, — вот собирались министры, и Гучков протягивал входящим руку для слабого рукопожатия. Извинялся, что в домашнем. Полуотлёг в покойное кресло — и думал бы заседание промолчать, просидеть без слова: чёрт и с вами, чёрт и с вашей нотой.

Милюков расселся напыженный, в парадном костюме.

Но пока ещё не все собрались — зашёл разговор о Ленине, и Гучков не мог удержаться (болезнь болезнью, но дело жжёт!): так будем Ленина укорачивать? надо же что-то делать!

И — мягким говорком Львова отвечено было ему, как у них уже сложилось, обдуманно: ни в коем случае. Правительство не должно ускорять событий с Лениным, чтобы не вызвать столкновений, а то и, не дай Бог, гражданскую войну. Правительство и дальше будет держаться выжидательной позиции и предпочитает, чтобы инициатива выступлений против Ленина изошла от самого народа, когда он загадает ложность ленинской пропаганды.

И — не стал Гучков спорить. Смежил веки.

Он вот что думал о князе Львове: куда подевался его «американизм», хозяйственная деловитость, схватчивость, которыми же он и выдвинулся в Земсоюзе? Всё залил теперь благодушный фатализм — и часто даже на заседании его взгляд отрывался куда-то в даль, и он мечтательно улыбался той дали. От земского Львова осталась только манера не считать разбрасываемых казённых миллионов. (Свою-то собственную он каждую копейку считал.)

Милюков торжественно читал ноту. Керенский с компанией требовательно придирались, — а Милюков непреклонно отстаивал. Торговались. А Гучков — всё время молчал. Да и другие-то молчали. Ничего такого нового, особенного, в этой ноте не было.

Щурился Гучков на Милюкова и думал: чужая каменная душа. Ведь вот — понимает же он государственные интересы России, но с какой-то внешней позиции. И ничего не хочется делать с ним заодно, хотя обстоятельства так и загоняют их в содружество: вместе их поносит Совет, общие у них враги и вне и внутри правительства, — а союза между ними, и даже простой откровенности, никак не возникает. Непереходимая издавняя чуждость. Западный профессор. Даже водки с ним выпить не хочется.

Да ведь Россия всегда сверкала множеством талантливых людей — и куда ж они все делись? Как же затесался боец Гучков среди растяп и ничтожеств? За эти полтора месяца он отчислил полтора года бездарных генералов и высших начальствующих лиц и только и делал, что выдвигал талантливых.

И — никого вокруг. Одинок.

Да всю жизнь, сколько он помнил себя, — вокруг было оживлённо, многолюдно и цвело ожиданием лучшего будущего. А вот — как будто забрёл в мёртвые солончаки. Жуть берёт: никого не видно, никому не крикнешь — и ночь застигнет тут?

РОДИШЬСЯ В ЧИСТОМ ПОЛЕ, А УМИРАЕШЬ В ТЁМНОМ ЛЕСЕ

35

(фрагменты народоправства — железные дороги)

* * *

Массы солдат не хотят ехать в медленных воинских поездах, а штурмуют пассажирские. Или заставляют гнать свой воинский поезд, останавливая прочее движение на линии. Все узловые станции загромождены дезертирами. (Многие — спешат на «раздел земли»). Слоняются, грызут семечки, шелухой покрыты платформы и полы станций. Прибывает пассажирский поезд — заставляют всех пассажиров выходить, а начальника станции — пускать поезд в их направлении.

* * *

На ст. Черноводская Закавказской ж-д солдаты из эшелона № 13, недовольные тем, что их обогнал эшелон № 11,— угрозой расправы заставили дежурного по станции дать депешу вперёд по линии: задержать поезд № 11, пока не пройдёт № 13.

На ст. Глубокая заставили задержать батумский пассажирский и отправили вперёд свой.

На ст. Веймарн Балтийской ж-д команда матросов и эшелон солдат спорили, кому ехать первыми. Вступили в драку. Избили и начальника станции.

* * *

В час ночи на ст. Великокняжескую пришёл воинский поезд. Едущие с ним отпускные солдаты потребовали, для лучшей скорости своего поезда, отцепить 12 груженых вагонов с не начинёнными бомбами. Дежурный по станции пытался их увещать — угрожали убить его и разбить вокзал. Час не давали никому работать, пришлось отцепить.

На ст. Бударино Юго-Восточной ж-д солдаты самовольно отцепили от смешанного поезда 10 вагонов с крупой для Москвы, чтоб ускорить ход своего поезда. То же на ст. Мироновка: для быстроты своего хода толпа солдат заставила дежурного по станции отправить два своих поезда в неполном составе, отцепив вагоны со срочным грузом.

И на ст. Грязи солдаты вытолкнули начальника станции из телеграфной комнаты на платформу и силой заставили его распорядиться отцепить вагоны с крупой и отрубями.

Или занимают вагоны, назначенные для зерна,— и со станций зерно не вывозится.

* * *

Начальник станции Симбирск телеграфировал в Петроград в Военный округ и в Совет рабочих депутатов: «Всеми товарными и пассажирскими поездами едут солдаты. Требуют немедленной отправки, не считаясь, что идут встречные вагоны с продовольствием. Вагоны с продовольствием стоят на станциях неделями, солдаты не дают делать прицепки для их следования».

На ст. Балашов ж-д служащие отказались работать, пока солдаты будут мешать правильному движению поездов.

* * *

На ст. Ярыженская солдаты стащили машиниста с паровоза — и только заступа присутствующих удержала от дальнейшей расправы.

На ст. Алатырь солдаты силой заставили машинистов ехать без жезла на занятый однопутный перегон, где ожидался встречный поезд.

Министр Некрасов публично упомянул, что такие случаи *бывают*, и только случайно поезда не сталкивались.

* * *

Во многих местах железнодорожники стали самочинно выбирать новых начальников.

Некрасов постановляет установить за железными дорогами общественный надзор, назначать для улажения недоразумений — «общественных комиссаров». Солдатским комитетам на местах: посылать на станции и для сопровождения поездов — конвойные команды.

Но таких никто и не видел. А где появились — были бессильны.

* * *

В запёртый вагон не пускают: «Служебный, едут депутаты Государственной Думы». — «Чего на них смотреть, бей!» Разбивают дверь прикладом.

Солдаты без билетов переполняют пассажирские вагоны, разбивают стёкла, лезут в окна, и не только в 3-й класс и 2-й, уже и в нарядные вагоны 1-го. (Ещё уважают только коричневые с надписью «Международное общество спальных вагонов».) На бархатных сиденьях в купе с зеркальными раздвижными дверями — солдатские шинели, матросские

чёрные куртки. Крепкий запах сапог, а богатая сигара перекрыта махорочным дымом. Брезгливо морщится дама в шёлковом платье, а с верхней полки над ней свешиваются огромные рыжие сапоги.

Кажется — больше втесниться некуда, но на остановках снова впирает поток людей, в двери и в окна, по плечам, по головам, кто почти висит, кто лезет вниз под скамейки. Забивают коридоры, уборные, тормозные тамбуры, никому никуда не пройти. И висят на подножках, и стоят на буферах — и как-то держатся, когда поезд несётся с откоса.

Вагоны переполнены до того, что сплющиваются рессоры, лопаются оси.

* * *

В поезде, идущем на восток, с Тулы уже трудно пролезть в коридорах вагонов, с Пензы — уже и на крышах некоторых вагонов едут солдаты, с Сызрани — уже и все крыши покрыты людьми. На Александровском мосту через Волгу прилегли — но кого-то задело и сбросило на мостовой настил.

* * *

Скорые поезда Москва — Ростов забиты солдатами. Некоторые так и проводят время, катаясь взад и вперёд по линии.

На крыше — тоже сидят солдаты. Около ст. Лихая порывом ветра одного сорвало с места. Падая, он ухватился за соседей, потащил и их. Кучей в пять человек они свалились на полотно и все разбились насмерть.

И под Воронежем так погибло двое солдат.

* * *

На ст. Юрьев Северной ж-д солдаты унесли в свой вагон все приготовленные в буфете 1-го класса кушанья, с приборами и сервировкой. А в 3-м классе поломали мебель. На ст. Жмеринка солдаты изрубили шашками четырёх вагонных воров.

* * *

До революции, несмотря на войну, пассажирские билеты продавались повсюду без ограничения. Теперь, по распоряжению министра Некрасова, учреждаются на всех крупных станциях билетные комитеты — начальник станции, комендант и представитель комитета общественных организаций — для общего контроля за правильностью и порядком продажи. Такие же комитеты — и в городских кассах. У кого выезд по срочной нужде — ходатайствуют перед билетным комитетом. Носильщикам и комиссионерам билеты не продаются. (И всё равно везде началась спекуляция билетами.)

* * *

Поезд идёт из Москвы на Урал. Студент (восторженно встретивший февральские дни) едет на летние каникулы (занятия кончились преждевременно). Он — в форме своего инженерного института, и на плечах у него — наплечники с короной. Солдаты говорят ему: «А это ты, товарищ, надо снять». Студент: «Вот когда Учредительное Собрание скажет, что у нас республика, — тогда сниму корону, а до тех пор нет». И большая часть солдат в тесном кружке поддержала: «А чего торопиться? Правильно».

* * *

На Волге и Оке открылась навигация. Солдаты безобразят, как и на железных дорогах: сажаются толпами по всем классам, дают пароходам направление, какое им угодно, реквизируют продовольственные грузы.

* * *

В Вологодском порту партия солдат в 50 человек захватила пароход, назначенный идти вверх по Сухоне к Кубенскому озеру, — не дала грузить и сажать пассажиров, а велела гнать судно вниз по Сухоне к Тотьме. А оттуда — к Устюгу.

* * *

В Калужской губернии местами нет хлеба. Крестьяне партиями отправляются в Тульскую закупать хлеб. На станциях отказываются от них принимать на погрузку. Тогда мужики, угрожая громить всю станцию, сами грузят своё в вагоны.

* * *

На ст. Голышманово под Омском крестьяне нескольких отдалённых волостей, иногда больше чем за тысячу вёрст, привезли в марте по снежному пути 8400 пудов зерна «в дар Новой России». Сложили его временно в плохо закрытом помещении — но и до конца апреля не нашлось вагонов для отправки. И хлеб стал мокнуть и преть под весенними дождями.

* * *

Докатилось и до дальних станций Китайско-Восточной ж-д: убийства и разгром базаров. Какие-то «делегаты» арестовали нескольких начальников станций.

* * *

На ст. Тафтиманово солдаты проходящего поезда пренебрегли заявлением начальника станции, что следующий перегон занят санитарным поездом. Велели и свой гнать туда же. «Закрывает семафор» — для солдат непонятные слова.

В Арзамасе толпа заставила начальника станции выпустить по недостроенному пути паровоз с вагоном-теплушкой, куда солдаты и уселись. Разжиженное весенними водами полотно дороги осело, вагон сошёл с рельсов и стал поперёк пути. Солдаты поехали на паровозе дальше по испорченному пути, затем захватили дрезины и покатали на них.

* * *

На станционной платформе подле поезда стоит дед в лаптях и азяме, с тяжёлой корзиной в руках, не пытается и тискаться в поезд через эту драку. А солдаты лезут и на площадку и по межвагонным дужкам на крышу. Дед им:

— Ироды! Куды прёте? Россию погубите!

Смеются солдаты сверху:

— Расеи нам хватит, дед!

* * *

На ст. Инза солдаты растерзали сопровождаемого в Симбирск арестованного помещика Гельшера, старейшего мирового судью: в толпе пустили слух, что он шпион и хранил бомбы.

* * *

На ст. Грязи солдаты потребовали переоборудовать свой состав. Пока велись работы — к ним подошла беженка и пожаловалась на местного священника отца Богоявленского: что недодаёт пайков. Солдаты вызвали священника на станцию, сперва издевались над ним, потом избili до потери сознания. И он скончался.

* * *

На ст. Стакельна толпа солдат с остановившегося воинского поезда напала на начальника станции Щавинского и жестоко избил его за задержку поезда на 30 минут из-за скрепления поездов. Щавинский (в 1905 — глава забастовки псковского узла) скончался от побоев.

* * *

На ст. Тыловая Юго-Восточной ж-д партия проезжающих солдат не дала гасить пожар вагона с сеном, арестовала железнодорожного служащего, руководившего тушением. Округлила начальника станции, не давала и ему делать распоряжений, кричала: «Бей железнодорожников!»

ТЕМ ДОБРО, ЧТО ВСЕМ РАВНО

ДОКУМЕНТЫ — 13

18 апреля

ГЕРМАНСКАЯ СТАВКА — БЕРНСКОМУ ВОЕННОМУ АТТАШЕ ФОН-БИСМАРКУ

Его превосходительство генерал Людендорф указывает, что через Германию будут пущены только такие русские, которые не враждебны нам.

18 апреля

АТТАШЕ ФОН-БИСМАРК — ГЕНЕРАЛУ ЛЮДЕНДОРФУ

Только такие русские будут отправлены, которые действуют в пользу мира.

И вдруг в субботу, 15-го, по всему образованному Петрограду пополз слух, что Милюков — уходит из правительства! И настолько это было ошеломительно и невероятно, что ни одна газета не посмела подхватить. Но и настолько же все-таки широко, что «Новое время», нащупывая свою новую роль при новом режиме, на другой день напечатала решительное опровержение. (С намекающей оговоркой, однако, что в ближайшее время Временное правительство *обсудит вопрос о международных отношениях.*)

Дожил Павел Николаевич! — «Новое время» его поддерживает...

И откуда ж это потянуло? Да от Керенского конечно. И от его мутных дружков Терещенко — Некрасова. Может быть, и от болтуна Владимира Львова. Вечером 13-го Милюков только угрозил, что подаст

в отставку,— и уже утром 15-го болтает весь Петроград. И чего стокуют эти министры? И чего стоит это всё правительство?

Да самой тяжёлой частью министерствования и было для Павла Николаевича — изнурительное сидение на ежедневных (а то ещё и ежевечерних) заседаниях кабинета. Такую интересную достройку своего кабинета он вёл — создание экономического и правового департаментов (а никого в министерстве не сменял с постов, цена заведенную традицию, и Нератов оставался главной работающей силой), важнейшие и осмысленные переговоры с послами,— нет, ото всего этого надо было отрываться, и приезжать сюда отсиживать часы и часы. (И кто серьёзно работал у себя в министерстве — все приезжали вот так же, через силу.) Да все они, кроме Милокова, занимались политикой внутренней,— а внутренняя политика, при всей ее динамичности, не была сейчас ведущей. Всякие эпохальные реформы — медленное долгое дело, и решать-то будет Учредительное Собрание. Не здесь требовались в конце войны поворотливость и смысл — а в политике внешней. Вовремя не заняв правильной позиции, вовремя не захватив, не оговорив своей национальной доли,— потом не наверстать и годами работы всей страны.

Как будто разрабатывали важные проекты, вот просидели весь субботний вечер и ночь,— разбирали, вникали, утверждали по пунктам — как будто три важнейших закона: о правилах муниципальных выборов, об организации милиции и устройстве полковых судов. Но суды были вынужденной и глупой демагогической мерой, муниципальные выборы не обещали состояться раньше конца лета, только милиция, действительно, уже припекала, потому что грабежами и бесчинствами трясло и столицу и страну. Но как могла справиться та милиция, если всё соединённое Временное правительство вот уже второй месяц только и умело по каждому случаю выпускать Воззвание — умоляющее, а то и почти слезливое? Захватывают типографии, силой закрывают издания? — пусть пострадавшие жалуются в суд. (А сами-то суды распались.) На заводах арестовывают уже не только русский, но и иностранный технический персонал? Воззвание. И под каждым же возванием, настаивал мягкий князь, должен подписаться каждый министр. А Некрасов придумал: всем депутатам всех местных советов оплачивать время заседаний за счёт работы. И по управлению почт и телеграфов — оклады «усиленные» и «особо-усиленные» (а телеграммы доставляют откровенно). По отношению к кому Временное правительство было непреклонно твёрдо — только к помещикам и к эмиру Бухарскому (хотя, задабривая, он и пожертвовал полмиллиона рублей.) За Некрасовым сразу Коновалов, Керенский, Щепкин — стали просить по 10 и по 25 миллионов на повышение окладов, единовременные пособия и разные добавки в своём ведомстве. И — все сразу получали. И уже — становилось неудобно перед подчинёнными тому министру, который не выпросил добавки для своих. Так что пришлось и Милокову просить. (И дали.) Потом, начиная с Коновалова, да даже и Львова, началось соревнование — добавлять товарищам министра, и всем жирный оклад. У царских было по два товарища, а тут стали конфигурировать по три, по четыре и даже по пять. И уж конечно, Мануйлов тоже тянул себе четвертого: пойдя попробуй справься с народным образованием! А в начале апреля пришлось обсуждать: что Государственная Дума за штурмом правительства не успела утвердить бюджет 1917 года. И — как теперь угадать его границы? Если по прошлогоднему, то далеко-далеко не помещаемся, и думать нечего. (Теперь и всех дворцовых и удельных служащих надо было оплачивать, которых раньше оплачивал царь.)

Но Милоков просиживал все эти дразги с каменно-презрительным видом, не вмешиваясь, не споря. Во-первых потому, что знал он хорошо: Россия — безмерно богата, и нескоро, нескоро её растра-

тишь. А во-вторых — всё это перекроется успехами армии и дипломатической игрой на полях зелёного сукна, — только бы Павлу Николаевичу не помешали провести эту игру как надо. И он — не возражал, не задевал, когда две пятых всех постановлений кабинета были — учреждение всё новых и новых комитетов и междуведомственных комиссий, уже надстраиваемых в 2—3 этажа. И когда же ждали чего-то и от министерства иностранных дел, то и он выдвигал: то посылку миссии в Соединённые Штаты по финансовым вопросам, то — представление греческому правительству, что по договору 1867 года приданое королевы эллинов не должно быть обращено в казну. (И это не самое тут было мелкое: попадало в протоколы и что некий свободный художник дарит Временному правительству небольшой участок земли.)

А уж в полноте всё опасное неравновесие момента коллеги Милюкова не усваивали, не понимали, — только он один. На чашу разрушения начинал давить неожиданный веский груз — на заседаниях кабинета о нём ещё не говорили серьёзно, а Милюков каждый день наблюдал за ним почти с ужасом, как он растёт и грузнеет: национальный развал империи.

Уж не говоря о Польше. Хотя её непомерные претензии из подчинённого королевства сразу обратиться в великую державу, прихвата побольше русских земель, всегда коробили и скребли Милюкова, едва оставляя ему сохранить либеральное выражение физиономии, — по польскому вопросу он приготовился неизбежно уступить, уже не удержаться на автономии, как прежде стояло в кадретской программе, тут давили и симпатии союзников. Но Финляндия? — надо сказать, осыпанная и царскими льготами, им даже нет примера в истории государств, и она же возведенная в любимую стацию всем Освободительным и революционным движением. Провозглашение финской автономии и другие великодушные акты Временного правительства были встречены там совсем холодно. Уж финны имели свободный промысел и торговлю по всей России, чего обратно не имели русские в Финляндии: русский врач, учитель, ремесленник терял там права своей деятельности, русские не имели и прав государственной службы, да даже меньше прав, чем любой иностранец, у которого была консульская защита. Оберегалась финская валюта, освобождены они были от русской воинской службы, русская полиция не имела на финской территории прав задержания и расследования, — и всё это финны выставляли (а Освободительное движение не имело выбора не поддерживать) — как насилие некультурного русского народа над свободолюбивым культурным финским. Во время войны финская молодёжь вербовалась к немцам, взрывала наши мосты и склады вооружения, — и это тоже мы, с кислотой, рассматривали как союз с нашим Освободительным движением. Но сегодня?! Финляндия проявляла открытое недоверие к русской революции, финская печать призывает свой сенат самому расширить свои полномочия, не смотря на Временное правительство, добиваться не автономии, а полного разрыва связей с Россией. Ещё во всём мире русский рубль или крепко стоит, или после революции поднялся — в Финляндии в первой он стал падать. Но ещё крайний вызов: Финляндия не переняла от России закона о еврейской равноправии, не дала евреям права жительства у себя, ни — свидетельствовать в суде, и даже сегодня высылала евреев — и никак не удавалось образумить.

Но Украина? Десятилетиями же русское Освободительное движение горячо поддерживало всякий украинский протест, не вникая в подробности и разбирательства, ибо считалось голезным всё, что раскачивает самодержавие. С первых же мартовских дней Временное правительство одобрило и преподавание на украинском языке, все меры восстановления культуры, стали даже уступать созданию отдельных украинских полков. хотя же это — развал Действующей армии. И в Киеве, Харькове и даже в Петрограде проводились украинские манифестации, сперва — широкая автономия, но поддерживать Временное правительство и ждать санкции Учредительного Собрания, а пока переводить школы на украинский язык, да прежде всего готовить самих учителей, потому что и из них мало кто может учить украинскому. Да всюду вешали портреты Шевченко вместо царских. Но дальше быстро перекопилось. Собрание киевских юнкеров постановило, что все полки, стоящие на территории Украины, должны комплектоваться исключительно из украинцев, и в киевском военном училище обучаться только украинцы, — это прямо в тылу Юго-Западного фронта! Уже звучало на митингах: установить украинскую автономию, не ждя Учредительного Собрания, а собрать своё украинское Учредительное! И не Временное правительство посмело тому возразить, и не Брусилов, но киевский Совет рабочих и солдатских депутатов: нож в спину? распустим штывами!! И даже социал-демократы не признали за каждой национальностью, за каждой частью государства права отдельно себя устраивать. Грушевский, Винниченко пятились, извинялись. Но немногими днями спустя требования с Украины размахнулись ещё шире: территория будущей Украины потянется от Гродненской губернии и включая Кубань, только что пока не требуют Крым. А когда открылся десять дней назад украинский съезд в Киеве, то там уже требовали и южный берег Крыма. Их съезд колебался, не объявить ли себя учредительным собранием Украины. Во всяком случае, если Россия не станет федеративной — то полная

независимость Украины. Постановил создавать по всей Украине украинские легионы. Избрал Центральную Раду — как будто пока для разработки автономии (эсеры торопили: автономию берут, а не дают! снизу, а не сверху! немедленно!), но уже предлагалось и считать Раду своим временным правительством. И чтоб Украина была особо допущена на будущую мирную конференцию. И уже в самом Петрограде создан украинский национальный совет — и он выделил пятерку для сношения с Временным правительством (ещё одна контактная комиссия?) — и потребовал, чтоб отныне во всех комиссиях и комитетах, создаваемых правительством, состояли бы представители Украины, тем временем Рада призвала создать прочный союз всех народов, требующих автономии (то есть союз против Петрограда). А по слухам — уже послали делегатов на Дон, Кубань и Терек, сливаясь с ними со всеми. Ещё не говорили прямо: только отделяться! — но и Милюков не ученик в политике. И когда же этот украинский сепаратизм успел вырасти? — общественность и не заметила. Мы от души поддерживали их культурную автономию — а они выросли вот какими? И так ое сотрясение — во время войны, не ожидая часа??

Да что! Требования автономии разносятся как эпидемия! Мы уже слышим о них каждый день и отовсюду. Местной автономии требуют эстонцы, иркутские и забайкальские буряты, молдаване, латыши, грузины, литовцы, крымские татары, хивинцы, бухарцы. Только, кажется армяне единодушно решили не выступать с национальными лозунгами. Чечены в Грозном готовят съезд вместе с казаками, — что там объявят? Казанские татары настаивают: создавать отдельные мусульманские полки. В Астрахани образовался центральный калмыцкий комитет. Создан Туркестанский комитет и — Закавказский (в тылу фронта, не спросясь, Ставка и правительство узнали из газет). И все сразу — на расширение. Литовцы обозначили свои губернии с избытком против поляков. Зайсанские киргизы хотят удалять русских из степей, отбирать землю у переселенцев. Грузинские национал-демократы требуют удалять из Грузии всех пришельцев. Белорусы требуют — отдельного учредительного собрания, краевой сейм, краевой бюджет, в Петроград прислали делегацию вручать правительству свои постановления. Но, пожалуй, более всего потрясло Милюкова, что и в Иркутске уже выработали готовую сибирскую конституцию: мол, сибиряки — это отдельный культурный тип, уклад их отличен от русских, экономически они в противоречии с Россией, эксплуатирующей их богатства и территорию, закрыть переселение в Сибирь, объявить автономной областью со своим законодательством, создать свою исполнительную власть, ответственную перед своей думой. Оставить русскому правительству только войну-мир-договоры, монету-почту-телеграф.

Ничего подобного не предвидели от падения самодержавия лучшие умы Освободительного движения, и Милюков среди них — тоже.

Однако — тактичность и выдержка. Нельзя ни печатно, ни публично выразить своё негодование: такое время, что будет принято как зажим свободы.

Своим высоко развитым государственным сознанием Милюков понимал, что сейчас этот процесс развала может остановить только победа России в войне. А потому верность союзникам была сейчас не только долгом чести для России, но расчётом государственного спасения.

Неожиданно и невидимо — мантия имперского наследия тяжело осела на плечи либерального профессора Милюкова.

Но ничего этого не понимали — ни члены правительства, ни тем более в Исполнительном Комитете, ни тем более оголтелые приехавшие западные социалисты. И от Милюкова требовали и ждали: ноту! ноту! ноту союзникам о задачах войны! Мол, декларация 27 марта — это документ внутреннего употребления, а надо посылать ноту. И услужливая «семёрка» министров уже пообещала Исполкому такую ноту. И теперь на кабинетских заседаниях сгущалось давление.

Motu proprio — Милюков такую ноту ни за что бы не посылал. Но вот видно: не уклониться.

Но — какую же ноту? Павла Николаевича и без того жгли чрезмерные уступки и в той декларации. Хотя, по совести признать, он развил там освободительную идеологию войны, действительно тождественную с идеологией российской революции, — но в государственном смысле уже недопустимо соскользнул.

Однако ещё никто легко не клал Милюкова на лопатки, крепость стояния у него была выше сравнений. Писать теперь принципиально новую ноту — он отказался. Самое большое — это послать союзникам ту декларацию 27 марта (до сих пор они не обязаны были её знать), — ну, и с нотой сопроводительной. Но даже и такую ноту — без каузального основания не пошлешь. Ну, можно придумать такой повод

(для целей Милюкова удобный): вот, распространились слухи, что Россия готова заключить сепаратный мир, так мы вот...

Министры согласились.

Но предстояло и их на этой ноте провести, не говоря уже о советских. А союзников, напротив, заверить в нашей твёрдости, гарантировать войну до полной победы.

Итак, начать с опровержения сепаратного мира. Ничего, конечно, подобного. Рассылаемое при сём воззвание 27 марта ясно показывает, что взгляд Временного правительства вполне соответствует тем высоким идеям, которые постоянно высказывались выдающимися деятелями союзных стран, и особенно ярко — президентом Великой Заатлантической республики.

Для союзников-то — очень ясно: наш взгляд не отличается от вашего. Но — слишком ясно и для Совета. Нет, тут надо уравновесить демократическими лозунгами: освободительный характер войны... мирное сожительство народов... Это — всем приятно и никому не мешает.

И полезно ещё раз боднуть правительство старого режима, которое не было бы в состоянии усвоить и разделить эти мысли. Но — Россия освобождённая сможет в настоящее время заговорить языком, понятным для передовых демократий современного человечества.

(Однако — попробуй этим языком заговори...)

...А поэтому — Россия спешит присоединить свой голос к голосам своих союзников.

И как будто бы — ясный намёк? А пойдй придержи.

Нет, намёк недостаточно определёнен. Ни Бьюкенен, ни Палеолог не останутся довольны. И Лондон и Париж хотят слышать весомое, точное, несомненное обязательство. Но как его выразить перед разъярённой мордой Совета?

...Разумеется, заявления Временного Правительства не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлечёт за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе...

Вот это, кажется, удалось! Дело не в нашем правительстве, пусть империалистическом, но сам народ того хочет — победы!

...Всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось от переворота... И особенно оно сосредоточено на близкой и понятной для всех задаче — отразить врага, вторгшегося в пределы нашей родины... Борьба стала общепонятной...

Ответственность, разложенная на всех. Отлично.

Но, увы, этого мало. И Ллойд Джордж, и Клемансо, и теперь уже Вильсон со своих демократических вершин безжалостно пытали Милюкова огненными взорами: мало! Надо — отчётливо! Вы — остаетесь ли верны союзным обязательствам?

И весь разум, весь смысл — навстречу: конечно же! да! неужели вы не верите в нашу демократию?

Но перо — отяжелело фунтов на двадцать, двумя руками не проведёшь его вертикально.

...Временное правительство, ограждая права нашей родины (но это же — всё-таки смягчает?) будет соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников...

Или нужно: вполне соблюдать?..

Как-то надо изошряться, ещё в новой обещательной расплывчатости исправить неудовлетворительную расплывчатость 27 марта.

И день, и другой мучилась Павел Николаевич над нотой. Да ведь не одна же эта забота. И в воскресенье — особенно покоя нет: по воскресеньям-то — все публичные выступления, надо ехать. Днём в Благородное собрание, митинг в поддержку Займа Свободы, каждый министр обязан. Тут кстати и американский посол. Вот и к месту выразить удовлетворение, что к Союзу Согласия присоединилась старейшая демократия... Готова помочь нам и золотом, которого много

у них накопилось, и паровозами. Перед лицом такой помощи и Россия не должна ударить лицом в грязь. Но мы должны базироваться в первую очередь на своих средствах.

В эти недели — столько речей, и надо же каждую как-то сплести оригинально.

Тут подносит пышному залу и Терещенко: что торгово-промышленная Москва решила отдать на Заём 25% основного капитала.

Даже трудно поверить: четвёртую часть всего богатства — отмазывают московские купцы?..

А в эти же дневные часы, к вечеру, узнаётся: в Морском корпусе был пленум Совета рабочих депутатов, и тоже — о Займе. И постановили: Займа пока не поддерживать, отложить на несколько дней — как поведёт себя правительство, оно обещает в три дня отказаться от завоевательных целей.

Вымогают — отказ от «аннексий и контрибуций». Вымогают — измену союзникам.

И вот — подбирай выражения ноты...

А воскресный вечер требует дальше — в театр Лин, на литейное районное совещание кадетов. Здесь обстановка — своя, дружественная. Тёплое доверие парит из зала с выключенными лампами, свет на сцене, из полутьмы сверкают глаза — и Милюков говорит им, как единственно верно и понимает:

— Вина за войну — на Германии, от кайзера до социал-демократов. И опасная иллюзия рассчитывать на их социал-демократию, что она откликнется на призыв к миру. Теперь у нас народоправство, и мы можем подать голос: в Циммервальде почти не было социалистов союзных стран.

— А куда причислить Ленина? — кричат с места.

— Я не хочу сказать худого о Ленине. Я видел его один раз в жизни, и он произвёл на меня впечатление фанатика. Я верю, что он действует добросовестно. Не знаю, можно ли сказать то же самое о его последователях. Но его деятельность вредна. Однако вы, конечно, не потребуете от нас, чтобы мы боролись против Ленина методами старого режима. Нельзя призывать к насилию над словом и убеждением.

(Хоть бы и можно было — а какими силами выгнать его от Кшесинской? как заткнуть ему рот? Таких сил у Временного правительства нет.)

— Пропаганда скорого мира служит только на помощь немцам. Это лето должно решить исход войны, Германия истощена. Но не она просит мира — за неё, вот, приходят просить другие.

Так, про себя мучительно составляя ноту, а вслух убеждая публику, и подвигаясь к диспуту с коллегами-министрами, — в понедельник, вчера, раскрыл Милюков газеты — и ахнул. Он и забыл совсем, что одним воскресеньем раньше, по дороге из Москвы, в вагоне, имел неосторожность поговорить с корреспондентом «Манчестер Гардиан», а тот на прошлой неделе напечатал. Но не скоро бы узналось в России, если бы не было в Лондоне корреспондента «Биржёвки», и вот одна она выхватила и жирно напечатала:

«РУССКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОЛИВАМИ».

Ах! Ты балансируешь в сантиметрах, а в тебя швыряют двухпудовое чучело.

Вопрос: о южных славянах в Австрии. Ответ: только независимость славян единственно удовлетворительное решение. Вопрос: может ли повлиять декларация 27 марта на будущность Константинополя и проливов? Ответ: Россия должна будет настаивать на своём праве закрывать проливы для прохода иностранных военных судов. А это возможно в том случае, если она получит господство над проливами и возможность укрепить их. Вопрос: а не полагаете ли вы,

что Соединённые Штаты будут возражать против такого решения? Ответ: мы истолковываем заявление Вильсона в том смысле, что Соединённые Штаты не против господства России над проливами... (А Вильсон-то, видимо, как раз и против.)

Alia jacta est! — и что ж теперь балансировать. Карты открыты, и надо иметь мужество стоять за свои убеждения. Так и писать: ...продолжая питать полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны в полном согласии с союзниками...

Надо выбрать одну сторону — и на ней стоять. Недопустимо дать поколебать союзные отношения. Недопустимо уменьшить или ослабить русскую долю в итогах войны — особенно теперь, когда война кончается.

И на закрытое заседание совета министров о ноте настроился Милюков несокрушимо.

Заседание устроили — в довшине, у Гучкова. Такой важный вопрос, что должны присутствовать все, а Гучкова уже вторую неделю не видели в Мариинском. Итак, поехали все к нему.

Он вышел к ним из спальни слабым шагом. Поздоровался, не с каждым за руку, — поклонился общим поклоном и опустился в откинутое кресло. Ослабление сердца, шалило оно давно, — а выглядело так, что вот он среди них первый подкошенный, раненный.

Смотрел Павел Николаевич на его тяжёлое хмурое лицо с сожалением и глубоким неодобрением. Никогда Гучков не был друг, никогда союзник. (Когда Милюков после американского турне вошёл в Третью Думу — то большинство сразу встало и вышло, в протест против его американских свободных речей, — и Гучков же вышел из первых.) Но в такие-то недели, на таких-то вершинах — могли бы объединиться. Только Гучков тут ещё и понимал как следует, что такое проливы. Как бы они выстояли вдвоём! — совсем иначе направили бы правительство. Да не только не поддержал Гучков союза — он и своего-то места не удерживал. Вот тебе и знаменитый дуэлянт. От пессимизма ослабилась его воля.

Как и ожидал Милюков, бой против семёрки и за мозги остальных — не был лёгок. И прежде всего атаковали проливы, что это отрывка старого славянофильства. (Милюков — и славянофильство!..) Не поспешил объяснить им вопрос в полноте.

Недобросовестно смешивать мои взгляды на проливы со славянофильскими. Я настаиваю не по шовинистическим мотивам, и вопрос о самом Константинополе для меня второстепенен. (Хотя не забудем, что турками — он просто захвачен, он никак не их.) Но: нам нужен выход в море для экспорта продуктов нашего Юга. И: мы должны обеспечить себе лёгкость защиты Чёрного моря. Проливы нейтрализованные (как уже публично соглашались Керенский и Терещенко) этого не обеспечивают: нейтральные проливы могут легко захватить — они открылись бы для чужих военных судов и, значит, в Чёрном море придётся держать постоянные большие силы. Нынешнее турецкое владение проливами — даже лучше, чем нейтрализация. Но в Константинополе сегодня — уже Германия. Так что истинная постановка вопроса: будут ли проливы германские или русские? И взятие нами проливов должно стать совершившимся фактом ещё до мирной конференции, иначе мы их не получим.

Затем дискуссия об «аннексиях и контрибуциях», левые министры легко и бездумно переняли этот левый (на самом деле германский) лозунг. Объяснял Милюков терпеливо. Отказ от «аннексий» есть отказ от перестройки Серединой Европы и Балкан, и для Англии он даже лёгок, ибо у неё там нет интересов, она вон спешит захватить Месопотамию и Палестину, а Россия пусть хоть и ничего не получает. К чему весь этот лозунг? — чтобы Россия освободила союзников от обязательства отдать нам проливы? Ну что ж, они охотно пойдут на эту жертву. Отказ от «аннексий» может ускорить заключение бли-

жайшего мира, но не даст Европе мира длительного. И почему же Россия должна стать жертвой отрицательных сторон революции, чтоб её жизненные интересы ослабились? И неужели отказ от прав России вызовет подъём духа в войсках?

Керенский (даже голоса его пронзительного Милюков стал не выносить) настаивал, что если уж не включать «аннексий и контрибуций», то во всяком случае — «самоопределение угнетённых национальностей». Милюков сразу его поймал: согласился. (Это же оно и есть: перестройка Серединной Европы освобождение западных и южных славян, трансильванских румын, заодно эльзасцев и армян, и ужатие наших противников). По незрелости своего ума Керенский не додумал, что «самоопределение национальностей» как раз и потребует «аннексий», — а как же им иначе выделиться? (Это победа: «не преследовать захватных целей» — оставляет Милюкову больше свободы действий.)

Придирался Керенский и к другим выражениям, предлагал свои исправления — но хуже, это чувствовали даже его сторонники. Тогда стал ломить уже что-то совсем несуразное: чтобы в этой ноте обратиться не столько к правительствам, сколько к демократическому общественному мнению западных стран. Министры застеснялись. Князь Львов глупо улыбался. Чёрный Львов глупо каменел. Но Милюков, мастер компромисса, блистательно нашёлся, соединить с навязанными ему Альбером Тома «гарантиями и санкциями, которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем»: «проникнутые одинаковыми стремлениями передовые демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые...»

Так — и Тома сохранился (важно иметь его в сторонниках ноты), и Керенский удовлетворился, — и как будто всем пришлось.

И ещё же убеждал Милюков министров: да может только благодаря войне у нас всё ещё держится, а то бы рассыпалось. (Министры, по согласию, уже пустили слух в несколько уст: если мы нарушим союз — Япония объявит нам войну и нападёт с Владивостока.)

И получилась нота, незаметно, покрепче Декларации. *Vivat*, Милюков!

Но момент — исторический. И предусмотрительно не исключая неприятностей впереди, Милюков внушительно отметил: что, стало быть, правительство в полном составе согласно целиком с данным документом — и берёт на себя ответственность за его содержание?

Кто молчал, кто кивал. Не нашёлся возразить и Керенский.

Принято.

Оставалось решить дату опубликования. Дни стали все какие-то текущие: это воскресенье 16-го Совет постановил всем работать и служить, а этот вторник 18-го — праздновать по новому стилю интернациональное 1-е мая, чтобы в один день со всем Западом (хотя и в этом году на Западе его не праздновали, воюя по-серьёзному). С Советом не поспоришь. Но может быть и красиво: эту ноту как раз и пометить 18-м числом? Однако по той же причине 19-го не будет газет. Ну, значит, опубликуется 20-го, а через дипломатов потечёт раньше.

Так ещё лучше!

В общем — выстоял Милюков. Не обидел союзников, не расторг Согласия!

18-го погода была совсем не праздничная — серое небо, резкий пронзительный ветер, ни весна, ни зима. Редко проглядывало через облака кислое солнце. Небезынтересно было бы Павлу Николаевичу посмотреть это народное скопище — но какая-то скованность, неловкость перед большими толпами, да и опасность (да и память, как унижительно задержали на похоронах), — нет, министрам не место в этом кишеньи, а Павлу Николаевичу особенно. Остался дома. Да уже накануне из своего министерского кабинета на Певческом он мог любоваться по верху Зимнего дворца: «Да здравствует Интернационал».

А сегодня с интересом собирал сведения по телефону, и всех просил звонить ему. И жена Анна Сергеевна ходила посмотреть, рассказывала. И заходили коллеги-кадеты.

Говорили, что уступает похоронам, но больше полустолицы на улицах. Трамвайного движения нет, не выехали извозчики, закрыты все магазины и рестораны. По всем мостам, по всем улицам стекаются к центру (да и под окнами, по Бассейной, валили), множество красных флагов, ни одного трёхцветного), на мостах еле удерживаемых против ветра. Но удивительно, что порядок идеальный: колонны послушно маневрируют, пересекаются, отступают, идут параллельно, ни одного несчастного случая. Весь Невский — лес красных флагов и плакатов, на углу Садовой — вообще не пробиться. Везде много военных оркестров, но сами воинские части организованно не маршируют, а солдаты шатаются группами и одиночками. Продвигаются через толпу грузовые автомобили с ораторами на платформах. (Но всеми платформами овладел Совет, а кадетским ораторам не дали ни одного места...) Больше всего платформ пошло на Марсово поле, там — центр митингов, и выступают все лидеры Совета, но Ленина нет, а большевиков много. А и повсюду: кто только влезет повыше, крикнет «товарищи» — уже толпа и митинг.

А — что говорят ораторы? О внешней политике что?

Например, на Мариинской площади — анархисты-коммунисты, чёрный флаг с красными буквами, кричат всякий бред: скорейшее окончание войны, захват всех земель, уничтожение всех частных собственности, не верить Временному правительству и всем буржуям...

Да это вздор. А где ещё?

У самого Мариинского выступал Стеклов. И с балкона «Астории» речи. И на Дворцовой. Прекращать войну — увы, во многих местах. Но толпа спрашивает: а как прекращать? Ораторы ответить не могут. Надежды на братство народов, что германский очнётся... Несут плакаты — «Требуем немедленного вскрытия союзных договоров!» (Ого...) «Заводы Обуховский и Путиловский! возьмите дело мира в свои руки!» (Ослы...) А то: «Буржуев — в окопы!» (Травля начинается...) То подсаженный на памятник инвалид произнёс речь против братания с немцами. Офицер на Дворцовой: «Нам не нужно чужих земель, но проливы нам нужны. Вопрос о Дарданеллах — более сложный, чем нам кажется. (Умница.) То генерал выступает, то солдат, то женщина в красном платочке. Больше всего споров везде — об аннексиях и вокруг ленинцев. Ленинцы из кожи лезут, подвижны, десятки автомобилей, и самых шикарных, наворовали, везде выступают, но успеха не имеют. Против Ленина многие резко говорят, об остальном — миролюбиво.

Оказывается, всё было не страшно. И обидно самому не послушать.

А тут ещё новые сообщения. Красочно! По Невскому на огромном грузовике плывут несколько десятков человек в разных национальных костюмах. Экзотическое шествие мусульман, всех поразило: татары, сарты, таджики, солдаты-магометане, в тюрбанах, тягучие песни, на красных знамёнах — белый полумесяц с белыми звёздами, надписи по-арабски. Очень их все приветствовали. На бундовских знамёнах — по-еврейски, и митинги их по-еврейски, и песни. Шли отдельно украинцы, поляки, литовцы, белорусы. У всех свои хоры. (Опять, опять разделяются по нациям, это тревожно.) Портнихи несут: «Цените труд иглой. Союз петроградских швейцаров: «Долой чаевые!» Амнистированные уголовники: «Дайте нам скорее паспорта!» Дети лет пяти-шести: «Дайте трёхлетнюю бесплатную школу и республику».

По всему видно — это и до вечера не кончится. И очень почему-то захотелось Павлу Николаевичу самому посмотреть. Казённый автомобиль — во дворе, наготове. Надел демисезонное пальто, мягкую

шляпу — поехал. Через Невский — нет, нельзя ему. И Марсово поле — неприятно, обойти. Пробраться по Надеждинской, Кирочной, Сергиевской — а там по набережным.

После схода снега никем не поправленные петербургские мостовые — сплошь в ухабах, езда такая — тряханёт и сустав вывихнет. (Кадет князь Оболенский вот так в автомобиле на ухабе выбил плечом оконное стекло.) Но сегодня — тихо ехать, быстро и не проедешь.

А поют плохо — нет ни своих песен, ни гимнов. Несут красные флаги — а поют пошленькую песенку немецких гусаров. Но два раза встретил плакаты: «Долой Ленина!», порадовался. А то: «Гряди вперёд, народ державный! Будь славен в мире и в веках!» А грузовики-то тащатся забрызганные в грязи. Наверху — наряженные рабочий с молотом и крестьянин с серпом.

Марс-Суворов обвешен красными флагами, Мраморный дворец, казармы павловцев — в гирляндах цветов. Всё Марсово поле грозно-чёрно-красное, сто тысяч народу и тысячи знамён. Объехали благополучно.

А Нева — как будто снова сковалась, снова лёд хватает у берегов, а посредине проносится рыхлый.

Юнкера. И что ж несут? «В борьбе обретёшь ты право своё» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ну, навоюем мы с такими юнкерами.

Под огромным красно-зелёным флагом — митинг: «Товарищи, записывайтесь к нам! Гнусное царское правительство преследовало свободных эсперантистов, потому что у нас — равенство и братство...»

Ехал Павел Николаевич в открытом автомобиле, но с надвинутой шляпой, поглядывал из-под полей. А на Английской набережной — встречная толпа солдат, правда не вооружённых, ёкнуло сердце: узнали!

И сразу — поперёк дороги, остановили машину. Недружелюбно кричали:

— Милюков!.. Вот он!.. Попался!

Но, к счастью, превалировало сегодня настроение мирное, не бой же был. Да и Павел Николаевич на самом деле — десятка неробкого. Не стал укрываться и отговариваться, а поднялся в машине в рост как оратор, будто того и ждал, снял шляпу на сиденье, обнажил седину. Очки прочно сидели на ушах. И бесстрашно глядя на сердитых солдат, скрестил руки (не любил он дешёвого жестикования) и обратился к ним с речью. Спокойно.

— Товарищи! Старая власть своими бюрократическими приёмами не могла добиться единения страны. Но сегодня вы видите это единение в торжественном народном празднике. Первое Временное Народное Правительство работает, не покладая рук. Но ему необходима ваша поддержка. Враг близок и надеется нанести сильный удар по революционному Петрограду. И мною получена секретная телеграмма, что немецкий штаб рассчитывает не столько на силу своих армий, сколько на то, что русская свобода потонет в анархии. Мы настоятельно призываем всех вас — объединиться вокруг Временного правительства...

И ещё так поговорил — толпа стихла. Два-три голоса что-то одобрили. И пропустили автомобиль.

Сошло. А — неосторожно было ехать.

Свернули с набережной — да не подумавши попали на Театральную площадь. А там-то — и митинги. Хорошо что остановились на самом краю, за спинами. От консерватории к Мариинскому театру был перетянут длиннейший плакат: «Стократ священ союз меча и лиры, Единый лавр их дружно обвивает». У памятника Глинки с помоста, обтянутого красной бязью, какой-то интеллигент произносил речь к рабочим, какой гнёт переживали при царе императорские театры и всё русское искусство. Но не дав ему договорить, отгораживая его

от толпы — спереди него втеснился грузовик, где стояли матросы и штатские. И кто-то из толпы, узнав, крикнул:

— Германская братия приехала!

А маленький юркий штатский с грузовика, не смущаясь, сразу взялся за речь:

— Буду говорить о министрах. Двенадцать министров — как двенадцать апостолов. Но среди них жё есть Иуда.

Милюков охолодел.

— ...Кадеты говорят, нам некем заменить их? Но мы и из народной среды наберём двенадцать...

Так похолодел, что не слышал его речи дальше.

Но из толпы тому стали кричать враждебно.

Он кончил:

— Прощайте, черносотенцы! Ещё увидимся!

И грузовик пошёл, раздавая толпу.

*Нам памятен бюджет Семнадесятый год,
Да здравствует наша свобода!*

(из песни на первомайском шествии в Петрограде)

37

10 апреля, в сороковой день смерти Дмитрия, отслужили панихиду в Лавре и в тот же вечер выехали с Лили из Петербурга. До Москвы ехали в международном довольно прилично, хотя коридор был набит сидящими. Следующий день в Москве прогостили в доме Шереметевых на Воздвиженке, тут уж наговорились. Вся Россия расплывается как тесто из квашни, вывернутой на пол. А собирать его — хотя Воззваниями. Это правительство ещё ни с кого и 10 рублей штрафа не взяло — кто будет его слушать? Вот если б оно проявило первые признаки силы — к нему бы потянулась действенная помощь со всех углов. И все — боятся говорить правду, всюду лезть, каждое массам, призывы «обожать мужика». Россия так изучает свободу, как если б ребёнок, изучая закон тяжести, выбрасывался с пятого этажа: захватить всю землю! захватить все деньги в банках! меньше работать, больше получать! не сражаться, а целоваться. Нужно иметь сильный характер, чтобы заявить народу: это я, а не ты, знаю, что тебе нужно! Все стали очень много говорить против анархии — и этим только показывают свою слабость. А вооружённые шайки господствуют открыто.

Дальше, из Москвы, хлебнули теперешней езды: коридор забит так, что не пройти, а над головой по крыше ходят дезертиры. (Кто эту картину повидал — должен понимать, что война — кончилась.) Двое кондукторов кое-как пробили Вяземских втроём, вместе с девушкой Лили, в двухместное купе и заперли там, — а в дверь потом ещё всю дорогу ломились. Лили спала наверху, а князь Борис с девушкой — полусидя на нижней полке, ещё никогда в жизни так не приходилось. А в Грязях вещи передавали кучеру через окно — и самим бы пришлось лезть через окно — но только потому удалось через дверь, сильно помяв бока, что и многие солдаты в Грязях выходили.

А как — из Грязей теперь в Петербург уезжать? Сразу же, со станции, Вяземский дал телеграмму матери на Фонтанку 7: для поездки похороны добывайте заказывайте отдельный вагон туда обратнo.

Поезд в Гязи сильно опоздал, пришёл около 5 часов дня вместо полудня — но как спустились на юг, как тепло! Ещё удивительная

погода стояла — то тёплый дождь, то сразу ясно, солнце сушит, и выбрасываются яркие радуги. Не грязно, ехали легко. После петербургского месяца такое счастье — дышать этим влажным теплом, открывающим лето, обещающим плодоношение твоей любимой, земле. И счастье, что Лили, без усилия и придумки, полюбила хозяйство, все его расчёты и заботы, так свободно с нею обсуждать.

А в этом году помехи ждались — совсем не только погодные. Чем ближе к имению, тем больше князь Борис волновался: что же там? А подъезжали уже в сумерках, и не посмотришь по пути. Но ещё видны на фоне серого неба — шестиугольная передняя башня и квадратная задняя, а засветились электричеством окна — можно различить и колоннаду двух верхних балконов, и долготу нижней террасы.

Дома, наконец! И сразу — слушать Никифора Ивановича, а пальцы невольно перебирают, какие тут срочные письма. Ну вот: повестка быть завтра в Усмани на заседании распорядительного комитета — то есть распорядительного, потому что он всем в уезде распоряжается, но его не зовут так, а почему-то «исполнительным», будто он чью-то высшую волю исполняет.

Настороженно ждал всю дорогу домой: что же услышит от управляющего? — и на всякий случай ждал самого худшего, хотя верить бы не хотелось. И теперь даже удивлён рассказом Никифора Ивановича: сев — идёт, и, вероятно, пройдёт благополучно. Вначале местные подёнщики не шли, требовали два с половиной за день (и грозили девкам расправой, если пойдут дешевле двух рублей). Но тут приехали наниматься калужанки — и за ними сразу хлынули местные, и сейчас избыток подённых, часть отсылаем и назад. Цены: мужчинам полтора рубля, женщинам 80 копеек.

Сев идёт! — это превосходно. Час в апреле — год кормит. Сей меня в грязь — буду князь.

Но со следующего утра, не посмотрев ни полей, ни даже конского завода, погнал на паре в Усмани. Там — впечатлений оказалось больше, чем можно ожидать, даже после Петербурга. Какое смешение новых положений, лиц, идей, новостей, — сперва интересно, а потом уже и жутко. В этом распорядительном комитете вместе заседали представители города, кооперативов, земцев (князь Вяземский и был тут делегат от уездного земского собрания), земских служащих, учителей, солдат 212 полка, рабочих, крестьян (рад был увидеть здесь Тюрину из кредитного общества Княже-Байгоры, и своего коробовского Григория Галицкого, — рассудительные мужики, князь имел с ними дело при выборах в Думу). Такой разношерстный состав никогда прежде не собирался в одной комнате. Они совсем не умели говорить друг с другом — но это могло бы оказаться и плодотворно, если бы правильно пошло. В комитете крестьяне шли за голосом разума, и голосовали вместе с двумя третями. Но уездный комиссар Охотников, весьма доброжелательный дворянин, оказался слаб, не мог утвердить власти комитета в Усмани и в уезде.

Прапорщик Моисеев здешнего полка, а сам присяжный поверенный из Нижнего Новгорода и открытый большевик. вполне опережал Охотникова и организаторским талантом и шалым митинговым красноречием. Он травил комитет за буржуазность — и создал свой совет рабочих и солдатских депутатов и социалистический клуб, с самыми отчаянными речами. И он же, оказывается, без помех успел пустить по уезду первых агитаторов — якобы «для организации масс», а на самом деле они безобразничали, устраивали обыски и даже аресты. Когда доходили жалобы в Усмани — просили Моисеева остановить своих агитаторов через телефон. Но Моисеев явно издевался и так разговаривал с теми по телефону что только поддавал им жару. И ещё Моисеев начал создавать какой-то фальшивый «крестьянский союз», энергия у него была бескрайняя, и никто в уезде не смел его

остановить. (А кстати: почему этот 212 полк вообще стоял в Усмани, если он снабжал дивизию под Трапезундом? — и это при нынешнем состоянии железных дорог!) Одного усманского мещанина арестовали только за фразу: «Да кто такой Моисеев? сегодня он здесь, а завтра не будет его» — в том смысле, что он — не местный. Из этого раздули, что «завтра не будет его» — было намерение мещанина убить Моисеева, а Моисеев разыгрывал на митинге великодушие, что он прощает своего убийцу.

Подумал Вяземский: пожаловаться на Моисеева Гучкову? Или ещё лучше: проверить бы через Бурцева, нет ли у этого Моисеева в прошлом какого-нибудь порока по нынешней мерке? — шаг вполне в духе эпохи, хотя противно.

Но впрочем: какого порядка можно было добиться, если революционный Петроград первый же всё и разрушал? Согласно указу Керенского 80 каторжников их усманской тюрьмы, заявив о желании идти в солдаты, были одеты, обуты, отправлены в сторону фронта — и все бежали с пути. А восемьдесят каторжников, распущенных хоть и по трём уездам, — это сила!

Пробыл князь Вяземский в Усмани два дня: на уездном предводителе дворянства всё ещё много висит дел, а его месяц не было. И за эти два дня — он много мрачного наслушался. С Усманью рядом Воронеж, рядом Липецкий уезд, сообщение хорошее, не то что по раскинутой неуклюжей Тамбовской губернии, — и сюда слухи стекаются со многих мест.

Все в одно говорили, что март — был месяц куда миролюбивей, крестьяне были готовы на всяческие соглашения, а сейчас — от близости сева, оттого ли, что катится из Петрограда, — больше требуют и берут сами, и с этим далеко зашло, не так, как в Лотарёве. Где рубят казённые и помещичьи леса. Требуют не брать на работу никого из чужой деревни, а своим платить не меньше, чем укажут. Что правительство объявило — каждый клочок земли должен быть засеян, поняли так: бросают свои поля необработанными, захватывают помещичьи. На захваченные земли не хватает семян — дай, помещик, семян! не хватает инвентаря — дай твой инвентарь! Или волостной комитет оставляет помещику из его же покосов — не на всех его коров, а сколько надо ему прокормить свою собственную семью, только. Или: заранее назначили ему день, до которого скосить луга в этом году, иначе перейдёт к крестьянам. И вот, иные помещичьи сады остались без весенней обработки, огороды вместо культурных овощей засеяны травой. Или даже берут у помещиков породистых лошадей — и используют на тяжёлых работах. (У знатного коннозаводчика — сердце обрывается, слышать такое.) А то — просто обыски в имениях, будто ищут оружия — а тащат себе что схватят. Уже и о хлебных запасах говорят, кажется, только домашней обстановки не трогают.

Есть помещики — сами уже распродают и скот и инвентарь, почём удасть.

Такого и подобного — боялся князь Борис, когда возвращался в имение! Но — ничего, ничего такого в Лотарёве ещё не произошло.

А если что — откуда брать защиту?..

Приехал в Усмань один воронежский мелкопоместный и рассказывал с такой жалостью, едва не плача. Какой он помещик! — он крупный хуторянин. Но у него налаженное хозяйство, многополье, травосеянье, питомник племенного рогатого скота. Приходит под вечер толпа мужиков, человек сорок, вызывают. Вышел к ним на крыльцо. (И — что эта высота крыльца? — когда во всём уезде не жди ни защиты, ни правосудия.) До сих пор у него были самые хорошие отношения с крестьянами. А тут, от толпы, заявляет один мужик, и не голоштаный, но сильно зажиточный. Отрезать обществу десять десятин (вспаханных с осени!). И селу нужно еще пастбище — так пус-

тить в свой лесок — и ещё вырезать прогон туда для сельского скота через всё своё поле. (Прощай, многополье.) И — что делать? Вся сила — за ними. Согласился. (Заметил: приняли всё-таки со стыдом, благодарили.) А через два дня разобрались: никак им в тот лес не прогнать иначе, как через своё, сельское, яровое засеянное поле. Отпал прогон, отпал и лес, своё поле им жалко. А 10 десятин всё-таки отрезали.

Только кто сам своё хозяйство ведёт — может понять, что значит: пустить через себя прогон. Или захватят семенной, племенной рассадник? В час опустошится налаженное годами.

Всю жизнь мы жили с этими крестьянами — и не знали их? Они оскалились в погромах Пятого года — но то были вспышки отдельные, где дурно сошлись обстоятельства, — а чтоб такая всеобщая эпидемия зла и разрушения? Или крестьянство просто потеряло равновесие от того, что нет привычной команды и воли сверху?

Но уже и не послушают? Говорят: народ стал как пьян, не принимают никаких объяснений.

Однако же вот Лотарёво держится. И в округе покойно.

И наверное, можно как-то обойтись? Найти язык.

К отрубникам вражда ещё больше, чем к помещикам. У них отбирают землю запросто. Или они сами являются в общину с повинной. Мир! — сила солому ломит.

Всеобщий бред у мужиков сейчас, конечно, передел земли. И — чтобы не платить никакого выкупа. И чтобы получить 20 десятин в одном месте и безо всякого переселения. И видя рядом большие поместья — как им вместить, что это — лишь малая доля российских земель? Что при дележе, на всех в России, — едва досталось бы от двух десятин и до четвертушки на семью, но зато не станет аренды. А главное, чего не разумеют: и от крестьян придётся ж тогда от некоторых отрезать.

А виноваты наши болтливые партийные публицисты, сами не знающие никакого дела, но десятилетия расточавшие басни о богатствах будущего раздела, — они и есть первые агитаторы, ещё до мойсеевских. А теперь добавляют нынешние, с красными значками, «долой помещиков-кровопийцев». Все соглашаются: где не появились агитаторы — там ещё спокойно, крестьянское настроение колеблется, но, может быть, ещё найдёт разумный путь? Замечено, что особенно едки балтийские матросы и солдаты Северного фронта: «Что хотим — то и будем делать, а кто против нас, тот приверженец старого режима».

И «режим» — особенно быстро усвоили: «Новый прижим: раньше нас прижимали, а теперь мы будем!»

Но неужели же от одного страха перед этим всем — заранее сдаётся? Этого — князь Борис не допускал. Бороться надо даже тогда, когда надеешься спасти лишь жалкие обломки.

Да, в таких условиях сеять — большой риск.

Тут как раз, на второй день в Усмани, пришли газеты с постановлением об охране посевов: Временное правительство брало на себя весь риск за посевы: уплачивать потравы и уничтожения. (Кажется, их первый достойный шаг за два месяца правления.)

И укрепился князь Борис: устоим, не сдаваться! С новыми крестьянами надо научиться разговаривать по-новому.

Вернулся домой измученный, в пятницу поздно. В Лотарёве всё так же спокойно, и сев идёт. (Отлучаясь, теперь будешь всегда бояться за жёну.) И долго пересказывал Лили впечатления. При такой её малости, хрупкости, так хорошо она всегда делит линию мужества: не сдаваться!

А на воскресенье по всему уезду был назначен единый день выборов сельских комитетов, на понедельник — выбор волостных. А за

ним вторник не обычен: несведущей, неуразумевшей российской деревне велено праздновать интернациональное 1 мая.

И активная тактика напрашивалась сама: в воскресенье пойти на коробовский сход. Поехали с Лили к воскресной обедне, а потом спрашивал у одного, другого, третьего мужика, когда именно назначен сход. Все кланялись по-старому, а прикидывались дурачками: не знают.

Ну, значит, значит — что ж... Не хотят. Не иди. Да, трудно их взять. Жаль. Упускалась редкая возможность. Вернулись в Лотарёво.

А часов в пять вечера неожиданно явился коробовский мужик, верхом охлябь: сход собрался — и зовут князя.

Заволновался. Поехал на малых дрожках. Это значит: собрались, обсудили приглашение, и теперь все вместе топтались, ждали? Нерационально — и типично.

Толпа стояла против новой школы, у колодца. Подъехал к ней. Сняли шапки, загалдели «здравствуйте», но шапки и надели немедленно, как не сделали бы раньше. С приступки дрожек князь Борис сказал, стараясь с добродушным спокойствием, однако ощущая и необычное новое соотношение:

— Здравствуйте! Рад, что вы меня пригласили. А то уж я думал: со свободой — вы меня и знать не хотите?

Раздались шумные показательные протесты.

— Я пришёл, чтобы помочь вам советом в трудном деле. Не желаю вам мешать, буду сидеть вот в школе, выйду, если позовёте. Собрание совету вести не по старинке, когда всякий говорит, а избери-те себе председателя и у него просите слова по очереди.

Ушёл в школу, чуть поглядывая издали в окно. Что за новое время? Как одолеть тебя и жить в тебе?

Дважды вызывали за советом: сколько лучше выбрать членов комитета? выбирать ли от солдаток? принимать ли голоса баб? (Их было сколько-то на сходке, тоже новизна.)

И третий раз вызвали — сообщить, что комитет избран, 11 человек (в Коробовке 2200 душ), а сельским комиссаром признали прежнего старосту. Тогда князь пригласил одних только избранных в школу — вот они теперь и главные, с ними придёт и дело иметь. Сели, и держал к ним рассудительную речь: о задачах комитета, об ответственности перед избирателями и перед властями и что значат слова «укрепление нового строя». (И — поняли всё! Один из них потом точно передал весь смысл отцу Леониду.) Благодарили и просили приезжать к ним на собрания впредь. Неплохое начало, кажется. Настрое-ние у крестьян — даже идеальное.

Вчера, в понедельник, все избранные сельские комитеты собрались в Княже-Байгоре для выбора волостного комитета. Много крестьян пришло в виде публики. Председатель — печник Вельяминовых, не справлялся с крикунами. Князь Борис сел рядом с ним, унял крикунов, записывал на очередь, вызывал — да стал записывать и сами прения. Все жаркие схватки были — друг между другом, от личных счетов, от старых обид. Вид мужицкого мира всё время меняется: то он загадочно и угрожающе слит, то открыто добродушен, и каждый отдельный утопает в общем, — а вот и раздирается на все отдельные. Больше всего злобы было против волостного писаря и против правления кредитного общества — но всё обошлось благополучно, выбрали и комитет, а волостным комиссаром (уже привыкли мужики к этому сильному непонятному слову) — коробовского Григория Галицкого. Хорошо, будет своя зарука: он из тех мужиков, с которым всегда можно разумно обьясниться.

Не успел князь вернуться домой, довольный, и рассказать Лили — от волостного комитета телефонировали из Княже-Байгоры, приглашали князя на вторник на торжественное богослужение — вот как придумали отмечать 1-е мая. А самих Вельяминовых никого в име-

нии нет. И сегодня по утреннику, эти ночи похолодало, поехал в шарабане, без Лили. В церкви все оборачивались. После обедни — ещё молебен на открытом воздухе, всё чинно, как прежде. А потом? — не расходиться же, надо делать что-то особо праздничное для нового случая? А что? Никто не умел. Начали речи говорить — невыразительные, скучные, — толпа перетаптывалась, недовольная. И князь Борис решил попробовать. Поднялся на пень, и:

— Я — ваш гость, речи говорить не буду. А прокричим ура той, кто всех нас объединяет в одну дружную семью, без различия состояний и лиц, — за свободную Россию, ура!

И толпа счастливо заревела «ура».

И затем — ещё одно «ура», за доблестную армию. И — всё, и расходились довольные, весёлые.

Пригнал домой, сели завтракать, вдруг дворецкий Ваня: какой-то коробовский говорит, что к вам пришёл комитет, звать. Куда?

Князь Борис, отложив салфетку, вышел на красный двор — никого. К сушилке — и там пусто. И вдруг увидел на лицах двора сильный испуг. Обернулся по их взглядам, увидел: мимо конского завода к дому управляющего валит толпа, больше мужики, но и бабы, но и дети, — человек тысяча. Но и не враждебно, и без дубин. Два красных флага несут. И двое хоругвей. А впереди — различил Галицкого и кого-то из сельского комитета.

И догадался внезапно:

— Сима! Зови скорей княгиню и проси её принести аппарат.

Лили быстро пришла с аппаратом — как раз к подходу толпы. И стали фотографировать всю толпу, и князь с ней. Несколько раз. Толпе очень понравилось. Поздравил их с праздником (никому не известно, каким). А дальше? На том бы и поворот?

Нет, они теперь входили во вкус. На бочку поднялся свой же садовник Фёдор, из коробовских, и стал какую-то странную речь держать, вроде того что:

— Мы счастливы, что красный флаг делает нас лучшими людьми. Пусть будет так и вперёд. Вот бы раньше мы лезли все кто как попало, а теперь остановились у ворот и спросили разрешения — и это сделал красный флаг. Нужно быть мирным ко всякому человеку — а больше всего к нашему князю. Много сделал для нас его отец — но и над ними было начальство, и они не могли больше. А теперь князь больше не начальство, он обрабатывает землю только потому, что родине нужны хлеб и сено. Он — наш образованный, просвещённый сосед, — и пусть остаётся таким, и безотлучно при нас.

Вполне разумная речь. И как будто заранее предвидела все опасности, ещё не названные вслух.

Князь благодарил. Его принялись качать.

Потом ушли. (Оказывается, пошли в больницу и там качали доктора Шафрана.)

Так что ж, как будто всё сходилась хорошо? Погрома — во всяком случае не будет. А со всем остальным — надо как-то уживаться.

Но вся родня Вяземские — и Софи с детьми, и Дилёка с детьми — надумали именно в это лето ехать в Лотарёво. Одно дело — рисковать самим. Но — и ими всеми? Но и детьми? А сейчас на митины похороны приедет Ася — тоже с детьми, и уж она-то останется при могиле надолго.

Спокойно пока спокойно, а надо их отговорить. И сел писать письма — маме, а через неё и брату Адишке на фронт. Если что-нибудь начнётся — поручиться ни за что нельзя. Детей привозить — никому не надо, ни асиных на похороны. Если придётся отсюда бежать — то на бегство в поезде теперь рассчитывать нельзя. В Алушке с Воронцовыми, да на любой даче в Крыму вы будете незаметны, там сотни таких, — а здесь мы в центре внимания, одни, каждый шаг на виду. Да сравните: все губернаторы везде пережили ужасные минуты — а пе-

тербургского Сабурова даже в Думу не водили и не согнали с казённой квартиры. Потому что в Петербурге — сотни таких.

Но такого письма — ведь теперь, при свободе, нельзя и отправить по почте: ведь товарищи могут цензурировать. Решили сейчас же послать верного буфетчика в Петроград с письмом.

А сами с Лили поехали в Ольшанку, в степь на луга, погулять. Река Байгора — по-татарски «красавица». Всё — в цветении, в ароматах, жужжаньи пчёл, перепорхе птиц, — и когда вот так гуляешь, в мирной степи, под прежним мирным небом, — не верится, что это наяву свершилась дикая революция, сегодняшней сумасшедший Петроград, какая-то невероятность. Или даже Усмань?

Придумали присказку: посеять — посеяли, а как уберём — зависит от Моисеева.

А ведь надвигалась ещё одна опасность: в газетах всё чаще требовали полного пересмотра белобилетников. Уездный же предводитель в числе многих своих обязанностей председательствует в мобилизационной комиссии. А сколько держатся на белых билетах по снисходительности, по связям, совсем и излишние. Начать их чистить — и весь уезд будет враг тебе.

Нет, это не прежняя степь, это не прежний луг.

Воротились — и вечером читали вместе вслух историю французской революции Тьера.

И — непохожи.

И похожи.

38

Ну что за гадость! Какие-то мерзавцы телефонируют по комиссариятам, будто Керенский распорядился: при встрече с автомобилем 42-36 стрелять по нему без предупреждения. А на самом деле именно в нём Александр Фёдорович несколько раз ездил. И враги — заметили. И вот таким образом хотели застрелить!

И подобные же самозванцы, оказывается, выдумали весь этот запрос якобы 12-й армии о том, что содержание царя в Царском Селе представляет государственную опасность и надо его переводить в Петропавловку. По свойствам своей молниеносности Керенский ринулся в Царское тогда же мгновенно и всё хорошо уладил, все газеты по-сегодня это обсуждают, — а оказалось: никто из 12-й армии такого запроса и не посылал, кто-то высунул анонимку и спрятался. (Впрочем, «Известия» тут же напечатали будто бы резолюцию Металлического завода — и тоже Николая в Петропавловку!)

Уже сколько лет Керенский жаждал свободы для отчизны, и был же юристом, — но только в эти недели убедился, что истинная свобода более всего зависит от министерства юстиции. И насколько же его министерство было ведущим во всех делах Временного правительства! — не только из-за яркости фигуры министра. Даже если на брянском заводе плохие харчи и работающие там сарты срываются с места — то, кого не задержат по дороге, добираются в Петроград — и именно только к министру юстиции. А министерство юстиции само как необъятная империя, и надо за всем зорко доглядеть. Ликвидировать комитет по борьбе с немецким засилием — почему-то тоже выпадает Керенскому. Арестовать редактора закрытой теперь правой «Земщины», арестовать и его сына, обыскать редакции «Русского чтения» и «Летописи войны», там наверняка прихватим неуничтоженную погромную литературу. А тут петроградская дума жалуется Керенскому, что будто много недовольных его революционными судами (рабочий, солдат и судья), будто многие хотят обжаловать, а обжаловать некуда: не учреждена никакая апелляционная инстанция. (Действительно, в революционном вихре созидаая, Керенский не предусмотрел апелляции: нельзя было представить, что и революционным судом тоже будут недовольны. И куда ж теперь апеллировать, эти суды ни в

какой системе. В Сенат?) И теперь вот говорят вокруг юристы, что надо как-то восстанавливать судебные дела, сожжённые при пожаре Окружного суда. А зачем восстанавливать и тех многих, которые попали под амнистию? (Совещание.) Тогда — восстанавливать только по заявкам заинтересованных лиц? Но — как восстанавливать? — по памяти судебных следователей? А как восстановить сгоревшие вещественные доказательства? Допросить самих следователей в качестве свидетелей, что такие доказательства были? Восстанавливать следственные дела, и которые были в стадии суда, да, — а уже решённые судами? А если осуждённый выразит несогласие, как восстановлено, — тогда заново следствие? Го-ло-во-ломка.

И сколько таких головоломок! Освободил из тюрем «всех, кто хочет пролить кровь за революцию», — но многие уголовники только и доходят из тюрьмы до воинского начальника, а дальше — сбегают. А фронтовые лазареты отказываются принимать прощённых уголовниц в качестве сестёр милосердия. Запретил применять в тюрьмах кандалы и карцер, а только — апеллировать к совести преступника, — тюремщики не справляются и в отчаянии от падения тюремной дисциплины. Ещё: амнистия коснулась содержимых в тюрьме, но забыли о высланных военными властями в Сибирь заподозренных в шпионстве. Но они высланы без правильного следствия, и задерживать их в ссылке невозможно (а проверять сейчас — некому и некогда), — значит отпустить и их, всех сразу. Или вот проблема: за что судить бывших охранников? — ведь это были полицейские чины на службе, и статьи им не подберешь. А провокаторов? Судить бы непременно надо, но — какая статья закона? Была хорошая идея: судить и тех и других по 102-й статье как за «принадлежность к преступному сообществу», как судили всех революционеров. Но именно потому, что судили революционеров, — статья эта одиозна, и комиссия Маклакова несколько дней назад уже вовсе исключила 102-ю статью из Уголовного Уложения — как несовместимую с духом революции. (Мог бы Маклаков прежде и посоветоваться. Но ведь он обижен, что не он министр юстиции.)

Да шире того проблемы, и шире того заботы! (И надо успеть раскрутить всё в действии, чтобы, когда Александр Фёдорович уйдёт из юстиции, уже не могли бы остановить!) Вот назначили повсюду по России прокурорами судебных палат и прокурорами окружных судов — адвокатов. Это будет — здоровое древо: адвокатское сословие — наш свет и совесть России. И, конечно, по всей стране надо хорошо-хорошо прочистить судей. Но — затруднение в законе, уже полвека, о пожизненной несменяемости судей. Правда, Щегловитов выходил из положения, но в случаях разрозненных. А сейчас задача стояла: сменить множество судей, и в короткий срок! Принцип несменяемости судей был очень положительным, но сейчас становится в тягость. А особенно с высшими чинами судебного мира, и в том числе с сенаторами, церемониться не приходится, и жалеть их не за что. Да оказалось, что общая революционная обстановка сильно помогает: редко какой сенатор или судья в Петроградском округе устаивают, если от них потребовать подать в отставку: напуганы, и покорно подают, уже больше половины сменили в 1-м департаменте (а на их место — адвокатов), или перевели сенаторов в разряд неприсутствующих (а на их место — адвокатов). Это воскресенье Керенский просидел с товарищами министра, и решали много важных назначений на судебные должности. И родили такую мысль: да, да! — мы всегда требовали принципа несменяемости судей как гарантии их против произвола администрации. Но это было необходимо из-за того, что была плоха царская администрация. Однако закон о несменяемости судей нельзя считать самодовлеющим и вечным: ничего не может быть хуже, как плохой судья, которого нельзя сменить! Именно в царское время и насажено много плохих судей, и нам теперь необходимо, и срочно, от них избавиться. Теперь, когда администрация демократическая, — мы должны хоть на

короткий срок отменить несменяемость судей — и быстро избавиться от дурных судейских элементов, — а там хоть и опять несменяемость.

А одна хорошая мысль рождает другую: тогда и шире!? Тогда не могли бы на революционной основе восстановить и наладить давно запрещённую, нашими голосами, высылку в административном порядке? Какое это было бы оперативное облегчение делам юстиции!? Насколько будет легче работать! Да! Надо такого закона добиться и забрать саму высылку из внутренних дел в юстицию.

Керенский знал за собой уверенную точность мгновенных решений — и даже чем мгновенней, тем безошибочней. (Только это и помогало ему справляться с невыносимым приёмом посетителей: он молниеносно принимал решение — и посетители уходили довольные.)

Калейдоскопически сменяются мероприятия оперативные и торжественные, часто в один и тот же день. Оперативные: что ж мы ждём? почему не пересматриваем все материалы по делу Бейлиса? там могут оказаться для нас интересные находки, насчёт зубров реакции. (Товарищ министра Зарудный сам был адвокатом в деле Бейлиса, его речь даже была в каком-то смысле решающей, — он теперь всё затребует из киевского окружного суда и посадит штат разбираться.) Торжественные: надо нам сочинить звучный циркуляр всем прокурорам окружных судов. Первые фразы у Александра Фёдоровича уже в голове, вот они, запишите: «В населении несомненно наблюдается тревожное настроение — и оно может привести к насильственным выступлениям отдельных групп... А всякое гражданское междуусобие бесплодно расточает духовные силы народа, которые все должны быть направлены к охране добытой свободы». Дальше я пока не додумал, доработайте, пожалуйста. Ну, что-нибудь в духе: призвать прокурорский надзор возбуждать уголовное преследование провокационных выступлений...

Однако внутреннее беспокойство не покидает грудь министра. Всё-таки вот эти «насильственные выступления отдельных групп» — как с ними быть, в самом деле? Иногда получаешь удар не от реакции, а со стороны, откуда меньше всего ждёшь. Вдруг — телеграмма из Рязани: губернский исполнительный комитет Совета насильственно очистил канцелярию окружного суда, отобрал все дела и документы. Какой грозный конфликт! — между двумя любвями Керенского — Советом рабочих депутатов и юстицией. Невозможно принять ни ту сторону, ни эту. Нельзя поссориться ни с той, ни с этой. Но неизбежно слать в Рязань депешу. Однако самую сбалансированную: «...уведомляю, что ныне лица прокурорского надзора, непосредственно подчинённые мне как генерал-прокурору, являются слугами общего народного дела. Жалобы на их действия должны быть приносимы мне, а я отнесусь с полным вниманием...» — а пока нельзя ли вернуть отобранные бумаги?..

И всё тянется ужасающий кронштадтский случай с Переверзевым, и никак достойно не вытянуть ног. Думал — замолкнет, никак же не умолкает, и жёлтая буржуазная пресса ещё раздувает злоратно, а кронштадтцы тоже рассердились и шлют в петроградские газеты грозные опровержения, — и как же тут молчать министру юстиции: ведь в Кронштадте разогнали его следственную комиссию, грозили поднять на штыки его прокурора и щёлкали на того ружейными затворами — а оскорблённый министр молчит? Где же власть? Но и говорить против Кронштадта — никак невозможно, это сразу бы вырвало революционную почву из-под министра! (А раздаются и безумные голоса, что против Кронштадта надо применить силу.) Положение министра стало невыносимо безвыходным и даже позорным. И что только мог придумать Керенский: уломать Переверзева, чтоб в интересах общего дела и авторитета юстиции он согласился написать такое письмо в газеты: что кронштадтский инцидент изложен в газетах неверно, он сам допустил ошибку, не предупредил солдатскую

команду, что вовсе не освобождает их офицера, а лишь направляет в Военную комиссию; и сам Переверзев будто не испытал от толпы никаких угроз расправиться, и никаким оскорблениям не подвергался, а была дружественная беседа с Исполнительным Комитетом; и не выносилось никакого постановления о предании Переверзева смертной казни, и не арестованный он пошёл на митинг, а сознательно, дать всенародный ответ.— И сегодня такое письмо напечатано. Хотя бы от этого конфликта Керенский пока удачно уклонился.

А паникёры всё слали в министерство юстиции жалобы, что деятельность Ленина идёт против всякого порядка и представляет опасность для России, и требовали немедленных мер. Но уж тут, простите, если даже не напоминать о правах каждого человека, в том числе и Ленина,— причём тут министерство юстиции? Даже на музыкальном вечере Кусевицкого, где хотелось бы забытья, распорядитель концерта вдруг вылез с речью, что именно Керенский справится с течением, проникшим в Россию при помощи германского империализма и переступающим границы «левого разума». Зашикала и публика, осадил и Керенский: «Временное правительство опирается на весь народ, и не боится ни крайне левых, ни правых».

Где же забытья, если даже не на концерте? Минутами: о, где же забытья?..

В Зимнем дворце?..

Ах, как он полюбил Зимний дворец! Что-то есть покоряющее в его величественных залах, в его переходах, лестницах, в его отдельном стоянии между площадью и Невой. Александру Фёдоровичу постепенно стало казаться, будто ему и прежде в его петербургской жизни казалось, что его судьба — непременно пересечётся с этим дворцом, и с императором... И вот — сбывалось. С императором уже пересеклась, а во дворец, если он станет премьер-министром — а он станет, он видимо станет, князь Львов не фигура для революционной России,— перенесёт он в этот дворец свою резиденцию и переведёт правительство.

Теперь в Зимнем работает Чрезвычайная Следственная Комиссия, так что министр юстиции, как ни занят, но и должен навещать её. Вход в Комиссию с подъезда у Зимней канавки, но Александр Фёдорович каждый раз подъезжает с главного входа и идёт долго залами, наслаждаясь. Швейцары, лакеи в ливреях — повсюду на местах, как и были. Вид и наслаждение портит только караул из солдат-преображенцев. Менее распущенные, чем другие в Петрограде, они во дворце ещё не пускают семьячек, и не пускают дыма в лицо, с кем разговаривают. Но и лениво со стула, и в дежурное время нередко открыто спят.

Сперва в Чрезвычайную Комиссию намечали 15 следователей, несколько прокуроров. Но быстро выяснили, что это мало, куда там, уже увеличили вдвое и ещё придётся, ибо Керенский пожелал, чтобы они работали быстро и дали результаты в кратчайшее время, — а с канцелярией, машинистками это уже полтора человека. Все они — в «запасной половине» дворца, а президиум заседает в красивой впечатляющей комнате. Роль президиума: постановлять о привлечении к ответственности, заключать по законченным следствиям, утверждать меры пресечения и давать общие руководящие указания. В помощь президиуму — ещё эксперты, профессора и сенаторы. А ещё, для облегчения работы, собрали актив Чрезвычайной Комиссии, и профессор Тарле прочёл им две лекции об условиях и формах суда над представителями власти при политических переворотах, и в частности о судах над королями в Великую Французскую и в Английскую революции. А позже, для верности (всё-таки судебные деятели — корни в царском прошлом), Керенский учредил при Чрезвычайной Комиссии ещё Наблюдательный комитет из шести присяжных поверенных, которые сами не будут вести следствие, но наблюдать, чтобы всё шло правильно. (Адвокатское сердце и адвокатский глаз не выдадут.) И так

заведенный аппарат Комиссии работал каждый день, без праздничных и без воскресений, с 10 утра до 7 вечера. А когда надо было допрашивать арестованных в Петропавловке — то выезжали туда, на автомобилях и в придворных каретах, не меньше трёх членов президиума, секретариат, стенографистки и любопытствующие представители обществности.

И Керенский был очень-очень доволен, как это всё у него блистательно и грозно организовано. И ещё особенно доволен самим председателем Муравьёвым, — министр не ошибся в нём! (По его условию предоставил ему права товарища министра.) Муравьёв решителен, энергичен, беспощаден и повторяет летучую московскую фразу самого Александра Фёдоровича, но выразительно её изменив: «Нам нужно быть немножко Маратами!» И предложил отменить всякую давность для врагов народа. (В самом деле, могли открыться их преступления и до Пятого года, и в конце XIX века. Это надо было обдумать.)

И вокруг Муравьёва в президиуме создалась (и адвокат Соколов там) боевая группа: решительно и быстро вскрыть эти жуткие преступления! Да нужны жертвы для удовлетворения справедливого негодования общества. Усилить криминализацию! — подведение поступков и действий под статьи Уголовного Уложения.

Однако сразу же следователи стали жаловаться на необъятность работы: они привыкли начинать с реально выдвинутого обвинения, а тут надо было ковыряться в бумажном море лишь в поисках, не найдётся ли такое обвинение. Например по Щегловитову надо было перерывать материал за все 10 лет его министерствования. Но уже полтора месяца рылись несколько следователей — и ничего не находили. (И сенатор Завадский считал, что вообще нет причины держать его под арестом. Ответил Александр Фёдорович: «Держу его на правах Марата!») Направить первые усилия на раскрытие самых крупных преступлений? — тайная придворная немецкая партия и подготовка сепаратного мира? Но, странно, и тут за полтора месяца ни в бумажных поисках, ни в допросах не нашли никаких следов. Ожидали (сам Керенский был уверен), что будет собран подавляющий материал в деле Штюрмера, — ведь недаром же предупреждал Милюков в первоноябрьской речи, что «наши тайны делаются известными врагам России». Но лежали, доступны Комиссии, все архивы министерства иностранных дел, и всеподданнейшие доклады Штюрмера, и все сверхсекретные бумаги — а никакого и намёка на измену нельзя было обнаружить. А общественность — жадно ждала результатов, а корреспонденты уже не раз спрашивали Муравьёва, и он обещал им. Тогда — использовать скорее дело Сухомлинова, уже законченное следствием при старом режиме? Но во всех установленных фактах обнаруживалось только крайнее легкомыслие Сухомлинова, только преступное бездействие власти — а никак не измена.

На днях ещё раз обыскали дом Голицына как самого свежего из премьеров, но ничего не нашли, арестовали швейцара, шофёра — но и от них не допросились. Поражало ещё то, что так и не был открыт ни один провокатор крупного государственного положения: что ж, никто из должностных лиц не помогал департаменту полиции? Этого быть не может! Вероятно их знали лично и связь никак не оформляли документально. Досадно. Белецкого за нежелание давать показания посадили в тёмный карцер-нору в полроста: пусть передумает. (Тут снова возник спор о провокаторах: в чём именно их обвинять? Нельзя ли их судить как за «превышение власти должностными лицами»? Грузенберг предлагал так, но сенатор Завадский возмутился, какие же провокаторы — должностные лица? А если должностные, то они должны вести провокацию, иначе впадут в «бездействие власти».) Ну уж во всяком случае злодейский заговор полиции, стрельба пулемётов с крыш — это-то будет доказано? Из номера в номер во всех газетах на первых страницах Комиссия призывала приносить свидетельские

показания о стрельбе пулемётов с крыш — но приносили только слухи или слабоумный вздор. Так что ж: весь Петроград был уверен, что полицейские стреляли с крыш, — а стрельбы и вовсе не было? Но в чём же тогда обвинить арестованных членов наружной полиции? — их ещё и в апреле сидит до трёх тысяч.

Муравьёв считал: мы ничего не откроем, пока не направим усилия прямо на императора и императрицу, надо начинать с сердца измены! Муравьёв был уверен, что царь в дни революции намеревался открыть фронт немцам, — и тут одна газета напечатала неизвестные до сих пор телеграммы царицы, явно намекавшие на измену, и государственную и супружескую! — но оказались поддельные, сочинила телеграфистка. Муравьёв мечтал вызвать царя на допрос в Комиссию. Но теперь, после личных посещений Царского, что-то мешало Александру Фёдоровичу согласиться, даже и на обыск царских бумаг во дворце. Тогда через коменданта дворца затребовали от царя самого: представить все оставшиеся государственные бумаги и всеподданнейшие доклады — для следствия по делам министров, — и царь представил всё, рассортированное, по конвертам, с пояснительными надписями. (И даже довольно интимные документы, вредящие самому царю.) Ринулись несколько следователей это всё изучать — и тоже не могли найти ничего, противоречащего законам. А в самой Комиссии сенатор сопротивлялся Муравьёву: что по российским законам Государь не подлежит суду ни за какие свои действия, даже если б такие и открылись. (Муравьёв думал: нельзя ли через дело Курлова обвинить царя в потворстве убийству Столыпина? Однако не получил большинства в Комиссии.)

Но и такой юридический тупик: всё-таки невозможно судить прежних министров за их службу прежней власти, когда они выполняли служебные обязанности. Например, мы будем их судить за препятствование революции с 23 февраля — но ведь они и обязаны были препятствовать? Тут парадокс: как судить их по тем законам, которые мы же сами, революция, и разрушили? А если судить их с точки зрения переворота — то это будет как бы месть? Но если нельзя признать их виновными политически, государственно, никто не нарушал прежних законов, то, — повернул Муравьёв Комиссию, — чтобы судить их законно — искать у них преступления уголовные!

Но что за чёрт, не находили и таковых. Уже до таких мелочей добрались, что Грузенберг предлагал: обвинить генерала Иванова в том, что по пути в Петроград он поставил на колени двух встречных бушующих солдат, а Фредерикса хотели судить за то, что какого-то своего служащего он освободил от воинской повинности. Далеко уклонилась Комиссия! Теперь (этого Керенский очень хотел) стали заново изучать всю историю ленского расстрела 1912 года в надежде найти уличающие материалы на Макарова. (И не нашли, увы.) Теперь предавали суду всю военно-следственную комиссию Батюшина, а прежде арестованный ими банкир Рубинштейн ныне был обвинителем по их делу.

И вот начался раздор внутри самой Чрезвычайной Комиссии. Раздались голоса более правых членов, что, по закону, если улики недостаточны — полагается направлять дело на прекращение. Улик — нет, а все допросы бывших министров — показательные, чтобы создать видимость деятельности и насытить общество, задаются побочные вопросы, не касающиеся никаких уголовно-наказуемых деяний. И поскольку министры и сановники — не обвиняемые, а лишь только заподозренные, то и нет основания держать их в заключении, да ещё в Петропавловской крепости, да ещё месяцами, без предъявления обвинений, это полное пренебрежение предсудебной процедурой.

Так что ж? — освободить и Штюмерера?? Тут возмутился Керенский: это произвело бы самое тяжёлое впечатление на общество, дискредитировало бы Временное правительство и даже взорвало бы его.

Общество считает их всех злодеями, и с напряжением ждёт наших выводов. А мы медлим!..

И не одна Комиссия сообразила положение. И не только жёны арестованных, которые буквально осаждали Комиссию в Зимнем дворце. Уже и Карабчевский, недавний лев либеральной адвокатуры, тоже подавал жалобу за Вырубову, однако обобщая, что незаконно содержать под стражей месяцами без предъявления обвинений и даже без допросов. (Вообще не ответили Карабчевскому.)

Старую тюремную команду Петропавловской крепости отправили в строй, а распоряжался арестованными новый революционный гарнизон, из 3-го стрелкового полка, который и знать над собой не хотел никакой власти, ни Чрезвычайной Комиссии. не допускал постороннего глаза, хозяйничал какой-то офицер в кавказской казачьей форме, Арчил Чхония, сам объявил себя «комендантом крепости», а писарем у него сидел гимназист. Везде развелась грязь, на прогулку не выводили. И поступали жалобы, что отобрали у арестованных собственные подушки, одеяла, бельё, выбрасывали матрасы, раздевали догола, взамен им выдали плохо стиранные рваные лохмотья из военного госпиталя, что у Вырубовой хотели отобрать костыль, не верили ей, что она калека, и щупали перелом бедренной кости, чтоб удостовериться. Что для простоты кормили всего один раз в день, сами ели за арестантов, а тем недодавали. И были жалобы, что некоторых арестантов били, плевали им в суп, подсыпали в пищу древесные опилки, не то даже битое стекло. Что солдаты охраны митингуют, не проще ли расстрелять арестованных и спустить в Неву. Но не было объективной возможности проверить эти жалобы: проверяющего начальства солдаты-охранники не допускали. А так как вся Петропавловка была сейчас проходной двор. то туда напирала солдат других полков — и охрана пускала любопытствующих в коридоры Трубецкого бастиона подглядывать в глазки, как сидят бывшие царские слуги. Иные смеялись и, говорят, через дверь обещали скоро прикончить арестованных. Тюремное хозяйство развалилось, не стало ни керосина, ни свечей — и когда прекращалось электричество, то сидели в темноте.

Но кто посмеет этих революционных солдат научить, одёрнуть, даже затронуть? Это может вызвать грандиозный скандал на всю столицу и даже подорвать министра юстиции. Муравьёв тем более боялся раздражить караул Петропавловки, поссориться с этими солдатами. Когда он ездил на допросы — он старался этого всего не замечать, а натрусившие царские вельможи почти не смели и жаловаться. А когда в Комиссии сенатор Завадский, при сочувствии Родичева, заявил протест, что этот дикий произвол караула позорит режим, при царе никакой прокурор не допустил бы такого даже отдалённо, — Муравьёв потребовал, чтоб тот взял назад свои слова, унижающие новый государственный строй и восхваляющие старый.

В те короткие летучие моменты, когда Керенский вообще мог этими проблемами заняться, — он понимал и Муравьёва, но понимал и положение арестованных, особенно Вырубовой, которую сам же арестовал. Как бы это удалось сменить охраняющую часть? Пока придумали — назначить туда к ним врача, известного доктора Манухина с левым прошлым, в 905-м приговаривался и к крепости, и друг Горького. Он станет обходить камеры, прописывать лекарства, усиленное питание — и конвой должен будет перед доктором сробеть.

Короткие летучие моменты! Где мог Керенский остановиться, на чём задержаться? Одна ли юстиция была на нём? Вчера, накануне первомайского праздника, возил Альбера Тома на Марсово поле возлагать венки жертвам (и полусотня донского полка ехала за их автомобилем как эскорт). Собралась и большая толпа. С помоста Тома держал речь от имени французской республики — что борьба, начатая декабристами, вот дала блестящие плоды и Россия вошла в среду

великих демократий мира. Затем (присоединились Львов и Терещенко) шли вдоль фронта Павловского батальона, затем — и павловцы мимо них четверых, церемониальным маршем, ружья наперевес и под оркестр. (Что-то военное чувствовал в себе Керенский, ах, что-то очень природно-военное!)

А уж сегодня весь день — великий международный пролетарский праздник (даже не работала Чрезвычайная Комиссия) — одни митинги, одни речи, сплошной лёт-перелёт. А вечер застиг Керенского на концерте-митинге в цирке Чинизелли (сбор с концерта — в издательский фонд Брешко-Брешковской). И он выровнялся, тонкий, стройный, молодой, всеми любимый, на аренном помосте, на глазах многих тысяч и под прожекторами, и слова легко складывались:

— Со времени Великой Французской Революции ни одна страна не переживала таких великих дней, как сейчас Россия. Сейчас только одна перед нами задача — закрепить свободу. А для этого нужно много железной дисциплины. Долой всякое насилие! Временное Правительство сильно только доверием народа, и пока я у власти — никаких других методов, кроме поддержки народа, оно применять не будет. Правительство сильно только пока оно дышит одной грудью с народом. Говорят: как это вы управляете? у вас даже нет полиции. Но, товарищи, нам не нужно полиции, потому что с нами народ!

И вдруг вдохновился, предложил: пусть он будет сейчас дирижировать, а оркестр и хор публики исполнят марсельезу.

Отдирижировал. Великолепно получилось, очень от души.

Тут вылез солдат:

— Граждане! Поклянёмся пойти по первому зову министра-гражданина Керенского!

И со всех сторон:

— Клянёмся!! Клянёмся!!!

Тогда оркестрант с их балкончика:

— Товарищи! Александр Фёдорович недурно дирижирует оркестром. Но ещё лучше — русской революцией. Пожелаем ему сил ещё долго стоять на своём ответственном посту!

Аплодисменты. Бурные.

Керенский предложил всему цирку хором петь интернационал. И снова дирижировал.

*Отречёмся от гнусного долга,
От преступной присяги своей!*

(«Песня солдат» — листовка на первомайской демонстрации в Новгороде-Северском)

Профессоров, прежде назначенных правительством, а не выбранных, — теперь Мануйлов увольнял десятками, из одного Московского университета сразу 30, с одного медицинского факультета сразу 17, — какие ж дальше занятия? Всё парализовалось.

И ведь были же умные среди думцев, предупреждали: «не будем перепрыгать лошадей на переправе», менять правительство во время войны. А вот, на бегу — как соперировали человека.

Такого тошнотворного времени, как минувшие два месяца революции, не переживала Ольда Орестовна никогда. Много читав о европейских революциях, могла она себе представить и это переворачивание всех ценностей и понятий, смещение чувств, для людей с душевной жизнью — полосу унижений и оскорблений. Когда, как пишет Тэн, случайная уличная толпа считает свою волю народной и готова на любую низость. Но только своими глазами с отвращением наблюдая это на улицах, лица, сцены, мусор на тротуарах и каналах вечного го-

рода; и когда почтальоны ставят ультиматум, разносить или не разносить почту; балаганный журналист Амфитеатров призывает не жалеть памятников и дворцов, «идолов самодержавия», — можешь ощутить всё это обезумение, называемое великой революцией. И такая тоска слабости: неужели никогда уже не придётся пожить нормально? ведь революция укладывается, Андозерская знала, — десятилетиями. Тоска слабости человека с его единственной жизнью прежде размышления историка о том, как же это уложится в обществе.

Но стыдней, чем своё унижение, на курсах, на улице или перед горничной, Ольга Орестовна переживала унижение всей России. Ей стыдно было за невежественные словеса бесчисленных резолюций. За такую явную униженность совсем не уважаемого ею Временного правительства, что ни день исторгающего пустопорожние растерянные воззвания. И стыдно за власть тёмной кучки Исполнительного Комитета надо всей Россией. (Наконец опубликовали список, там вовсе не оказалось известных имён, и скандално мало русских. Во Франции хоть этого не было.) И стыдно — даже за его безвластие. Всё было до того карикатурно-мерзко, что когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел Соловьём-разбойником, этим свистом срывая фиговые листочки и с самого Исполнительного Комитета, — так хоть дохнуло чем-то грозно-настоящим: это по крайней мере не была карикатура, и не ползанье на брюхе. Это был — нескрываемо обнажённый кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вёл на смерть России. А сколько находилось людей, которые только смеялись, что он при речах от возбуждения будто вскакивает на перила.

Нет, карикатурен был не Ленин, а сам Исполнительный Комитет: против Ленина он предлагал бороться только словом. Какие вы милые стали, вы же всегда боролись бомбой?

Не так далеко было до особняка Кшесинской — по Каменноостровскому, Ольга Орестовна дважды ходила туда, постоять среди толпы собирающихся, как на аттракцион, любопытных. Раз слышала и Ленина — разочаровывающе мелкая фигура, картавость, бесцветный, крикливый голос, — но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое незыблемое. При полном бездействии власти, при разрушенном управлении — этот рычаг может сильно сработать, неуместно смеяться над ним.

Сегодня Ольга Орестовна пошла бродить среди издуманного торжества «первомайского праздника». Всякая революция любит зрелища, и любит смотреть сама на себя. Картинность, конечно, была немалая. Десятки грузовиков, хрипло погуживая, продвигались через людские столпления, останавливались. Один из дежурных на грузовике ораторов произносил что-нибудь хвалебное о революционном народе — и грузовик двигался дальше. Неимоверное количество красных флагов. То на знамени — повар, горничная и лакей, то официанты идут с плакатом «отмена чаевых». То шагают неисправные теперь почтальоны, телеграфисты, вагоновожатые — все своими отдельными колоннами, то сапёры, не в лад празднику, несут знамя с Георгием Победоносцем, и множество непривычно красноголовых женщин: простой красной бязью как платками повязаны головы, и даже целые колонны из таких, а у распорядительниц и юбки красные, шутили с тротуаров: «малыинские бабы идут». А пожалуй самая демонстративная улица — Большая Конюшенная: вся забита озабоченной многотысячной очередью к городской железнодорожной кассе, перегорожена шествиям и даже прохожим.

Но было и острее к сердцу. Плакат: «Свободная церковь — свободному народу», а за ним — батюшка ведёт две сотни школьников, и они надрываются тонкими голосами: «Отречёмся от старого мира!» С тротуара спрашивают: «Батюшка, а что такое свободная церковь?» Отвечает уверенно: «Без обер-прокурора, и всё выборное. Вот, Григо-

рия Петрова в епископы». — «Так он же не монах». — «Так именно каноны и надо пересмотреть народным сознанием». — Да не в одном месте эти юнцы с революционными песнями, поют по записочкам в руках: «Иди на врага, люд голодный». А есть — и шестилетние. С тротуара: «Сечь их надо, а не по улицам вести». И реалист отвечает гордо: «Мне десять лет, а я гражданин, а вам пятьдесят, а вы холоп». И мальчику аплодируют.

Кажется — мирные улицы, уже отошедшая революция, сплошной радостный праздник.

А — страшно.

Да если хорошо приглядеться — есть, есть невесёлые лица, прикрытые, стяннутые, не смеют проявиться.

А сколько вообще не вышли, чтоб этого не видеть? (А сколько — переделались, как Ольда, попроще, — в хворшей одежде становится на улице неуютно.)

— У Николая Романова в банке 36 миллиардов...

— Да ежели только собрать налоги с буржуйских домов, так и будут миллиарды.

— Капиталистам продиктуем диктатуру...

Шагают строем рабочие с ружьями. Лозунг — «Поголовное вооружение народа». С тротуара изумляются:

— Кого ж ещё вооружать? Уже и так 14 миллионов под ружьём.

— Вооружить пролетариат.

— А против кого?..

Ответа нет. Мирные шествия, весенний праздник — а против кого?..

И сегодня тоже завернула Ольга Орестовна к Кшесинской: какое-то гнездится в нас влечение к опасности, или взрыву, или ядовитому укусу. И нигде не стеснялись ленинцы, но тут особенно. С весёлой музыкой пришла колонна матросов с роскошным шелковым знаменем — «РСДРП — Кронштадтский комитет». Подняли знамя на балкон — и матрос долго объяснял, что про Кронштадт гала буржуазная печать, никаких там кровавых расправ не было и никакой отдельной республики.

— Но мы, кронштадтцы, не допустим, чтобы дело свободы сорвала кучка буржуев. Мы не выпустим оружия из рук, для нас Ленин — личность святая.

Публика требовала, чтобы выступил сам Ленин. Отвечали, что нет его, он на Марсовом поле. «Неправда! Мы были на Марсовом, там нет никакого Ленина!»

Следующий:

— Мало говорить «долгой Временное правительство»! Надо идти и свергнуть его, и взять средства производства в свои руки. А Николая Второго — на фонарь!

Когда же с улицы слишком шумно возражали — большевицкий оркестр играл марсельезу и заглушал. А потом — новый кронштадтский матрос:

— Товарищи! В нас — сила. Мы хотим отомщения за нашу кровь от 1861 года до 1905. Если будет нужно — в Петрограде снова загрохочут пушки. Крови — ещё много будет!

Так откровенно всё говорилось — и почти никому не слышимо?

С годами мы так меняемся, что не только не узнаём самих себя — своих былых фотографий, своих когда-то записанных мнений, это бы ничего: всё развивается и в развитии меняется, — но в старости обидно вспомнить, как целые периоды, целые периоды твоей жизни направлены были не туда, потеряны были не на то, — обидно именно сейчас, когда так дорого последнее время — а нет его, когда так нужно. несравненно нужнее всего прежнего хоть сколько-нибудь сил — а нет их.

Почему так важно было столько сил убить когда-то на дискуссии

с Михайловским? → разве в нём была истинная опасность? Или как мог сомкнуться с этим мелочно-злым деспотом Лениным — и на 2-м съезде партии, и потом после ликвидаторов, и казалось, что они надолго вперёд заодно? А вот, в исторические и роковые дни России — кто выявился для неё коварнее, чем этот Ленин?

И не долг срок человеческой жизни, но и не так уж мал. И сколько раз за него мы успеваем повернуться и измениться? Мать (Белинская, отдалённая родственница критика) направляла к религии, отец ото всех 13 детей (от двух жён) требовал: трудиться! (Мелкопоместный, 200 десятин земли.) А Георгий, старший от второго брака, слушая о военных подвигах отца, отринул быть штафиркой, замечтал стать полководцем, и в 9 лет — в воронежскую военную гимназию, и там проглатывал военные книги, впрочем уже вступал и в диспуты с законоучителем. Потом — Петербург, Константиновское юнкерское училище и страстное подражание старшему единокровному брату Митрофану — выпускнику Академии Генерального штаба, блестящему офицеру, пессимисту и скептику под образ лермонтовского Печорина. (И загадочно кончил самоубийством, в Киеве, в саду св. Владимира.) Но уже и юнкером Георгий отклонялся ко взглядам демократическим и революционным. (Приехал домой, а мать склоняется продать землю не крестьянам, ниже цена, а купцу. Помешал: тогда сожгу хлеб у купца и объявлюсь властям. Продали крестьянам.) А желание быть полководцем — растерял. Окончив училище, выхлопотал освобождение от офицерской службы — и в 17 лет поступил в Горный институт. При смутных представлениях о народе — он жаждал идти в народ. И очень стеснялся: как это надо делать? Начал вести занятия с петербургскими рабочими. Кое-кто из них, а больше учащая молодёжь на праздничный Николин день в декабре 1876 года устроили демонстрацию у Казанского собора — и тут Плеханов выступил со своей первой революционной речью, ставшей знаменитой в истории России. А после неё при возгласах «да здравствует Земля и Воля!» развернули красное знамя, тоже первое в русской истории. Подступивших полицейских даже обратили в бегство. После того дня были аресты, но Плеханов ускользнул.

Три года жил по подложным документам. Пытался стать деревенским учителем по подложному аттестату. На рабочих похоронах в Петербурге студенческой группой отбили от ареста рабочего оратора. Искал, где мог, благоприятных случаев для агитации в народе. Ездил и на Дон, где казаки волновались против вводимого земства. Несколько раз задерживался полицией — но всегда удачно отпускали. Весной 1878 написал программу партии «Земля и Воля»: продолжать титанов народно-революционной обороны — Болотникова, Булавина, Разина, Пугачёва. А через год против этой программы пробилась мысль Александра Михайлова: работа среди крестьянства — медленна, трудна, это бочка Данаид, надо не агитировать в массах, а — наказывать и дезорганизовывать правительство, и тем мы достигнем народной свободы. И Ткачёв тоже призывал к прямому захвату власти революционными меньшинством, диктатуре революционеров. Так — всё меньше верили в способность народа добиться чего-нибудь собственными силами, из народничества — вытравлялась вера собственно в народ! Плеханов воспротивился. Он соглашался на террор частичный — фабричный, аграрный, но лишь как дополнительное средство к агитации народных масс. И — ушёл с земледельческого съезда в Воронеже, создавал «Чёрный передел». Тот быстро умер, но из него пошли ростки российской социал-демократии. Эти три года Плеханов жил нелегально, и даже готовился не отдаваться в руки полиции без вооружённого сопротивления (не пришлось) — а в начале 1880, когда в Петербурге ожидалась массовая проверка паспортов, — выехал за границу, вместе с женой Розалией Марковной, курсисткой-медичкой.

А наверно — роковая ошибка. Выезжаешь — думаешь: на не-

сколько месяцев, вот переждать сплошную проверку, кажется — опасный короткий период. Опасными кажутся — лишь преследования от царского самодержавия. А не знаешь, какой это сухой, выматывающий и бесплодный ужас — эмиграция. Уезжаешь — на несколько месяцев, и кто бы тебе прошептал: на 37 лет! Сразу — туберкулёз (и вечный бронхит). Безденежье (твое писательство нигде ничего не зарабатывает). Кормит — жена (а ей ещё надо добиться диплома доктора). Из трёх дочерей одна умерла, две растут почти не зная русского языка. Порыжелое пальтишко, жалкий костюм, бахрома брюк. Швейцарское правительство высылает (жена остаётся работать в Женеве, Георгий Валентинович — через границу, во французской деревне). Потом высылает и Франция. Лондон. Потом Швейцария разрешает вернуться — и 22 года там. (Даже и в Пятом году не было средств податься на поездку в Россию.)

37 лет — нищеты и выживания. А какая долгая духовная история этих же лет. После убийства Александра II — сочувствие к разгромленным народолюбцам, надо их поддержать. Союз с Тихомировым. Потом разрыв с Тихомировым. «Освобождение труда». Poleмика, полемика с народниками. И против изменника Струве. Подрастают молодые революционные марксисты — и с ними не в одно, полемика и с ними. Только создали партию — раскол. Потом хлипкое соединение. Опять раскол. А уму — простор десятилетий, есть время читать, обрабатывать чужое, думать своё. Маркс выводит понятие красоты только из производственной деятельности — узко. Почва красоты — несравненно шире, и даже может быть — биология? раса? Горький пишет предельно пролетарски-выдержанную «Мать» — но это бездарно тенденциозно. А Ропшин едва не заражает нас ренегатством от революции — но объективно это допустимо в искусстве. И какая-то сила затягивает в глубь веков — XVIII—XVII—XVI века, «История русской общественной мысли». Ты остаёшься верен своим революционным взглядам, но родная история ещё по-своему и по-новому оmyвает. А родной язык из древности — учит писать не так, как пишем мы наши брошюры.

Жил на родине — понимал её как поле агитации и боя, освобождение народа. Надо лишиться её — на десять лет, на двадцать, на тридцать, — чтобы ты с удивлением увидел, что любишь её даже такую, как она есть сейчас, — растоптанную самодержавием. Да наверно вот это чувство родины удержало и в молодости вне террора народолюбцев (хотя ведь и он тренировался когда-то, истыкивая табурет кинжалом, и восхищался чигиринской мистификацией). Не мог заставить себя быть пораженцем в японскую войну. А началась великая европейская война — и немецкие, французские социал-демократы поддерживают свои правительства, как бы к ним ни относились, — а что же мы? отринутей? безродней? Столько лет призывал Плеханов через Интернационал: душить Россию международной изоляцией, не давать ей ни кредитов, ни чего другого. А теперь написал социал-демократу думцу: голосование против военных кредитов было бы изменой России, голосуйте за. И предостерегал русских рабочих от революционных действий во время войны: это равнялось бы измене. Он обнаружил в себе чувство края — края гибели для родины.

И такой поворот совсем не лёгок: три четверти российских революционных эмигрантов ощерились на Плеханова как на предателя Интернационала. Сколько грязных оскорблений от грубого Ленина из Цюриха, от ядовитого Троцкого из Парижа, — и за что? что Плеханов и его группа признали право народа защищаться, если на него напали. Их «интернационализм» — несложная премудрость убогого состава. (И почему-то Троцкий всё поливал грязью только союзников, а Германии всё прощал, даже потопление санитарной «Лузитании».)

Но воссияла Февральская революция — и насколько же ещё дороже стала родина! и насколько достойнее защиты!

Так вот когда настал год и час возвращения! (Уже думал и не дожиться.) И каким же кружным путём! — из Италии в Париж, из Парижа в Лондон. В Северном море не только страдал от морской болезни, но пережили тревожные часы, боялись немецких подводных лодок, из предосторожности все надевали спасательные пояса. А как нарастало волнение, когда поезд подходил к Петербургу! — не просто возвращённая Россия, но — свободная! А с другой стороны, Георгий Валентинович понимал, что и сам он никогда, никогда ещё не был так нужен России и русскому рабочему классу, как сейчас: объяснить ему путь в минуту наибольшей и наигубительной опасности. С пьедестала его несравненной жизни — как же будут его слушать! Может быть, он помирит всех социал-демократов, или даже всех социалистов. Очевидно, придётся войти во Временное правительство. И возглавить Совет рабочих депутатов.

Для скромного эмигранта встреча на вокзале была ошеломительна. Уже близ полуночи — а тут оркестры, делегации воинских частей, от заводов и фабрик, от союза журналистов, помощник градоначальника (передаёт привет от Керенского, который сам приехать не мог), вся верхушка Совета, и верная Засулич уже тут. Еле пробилась под аплодисменты в парадные комнаты, где Чхеидзе произносил приветственную речь. А Георгий Валентинович только мог ответить: «Мне, первому поднявшему красное знамя сорок лет назад на Казанской площади, особенно приятно видеть эти красные знамена. Сколько их! Теперь смерть была бы завидной для меня, но я хочу поработать для дорогой родины. Наши воины показывают, что не допустят возвращения к старому режиму — и я этому верю. Начальство погибло, а отечество осталось». И ещё приветствия, и подняли на руки, понесли к автомобилю. На площади за Финляндским вокзалом такая огромная толпа, что автомобиль с трудом двигался. Но и это не всё — теперь поехали в Народный Дом, где шло Всероссийское Совецание Советов, и под гром еще новых аплодисментов, уже без десяти час ночи, вывели Плеханова на сцену.

А он — уже ничего не мог говорить, ни единого слова произнести. Вот, соотечественники — рабочие, солдаты и социалисты, готовы были беспрепятственно слушать его на родной земле — а он потерял дыхание. Иссякли его силы. Иссякли за 60 лет. За 37 лет эмиграции. Вот когда они были нужны, его силы! а сейчас — мог только поклониться молча залу. И еле стоял на ногах, его поддерживали.

Измученный дорожкой, он, при уходе Розалии Марковны, пролежал сутки, отдышался — и в воскресенье днём отправился на Совецание Советов в Таврический дворец. Нельзя сказать, чтоб силы были, но говорить мог. Необычайное волнение, только вдуматься в это: в самой России открытое совещание истинных представителей трудящихся классов! И вот в думском зале они стоя бурно рукоплескали ему — вот во что преобразился его первоначальный митинг у Казанского собора! Теперь уже не от бессилия, а от волнения он опять еле говорил:

— ...революционное поколение, которое в продолжении десятков лет боролось под красным знаменем, не теряя веры в русский народ, когда вся Россия, вместо того чтобы поддержать революцию, молилась за царя... А нас, социал-демократов, была небольшая кучка, над нами смеялись и называли утопистами. Но я скажу вам словами Лассаля: «Нас было мало, но мы так хорошо рычали, что все подумали, что нас очень много». Я, неисправимый сторонник научного социализма, сказал в Париже в 1889 году: «Русское революционное движение восторжествует как движение рабочего класса или никогда не восторжествует». Все удивлялись: что за несчастный характер, как можно верить в русский рабочий класс, другое дело в русскую интеллигенцию... И вот когда я имею неизреченное счастье стоять в свободном Петрограде и обращаться к российскому пролетариату — я

спрашиваю вас, товарищи: где же эта утопия, в которой нас обвиняли?.. Старый царский режим, весь изъеденный, можно сказать, молью и червями, режим, покрытый беспримерным в России позором... Когда я вступил на Финляндский вокзал — какую музыку я услышал? — марсельезу! ...это французские идеи, которые дали росток на другом конце Европы более чем через сто лет...

И — добродушно шутил о присутствующих французском и английском социалистах, — и взявшись с ними за руки, стояли перед ливнем пролетарско-солдатских рукоплесканий.

Он произносил речь со всем возможным тактом, чтоб не обострять возможных тут разногласий. Но и не миновал свою новейшую веру, по которой так ожесточённо уже пришлось поспорить:

— Меня называют социал-патриотом. А что это значит? Человек, который имеет не только определённые социалистические идеалы, но и любит свою страну. Да, я люблю свою страну и никогда не считал нужным скрывать это.

Ничуть не аплодировали. В зале наступило молчание и шёпот, шёпот.

— Я уверен, никто из вас не встанет, чтобы сказать: это чувство должно быть вырвано из твоего сердца. Нет, товарищи, этого чувства любви к многострадальной России вы из моего сердца не вырвете! По своему происхождению, товарищи, я мог бы принадлежать к числу угнетателей, к ликующим, болтающим, обгаряющим руки в крови, но я перешёл в лагерь угнетённых, потому что любил эту страдающую русскую массу.

И всё острее сегодняшнего разногласия:

— Было время, когда защищать Россию значило защищать царя. Это было ошибочно по той причине, что царь не хотел защищать Россию, портил национальную защиту. Но тем более теперь, когда мы сделали революцию, нам надо всемерно бороться против врага внешнего, против Гогенцоллернов...

А вернулся домой — это недоверчивое молчание проработалось в нём, показалось — чего-то он не договорил. И ещё на другой день, уже простуженный, поехал сказать несколько слов перед закрытием Сопения: на Западе тревожатся, не внесёт ли революционная Россия большего беспорядка в управление страной. Нет, русская демократия — политически зрелая.

И — окончательно заболел. Сказался резкий переход от благословенного климата Италии к ужасному петербургскому. И уже из постели руководил своим «Единством» и наблюдал за разрушительными усилиями приехавшего Ленина. Плеханов со своей группой и газетой оказался теперь далеко не левым, а как бы в центре — в самом благоразумном центре. Из номера в номер и развивали (когда были силы — писал статьи сам, но чувствовал, что и перо его слабеет, нет былой хватки): о войне — что она вызвана австро-германской буржуазией, их победа привела бы к восстановлению у нас монархии, германский народ не восстал — и нам необходимо покончить с прусским милитаризмом, эта война и раньше была делом народов, а после революции тем настоятельнее, мы защищаем свой насущный интерес; и о сути революции — состояние общества исключает переход к социалистической революции, время раскола придёт, но оно ещё не наступило, революция дружно сделана единением всех слоёв, она сейчас носит буржуазный характер, и было бы безумием для рабочего класса захватывать власть, это возможно станет тогда, когда он поведёт за собой большинство страны, а сейчас социалистам разумнее всего самим войти во Временное правительство.

Он думал так, и даже ещё прямее ответил на вопрос, возможно ли его личное участие во Временном правительстве: никакого предложения я не получал, но принципиально не вижу возражений, по пути, во Франции, говорил с Гедом — он тоже не видит.

И это было повсюду напечатано, намерение Плеханова ясно. И шли дни, простуда его не могла быть помехой в переговорах — но никто не приходил с предложением.

Странно.

А каждая фраза «Единства» была острой конфронтацией с Лениным, с его анархическим бредом по развалу России. Его призывы к братанию с немцами могут с корнем вырвать молодое нежное дерево нашей политической свободы. И тут другое странно: хотя никто из социалистов не разделял взглядов Ленина, но кроме «Единства» никто и не спорил с ним на полное разоблачение — все смалчивали, уклонялись или выражались как-то особенно мягко и неопределённо. А «Правда» с несравненным ленинским нахальством перешла сама в наступление: выкопала плехановскую фразу на цюрихском конгрессе Интернационала: «если бы немецкие войска перешли нашу границу, то они пришли бы как освободители», — и теперь уже Плеханову приходилось оправдываться, что — нет, он не за немцев, что та давняя фраза была сказана в защиту таких немцев, как Бебель и Либкнехт, от французских шовинистов, там понималась германская социал-демократическая армия, которая уже бы свергла Гогенцоллернов... Или (Георгию Валентиновичу не сразу и показали) «Правда» к приезду Плеханова напечатала развязный гнусный стишок с намёком чуть ли не на полицейские симпатии:

Ты наш великий пропагатор,
Ты социал наш демократор.
Привет от преданных друзей.
Гамзей Гамзеевич Гамзей.

(Потом Каменев публично соврал, что редакция сожалеет, стихи появились «по недосмотру».)

Разумеется, не призывал Плеханов бороться с Лениным иначе чем словом. Сторонников старого строя — этих следовало бы выслать на север. Против слухов о погромной агитации в Бессарабии и Киевской губернии они вдвоём с Чхеидзе напечатали воззвание — положить конец гнусной попытке деятелей чёрной сотни! С потенциальными громилами надо поступать по всей строгости закона. Анархическому же сектантству ленинцев надо противопоставить начала научного социализма. Но всё же — противопоставить. А это — никем не делалось. Чернов близоруко упражнялся в снисходительной иронии к «буржуазным страхам» от Ленина.

Только через две недели по приезде к Плеханову явился представитель правительства — министр Некрасов. Но приглашать отнюдь не в правительство, далеко до этого: возглавить комиссию по улучшению материального положения железнодорожных служащих!..

Первые минуты было нестерпимо обидно, такое впечатление, что над ним смеются. Но взял себя в руки и смирился: всё же это есть конкретная забота о положении пролетариата, и даже научный вождь не должен этим пренебрегать, это как бы малая частица того министерства труда, в которое прочила его молва. Смирился — и согласился. И съездил на конференцию железнодорожников, выступил там.

Согласился, потому что решил перенести свою деятельность в Совет рабочих депутатов, вступить в Исполнительный Комитет. Дал знать об этом. Оттуда пожелали формального заявления от группы «Единство», вместе с Дейчем. Подали такое.

Но — чудовищно! Исполнительный Комитет был — дети его, две трети учились по его книгам. И он один мог принести им давний социалистический опыт. Он один мог объяснить им настроения сегодняшних западных социалистов. И вот, голосованием 23 против 22 отказали «Единству», и только 27 голосов набралось: пригласить Плеханова лично, но только с совещательным голосом.

Кто б ему сорок лет назад предсказал такое?..

Интриги большевиков? Нет, шире: они не могли ему простить откровенно высказанного «социал-патриота». А кто они сами? От кого они входили? От каких-то мифических групп, а то просто сами от себя — Суханов, Стеклов, Кротовский, Лурье, да три десятка таких, от кого? Теснятся у кормила...

Так надо было 40 лет провести в изгнании, чтобы теперь мальчишки отталкивали его? Столько лет томиться в эмиграции, чтоб не иметь сил никак повести события на родине?

В этот раз — не смирился. Обиделся. Отказался.

Нет сил... Не доберёт. Перетратил их когда-то, может быть, и по ложным направлениям? и в ненужных дискуссиях?

Впрочем, и здоровье сильно сдало. Врачи советуют переселяться в Царское Село. И придёт.

А сегодня был — великий праздник, впервые в России открытое Первое мая. Звали Георгия Валентиновича выступить на нескольких митингах — в Мариинском театре, в цирке Чинизели. А ехать — не мог. Отказали силы у самого порога будущего. На митинг «Единства» поехала Роза, прочесть его обращение. А ещё он написал письмо обещающей молодёжи, артели социалистического студенчества: «Для международного пролетариата очень важно, чтобы к нему примкнуло как можно больше людей высшего образования. Социалистическая революция предполагает долгую просветительскую работу, об этом забывают у нас теперь — и зовут сразу к захвату политической власти...»

Поймут ли? Вникнут ли?

На улице шёл праздник — Георгий Валентинович лежал в постели на спине, смотрел в потолок. Ведь он — был участник того парижского социалистического съезда в 1889, когда и установили праздник 1 мая. А вот, когда первый раз на родине открыто... Ну да это нездоровье — наверное же не надолго.

Порой доносились через форточку оркестры, революционное пение. Этот День — возвышает тружеников над прозой житейской суеты.

Заходили друзья — взволнованные, очарованные, рассказывали. Марсово поле — как людской океан. Тысячи красных знамён, дюжина оркестров там и сям, кто марсельезу, кто оперную музыку. В разрядку расставлены грузовики под красной тканью, и с них митинги. Перемежаются в ораторах — солдатская шинель, рабочий пиджак, крестьянский тулуп, еврейский длинный скортук, ряса. Говорят без конца, с крупными жестами. Слушают напряжённо, наивно, не перебивая. Много речей о разделе земли. Но есть и знамёна: «долой войну».

— Говорят: на Пороховых Ленин призывал захватывать заводы и фабрики, готовиться к диктатуре пролетариата...

— Ах, сумасшедший! Да кто ж его уймёт?

— А у Казанского собора?

— Член Совета Бройдо энергично нападал на правительство: «Если бы мы захотели, то через два часа свергли бы это правительство и взяли власть в свои руки!» — «А вы не боитесь, что ещё через два часа и вас свергнут?» — «Нет, мы — народ, нас свергнуть нельзя!»

У Казанского собора!

И как же через эту сумятицу умов донести: и отечество в опасности, и социализм в опасности. Товарищи! если мы действительно стремимся к свободе — то какие между нами могут быть разногласия?..

НЕ НАД МЕРОЮ ПЛАЧУТ — НАД ПРИГОРШНЕЙ

(Окончание следует)

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ



ИЗ СТИХОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Поэты нашего времени остались глухи к заветам своих предшественников, с одинаковым пафосом и убежденностью предлагавших собратьям по перу взаимоисключающие императивы. Как Некрасов:

Или как Тютчев:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан...

Лишь жить в самом себе умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум...

Но в нашу — «жестокую», по определению Ахматовой,— эпоху гражданские добродетели и поэзия с ее «волшебными гумами» оказались вполне совместимыми. Примеров тому множество, и один из наиболее ярких — выход поэта Натальи Горбаневской в шестьдесят восьмом году на Красную площадь с группой своих друзей и единомышленников, протестовавших против вторжения Советской Армии в Чехословакию.

Впереди ее ждали годы психушек и тюрем с особым режимом. В феврале семьдесят первого года вместе с матерью Наташи Евгенией Семеновной Горбаневской, человеком редкого мужества, я приехала в одну из таких тюрем в городе Казани. В приемной с забранными решетками окнами, под стенами, расписанными веселенькими пейзажами с парусами и солнышком, сидели в ожидании свидания угрюмые родственники заключенных. Из разговоров с ними скоро удалось выяснить: здесь содержались в основном убийцы и насильники, совершившие особенно тяжкие и жестокие преступления.

Крестный путь Натальи Горбаневской завершился эмиграцией. Ибо для человека, вышедшего «на свободу», в этой стране не было будущего, как не могло быть теперь будущего и у двух ее погратавших сыновей. Но на всем протяжении этого своего пути она оставалась поэтом, стихи нигде не оставляли ее.

Тридцать лет назад Анна Ахматова при первом же знакомстве с молодой поэтессой сразу отметила подлинность ее таланта. Сейчас с полным правом мы можем сказать, что вся последующая жизнь Наташи была подтверждением этой подлинности.

Наталья Горбаневская возвращается к нам издалека стихами, в которых печаль, горечь, усталость как бы омыты и высветлены живой водой настоящей Поэзии.

Галина КОРНИЛОВА.

.

Пора, пора! рога на склоне дня
трубят уже не вальд-, а вильдхорном
и скоро смолкнут. Отзвуком упорным
отголосит трехструнная стерна

оледенелая. И, взятый с бою,
успевший протрубить и проиграть,
укрылся бор за серо-бурой мглой,
чтобы семью патронами загнать,
как музыкантский взвод, себя в обойму
и лечь в болото, настилая гать.

.

в эту речь утекающую подобно ручью
я хочу ступать сколько раз захочу

и под ту же самую сень раки
что бы там ни рассказывал Гераклит

* * *

То был не зверь, а человек,
не полуостров, а ковчег,
и вообще не этот век,
то есть не сей.
А что посеял, то пожнешь
и живо за собой пожжешь,
и будет мир совсем хорош —
почти совсем.

И на родимой стороне
луны, в невидимой стране,
ты ухом припадешь к стерне,
и ухо то
услышит, как растет трава,
как тихнут громкие права,
как сохнут слезы, а Москва —
известно что.

* * *

Дорубаюсь до склада и ладу,
до заваленной штольни.
Эолийского мору и гладу
нахлебаться мне, что ли...

чтобы начисто перебелило
все наросты на сердце.

Эолийского мела и мыла,
как уродцу, наестся,

Эолий... — дорублюсь до конечной
пустотелой породы.
Замерев над подземною речкой,
пью незримые воды.

* * *

Таянье, тленье, латание,
пение и лопотание,
лепет, и пепел, и прах,
охра, и порох, и страх.

Воем воздушной тревоги
душу встречает рассвет,
туч скороспелых ватаги
красятся в зелень и синь.

После зимы из берлоги
тяжко выходишь на свет,
иволга свищет в овраге,
ива вцепляется в землю.

Иволга кошкой мяучит,
стонет, и плачет, и мучит
светочувствительный слух
флюсом, что за зиму вспух.

* * *

С бердышом и пищалью
конвоир косолап
вызывает с вешами
на последний этап.

Утолились печали,
отмотался клубок.
С парой крыл за плечами
конвоир косоок.

* * *

Я как будто все могу,
то да се могу. Но если...
Эта мысль в моем мозгу
развалилась точно в кресле.

Недосказанная мысль
точит зубы между строчек,
как грызет в чулане мышшь
сыра выпавший кусочек.

* * *

Стихи мои, наемшись дырбулщей,
захорошели, завелись, запели,
закапали, как капельки капели,
пронизывая существо вещей,

на том дубу, где чахнет царь Кощей.

и чем проникновенней, тем тощей.
и вот уж на просвет заголубли,
раскачиваясь в утлой колыбели

Над золотом заутренней земли,
над позолотой луковок и маков
раскачиваясь по вельню звуков,
по излученью лучников и луков,
трепещет смысл от до-диез до ми-
бемоля, золотист и зодиаков.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧЕРТОВА ЯМА

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В столовую ходили поротно, соблюдая очередность. Горе народу, когда первая рота должна идти на завтрак первой, на ужин — последней. Во-первых: надо было подниматься раньше всех и ложиться после отбоя. Кроме того, как ни болтай черпаком в котлах — первым все равно наливается жиже, последним же, случается, достанутся хорошие остатки в котлах. Если же кухонный отряд просчитается или крохоборы дежурные закусочничают, обедать начнут, может шпик с постным маслом на дне котлов остаться.

Лучше всего ходить в столовую в середочке — тогда суп гуще, на хлебе все довесочки целы, да и попромышлять можно до конца обеда или отбоя.

Большого совершенства в делении пайки, в промысле добавки и всякого дополнительного пропитания достигли бойцы двадцать первого стрелкового полка. С осени хлеб делили, выбирая от десятка едоков полномочного человека, и не одного, двух. Один полномочный человек отворачивался от стола, другой полномочный человек, положив руку на пайку, спрашивал: «Кому?» Отворотившийся выкрикивал: «Петьке! Сашке! Ваньке!» Сомнения вкрадывались в души солдатиков, подтачивали доверие к полномочным людям — в створе они, им и связчикам ихним не случайно же достаются одни горбушки да пайки с довесками. Пустили в ход хитрейшую тактику. В каждом подразделении свою. В зависимости от пристрастий данного контингента едоков употреблялось название либо кинокартин, либо машин, либо воинских званий, либо городов. Советских. Но и здесь чудились происки. Хотя откуда быть обдуваловке: хлеб нарезается и взвешивается в хлеборезке, каждая пайка отдельно. Да в хлеборезке-то тоже люди — где промахнутся ножом, где перевесят, где недовесят.

В первом взводе мысль работала недостигаемо сложно, деление паек достигло такого ухищренного совершенства, какого небось и просвещенная Европа не знала: по предложению Васконяна в ход пошли названия стран. «Кому пайка?» — спрашивал распределитель. И следовал выкрик: «Абиссинии! Греции! Аргентине! Англии! Сэсэру!» Везло отчего-то больше всего Абиссинии — ей всегда доставалась горбушка. Так же и кашу и суп делить стали. Зачерпнет кашу дежурный, замахнется поварешкой: «Кому?» — и специалист по странам названия выдает, но уже иные, чем при делении хлеба, благо стран на земле много, на всю роту названий хватает. Хлоп в скользкую миску черпак каши — Польше, бульк поварешку супу — Венгрии. Радуйся, Европа, кушай на здоровье!

Дежка была столь тщательна, занимала так много времени, что едоки часто не укладывались в срок, отпущенный на завтрак или на обед, хлебали и жевали харч на ходу, суп допивали через край миски, пайку хлеба совали за пазуху и берегли воистину пуще глаза, отщипывая по крошке. Слабовольные людишки страшно завидовали тем, кто обладал терпением, выдержкой, не сжирал пайку как попало, не заглывал мимоходом, живьем, ел с супом или с чаем, потреблял продукт бесценный с чувством, с толком, с расстановкой, с пользой для здоровья и для тела и духа поддержания.

С каждым месяцем, неделей, днем прибывало и прибывало в полку доходяг. Овладев порожней миской, доходяги толкались возле раздаточных окон, канючили, ныли, выпрашивали добавки, мешая старшим десятка получать тазы с похлебкой, с кашей, с чаем, если мутную, бамным венником пахнущую жижу можно было назвать чаем, но, намерзшись на занятиях, вечерами пили того чаю много, пили жадно, мочились ночью, биты бывали соколики нещадно.

Меж столов сновали серые тени опустившихся, больных людей — не успеет солдат выплюнуть на стол рыбью кость, как из-за спины просовывается рука, цап ту кость, миску вылизать просят, по дну таза ложкой или пальцем царапают. Этих неприкаянных, без спроса ушедших из казармы людей ловили патрули, дневальные, наказывали, увещевали. Но доходяги утратили всякое человеческое достоинство, забыли, где они и зачем есть, дошли до помоек, отбросных ларей, что-то расковыривали там палками, железом, совали в карманы, уносили в леса к костеркам.

Казахи, а их в первой роте закрепилось человек десять, во главе с Талгатом, которого из-за трудности выговора бойцы кликали Талгаем, презирали доходяг, плевались: «Адрем кал!» («Фу на тебя!») — брезгливо выбрасывали из супа или из толченой картошки комочки свинины. Начался обмен: казах русскому — кроху мяса, русский казаху — ложку картохи либо корочку хлеба. Но и неистовые азиаты, больше других страдающие от холода и недоеда, один по одному сдавались: сначала начали хлебать суп, сваренный со свининой, потом и мясо, отвернувшись, украдкой бросали в рот. Кругом дразнятся: «У-у, чушка поганая! Хрю-хрю, чушка!..» — чтобы забрезговали, не ели мяса казахи. И пришел срок, когда Талгат повелительно сказал:

— Сайтын алгыр! (Черт бы тебя побрал!) Ешьте все! Ешьте! Аллах разрешил из-за трудности момента. Ослабеете, будете, как они, — презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачки доходяг.

Давясь, плача, казашата ели суп со свининой. Наевшись, выкрикнув: «Астапрала!» — отбегали от стола в угол столовой — поплевать.

Дисциплина в полку не просто пошатнулась — с каждым днем управлять людьми становилось все труднее. Парнишки в заношенной одежде, в обуви хрустящей, точнее по-собачьи визжащей, твякающей на морозе, ничего уже не боялись, увиливали от занятий, шныряли по расположению полка в поисках хоть какой-нибудь еды. Утром их невозможно было поднять, вытолкать из казармы.

Начиналось все довольно бодро. Дневальные первой и второй рот одновременно заводили громко, песенно: «Па-аа-адъем! Па-аа-адъем!» — но никто в казарме не только не поднимался, даже не шевелился. Тогда второй дневальный, спаривая голос с первым, орал: «Подъем! Сколько можно спать?»

Постепенно расходясь в праведном гневе, накаляясь, дежурный по роте, им чаще всего был Яшкин, тоже шибко сдавший, совсем желтый, начинал сдергивать бойцов с нар, которые оказывались поближе. Всех ближе на нижних нарах ютились горемыки больные,

на которых дуло из неплотно закрытой двери, тянуло от сырого пола, и как им ни запрещали, как их ни наказывали, они волокли на себя всякое тряпье, вили на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары, лезли в грязное, развороченное, но все же чуть утепленное гнездо — только бы не на улицу, только бы не на мороз в мокрых, псиной пропахших штанах, побелевших от мочи на заду и в промежности.

Не лучше дело обстояло и на третьем ярусе. Тех, наверху, за ногу не стащить — лягаются. Их били макетами винтовок, били без выбора, случалось, попадали в голову, крепко ушибали человека, тогда он подскакивал, спинался дневального вниз. Дневальный хватался за столб, вопил:

— Товарищ старшина! Товарищ старшина! Оне дерутся!

И тут на свет казарменной лампы выскакивал из каптерки старшина Шпатор в солдатском белье, в серых валенках, обутых на босу ногу, сухонький, с искрящейся редкими волосами стриженной головой, с крылато раскинутыми усами.

— Это армия, папаш? — нервно вопрошал он. — Армия?.. А ну встать! Встать!!.. Не то я вас,...

Старшина для примера сбрасывал со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившись об пол, вопил, ругался; осатаневшие дневальные лупили уже всех подряд прикладами макетов, с боем сгоняли служивых с третьего яруса нар на второй, где они, сгрудившись, пробовали дремать дальше, со второго их спихивали на первый, с первого вытесняли серую массу в коридор, затем к дверям, на лестницу, никто не торопился открывать двери. Наконец, благословясь тычками, пинками, выдворяли на мороз разоспавшихся вояк, и тут же начинался отлов симулянтов: их вытаскивали из-под нар, выковыривали из казарменных щелей, где и таракану-то не спрятаться.

Выжитые из казармы служивые тем временем пританцовывали на морозе, ругались, грозилась, когда очередного симулянта выбрасывали на улицу, встречали его в кулаки.

Щусь, как всегда подтянутый, ладный, но тоже недоспавший, явившись из землянки, терпеливо ждал в стороне результатов.

— Р-равня-айсь! Х-хмиррна! — наконец взлетал над сбившимися в строй красноармейцами вызвеневший голос помкомвзвода Яшкина. Скользя, спотыкаясь, поддерживая на боку кирзовую сумку, доставшуюся ему еще на фронте, в которой было все личное имущество помкомвзвода, он подбегал к Щусю и докладывал: — Товарищ младший лейтенант, первая рота для следования на занятия выстроена!

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — щелкнув сапогами, поставив ногу к ноге, бодро выкрикивал Щусь. В ответ следовало что-то невнятное, разбродное. — Не слышу! Не понял! Здравствуйте, товарищи бойцы! — подпустив шалости в голос, громче кричал Щусь.

Так иногда повторялось до четырех раз, иногда и до пяти, пока не раздавалось наконец что-то гавкающее:

— Здравс тыщ-щий лейтенант!

— Вот теперь, чувствую, проснулись. Р-рота, в столовую для приема пищи шагом арш!

Перед тем как спуститься в каптерку к старшине, чтоб обсудить с ним план занятий и жизни на сегодняшний день, Щусь смотрел еще какое-то время вслед качающемуся под желтушно светящимися фонарями, пар выдыхающему, отхаркивающемуся, не очень-то ровному и ладному строю. И снова подступала, царапала сердце ночная дума: «Ну зачем это? Зачем? Почему ребят сразу не отправили на фронт? Зачем они тут доходят, занимаются шагистикой? На стрельбище, как и прежние роты, побывают два-три раза, расстреляют по обойме патронов — не хватает боеприпасов. Копать землю многие из них умеют с детства, штыком колоть, если доведется,

война научит. Зачем? Зачем здоровых парней доводить до недееспособного состояния?» Ответа Щусь не находил, не понимал, что действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии, и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить многое. То, что годилось для прошлой войны или даже для войны с Наполеоном, следовало отменить, перестроить, упростить, да не упрощать же до полного абсурда, до убогости, нищеты, до полной безнравственности, ведь бойцы первой роты по одежке, да и по условиям жизни и по поведению, мало чем отличаются от арестантов нынешних времен. И Попцов, да что Попцов, разве он один, разве его смерть кого образумит, научит, остановит?

Между завтраком и выходом на занятия была пауза, небольшая по времени, но достаточная для того, чтобы служивые снова позабегались на нары, присели возле печки, привалились к прелой стене, но лучше, выгодней всего к ружейной пирамиде. Тонкий стратегический расчет тут таился: как только раздавалась команда «разобрать оружие!», у пирамиды поднималась свалка — каждый норовил схватить деревянный макет, потому как он был легок и у него не было железного затыльника на прикладе, от которого коченеет ладонь и уставала рука. С меньшей охотой разбирались настоящие, отечественные винтовки, и никто не хотел вооружаться винтовками финскими, из железа и дерева сделанными. Как, для чего они попали в учебные роты — одним высокоумным военным деятелям известно.

Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды, там и оставались они после расхватухи, никто их не замечал, учено говоря, бойцы игнорировали плененное оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренной по торцу, — «чтобы кишки вытаскивались, когда в брюхо кольнут, — заключали ребята и добавляли возмущенно: — Изуиты! Вон у нашего винтаря штык как штык, пырни — дак дырка аккуратна».

Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, еще предстояло узнать, что ранка от нашего четырехугольного штыка — фашисту верная смерть, заживает та рана куда как медленней, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека. Остается благодарить бога за то, что в этой войне рукопашного боя было мало, редко он случался.

А пока по казарме угорело носился старшина Шпатор с помкомвзвода Яшкиным.

— Кому сказано — разобрать оружие! — заполошно орали.

Дело кончалось всегда тем, что самых бесхитростных, неизворотливых бойцов силой подгоняли иль за шкуру подтаскивали к пирамиде. Будто в революционном Питере, красноармейцу лично вручалось грозное оружие. Наглецы и ловкачи, расхватавшие оружие по уму и таланту, между тем толпились у выхода из подвала гогоча, подавали жару:

— Вооружайсь, вооружайсь, товарищи красные бойцы!

— Стоим на страже всегда, всегда, но если скажет страна труда...

— Скажет она.

— Да не толкайся ты, а то я тя так толкну...

— Рыло сперва умой!

— Рыло сперва умой, потом иди домой!

— Поэт нашелся, еп твою мать!

— Поэт не поэт, а лепит!

— Какая курва там дверь открыла?

— Да старшина это, на прогулку приглашает.

— Пуцай сам и гуляет!

— Эй, доходяги, сколько можно ждать?

— Кончай вольнить, товарищ младший лейтенант на улице четку в сапогах бьет.

— Шесто колено исполняет.

— Раньше выдем, раньше с занятий отпустят.

— Отпустят, штаны спустят!

— Повольните еще, повольните, заразы, так мы сами возьмемся вас на улку выгонять! Не обрадуетесь!

— Сами с усами! — даялся Яшкин. — Чего тут столпились? Кто разрешил курить?

— Сорок оставь, Вась!

— Скоро уж пострать нельзя будет без твоего разрешения.

— Разговорчики, памаш! — врезался в толпу старшина. — Марш на улицу! Ну армия, ну армия! Помру я скоро, подожду от такой армии.

— От такой не сдохнешь, от такой...

— Р-разговорчики!

Кто с оружием, кому повезло, тот без оружия, доходяги, больные, симулянты, дневальные, промысловики, разгильдяи, шлявшиеся по расположению полка и по общепитам, переловленные патрулями иль с вечера еще надыбанные докой Шпатором, получившие от старшины по наряду вне очереди — больше он не может, на большее его власти не хватает, — дрогнут на дворе, ждут и знают: старшина так просто, без внимания никого не оставит, он, прокурор в законе, попросит у старшего командира добавки к уже определенному нарушителям наказанию.

Но вот и строй какой-никакой сотворен, вся рота наконец-то в сборе. Старшина семенит вдоль рядов поплясывающего воинства, под сапогами его крикает снег, крошатся ледышки. Натуго застегнутый и подпоясанный, в шапке со звездой, в однопалых рукавицах, в яловых сапогах, должно быть еще с империалистической войны привезенных, усохший, в крестце осевший, но все еще пряменький, чисто выбритый, старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположение первой роты — для второй роты существует другой вход, со своими лампочками, — кажется подростком, как эти вот орлы двадцать четвертого года рождения, заметно исхудавшие, телом опавшие за каких-нибудь неполных два месяца прохождения службы. Но только этот вот шестуной подросток — главная самая власть над ними, от нее, от этой власти, вся досада и насада, от нее, как от болезни, ни откреститься, ни скрыться.

— Попцовцы, шаг вперед!

Умер бедолага Попцов, тайком его в землю зарыли, в мерзлую казенную могилу поместили, но дело его живет и кличка к доходягам первой роты приклеилась. Круг попцовцев с каждым днем в роте ширился, старшина особо к ним пристрастен, смотрит каждому в лицо, в глаза, щупает лоб, цапает за втоки, больно мнет промежность, унижая и без того съезжившиеся от холода и неупотребления мужские достоинства. «В казарму!», «В строй!», «В казарму!», «В строй!» — следует приговор.

— Товарищ старшина, да я же совсем хворай, — начинаются обычные жалобы. — Мне в санчасть... — Голос на последнем издохе, тоньше волоска голос, дитяшный голос.

— Болеть в армию приехал, памаш? Не выйдет! Не выйдет! — Спровадив больных в казарму и чуя, с какой завистью вслед им, гремящим вниз по лестнице, смотрят оставшиеся в строю, старшина громко, чтобы всем было слышно, оповещает: — У меня не забалуешься! Кто старшину Шпатора проведет, тот и дня на свете не проживет! Те симулянты, кои в казарме остались, еще позавидуют, памаш, честным бойцам, от занятий не уклоняющимся, воинский

долг исполняющим, как надлежит воину Красной Армии.— Многозначительно сощурившись, повелительно похлопывая себя рукавицей по сапогу, старшина выпевал: — Зло-остные ссе-эм-мулянты сами об себе заявят, иль выявлять? — Старшина Шпатор, все так же похлопывая себя рукавицей, вперялся в строй, в самую его середку, доставая прозорливым взглядом каждого служивого до самого до сердца, сверля взглядом насквозь все содрогнувшееся нутро.

И сердце самого робкого злоумышленника не выдерживало, понурил голову, выходил он из строя, сознавался, что рукавицы не потерял, а спрятал, надеясь покантоваться в казарме хоть денек. И самый справедливый на эту тяжкую минуту командир Советской Армии, поиспытав молчанием неопытного симулянта, оглашал приговор: за честное признание прощает человека, но делает это в последний раз: Пусть сей же секунд разгильдяй бежит в казарму, наденет рукавицы, припасенные заботливым старшиной, и явится как положено и куда положено, однако на заметку он его все же берет и так просто задуманное им служебное злодеяние все равно не сойдет, вечером после занятий и ужина старшина каждому из симулянтов уделит особое внимание, с каждым из них займется индивидуально.

— Тэ-экс! Часть работы, самая ответственная, памаш, благополучно завершена. Пора и на занятия. Вон уже дисциплинированные роты идут и поют. Мы же еще канителемся, разгильдяев ублагоустворяем, товарищ младший лейтенант в землянке сидят и нервничают.

Последнее время Щусь не выходил на построение, надоела ему вся эта комедия, на морозе торчать лишний час в хромовых сапогах на одну портянку не подарок тоже, хоть он и закален службой, боями, да и устал смертельно.

— Тэ-экс! — повторил старшина, проходя вдоль уже подзамерзшего, пляшущего на морозе строя. — Может, у кого просьбы есть, жалобы, обращенья?

В строю происходило движение, перед старшиной представали те, у кого действительно пришла в негодность обувь, совсем одряхлели и требовали починки шинель, гимнастерка, штаны, кому требовалось освобождение часа на два, чтобы сходить на почту за посылкой или за чем-то в штаб полка... «За чем-то!» — фыркнул, умственно шевелил усами старшина. Куда путь лежит осведомителю, старшина не ведает — он первый день на службе! За утро старшина вылавливал и изобличал от двух до пяти ухарей, повредивших обувь: наступят на подошву, рванут — и готово, подметка отлетела.

— А шпилечки-то, шпилечки-то, голубчик ты мой, свеженьки-и-и, бе-елень-ки-и-и, — напевал старшина, — у истлелой обуви, голубок, подметочки не враз отрываются, они поднашиваются, грязнятся, гнию-юут...— Сделав паузу, старшина грустно спрашивал у потрошителя казенного имущества: — И что мне с тобой делать? — Злодей сам себе наказание придумать был не в состоянии, тогда, обращаясь к иззябшему строю, старшина качал головой. — Вот люди честные, порядочные мерзнут, памаш, из-за тебя, негодяя. Я их и спрошу, что с тобой делать.

— Сортир долбить! — как правило, следовал единодушный приговор.

— Во! — Старшина поднимал вверх перст и качал им в воздухе.— Народ зря не судит, народ завсегда справедлив. Взять л-лом, л-лопату и прямоком на работку, на чистеньку, на запашистеньку-у! Меня кто проведет?

— Никто-о-о-о! — единым выдохом давала дружный ответ первая рота.

— И ведь знают, знают, но пробуют,— сокрушался старшина.— Шестаков, в земляку дневальным, поскольку животом маешься. Днем сходишь в лес, лекарствов для себя и для всех дристунов насобираешь.

— Е-эсть, товарищ старшина! — голосом совсем не больного человека откликнулся Шестаков и бегом мчался в землянку Щуся — самое теплое, самое оздоровительное было там место.

— Знай службу, плюй в ружье, да не мочи дуло! — наконец-то звонко выкрикивал старшина Шпатор стародавнюю, мало кому уже понятную ныне мудрость.

Щусь получал в свое распоряжение роту. Взводных и командира роты так до сих пор еще не прислали.

— Н-напрр-рыво! Ш-шыгом а-ар! Э-запевай! — резко, бодряще командовал он.

К этой поре каждая рота уже определилась то своей строевой песней, каждая пела именно ту песню, которая данному сообществу почему-либо подходила, а почему она подходила — никто еще на всем белом свете не угадал и едва ли угадает, это есть глубокая тайна могущественной природы.

В первой роте любимых песен было две. Одну, жизнерадостную, запевал после обеда и перед отбоем, будучи по природе и сам жизнерадостным, боец Бабенко. Звенело тогда в морозном пространстве над притихшим зимним сосняком, над меланхолично дымящими казармами, над землянками, над карантинном, над штабом, над всеми служебными помещениями военного городка:

Солнце лется, сердце бьется,
И отрадно дышит грудь,
Над волгами вместе с нами
Птица-песня держит путь.

И случалось, какая-нибудь гражданка из вольнонаемных, навещать жениха или сына приехавшая иль из Бердска зачем прибредшая, приостанавливалась, приоткрыв рот, слушала эту неожиданную, вроде бы для времени и места не пригодную песню. Бабенко, выпятив грудь, изливался громче того, и рубил, рубил строй первой роты скособоченными ботинками мерзлую сибирскую землю, долбил звучными каблуками территорию запасного стрелкового полка.

Но утром, сумеречным, серым, когда казалось, что вечно так и будет, никогда уж и не рассветет, насупленно-строгий строй, покачивая винтовки и макеты на плечах, выбрасывая клубы пара из кашляющих, хрипящих ртов, топал за лес, в поля, занесенные, заснеженные, истолченные ногами солдат, — утром «птица-песня» не годилась. Гриша Хохлак, прибывший в полк из-под Ишима, почти не имеющий голоса, но хорошо чувствующий ритм шага, речитативом начинал подходящее:

Мы идем за великую родину
Нашим братьям по классу помочь.
Каждый шаг нашей армией пройденный,
Прогоняет зловещую ночь.

И недружным пока, но все же спетым, слаженным за прошедшее время хором первая рота подхватывала:

Украина золотая, Белоруссия родная,
Наше счастье на грани-ище
Мы штыками, штыками оградим!

Младший лейтенант Щусь, чеканя вместе с ротой шаг, в лад ей, в ногу подпевал, поддакивал, бодрости подавал:

— И-ы ррыс-два! Р-ррыс-два! Ррррыс-два-трри-четыре! Ррррыс! Рррррыс!

Щусь был все-таки прирожденным талантом, на постылых занятиях ему удавалось расшевелить, даже увлечь этих ко всему уже, кроме еды и спанья, равнодушных людей, за короткий срок превратившихся в полубольных, согбенных старичков с потухшими глазами, хрипящим от простуды дыханием, все гуще по лицу обрастающих пухом, все тупее воспринимающих окружающую действительность.

Младший лейтенант сам показывал пример лихости, ловкости на занятиях, лазал по лестницам, прыгал через барьеры, понимая, однако, пусть и по короткому участию в боях да по рассказам фронтовиков, что едва ли все это ребятам пригодится на войне, но так она, милая, разнообразна, что, может, чего и пригодится. Свалка первых дней войны, когда отбивались кто как, кто чем, все же кончилась. Война обретает контуры той войны, какая может быть только в двадцатом веке, война техники, артиллерии, авиации, танков, реактивных установок. Едва ли штык-молодец понадобится, но чем черт не шутит. Главное, чтоб парнишки эти совсем не пали духом. И пороли бойцы первой роты, потрошили чучела, набитые соломой, ходили друг на друга и на младшего лейтенанта «в штыковую», делали выпады, отбивали штык прикладом, «поражали противника» ударом в грудь, прикладом били по его башке, набитой, по заверениям капитана Мельникова, идеями мирового господства, слепого поклонения фюреру, жадностью до русского сала и до невинных советских женщин.

За время службы совсем дошел, отупел от постоянной муштры, от недоеданий Коля Рындин. Поначалу такой бойкий на язык, смекаливый в хозяйственных и боевых делах, он замкнулся, умолк, смотрел исхлестанными снегом и ветром глазами, все время подернутыми слезью, сочащейся по щекам и оставляющей на них белые соленые следы, смотрел куда-то вверх голов и сосен, за казармы, за армию, шевелящуюся внизу, на земле. Был он уже ближе к небу, чем к земле, постоянно пляшущие сохшиеся его губы шептали «божественное» — никто уж ничего не мог с ним сделать, даже индивидуальные беседы капитана Мельникова не оказывали никакого воздействия. Слова о том, что все эти молитвы, обращенные к Богу, есть кликушество и мракобесие, что только научный коммунизм и вера во всемогущество товарища Сталина могут спасти страну и народ, вбивали Колю Рындина в еще большее опустошение, в бесчувственность. Он согласно кивал головой товарищу капитану, поддакивал, но слова Мельникова — не его собственные слова, казенные слова, засаленные, пустопорожные, в устах и в газетах вычитанные, — не достигали сознания красноармейца. Поначалу споривший с многоумным человеком, обвинявшим старообрядца в отсталости, толковавший капитану о том, что старая вера есть истинная вера, все остальное — бесовское наваждение, что лишь там, в лесу, сохранились еще истину знающие, ход жизни и небесных сил ведающие чистые люди, что сам он и его семья, как и многие старообрядческие семьи, давно вышедшие с Амыла, Казыра, Большого и Малого Абакана да и с других таежных рек и спустившиеся с гор, обмирились, записавшись в колхоз, соединясь с деревенскими пролетарьями, вовсе испоганились, но даже в сношении с самим дьяволом они не вовсе еще погрязли в грехах, многие, многие в миру дьявола в себя запустили, до безверья дойдя, сами себе подписали приговор на вечные муки, и вот глядите, чем это кончилось, иначе и не могло кончиться, — страшной казармой, озверением, — ныне он вот, Коля Рындин, и пытается вспоминать, Бога попросить о милости к служивым, но тот не допускает его молитву до высоты небесной, карает его вместе со всеми ребятами невиданной карой, голодью, вшами, скопищем людей, превращенных в животных. Так это еще не все. Не все. На этом он, милостивец, не остановится, как совершенно верно сказано в Божьем писании, бросит еще всех в геенну огненную, и комиссаров не забудет, их-то, главных смутителей-безбожников, пожалуй что, погонит в ад первой колонной, первым строем, сымет с их красные галифе да накаленными прутьями пороть по жопе примется. И поделом, поделом — не колебайте воздуху, не сбивайте народ с панталыку, не поганьте веру, чистое имя Господне.

Упершись в несокрушимую стену, встретив впервые такие бесстрашные убеждения, понял замполит, что всего его марксистского

образования, атеистического лепету, всей силы не хватит переубедить одного красноармейца Рындина, не может он повернуть его лицом к коммунистическим идеалам. Что же тогда думать про весь народ, пусть он, народ, затаился с верой, боится, но Бога-то в душе хранит, на него уповает, а все кругом одно и то же, одно и то же: партия — Сталин — партия...

— Не распространяйте хотя бы своего темного заблуждения на товарищей своих, не толкуйте им о своем боге. Это, уверяю вас, глупое и вредное заблуждение. Бога нет.

— А што есть-то, товарищ капитан?

— Н-ну, первичность сознания, материя...

— Ученье — свет, неученье — тьма.

— Во-во, совершенно правильно!

— У меня вот баушка Секлетинья неученая, но никогда не брала чужого, не обманывала никого, не врала никому, всем помогала, знала много молитв и древних стихир, дак вот ей бы комиссаром-то, духовником-то быть, а не вам. Знаете, какую стихирку она часто повторяла?

— Какую же? Любопытно, любопытно,— снисходительно улыбался капитан Мельников.

— Я точно-то не помню, вертоголовый был, худо молился, вот и не могу теперь отомолиться... А стихира та будто бы занесена в Сибирь на древних складнях оконниками.

— Это еще что такое?

— Оконники молились природе. Придут в леса, построят избу, прорубят оконце на восход и на закат солнца, молятся светилу, звезде, дереву, зверю, птице малой. Икон оне с собой из Расеи не приносили, только складни со стихирами. И на одной стихире, баушка Секлетинья сказывала, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты.

— Какая ерунда! — заламывал руки отчаявшийся комиссар. — Кака-а-ая отсталость, господи!

— Вот и вы Господа всеу поминаете, не веруя в него,— это есть самый тяжкий грех, Господь вас накажет за пустословие, за омман.

Капитан Мельников удрученно молчал, щелкая пальцами, перебирал руками шапку и утратившим большевистскую страсть, угасшим голосом увещевал:

— Еще раз прошу: вы хоть среди бойцов не распространяйтесь. Вас ведь могут привлечь за антипартийную пропаганду к ответственности. Обещаете?

— Ладно. Только против Бога никто не устоит. Вы тожа. Мне вас жалко, заблудший вы человек, хотя по сердцу навроде бы добрый. Вам бы в церкву сходить, отомолить бы себя...

— Я вас прошу...

— Ладно, ладно. Обещшаю...

Коля Рындин и не агитировал. Он долгое время рассказывал о том, как ездил с баушкой Секлетиньей из Верхнего Кужебара в Нижний Кужебар к тетке в гости. Теткин муж на Сретенье как раз свиной заколол, и тетка нажарила картошки со свежей убоиной в семейной сковородице. Мужики пиво домашнее пили, потом на вино перешли, капустой, огурцами, груздями и рыбой закусывали. Коля допахался до картошки со свежатиной и налопался же-е! Но сковородица что ушат, Коля в силу и тело еще не вошел, жаренину не одолел, съел картошек всего с половину сковороды и шибко страдал ныне: почему он не доел жареную картошку, со дна и по бокам сковороды запекшуюся, хрустящую, нежным жиром пропитавшуюся? Зачем, зачем вот он ее, картошку-то, дурак такой, оставил?

Колю просили замолчать, даже пробовали достать в потемках. Но Коля Рындин изо дня в день, из вечера в вечер повторял и повторял рассказ о жареной картошке. Слушая его, и другие бойцы

вспоминали о еде: как, чего, когда и где они ели. Жизнь этих людей в большинстве была убога, унижительна, нища, состояла из стояния в очередях, получения пайков, талонов да еще из борьбы за урожай, который тут же изымался в пользу общества. Поведать о чем-то занятном, редкостном ребята не могли, выдумывать не умели, поэтому просили Васконяна рассказать о его роскошной жизни, и он охотно повествовал о себе, о еде, какую имел: «Кекс и пастивка, тогт «Наповеон», кагтофевь фги, гыба с повьским соусом, шашвык с подпочечной баганиной...»

Ребята о таких яствах и не слышали, однако последнее время Коля Рындин не повествовал больше про жареную картошку, и Васконян засыпал на полуслове. Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух носищем, ежится от страха надвигающейся беды. Соседи по нарам, слыша тот плач угасающего богатыря, утыкались в шинели, грызли сукно. Васконян иной раз двигался ближе к Коле, нашаривал его в потемках рукой, гладил по шинели:

— Не свабейте духом, Никовой, не пвачьте, все гавно ского все довжно пегемениться.

— Я ведь бригадиром был, Ашотик, а теперь че? — гудел в ответ Коля Рындин. — Смеются все. Комедь имя.

— И надо мной смеются. Что же девать? Может, им утешенье? Может, обвегченье?

— Людей мучать утешенье? Господь не велел ближних мучать.

— Что ж господь? Не пгисутствует он здесь. Пгоквятое, поганое место. И Попцова пгостить не может.

— Да, ужо нас.

С особенным удовольствием ближние потешались над Васконяном и Колей Рындиным на полевых занятиях, отчего старообрядец путался еще больше, не мог исполнить точно повороты направо и налево. Ему кричали: «Сено-солома!» С сеном-соломой старообрядец разбирался скорее, команды воспринимал доходчивей. Еще большее удовольствие ребята получали, когда младший лейтенант Щусь учил Колю Рындина встречному штыковому бою.

— Товарищ боец! Перед тобой враг, фашист, понятно? — Щусь показывал на себя. Коля Рындин, открыв рот, растерянно внимал. — Фашист идет в атаку. Если ты его не убьешь, он убьет тебя. Н-ну!

Младший лейтенант, ловко перехватив винтовку, пер на Колю Рындина. Шумно дыша, раздувая ноздри, Коля Рындин несмело двигался на командира с макетом винтовки, в его руках выглядевшей лучинкой. Шаг красноармейца замедлялся, бесстрашие слабело, он останавливался, в бессилии опускал свою винтовку.

— Коли фашиста, кому говорю!

— Да што ты, товарищ младший лейтенант? Какой ты фашист? Господь с тобою. Я жа вижу, свой ты, рускай, советский афыцер.

— «Постой-постой, товарищ, винтовку опусти, ты не врага встречаешь, а друга встретил ты», — припоминал кто-то из веселых изгальников стих из школьного учебника.

Щусь в бешенстве отбрасывал винтовку, ругался, плевался, кривил губы, пытался разозлить Колю Рындина, но тот никак не мог поднять в себе злобы, и, глядя на совсем обессилевшего, истощавшего великана, командир уныло говорил:

— Тебя же с твоими святыми в первом бою прикончат.

— На все воля Божья.

— Ладно. Отправляйся в казарму, — махал рукой Щусь. Перехватив взгляд Петьки Мусикова, живо говорящий: а я что, рыжий, что ли?.. — отпустил и его, да и Васконяна заодно, поясняя бойцам свою слабость, чтобы строй не портили: — Перехватят у штаба, сами знаете...

Да, знали, все бойцы первой роты знали: не раз уж их застопоривали какие-то чины — что за строй? что за чучела волокутся в хво-

сте войска? в боевом подразделении Советской Армии разве допустимо такое? И непременно заставляли маршировать допоздна, добиваясь единства шага, монолитности строя. Ругались же потом изнуренные, перемерзшие парни, кляли навязавшихся на первую роту орясин, начинали их поталкивать, кулаками тыкать в спину. Стоило Коле Рындину тряхнуться — и, считай, полроты этой мелкоты сшиб бы, но он покорно гнулся под тычками. Булдакова бы вон, филона, ширяли, так тот сам кого угодно зашибет либо толкнет так, что весь строй с ног повалится.

И все же завидовали полноценные бойцы доходягам, когда тех отпускали с занятий, по-черному, злобно завидовали, зная, что в казарме они не усидят, что тот же Булдаков начнет смекать насчет провианта. Коля Рындин и Ашот Васконян на стройке стружек и щепок соберут, печку растопят, картошки напекут, может, и супец спроворят. Булдаков по добыче провианта такой дока, что даже крупы на кашу упрет, не обсечется.

В казарме свои порядки, свои занятия. Забрав тех бойцов, которые могли еще что-то таскать, катать, долбить и мыть, старшина Шпатор со словами: «Вы, симулянты проклятые, до скончания дней меня помнить будете, памаш!» — уводил их за собой, в загривок толкал, заставляя заниматься хозделами, прибираться в казарме, топить печи, носить воду, пилить и колоть дрова, ходить куда-то и зачем-то. Но самое проклятое во все века во всех армиях мира — чистить вечно ломающееся, моментом стареющее заведение под благозвучным названием отхожее место, нужник, давно, однако, на Руси великой презрительно и непринужденно именуемое сортиром. Да иногo-то названия наши столь необходимые людям отечественные сооружения и не заслужили.

Сортиры двадцать первого полка задуманы и попервоначалу строены были добротно, с уважением к архитектуре. Из досок, внахлест набитых, с односкатной тесовой крышей, чтоб клиента не поддувало с боков, не вьюжило снизу, не мочило сверху. Внутри все тоже тонко продумано: длинный постамент из крепких плах, на нем сотами в ряд круглые дырки, довольно обширные, чтоб и при шаткости не мазал стрелок, палил в самое очко. Перед постаментом против большой дырки в полу прорублены малые, продолговатые, на полуоткрытые раковины похожие и чего-то еще служивому напоминающие. Сиди, с вождением отгадывай: чего? Плюнуть вздумаешь — плюй, брызнешь далеко или криво — все стечет в дырку, лишь разводы соленой пены наверху заплесневеют.

Очень любили служивые те полумрачные, мочой пропахшие, ветром не продуваемые, дождем не проливаемые помещения, засиживались в их уединенной уютности, вспоминая дом, родителей, деревенские вечерки, думали о всяких разных житейских разностях. Так и говорили, перед тем как отправиться на опушку леса в дощатое строение с тамбуром, с одним входом и выходом, с одной-единственной буквой «М», раскоряченно углем начерченной, потому как в другой букве надобности не было: «Пойду, подумаю».

Как изменилась, как посуровела жизнь! Вместо добротно срубленного, рассудительно излаженного помещения торчат кольца вразбежку — гуляй, ветер, свисти в щели, коробь голое, беззащитное тело служивого сибирская лютая зима. Снег, мерзлая крупа, песок, обломки сучьев, хоть камни на него вались — никакой тебе защиты, никакого уюта, одно небо со звездами прикрытие. Ни дверей, ни тамбура, сколочено из жердочек подобие загона, вместо устойчиво-усидчивого трона четыре жерди со щелью посередке, того и гляди скатишься с них, рухнешь в щель, а то и глубже, завязишь ботинок, прищипнешь ногу в сучковатом стройматериале, да и покалечишься. В таком заведении уж не подремлешь, не повспоминаешь свою прош-

люю жизнь, не понаслаждаешься свободой, да служивые и не доносили до этого жалкого сооружения добро, сами же потом долбили, лопатами скребли вокруг, вперебор ругаясь, обещая переломать шеи и ребра тем, кого застигнут на непотребном месте при непотребных действиях.

Старшина Шпатор вовсе с круга сошел, почти умом повредился из-за нужного заведения, потому как колья, чуть обветренные, подсохшие, с отхожего места постоянно расхищались на топливо. В казармах это дело пресекалось, там сразу дневальные к допросу: «Где грабнули сухие жерди?» В казарме-то можно допрос учинить, расправу содеять. А офицерские землянки? А вспомогательные службы? Какая на них управа? Дневальные там страшно наглые оттого, что угодили на теплую службу. Старшина Шпатор наказывал:

— Ребята, хоть кого поймаете, пусть даже унтера,— этими же жердами бейте, чтобы воровать неповадно было, памаш...

— А афицера?

— Чего афицера? Афицер в наш туалет не пойдет. Если уж край приспичит — тут сознать ситуацию надобно.

И ловили и били — ничего не помогало! Стояло на опушке из колышков сотворенное, всеми презренное, со всех сторон ветрами пробиваемое, с воронкой посередке будто от прямого попадания авиабомбы, само себя стесняющееся помещение. Разгильдяи, воры, проныры, нарушители военного устава, получившие наряды вне очереди, ежедневно ремонтировали, подновляли обитель на опушке леса, вбивая в снег и в землю новые колья, связывали их проволокой, потому как гвозди в мерзлое дерево не шли,— все одно лиходеи не унимались, выворачивали колья вместе с проволокой.

Даже такой льготы, даже такой роскоши, как путный туалет, лишены были красноармейцы сорок второго года.

Помкомвзвода Яшкин собирал вокруг себя на занятия больных бойцов, способных сидеть и двигаться, делая исключение лишь тем, кто маялся гемералопией и у кого был постельный режим. Доподлинно больные и неистребимые хитрованы блаженствовали на третьем ярусе нар под потолком до тех пор, пока не возвращалась в казарму рота,— скорее тогда долой сверху, иначе сбросят без разговоров озверевшие на морозе бойцы, страдающие из-за своей полноценности.

Яшкин подробно изучал с доходным контингентом русскую винтовку Мосина образца 1891/1930 года, все ее внутренности и внешние особенности, но самое пристальное внимание уделял затвору.

Еще в школах, в военных кружках при сельских и рабочих клубах парни, изучавшие эту самую винтовку, бойко сперва разбирали и винтовку и затвор, без ошибок называли все эти упоры, отсечки, отверстия, ушки, щели, пазы, каналы, скосы, выемы, отражательные выступы и даже отсекающий зуб. Толково объясняли назначение всех деталей, но спустя время начали путаться и теперь вот, по истечении двух месяцев службы, ничего уже ни разобрать, ни собрать не могли.

Потя от внутренней нервности, укрощая свое изношенное сердце, помкомвзвода терпеливо пояснял ко всему равнодушным людям военные премудрости, делая намеки, стуча себя по своим частям тела.

— Ну что это, что? — тербил себя за ширинку Яшкин и, не дождавшись ответа, выстанывал: — Да это ж спусковой механизм, спусковой ме-ха-низм!.. Понятно?

— Я-а-а-а,— сонное и вялое слышалось в ответ одобрение.

— А вот это? — стучал себя по губам ладонью командир.

— Едало.

— Еда-ааааа! — злился Яшкин. — У кого едало, а у вас... Шептало это. Шептало!

— Я-а-а-а,— выдавливали в ответ подчиненные, про себя думая, однако, что уж шептало-то к визгливому помкомвзвода никакого отношения не имеет.

Яшкин вешал на шею чью-то обмотку, вязал ее на груди узлом, ему тут же выдавали радостный ответ:

— Удавка!

— Жопа ты с ручкой,— ругался Яшкин.— Хому-утик! Запомнили? А ну повторите — хому-утик. Прицельный.

Старший сержант, еще месяц назад думавший, что его дурачат, издеваются над ним, с удручением смотрел теперь на этих действительно больных людей. Мокрые, пушком обросшие губы у всех отвисли, глаза склеиваются, ни думать, ни соображать не могут, дремота и слабость долят их в сон. Затвор со всеми этими стеблями, гребнями, личинками, каналами, венчиками, лопастями и пружинками да вилками кажется ребятам такой непостижимой технической премудростью, что они и не пытаются его постичь, вознестись на недосягаемые умственные высоты.

— Не спать! Не спа-ать! Я вас, блядство, все одно научу владеть оружием! Не спа-ать!

Вверху совсем дохлые, но зла не утратившие доходяги, от заботности и презрения к ним всей казармы много в себе мстительной пакости скопившие, выбирают самых крупных вшей из гимнастерок, из кальсон, кидают их вниз на командира Яшкина, на ребят, старательно постигающих военную технику.

Мысль не просыпалась. Яшкин переходил к прямым действиям: завеза по спине ближнему доходяге и доставая его, сшибленного, из-под нар, он свистящим уже шепотом выдавал:

— Понял, что такое ударник? Понял? А еще есть боек! Есть боевая пружина! Кому наглядно пояснить, что это такое? — Помкомвзвода сгрел доходяг к дощатому столу, на котором разложен, будто труп в анатомичке, железный затвор русской винтовки.— Когда я сдохну,— на пределе дребезжал голос Яшкина,— или вы сами все передохнете? Я же вас когда-то переблю!.. Спят, курвы! Встать! Командир обращается к ним как к людям, а они жопы отвесили, губы расквасили! Че? Стоя спите? Н-ну блядство, н-ну бы-ляд-ство! — Задохнувшись от бешенства, помкомвзвода быстро собирал затвор, остервенело совал его в пазуху винтовки, свирепо тыкал ею в слушателей.— У-ух! Мне б сейчас обойму. Хоть одну! — И водворив винтовку на место в пирамиду, бегом бросался в каптерку старшины Шпатора.

В зеленой поллитре была у него настояна трава тысячелистника с подорожником — от печени и желудка. Яшкин отпилвал из горла глоток-другой, валился за железную печку, где на неструганых досках было свито у него гнездо с коротким, почти детским одеялом, со старыми валенками в головах, накрытыми вещмешком, обернутым лоскутом новых портянок.

Отдыхивается, приходит в себя командир. Перекипев маленько, продолжает боевую работу, гоняя вокруг казармы запыхавшихся доходяг, имеющих нахальство не слушать ничего на занятиях, сам задохнувшийся, дрожит, грозится:

— Спать приехали? Спать? Я вас научу родину любить!..

Парни чувствуют: старший сержант остыл, отошел, сочувствует им, жалеет их, виноватым себя ощущает, грозится уж по привычке, просто для страха.

— Не-э-э-э!

— Чего — не? Чего — не-э-э-э? Четко, как положено в армии, отвечайте!

— Не будем больше спать на занятиях.

— Вот это другой разговор. А ну би-их-хом в казарму! И шевелить, шевелить у меня мозгами. Тяжело в ученье, легко в бою, Суворов говорил...

Кто такой Суворов, бойцы эти тоже позабыли, думали, какой-нибудь комиссар важный из Новосибирска или из штаба полка.

К ночи боль становилась слышней. Старшина Шпатор мазал Яшкину бок мурашиным спиртом, делал теплый компресс, боль чуть унималась, но спать Яшкин не мог, однако старался не стонать, не ворочаться, чтобы не тревожить умотавшегося за день старика.

Жизнь Володи Яшкина, названного вечными пионерами — родителями в честь Ленина, была не длинна еще, но и не коротка уже, если учесть тяжкие дни боев под Смоленском и отступление к Москве, бедствия окружения под Вязьмой, ранение и кошмарное время в каком-то лагере окруженцев вместе с сотнями, может, тысячами раненых, больных, деморализованных отступлением и голодом людей, их перевозку через фронт сперва в полевой, затем в эвакогоспиталь в Коломну — выйдет жизнь совсем длинная, перенасыщенная горечью и страданием.

Его и в госпитале, и по-за госпиталем, и здесь в полку расспрашивали, как он там, немец-фашист, силен? Или, как в нашем кино показывают, труслив, безмозгл и жаден до русских яек-курков? Яшкину и рассказать нечего. Ни одного немца, ни живого, ни мертвого, он в сражении, по существу, и в глаза не видел, потому как и не было его, сражения-то.

Под Смоленском свежие части, опоздавшие к боям за город, смела лавина отступавших войск. Она, эта лавина, вовлекла их в бессмысленное, паническое движение. В первый день Яшкин еще думал: «Зачем же так-то? Ведь если б все это войско остановилось, уперлось, так, может, противника бы и остановили». Но одно-единственное, редкое, почти не употребляемое в мирной жизни, роковое слово «окружение» правило несметными табунами людей, бегущих, бредущих, ползущих куда-то без всяких приказов, правил, по одному лишь ориентиру — на восход солнца, на восток, к своим. Лавина, будто речка среднерусских земель в половодье, увеличивалась, полнела, ширилась, хотя ее и бомбили с воздуха непрерывно, сгоняли с больших дорог снарядами, минами, танками в какие-то неезжалые, непролазные вражеские места, но и там доставали с воздуха и с земли.

В первые дни артиллерия еще пробовала отстреливаться, била куда-то отчаянно и обреченно. На артиллерийские позиции тут же коршуньем набрасывались самолеты с выпущенными лапами, летели вверх земля, железо, клочья какие-то. Пробовали закрепиться на слабо, наспех кем-то подготовленных оборонительных рубежах, но тут же настигало людей это проклятое слово «окружение» — и они снова кучами, толпами, табунами и россыпью бежали, спешили неизвестно куда, к кому и зачем.

Сухой, слабосильный, с детства заморенный кочующими по ударным стройкам страны в поисках фарта, жаждущими трудовых подвигов родителями, Яшкин не так уж остро страдал от бескормицы и без воды. Съест картоху-другую, попьет раз в день из колодца или из лужи — и готов к дальнейшей борьбе за жизнь, но сон, сон, права детская загадка, сильнее всего он на свете. От недосыпа, нервности, постоянного напряжения слабела воля, угасал дух, притупилось чувство опасности и страха. Когда его, лежащего в канаве, оплеснуло придорожной грязью, ослепило огнем, задушило дымом, который ему увиделся вовсе и не дымом, а сизой поволокой, сально, непродыхаемо засаживающей горло и нос, он еще до того, как почувствовал боль в боку и ощутил ток горячей крови, слабо и согласно всхлипнул: «Ну вот и я...»

Очнулся он в повозке. Нечесаная, грязная, с санитарной сумкой, болтающейся под грудью, девушка, держась за повозку, волоклась куда-то. Конь, запряженный в повозку, часто останавливался, пробовал губами выдрать из земли смятые, грязные растения, жевал их вместе с кореньями, иной раз, старчески согнув ноги, закинув хомут

до загорбка, почти задушенный, пил из лужи. Девушка разговаривала с конем, о чем-то его просила. С ранеными она сперва тоже разговаривала, потом плакала, потом кричала: «Навязались на мою голову!»

Однажды ночью кто-то выкинул Яшкина из повозки и занял его место. Так распорядился Бог, по разумению Коли Рындина.— он, он, милостивец, отпустил ему еще какой-то срок жизни, он удалил его из повозки, сколоченной на манер гроба. Он видел, как той же ночью в преисподней, освещенной грохочущим огнем с земли, фонарями с неба, метались очумелые люди, летели колеса, щепки от повозок, бились сваленные наземь лошади, раскидывая землю копытами, ринувшиеся в прорыв бойцы с оружием в руках, но больше без оружия, стаптывали вопящих раненых, молча вырывались от тех, кто хватался за ноги, за полы шинелей, за обмотки. Девушка, оставшаяся в горящем селе вместе с ранеными, кричала сорванно, почти безумно: «Я с вами, с вами, миленькие!..» Потом появилась еще девушка, бросилась на шею подруге: «Фа-а-айка! Фа-аечка! Что там делается! Что там!.. Я с тобой буду, я с тобой!..»

Сколько их брошенных, лежало на соломе в сарае и по уцелевшим избам деревушки, Яшкин, впадавший во все более глубокое забвенье, не знал. Кажется, тогда вот сквозь тот сизый, сальный, все больше, все сильнее удушающий туман видел он немца, единственного.— немец стоял в дверях открытой избы и о чем-то разговаривал с хозяйкой, затем ушел и увел с собой санитарок Фаю и Алю. Думали, на расстрел. Но девушки вернулись со свертками, принесли хлеба, соли, сала, полную сумку бинтов, ваты, флагу спирта и флакон йода.

Этот немец был, видать, из полевых, окопных, уже познавших, что такое страдание, боль, что такое доля солдатская. Его тоже потом чохом зачислят в прирожденные злодеи, смешают, спутают с фашистскими карателями, эсэсовцами, разными тыловыми костоломами, абверами, херабверами, как наши энкаведешники, смершевцы, трибунальщики — вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом, ошивавшаяся в безопасной, сытой близости от него, окрестит себя со временем в самых резвых вояк, в самых справедливых на свете благодетелей, ототрут они локтями в конец очередей, а то и вовсе вон из очереди выгонят, оберут, объедят доподлинных страдальцев-фронтвиков.

Когда и как прорвались наши войска, вывезли раненых, выручили бедных девчонок, Яшкин уже не помнил. Ныне он чувствовал: скоро, совсем скоро предстоит ему снова туда, в пекло. И он не то чтобы боялся этого пекла, он примирился с судьбой, понимая всю неизбежность с ним происходящего — ему не словчить, не зацепиться по состоянию здоровья в тылу. С его прямоотой в отношениях с людьми, неуживчивым характером, при полном неумении подхалимничать, пресмыкаться самое подходящее ему место там, на передовой, где все же есть справедливость, пусть одна-разъединственная, но уж зато самая высшая справедливость — равенство перед смертью.

Кроме того, там, на передовой, все мирные, домашние хвори куда-то деваются или на время утихают. Может, на фронте перестанет ныть в боку, давить тошнотной мутью, оплетать зев горечью эта клятая печень, о которой до войны Яшкин не знал, где она находится, и даже не подозревал, что она у него есть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И вот этот тягучий, изморный ход армейской жизни встряхнули три больших, можно сказать, невероятных события. Произошли они почти все подряд.

Сперва в двадцать первый стрелковый полк приехал какой-то командующий, может, и Сибирского военного округа, — кто до служивых снизойдет, скажет об этом? Все, начиная от старослужащих солдат и кончая строевыми командирами, говорили: «Ну теперь наведут порядок! Дадут жару!»

Жару-то генерал и в самом деле дал, хотя был немолодым он, но все еще очень бодрым. Коренастый, телом справный, как и полагается генералу, чуть кривоногий, на ходу скорый, в подпоясанном бушлате, в шапке-ушанке, он влетел в столовую в сопровождении всего лишь единственного чина неопределенных родов войск, вынул из-за голенища разрисованную бордовыми, золотистыми цветочками новую ложку, взятую, видать, по экстренному случаю со склада или в магазине, и пошел от стола к столу, запуская ту нарядную ложку в тазы с похлебкой, ворочал ею, взбаламучивая, поднимая со дна гущину, главное содержимое солдатского хлеба. По тазу вместе с белыми семечками жабами всплывали зеленые разопревшие помидоры, ошметки капусты, в слизь разварившиеся, мясные или какие-то другие жилы и белесая муть картошки. Никому ничего проверяющий не говорил, поворошив в тазу, кивал головой, мол, действуйте, товарищи, и следовал дальше. На середине просторного помещения, на пересечении главных путей от раздаточных окон-бойниц к столам, он приостановился, заинтересовавшись, отчего это дежурные по столам мчатся с тазом стремглав, закусив губу, поохивая, постанывая, и навстречу им так же стремительно бросаются два или три красноармейца с протянутыми мисками, подставляют их под таз бережно, нога в ногу с разносчиками шагают к столу.

Сметливый человек, приезжий генерал усек и разгадал-таки происхождение: у всех почти тазов, слепленных малолетними жестянчиками ремесленных училищ, снялись заклепки и отвалились ручки, вот дежурные и зажимали дырки по ту и другую сторону таза голыми руками, сохраняя до капельки продукт питания, взятый с бою у раздаточного окна. Живыми телами, можно сказать, закрывали бойцы амбразуры, похлебка сочилась по ладони, сквозь пальцы, отчего и бежали бойцы с чашками навстречу, чтоб ничего не вылилось, не пропало понапрасну. Достигнув стола, плюхнув таз на доску столешницы, дежурные по столу трясли ошпаренными руками, дули на пальцы.

Отметив эту стойкость и самоотверженность, генерал все стремительней шел от стола к столу, накалялся лицом, сжимал ложку в кулаке так, что нарядная та ложка вот-вот должна была треснуть и переломиться. Нос генерала по-звериному завалисто работал ноздрями, красно их вывертывал, ноги подогнулись в коленях, словно у хищника перед броском. Генерал рвался к какой-то цели.

Народ в столовой перестал хлебать, брякать железом, буркотить, молотить языками, видя, как генерал, раскаленный до последнего градуса, направился в кухню, где спросил старшего. Вперед выступил наряженный в чистую куртку и в белый колпак мужик с толстой шеей, должно быть, старший по кухне. начал чего-то докладывать.

— Солдат обворовывать? — прервал докладчика генерал.

Старшой продолжал что-то говорить, показывая на котлы, на дрова, на людей, и ляпнул, видать, лишнее или чего-то не впопад, генерал схватил ведро и звонко зазвездил по башке собеседника. Он, пожалуй что, всю кухонную челядь перебил бы ведром, но сломалась дужка ведра и улетела посуда куда-то, генерал сжимал и разжимал руку в поисках какого-либо убойного предмета. Персонал кухни, заметив, что генерал воззрился на железную клюку, на всякий случай сгруппировался возле двери, готовый драпануть в случае чего. В переполненный зал столовой набралось, набилось народу дивно, вторая очередь подперла первую — отобедавший народ не уходил, ожидая дальнейших событий. Но генерал, к великому сожалению,

уже остыл, чего-то пеняя кухонным делягам, расступающимся перед ним и рассеивающимся по недрам кухни, пошел вон. Говорили потом, что в подсобке столовой начальник принимал лекарство, запивая его из фляжки.

— Водкой лекарство запивает! Во лихой вояка!

— Ага, разбежался, будет тебе такой чин с горькой вонючкой знаться!

— Коньяк! — оспорил простака Буддаков, большой знаток напитков и жизни, сразу все служивые заткнулись, они не знали, что такое коньяк, но уважали незнакомое слово.

Совсем недолго пробыл в подсобке генерал. Вернувшись в столовую, он вышел на середину зала, дождался затишья.

— Все!.. — Генерал, сделав паузу, подышал. — Все безобразия исправим. Питание постараемся улучшить насколько возможно. Только служите ладом, ребятушки, на позиции ведь готовитесь, врага бить, так не слабейте духом и телом, слушайтесь командиров. Плохое обращение будет — жалуйтесь!.. — Генерал еще подышал и добавил: — В военный округ, по инстанциям, ребятушки, по инстанциям!.. Иначе нельзя! Иначе порядок совсем нарушится.

Народ был разочарован и речью и визитом генерала. Разве это нагоняй! Да эти мордovorоты-тыловики отряхнутся и по новой жировать начнут.

Служивые гадали потом, куда девалась знаменитая генеральская ложка. С кухонной челядью что они хотели теперь, то и делали, дразнили ее, обзывая ведерком битыми, помоями мытыми, коли попадало совсем жидко в таз, грозились писать самому генералу. Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку. На виду у алчущих добавки масс, толпящихся у раздаточного окна, как у царских врат иль «жадною толпою у трона», выскребут остатки картох из баков, вычерпают самые жоркие одонки похлебки и хлесь это добро в отходы для свиней. Не у раздаточных окон. на помойках, возле служебного входа толпились теперь из казарм ушедшие доходяги с консервными баночками в руках, чтоб наброситься на свиньям предназначенные отбросы. Битые генералом, развенчанные толпой, кухонные деятели глумились над ними: «Благодарите товаришше своих за услугу!..»

А уж в раздаточное окно сытые эти мордovorоты бросали тазы с хлебом, кашей, будто снаряды в казенник орудия, норovia хоть немножко да расплескать бесценного продукта, не воспринимали никаких замечаний. «Талончик, талончик! — кричали да еще добавляли хари бесстыжие: — Пошевеливайся, служивые, пошевеливайся!..»

Талончики введены были один на роту, на талончике означено время приема пищи, номера столов, слова на талончике напечатаны: «Просим посетить пищеблок номер один» — знай, курвы тыловики, наших, выучил вас товарищ генерал вежливости! Талончики поменьше размером, уже безо всяких приветственных слов, выдавались на десяток — по ним-то и получали дежурные вареве-парево — сунешь в окошко прожженному выжиге с наеденной рьяшкой талончик, он тебе хрясь таз с едой. Забушует дежурный, покажется ему мало содержимого в тазу, пойдет вояка грудью на широкую амбразуру раздаточного окна, а ему вежливо так, с улыбочкой — извольте пожаловать к контрольным весам. Взвешивают таз с харчем, двигая скользкий балансир по стальной полосе с цифрами, — всегда чика в чику! Подделали, конечно, весы-то, кирпич либо железку споднизу подвесили, высказывается всеобщее сомнение, — уязвленный в самое свое честное сердце кухонный персонал предлагает обратиться представителям стола к контролеру, назначаемому ежедневно теперь на кухню из офицерского состава, либо писать жалобу самому командующему Сибирским военным округом.

Да разве правду найдешь, отстоишь в этакой крепко повязанной банде?

Пока дежурный мытарится, таскаясь с тазом по столовой, по кухне, пока добьется этой самой злосчастной правды, о которой грамотей Васконьян баял, что ее не только на земле нету, но и выше она не ночевала, каша или драчена в тазу остынет, поубудет супу — самый полезительный слой утечет в дырки оторванных ручек, и выходит себе дорожке сражение с кухней за эту самую правду. Всем ясно, что ручки тазов специально оторваны кухонной ордой, чтоб жглось и лилось, чтоб не задерживались дежурные у раздаточного окна, не заглядывали в недра кухни, пытаясь узреть, чего там и как. Офицер же, дежуривший сегодня по пищеблоку номер один, конечно, подкупленный, с утра накормлен от пуза картошкой, кашей, в которую ленули не лядру сраного, а скоромного масла безо всякой нормы, чаю с сахарком ему в стаканчике поднесли, сухариков на тарелочке. И что? Будет он после этогокого ублажения стоять за солдатскую правду? Проверять закладку? Раскладку? Весы? Бабушке Николая Евдокимовича Рындина, Секлетинье Христофоровне, это расскажите, но не тертым воякам. Знают они здешние порядки!

Через неделю никто уж никакого недоверия кухне не выражал, с тазами к весам не бегал, роптали вояки в своем кругу, терпя и стойко смирясь с судьбой. Да и порядку в столовой все-таки стало заметно больше: мылись столы горячей водой, сделалось снова видно, что они из свежего дерева, струганы даже были, подметался с опилками пол, вделана в стенку кухни вентиляция, почти исчез серый туман, мешавшийся с дыханием солдат, отдут он был самолетно гудящей трубой в углы и под потолок, оседал каплями на стенах, рубленных из непросушенного дерева, сделалось даже видно лозунги, одрябшую, полинялую от сырости красную материю с полусмыгтыми буквами, одни только знаки восклицания стойко держались.

Но самое главное изменение произошло в рационе питания строевого состава полка — отменена была чистка картошки. При этой самой чистке в отходы пускалась добрая четверть картофеля, основного, можно сказать, солдатского, да и крестьянского продукта в России. Наряд, попавший на кухню, шакалил, до кропотливости, до бережной ли работы ему. А попадут на чистку картошки казахи или узбеки? Они-то как раз чаще всего и назначаются на грязную, малоответственную работу. Что им картошка? Они барана жрать привыкли, целиком, с головою, рис едят, лепешки и еще чего-то, картошку они презирают, «сайтан алгыр» говорят, дерут с картофелины кожу в палец толщиной. Вот и прекратили чистку овощи.

На каждого едока выходило теперь по две крупных картофелины, разрезанных пополам, мясо и рыба варились теперь кусочком, положено десять кусочков рыбы в таз, будь любезен, кухонный пират, чепляй черпаком и вали в таз десять кусков! Идем дальше — чептырежды десять сколько будет? Че, думаете, мы всякую грамоту позабыли? Про девок от такой жизни, может, и позабыли, но про шамовку всегда помним! Кидай в таз сорок половинок картошин безо всякого разговору, лук выдавай по головке на брата, как товарищем генералом предписано! То-то, рыло хищное, кое с похмелья не обвалишь, кончилась комедия, закрылся клуб, капитан Дубельт какать пошел — ныне мы наши права знаем и прижмем вас, кровопивцев, и будет с вами, как на сатирическом листке талантливом советским поэтом написано: «Боец поднимет автомат — из немца потечет томат!» Правда, там про фашистов написано, да чем вы-то, внутренние-то кухонные враги, лучше фашистов?

Такие вот лихо-торжественные мысли будоражили головы дежурным черпалам и всему остальному войску, способность критиковать, презирать всякую сволочь вселяла уверенность в победу справедливости, придавала красноармейцам силы, бодрее они себя чувствовали.

Старый генерал, наверное, был добрым человеком и желал ребятушкам добра, но сам нечищеного картофеля не ел, разве что в детстве, в давние голодные годы. Подзабыл генерал, что эту самую спасительницу русского народа, картошку, как ни мой, сколько в воде ни болтай, ни гоняй по кругу бачка, все равно в глазках ее, в извилинах, неровностях, на шершавой коже остаются земляные крохи — по-научному частицы. Не учитывал еще товарищ генерал того, что ждать такой же добросовестности от дежурных, что и от домашней хозяйки, царящей на своей домашней кухне, — дело напрасное, все равно служивые будут отлынивать от грязного труда, мокрой работы, картофель ладом не вымоют.

Словом, супчик в эмалированных мисках был мутным; поскольку миски привезли в пищеблок номер один совсем новенькие, зелененькие, с еще не отбитой белой эмалью внутри, особенно заметно было, что суп грязный, тем не менее с холода, с улицы, бросались его, гурьчешкий, наваристый, хлебать с ходу, с лету.

— Товарищи! Братцы! Не ешьте картофель с очистками! Братцы! — закричал бойцов старшина Шпатор. — Хлопчики, выньте из супа картошку, облупите, растолките ложкой и хлебайте на здоровье. Шестаков! Шевелев! Хохлак! Бабенко! Фефелов! Булдаков! Вы люди бывалые, покажите, как надо. Покажите... Иначе понос, дизентерия... Хлопчики...

Поняли даже казахи, не знающие русского языка, всю надвинувшуюся опасность. бережно чистили картофель, толкли его в супе, крошили туда луковки. Вот тебе и похлебка в три охlebка — суп приглядней, белей, главное, вкусней. Но на опустившихся людей уже никакие уговоры не действовали, мало что сожрут всю картошку в супе неочищенной, так еще и подберут очистки по столам. Опустился бы до очисток и Коля Рындин, но тут, обратно от того заботливого генерала, не иначе, вышло решение: бойцам, что ростом под два метра и выше, давать дополнительно по супу и по каше.

Коля Рындин стеснялся привилегий, пробовал делиться с товарищами подпайком, да 'и Васконян с Булдаковым испытывали неловкость, тогда было придумано чьей-то умной головой, скорей всего Шпатора, — сбивать богатырей в отдельную команду и кормить ее после всей роты. Коля Рындин, услужливый человек, работяга с младых лет, после ужина передвигал на кухне бачки, поднимал, носил на завалку в котлы, колот и таскал дрова, мыл в котлах. Видя, что он не шакалит, не рвет, не шаромыжничает, лишь шепчет молитвы да крестится украдкой, кухонный персонал проникался к этому богобоязненному чудачку все большим доверием и расположением, позволял ему выедать остаток варева из котлов, от себя подбрасывал кое-что, насмехаясь, конечно, награждая всяческими прозвищами, и наперед всего богоносцем, да смех на воротах, как известно, не виснет. «По мне, хоть горшком назови, только в печку не суй...» — посмеивался про себя Коля Рындин. Иногда ему так много перепало на кухне, что он не съедал дополнительного харча, если перепал кусок хлеба, он, взобравшись на верхние нары, на спасенное для него место, разламывал хлеб в потемках, совал по кусочку, по корочке в протянутые руки. «Сам бы ел», — говорили ему, и, радуясь своей удачливости, себе и своему радуюсь радуясь, Коля Рындин великодушно гудел: «Че уж там! Вы всегда мне помогали».

Нежданно-негаданно выступил на вид Петька Мусиков, человек, про которого старшина Шпатор говорил: «Живет не тужит, никому не служит». Заморыш с шустрыми, злыми глазенками, линияль парнишка из архангельского лесозаготовительного поселка с неприличным, считай что, названием Маньдама, был он в семье пятым ребенком — заскребышем, слетком, как звала его мать. Нечаянно сотворенный и не по желанию рожденный после большого перерыва, ког-

да предпоследнему парню в семье Мусиковых было уже лет пятнадцать, первый уже тянул второй срок в тюрьме, Петька путался под ногами взрослого народа не то в качестве внука, не то приبلудного малого, никому не нужного, всем надоевшего. Мать его, единственная, поди-ко, мать на всем русском Севере, молила у Бога смерти «малому паршивцу», не боясь никакого греха, говорила вслух, когда Петька подросток: «Хоть бы нибилизовали куда. В ремесленно аль на годичны курсы пильшыков и вальшыков лесодревесины».

Единственно куда годился Петька Мусиков; так это в магазинные очереди, которые никогда в Маньдаме не переводились. Тощий, наглый Петька был там в родной стихии, мог кого угодно переорать, переспорить, облапошить, пробить в народе дыру острыми локтями, пролезть меж ног, под прилавком проползти, по головам ходить тоже умел, ну и тырил, конечно, что плохо лежит, первым делом съестное. Без этого как в Маньдаме вырастешь, проживешь?

Отец у Петьки Мусикова пьяница и разбойник. Весь изрисованный наколками, блатной, буйный, он бывал дома гостем, пил, дрался, кидался на людей с ножом. Во дни коротких каникул, будучи «в отпуску», изладил он и Петьку. Двое из пяти сыновей Мусиковых пошли по дорожке отца, старший, как уже сообщалось, отбывал срок за грабеж, другой неизвестно за что и почему сидел, на всякий случай, мать говорила — «политической», сама она работала кочегаром на пекарне, привычно ждала мужа и детей из тюрьмы, привычно же собирала и развозила передачи по тюрьмам. Петька мешал ей хлопотать, отлучаться. Отродьем звали в Маньдаме семейство Мусиковых, хотя, в общем-то и целом-то, поселок и состоял из этакого «отродья» и еще из спецпереселенцев, все прибываемых и прибываемых крутой волной на здешние болотистые берега.

Интересно, что Петька Мусиков не только управлялся в магазине, на толкучке, на базаришке, но еще и в школу ходил, и еще интереснее, что не оставался на второй год, хотя никогда не учил заданные уроки, да и учебников-то не имел, на тетради деньги сам где-то раздобывал. Как подросток Петька, то дома уж почти не бывал, разве что зимой, когда спать в дровянике становилось холодно. Как он рос, чем лечился, когда и где приобретал себе одежонку, обувь, где ел, где пил, с кем дружил, у кого бывал — ни мать, ни братья не знали да и знать желания не испытывали. Украл однажды папиросы у брата, уже работавшего на лесозаводе, тот его отстегал ремнем, и Петька курить бросил, но не потому, что больно было от порки, облевался он от противного табака. Попробовал Петька и водку, но тоже облевался, и от водки его отворотило. Уже перед армией попробовал он и бабу в женском общезитии, пьяная баба была, растелешенная спала, на нее насрал Петьку братец, сказав: «Хватит в штаны драть. Пора уж и тебе, однако, причаститься». Хотя Петька ничего не понял, да и баба не проснулась, и пахло от нее дурно — он чуть было тоже не облевался, но к бабе с тех пор его тянуло, и он стал подглядывать за ними в щели, прорезанные в барачном нужнике. Этим поганым грешком занимались все поселковые парнишки.

Так вот Петька нечаянно и семилетку добил бы, нечаянно и пить и с бабами валандаться научился бы, нечаянно и курсы кончил бы, специальность приобрел, из дому ушел, в общежитии бы постоянную шмару завел — все в жизни его неуклонно двигалось к самостоятельности. Но тут эта война началась. Блатных его братьев сразу подмели, которого в трудармию, которого на фронт, пришлось Петьке багор брать и вместе с поселковой знакомой братвой становиться на сортировочные сплавные ворота, толкать багром любимой Родине древесину. И не много он ее и потолкал, как пришла пора и ему сидор в дорогу собирать.

Мать наладила на стол, пригласила знакомых и соседей, напилась первая, принялась зачем-то выть и целовать Петьку, заставляя

и его пить. И он выпил, и на этот раз уже не облевался, и с девкой из пекарни всю ночь проваландался и не убежал, как раньше, стыдясь чего-то.

И вот турканый, перетурканый, битый, недобитый новобранец Мусиков с тремя булками хлеба, унесенными матерью из пекарни, с холщовым мешком из-под муки за спиной сложными кружными путями, сперва водным, затем железнодорожным, затем автотранспортом, добрался до запасного двадцать первого полка — готовится защищать Родину. К трем булкам хлеба мать, икавшая с похмелья, сунула в котомку Петьке еще бутылку постного масла, тоже из пекарни добытого, — там, на пекарне, давно уже смазывали железные формы автолом, масло же растительное, для этого предназначенное, работники пекарни делили меж собой. Проявив сметку, Петька вылил из ружейной масленки смазку — ружье все равно уже было братьями пропито, — насыпал в ту емкость крупной серой соли и, молча выслушав наставления матери: «Слушайся старших-то, на дорожку папани свою да братцев не сворачивай», отправился на пристань и, как только попал на сплавщицкий катер, отвозивший призывников из леспромхоза до ближней пристани, отворотил от булки горбушку, облил ее маслом, посолил, зачерпнул кружкой за бортом воды, засоренной корьем, пахнувшей керосином, ел хлеб, глядел на пейзаж, на берег, размицканый тракторами, на реку, забытую сплавленным мусором, чувствуя, как щиплет солью объединенные девкой губы, вспомнил ее явно и, сладко, плотоядно потягиваясь, зачерпнул еще водички — дальше вода пошла чище — и, думая про девку, распахнул навстречу ветру телогрейку. Грудь холодит, брюхо сытое щекочет, и все остальное, ночью столь горячее, что девка, обжигаясь, выла, остудилось. «Свобода! Прощай, бля; Маньдама! Прощайте все ханурики!..» Но с масла постного да с маньдамовской поганой воды Петьку прошибло. В карантин он прибыл, когда его несли, по выражению Коли Рындина, на семь метров против ветра, не считая бризгов.

Снадобьями и молитвами Коли Рындина боец Мусиков был возвращен в строй, но снова чего-то нажрался, снова его пронесло, да на лесовытаске простудился, да, переняв богатый опыт Булдакова, наловчился придуриваться, на занятия совсем перестал ходить. В жизни роты, в работе и деятельности армии Петька Мусиков не участвовал, на почту за письмами и посылками не ходил, потому как никто ему не писал, никаких посылок не присылал, сам себя такими пустяками, как письма, он не утруждал. Наряды вне очереди Петьке давать было бесполезно, он никого, в том числе и старшину Шпатора, за власть не признавал, никому не подчинялся. Его били, дневальные пробовали стаскивать за ноги с нар — напрасный труд: к битью Петька приучен с детства, климатом северным закален, скудостью жизни засушен до бессмертия, правил поведения и всяких там норм дисциплины он сроду не знал и знать не хотел. Он жил всегда по самому себе определенным правилам. Пробовали Мусикова сажать на гауптвахту. Ему там поглянулось — на гауптвахте топили, еду туда приносили, дисциплиной и работой шибко не неволили.

Едва выдворили Петьку с гауптвахты. Он пришел «домой» распоясанный, завалился на верхние нары, спускался вниз лишь для того, чтобы сходить до ветру, да если баня или дежурство на кухне, ну еще когда картошек в овощехранилище спереть, испечь их, пока рота на занятиях.

Как и в прежней жизни, ни друзей, ни товарищей у Петьки Мусикова здесь не было, в первой роте он признавал лишь одного Леху Булдакова да почитал Колю Рындина за умение пользоваться людей от поноса и за набожность, пугавшую его.

— Какое седня число? — спрашивал Петька Мусиков иной раз у дневальных. — Ага, пешнадцатое. Баня ковды будет? Ага, двадцатого, — Петька соображал, подсчитывал, загибая пальцы, — значит, че-

рез три дни на четвертый. Разбудите, ковды в баню идти. — С этими словами Петька Мусиков глубже погружал голову в просторный шлем, натягивал на ухо ворот шинели и лежал на полном просторе нар один, думал, дремал, может, и спал — никто этого знать не мог.

Старшина Шпатор давно и окончательно отступился от этого пропащего, потерянного для Родины бойца, не воспитывал его, работой не угнетал, никакого внимания на него не обращал. И забыли бы в роте про Петьку Мусикова, но он ежедневно вечерами напоминал о себе. На завтрак и обед, как бы делая кому-то снисхождение, Петька с ротой ходил, но на ужин вставать ленился, может, и боялся, что займут его место на верхних нарах. Без артели с его силенками место не отбить.

И вот рота сжита с нар, вышиблена из помещения — идет подбор последних симулянтов, прикорнувших за печками, на нарах и под нарами.

— Товарищ Мусиков, вы в столовую, конечно, идти не изволите? — интересовался старшина Шпатор.

— Не изволю.

— Учтите, сегодняя ужин будет принесен только дневальным и больным.

— Я тожа хворай.

— Вы — отпетый симулянт, и никакого вам ужина принесено не будет!

— Поглядим!

Если выпадало роте ужинать в последнюю очередь, это уж после одиннадцати, после отбоя, старшина строгости строя не требовал, петь не заставлял, почти никаких правил не соблюдал. Ели неторопливо, сонно, старшина из своего котелка вываливал в таз бойцов свою порцию каши или картошки, ломал на кусочки пайку хлеба и тоже раздавал, сам швыркал чай с сахаром, смотрел утомленно куда-то в ночь, за которой у него никого и ничего не было, ни семьи, ни дома — всю жизнь в армии. Его садили за что-то в тюрьму, подержавши, выпустили живого, он снова прижился в армии, начинал с конюшни, с обоза, рядовым, с годами рос в званиях, но дальше старшины никак не тянул, прежде не хватало на офицера образования, ны не ж он и сам не захотел бы в командиры, в строевые, стар годами, почтения не больно много, да и привык хозяйничать и канителиться в хлопотной должности ротного старшины, вдобавок на подозрении, как старый, дореволюционный кадр, к тому же подежуривший в арестантах на тюремных нарах, зря в Стране Советов не сядят, тем паче в армии, — раз старшиной был, сбондил небось казенное имущество и прокутил, может, и в политике прокол вышел (царской же, старорежимной армии слуга), и хотя старшина Шпатор был совершенно непьющим, некурящим, бескорыстным человеком — никто этому все равно не верил, коль все старшины плуты, выпивохи и бабники, значит, и этот таков.

— Товарищ старшина, мы дневальным и больным отделили кашу в котелки, как с пайкой Петьки Мусикова быть? — прервали его неспешные раздумья дневальные по роте.

— Хлеб этому паразиту отнесите, пайка — дело святое, кашу съешьте, — следовал приказ. — Нечего с ним церемониться. Я его вообще скоро из роты выкурю, памаш.

— Куда, товарищ старшина?

— Куда, куда? Куда-нибудь да вытурю. Может, на конюшню сплавлю, может, в артиллерию на лямке гаубицу таскать, может, во все под суд да в штрафную роту его, сукиного сына, чтоб не разлагал армию.

Тихо-мирно вернулась рота с ужина, распределилась по местам, улеглась на нарах. Прижавшись друг к другу, служивые угрелись

маленько, сон наваливается — натоптались, намерзлись, еще один день позади. Мороз и ночь на дворе, звезды над казармами в кулак величиной, другой раз сразу и не поймешь, лампочка то или звезда, луна из ущерба выходит, блестит что банный таз, стало быть, еще морозу прибудет, но и этого уж лишка при аховой-то одежонке да в едва натопленной казарме, скорей бы уж на фронт, к одному концу, что ли, надоело все до смерти. Дома сейчас тоже отужинали, спать ложатся, кто на полати, кто на кровать, кто и на печь на русскую. Бока пригревает, тело распускается, нежится, на душе покой, никуда идти не надо, раз не хочешь, не иди, пусть даже у клуба иль в избе какой гармошка звучит зазывно и девки поют иль хохочут. Самое интересное, что над казармой и над деревней родной те же звезды, та же луна светит, но жизнь совершенно другая и по-другому идет.

— А где мой ужин? Пайка моя солдатская, кровная где? — врястят, капризно начинал нудить Петька Мусиков, свесившись с верхних нар и на всякий случай держась за столб.

Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая, липнет коркой к горячей плите золотая паечка хлеба, распространяя ржаной, овинный дух. Старшина Шпатор затаился в каптерке, ни гугу.

— Че сурлы воротите? Сожрали мою пайку? — наседает на дневальных Петька Мусиков. — И не подавились? Товаришшы, называется, ишшо и концамольцы небось, бляди! Пизделякнули пайку, и хоть бы что!

— Скажи спасибо — хлеб принесли.

— Хлеб? Принесли? А кто корку всю с пайки обкусал? Кто? Я больной, но не слепой...

— Ты поори, поори. С нар стащим, на улицу вышибем, долаешься!

— Меня-а? С на-ар? А этого не хотите? — тряс Петька Мусиков штаны. — Эй ты, усатый таракан! — уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонкой скалящийся заморыщ, вперившись сверкающим взором в дверь каптерки. — Тебе Попцова мало? Угробили человека! Убили! Уморили! Отдай мою пайку, блядь! Притаился! Нажрался чужой каши, наперся чужого хлеба! Воняшь теперя на всю казарму! Так полагается в Советской Армии? Самой сознательной. Сталин че говорит?..

Что говорит Сталин и говорит ли вообще, в последнее время что-то не слышать, но никто переспрашивать не решался, страхась того лишь, что имя вождя, будто Божье имя, так вот запросто поминается всеу ответым скандалистом.

Петька же расходился все больше, брызгая слюной, визгливо кричал, что в голову взбредет, глядишь, из второй роты с противогазовой сумкой на боку дежурный мчитя:

— Това-рищи! Первая рота! Отбой был. Люди отдыхают.

— А ты че приперся? Те че тут надо, бздун? — орал на него сверху Петька, да еще и плевался, норовя попасть в лицо. — Тут советского красноармейца обокрали!

— Кого? Кто обокрал?

— Миня! Старшина обокрал! Пайку мою сбондил!

— Ка-ак? Какой старшина?

— Известно какой! Один он тут усатый таракан!

Разбуженные злые бойцы уговаривали Петьку, кричали на него, начинали спинывать его с нар, требуя от дневальных избавить их от бунтаря, иначе они его измудохают, как бог черепаху. Но унять и удалить Петьку Мусикова с нар не так-то просто. Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами, и вопит пронзительно:

— Убива-а-ау-ю-ут! Карау-у-ул!

Заканчивается это всегда тем, что старшина Шпатор выскакивает из каптерки в полусъехавших, спузырившихся на коленках кальсо-нишках, в валенках с кожаными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, то и дело спадающей. Хватаясь за сердце, звякая своим стародавним котелком, с перерывами в голосе старшина взывает:

— Дневальные!.. Товарищи!.. Люди добрые!.. Кто-нибудь... Кто-нибудь... в счет моего завтрака... милостью прошу...

Дневальный мчался на кухню, благо была она неподалеку от расположения первой роты, приносил котелок с кашей, совал его наверх.

— Подавись, сатана!

— Сам сатана! — Приняв котелок, Петька Мусиков шарился в нем ложкой, хныкал: — А жиров-то — хер ночевал! Слизали! Еще и обзываются! Где вот справедливость? Сталин че говорит?

— Ты хоть товарища Сталина не цепляй, гнида! Иначе мы тебя в самом деле вытащим и кишки выпустим на обоссанном снегу!

— Вам че? Дай над больным человеком поизгалятца! Попцова вон уханьдехали, закопали.

Поевши, заскребя в котелке, Петька никогда не отдавал посудину просто так, он ее непременно запускал со звоном, норовя угодить дневальному в голову.

— Это армия? — долго потом еще всхлипывал Петька. — Товаришество? Имя что больной, что не больной. Попить бы лишь бы кровь из человека, Попцова извели, скоро всех во гроб покладут. Сталину буду писать...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На рекламных щитах клуба, на казармах и даже на заборах появились объявления, писанные чернилами по газете «Правда», в которых извещалось, что 20 декабря 1942 года в помещении клуба состоится показательный суд военного трибунала над Зеленцовым К. Д. Бойцы в полку, особенно в первой роте, где Зеленцова еще помнили, пытались угадать, что же наделал этот пройдоха, что натворил — порешил ли кого, украл ли чего? Слух докатился, будто обчистил он офицерскую землянку, да и не одну.

А началась беда не с Зеленцова, началась она с художника Феликса Боярчика. Отец когда у него был и был ли вообще. Феликс не знал, но вот фамилию ему свою на память оставил. Мама, Степанида Фалалеевна, задуманная и поначалу творимая как девка, где-то с половины задела пошла в мужика, должно быть, отец ее на мельницу ездил, неделю там гулял, когда снова за дело принялся, о первоначальном замысле запаматовал. Получилась по естеству своему, по частям и по деталям — Степанида, но по внешности и по всему остальному — Степан. Звали это существо Степой. Всю жизнь мать Феликса, железная большевичка, нарекая сына, конечно же, в честь непобедимого наркома Дзержинского, обреталась в области того советского искусства, которое скорее и точнее назвать бы бесовством. Изрыгая слова под бойкий топот местных самородков, поборники местной культуры, деятели передовой и боевой пропаганды вроде бы совсем не слыхивали о великой русской музыке, живописи, литературе, брезговали родным, в первую голову деревенским, наследием в силу его полного и непоправимого отставания, идейной невооруженности, лишенной накала классовой непримиримости к врагам партии и советской власти. Новоявленные творцы сами сочиняли свое слово, искусство, скетчи, пьесы, программы с чтением вслух, с выкрикиванием лозунгов, шагом на месте под барабанный бой, под звук трубы, с построением пирамид, с зажигательными коллективными переплясами, изображающими выплавку стали, бег паровоза,

сбор небывалого урожая. Да все в темпе, в темпе! Выше! Дальше! Вперед! До полной победы коммунизма!

Надев белую мужскую рубашу с галстуком, Степа ступала по подмосткам по-боевому четко и, как ей казалось, даже грациозно. Начинала она любой вечер, любое торжественное собрание с чтения:

И я, как весну человечества,
Рожденную в трудах и в бою,
П-пай-айю-у м-маие от-теч-чество-о-о,
Р-рес-спублику м-майю!

Заряженное парадным вступлением, будто орудие гремучим походом, действие грохотало, улюлюкало, свистело, с визгом вело беспощадный огонь по врагам, вдохновляло народ на трудовые подвиги, поднимало на борьбу с пережитками капитализма, звало, влекло, настагало. Степа пробовала себя переименовать согласно историческому моменту в Электрину, тоже Феликсовну, но ничего с народом поделывать не могла, на сцене Электрина, в жизни же Степа да Степа.

Когда и как у нее получился мальчик, она, захваченная вихрем революционного искусства, почти не заметила. Пресмыкался в районном Доме культуры ссыльный музыкант Боярчик, играл боевые марши на звонкой медной трубе, вертелся вокруг нее, что-то с нею делал. Закруженная общественной работой, она так и не поняла, что Боярчик с нею делал. Откуда и как получился мальчик? Такая досада!

Обжитую с пионерского возраста сцену районного Дома культуры, где на разных парадных торжествах Степа с младенческих лет еще кричала: «Будь готов! Всегда готов!» — пришлось оставить. В этом же Доме культуры она какое-то время работала завхозом. Но разве это работа? Где тут творческое начало? Вдохновение? Гром оваций? Клубное имущество у Степы частью разворовали, частью она его растеряла. Пришлось идти в общежитие воспитателем молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для дитя, чтоб оно...

Оттуда ее забрали в методисты-инструкторы самодеятельного искусства и физкультуры опять же при районном Доме культуры.

Заброшенный, некормленный, немый Феликс был во младенчестве кормим из клубного буфета бутербродами, серыми котлетами, жесткими ирисками, черствыми булками. Его тетешкали, щекотали, подбрасывали под потолок какие-то взвинченно-веселые тетеньки, наряженные в галстуки дяденьки с блудливыми глазками и с оглушающим запахом сивухи изо рта. От грохота, от воя, от песен, от хохота Феликс полуоглох. От страшных отвратительных запахов и нечистот он сделался чистюлей, не переносящим ничего хмельного, но главное — навсегда ушел в тихую, уединенную работу. Он все время рисовал на клочках бумаги, на оборвышах плакатов, реклам, лозунгов, рано овладел оформительским искусством, ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать, рос хоть неподатливо, поскольку был заморен, однако бурной деятельности Степы не мешал.

Быть бы Степе снова заправилой народного искусства, кричать в Доме культуры про весну человечества, но в это время трубач Боярчик, о котором Степа давно и думать-то забыла, где-то чего-то натворил-таки и загремел в тюрьму, скорее всего за длинный язык, за безобразное отношение к передовому искусству, к властям, может, и за алчную похоть. Степу взяли за холку, порасспрашивали маленько и поняли: ничего, никакой правды от этой особы не добиться — она пребывает в недостижимых высотах, по этой причине плохо помнит, чего сегодня ела и ела ли вообще, где и с кем спала да и спала ли, на кого оставила горемычное дитя свое.

Куда такого человека девать? В лес!

И кинули Степу в Новолялинский леспромхоз. И жила она там в бараке вместе с семейными бабами. Это было удобно: сунешь бабам Фелю — они его накормят, напоят, в корыте вымоют, спать вместе со своими ребятишками уложат. Когда и побранят маму, не без того. Да с нее как с гуся вода, тронутая, да и только, побранят-побранят да и накормят — куда ее денешь?

Больше всех жалела Фелю вислобрюхая от многорожаемости ходолая спекулянтка и отпетая кулачка Фекла Блажных. Среди ее ребятишек Феля и жил, ел, спал, труду учился, дрова и воду таскал, валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки. Деревенские, эстетически слабо развитые чада Блажных те картинки приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака. Особенно удавалась Феле картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай, барак обколочен был такими картинками.

Биясь денно и ночью за новую, пролетарскую культуру в леспромхозовском бревенчатом клубе, Степа сделалась заслуженным работником, грамоту с красным знаменем получила. В середине грамоты знамя с кисточками золотыми, в кружочке Ленин — Сталин помещаются, посерединке герб с колосьями, с другого боку, тоже в кружочке, — Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Фекла Блажных грамоту тряпчочкой обтянула и в свой кулацкий сундук спрятала: оборони Бог ребятишки порвут — в тюрьме все семейство сгноят. И хитрая ж, отпетая баба талдычила героической труженице на ниве культуры:

— С эдакой грамотой, с эдакими достижениями тебе, Степа, фатеру надо просить, заслужонному человеку жить в бараке не полагается. — И прозрачный намек вдогонку: — Дома в леспромхозе сдают о две половины, в одной половине куфня и комната, в другой — куфня и комната, дак ты бы просила для себя и для нас — нам Феля как родной, мы б его доглядывали...

Степа попросила, и от удивления, не иначе — никогда ж ничего и ни у кого она не просила, — домик ей и семейству Блажных вырешили. Может, еще и потому вырешили, что сам Блажных — отпетый, конечно, элемент и контра неисправимая — показывал тем не менее в лесосеке чудеса трудовой доблести, да и ребятишек у Блажных шестеро, седьмой на улицу просится. Да еще выселены вместе с хозяином в лес старики, хотя и в нагрузку они социалистической лесоиндустрии, тоже где-то век доживать должны.

Степа только ахала, видя, что делают радостные и счастливые спецпереселенцы Блажных с домиком на окраине поселка, на улице Карла Либкнехта: вход один они заколотили, сохранили одну печь с плитой и духовкой, увеличив ее в объеме, вторую плиту разобрали и на месте ее слепили русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали. Получился дом о четырех комнатах, и одну из них они выгородили для Степы с Фелей, оборудовав по всем доступным возможностям культуры, считай что почти по-городскому: купили розовый абажур для электролампы, над угловиком приколотили рамку со Степиной грамотой, втокнули сюда еще старое, из деревни вывезенное зеркало с выкропившимся в дороге низом, Фекла сама застелила угловик вязаной скатеркой и на казенную железную кровать приладила прошву, на пол постелила половики и прослезилась, глядя на всю эту благодать:

— Светелка! Ты к нам, Степа, приветная, мы добро помним и всегда готовы тебе послужить.

Вокруг домика номер девятнадцать по улице Карла Либкнехта, которая все наступала и наступала, тесня стандартными домами лес, выросли сарай, свинарник, дровяник, нужник на две половины, погреб. Само собой, и огород появился. Как же без огорода крестьянской семье? В общем, живи — не тужи.

Степа подивилась живучести, приспособляемости кулацкого отродья и совсем, считай, забыла, что у нее есть сын. Феля же о матери никогда не забывал, тайно любил ее, гордился ею, одна она такая подкованная культурой, на весь леспромхоз одна, стихи читает, на баяне играть может, надо, так станцует любой танец, пляску, смотр, кросс или демонстрацию организует в лучшем виде. Леспромхозовский клуб по культурно-массовой работе был всегда первым в области среди всех остальных клубов, премии получал от профсоюза лесной промышленности, случалось, и от партийных органов кое-что отламывалось.

Расширялся леспромхоз, богатела культура. На дальние участки везли и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Новолялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашеными крестами и просто холмиками безо всяких знаков. Быстро затягивало мохом, брусничником широкий погост, зияющий дырами изнутри обвалившихся могил, местами уже проткнутый кустарниками, спешно зарастающий сосенками, елками, пихтами.

Феля с ребятишками Блажных ходил в лес по грибы, ягоды, бояливо оглядя кладбище, потом начал его рисовать. Фекла обрызгивала мальчика святой водой, рисунки с крестами бросала в печку. Степа же все кричала про весну человечества, добавляя смешные куплеты, соответствующие тематике — про лесорубов, про их неустанный ударный труд: «Утром морозным сквозь синий туман сотни рабочих спешат по цехам, каждый с любовью к родному станку, к молоту, топке, зубилу, сверлу. Глухо удар за ударом о свар брызгаёт искрами каждый удар».

Как Феля подрос, мать и его стала учить орать со сцены. Но в малолетстве напуганный шумом, выросший в семье спецпереселенцев Блажных, Феля не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда мал и глуп был, под водительством братьев Блажных дрался, но потом засмирел, одомашнился, лишь виновато всем улыбался да рисовал, рисовал. Фекла любила Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую голову, за печальные глаза, за кроткий нрав, всех уверяла сраженным шепотом, что парень уж непременно в художники выйдет.

— Альбо в комиссары — эдакой он бошкавитай! — Подумав, решила: — Может, и в богомольцы, может, вину-то человечью перед Богом ему суждено отомстить?

В комиссары Феля не вышел, в богомольцы же ему и выйти негде было, но писать плакаты, вывески, картины в леспромхозовском Доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее агитационно-массовой работе, дому Блажных каким-никаким заработком, пожалуй, в художники вышел бы, да тут война.

Провожая в армию Фелю, Фекла Блажных, заливаясь слезами, громче всех баб причитала:

— Да Фелюшка! Да родимай ты мой! Да сохрани тебя Господи! Носки-то теплые взял ли? Метрику, метрику-то?.. Не надо метрику? А че надо? Скажи, скажи, ничего не пожалею... Да пиши ты, пиши почаще. Да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю... Кабы я могла бы, дак за тебя бы на позиции пошла. Какой из тебя солдат? Да помни об нас, горемышных, помни. Чем обидели, прогневили тебя — прости и о Боге, о Боге небесном не забывай...

Налетела запыхавшаяся мать Степа на леспромхозовскую площадь, среди которой раскоряченно громоздилась дощатая трибуна в сохлых, с Первомайя приколоченных еловых ветках. Придерживая мужицкую шапку на голове, тормозя себя мужицкими сапогами, чуть было не торкнулась в сына, он ее на лету поймал, прижал ко груди. Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь:

— За Родину!.. За Сталина!.. Смерть врагу!.. Гони ненавистного врага! Гони и бей!.. Гони и бей...

Фекла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую и надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь вид ее говорил: «Тронутая и есть тронутая! Че с ее возьмешь!.. Нет чтоб робенку человеческое слово сказать, Божечкое ему напутствие сделать... Стыдно перед людям...» Когда подошло время прощаться, Феля обнял тетку, совсем ослабевшую, обмякшую в его руках, рыхлую тетку Феклу, лепя солеными губами его в лицо, тоже ослезенное, не голосом, изболелым бабьим нутром она выстанывала:

— Касатик ты мой!.. Касатик ты мой!..

Степа стояла в стороне, хмуро курила махорку, плевалась в снег. Любил Феля мать, любил естественной, мучительной любовью, но помнил-то тетку Феклу Блажных, письма в Новоляинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов: «Здравствуйте, дорогие мои теть Фекла, дядя Иван, дедушка и бабушка, Аниска, Валентина, братья мои Иван Иванович, Архип Иванович...» И лишь в конце письма, будто спохватившись, мелко, сбоку листка передавал привет маме, спрашивал про ее здоровье.

Писала ответы Феле под диктовку матери самая шустрая в семье грамотейка Аниска: «Здравствуй, братец наш Феля! Кланяется тебе мама твоя Степа, Фекла Архиповна, сестры Аниска, Валентина, братья твои Иван Иванович да Архип Иванович, а от Митрея Ивановича привету уж тебе не будет во веки вечные — сложил свою головушку на войне наш старшенькой, и не просыхают мои слезоньки об ём...»

Феля и сам всплакнул, узнав о смерти старшего сына Блажных, — много он добра всем сделал, этот русский парень, в детстве еще превращенный в лесоруба-мужика, в помощника отцу. Хозяйственный, в работе хваткий, с обожанием относившийся ко грамотным людям, он с открытым ртом внимал Степе, умевшей наизусть кричать стихи, восхищался игре ее на баяне так, что и по дому ходил босиком, когда она репетировала, храпеть на печи воздерживался, а ведь с морозу, с работы человек, самый бы раз храпануть во всю ширь.

Баню еще шибко любил Митрий Иванович, которую сам вместе с отцом и срубил. Запаривался до беспамьятства. Строго следил и он и отец Иван, чтоб ни едой, ни обновой Фелю не обделили, хотя мать и забывала давать на него деньги, бросит иногда на кухонный стол скомканные рублишки, так Фекла ей тут же оправдание:

— Питатца в столовке да по участкам мотатца. Везде плати, везде отдай копейку. А зарплатишка кака? На один табак.

Зла не помнящие, забытые российские люди — деликатности-то где же они выучились? Материно имя всегда в письме наперед ставят. Почитай, человек, родителей своих, каких Бог дал, таких и почитай.

Однажды по ротам было объявлено: кто умеет рисовать и писать плакаты, пусть явится в клуб. Пришло народу много — всем в тепле пошиваться охота. Но званых, как известно, много, да избранных мало. Капитан Дубельт из массы талантов выделил лишь Феликса Боярчика — этот соответствовал!

Феликс старательно писал афиши кино и постановок, рисовал стенгазету, плакаты, карикатуры на отдельных листах, смешно изображая гитлеровцев, заимствуя кое-что из газет и журнала «Крокодил».

Поначалу Боярчик приходил ночевать в казарму, на завтрак и на обед топал с ротой, но ужинал отдельно, вместе со все множашейся и множашейся челядью полковой obsługi. Потом и завтрак и обед Боярчик стал получать порознь с ротой, после и жить в клуб перешел — там было теплее.

В клубе особой работы не велось, не до нее было, но фильмы для офицеров и их семей демонстрировались, жены офицеров и штабники

собирались вечерами в хор, репетировали, и давно уже, под руководством капитана Дубельта «Женитьбу» Гоголя; разучивали кантату: «От края до края по горным вершинам...»; танцевальный кружок готовил к Новому году обширное представление под названием «Победители торжествуют!».

Пообжившись в клубе, Феля начал делать вылазки в расположение полка и в овощехранилище. За газету на раскур, за бумажку на письмо, за отгрызок карандаша ему давали маленько картошки. Нарезав картошку пластиками, Феля пек ее на железной печке, стоявшей за сценой. Была в клубе еще одна печь — огромная, что баржа, осадившая помещение на корму. Чтоб ту печь натопить, требовалось не меньше двух, в морозы и до трех кубометров дров, поэтому Феля весь сосредоточился возле железной печки за кулисами.

Сюда на запах печеной картошки в тепло явилась однажды девушка. Первое, что поразило Фелю — салатного цвета глаза. На лице девушки они не ущемались, выплеснулись аж на виски, уперлись в берега приспущенных на уши волос, и волосы, и брови, и ресницы — все, все было золотисто, и, может, поэтому иль еще почему лицо девушки предстало как бы в легком сиянии, вот только бледно было лицо и, как на старых картинках или как у солдат в казармах, в налете каком-то давнем, с сероватой бледностью, губы девушки, сморщенные иль испеченные жаром, сморщились, вроде как от обветренности шелушились — так вот мгновенно и разом увидел Феля всю девушку: художник же, хоть и леспромхозовский.

— Здравствуйте,— сказала девушка и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Феле.— Вы новый художник? А я билетная кассирша и контролер. Эвакуированная с Украины, меня зовут Софья, чаще — Софочка.

Феля ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял истуканом возле печки и покрывался влагой, по всему телу пот у него выступил, язык отнялся, все члены обмерли. Молчание затягивалось. Наступала неловкость. Софочка двумя пальчиками взяла с печки пластик картошки, зажаристый, хрусткий, с лопнувшими от жара пузырьками посерединке, откусила, пожевала.

— Ой как вкусно! Можно, я еще возьму?

— Пожалуйста! — Кинувшись к печке, Феля подавал Софочке в протянутые ручки пластик за пластиком, она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивая:

— Ую-ю-юй! Горяче! Да горяче же! Ой! Ой! Ой! Ой! Сами-то, сами кушайте!..

Кто не верит в любовь с первого взгляда, тот Фелю с Софочкой не встречал, ничего о них не слышал и вообще в любви нисколько не разбирается.

Уже назавтра с самого утра Феля измаялся весь, и сердце у него изнылось — придет Софочка иль не придет? А если придет, то скоро ли? Оказалось, она квартирует в Бердске, простудилась и болела, потому и не знал Феля ничего о ее существовании. Капитан Дубельт послал в Бердск записочку, спрашивая, заменять ему кассиршу или ждать. Совмещать работу кассира-контролера и начальника культотдела полка ему невозможно, несолидно, он уже получил замечание из политотдела. Вот и вышла Софья, недолечившись, на работу. И правильно сделала.

Теперь из Бердска она летела на крыльях, ворвавшись в клуб, кричала: «Феликс! Вы здесь?» Он соловьем откликался, вылетал навстречу, брал ее озябшие руки в свои, долго-долго отогревал их под шинелью у сердца, иногда дышал на эти маленькие, исхудалые руки и готов был еще что-нибудь хорошее сделать для Софочки, да не знал что. Неожиданно было все: встреча, отношения, восторг, желание скорее, скорее быть ближе, успеть узнать друг друга до конца, до доньшка, ведь надвигалась разлука, хотя они и забыли о том, где и по-

чему находятся. Но военная жизнь, жизнь казарм, суровая зима, голодуха настойчиво и каждодневно напоминали о себе.

Однажды после затянувшегося концерта Софья побоялась одна идти через лес — говорили, за Обью ночами воют волки, будто бы они утащили и съели уже собаку из какой-то деревни или из самого Бердска, будто бы и детей, из школы идущих, попутали, будто бы на поймаках стрелкового полка их уже видели.

— Но где же мы будем спать? — пролепетал Феля Боярчик, глядя на жалкое гнездышко, свитое из бутафорской рухляди на досках, положенных на поленья, не иначе как тем художником, которого сменил Феля в клубе полка и который давно уже воевал или рисовал что-нибудь на фронте.

— А здесь, — решительно указала Софочка на Фелино гнездышко и, подумав, добавила: — По очереди.

По очереди не вышло. Феля топил печку, Софья спала, укрывшись его шинелью да своей телогрейкой, плотно завязав голову и уши деревенской серенькой шалюшкой. Лицо девушки, обрамленное этой бедной шалюшкой и выбившимися из-под нее желтенькими волосами, было еще прекрасней, еще милей, еще беззащитней, чем если бы она была в дорогом наряде. Феля мог сколько угодно смотреть на лицо Софьи и не уставал от этого занятия. Хорошо и странно было ему оттого, что так она близко, что он услуживает ей, согревает ее, однако к утру он сморился, присел возле дверцы печки, которую все время подшуровывал, да и заснул.

— Милый Феля! Зачем ты не разбудил меня? Зачем не соблюдаешь очереди?..

Она подошла сзади, обняла его, прижалась лицом к стриженной, но упрямо из последних сил кудрявящейся голове. Он щекой защемил ее руку на плече. Долго они были неподвижны, ничего не говорили, еще не зная, не ведая, что это были самые великие, самые светлые минуты в их жизни, те самые минуты, которыми Господь изредка одаривает добрых людей, не подбирая для этого подходящего места и времени.

И случилось то, что должно было случиться. Неумело, беспамятно, обморочно они сблизились, стали мужем и женой, нигде не расписанные, никому о тайне своей не поведавшие. Они принадлежали друг другу, и никто, даже всесветная война, не мог им помешать быть счастливыми.

Софья забеременела. Боярчик написал письмо любимой тетюшке Фекле: так, мол, и так, любовь настигла, соединились два горячих сердца, что теперь делать? Скоро на позиции.

Неграмотная, мудрая от жизни баба все сразу поняла насчет горячих сердец, продиктовала Аниске, дескать, по себе знает, от любви, как от кори, спасения нет, болезнь эта сжигающая, прилипнет так уж прилипнет, однако не испепелит, проходчива болезнь. Тетка Фекла велела Софье собирать манатки да и ехать в Новолялинский леспромхоз, благо ехать не так уж и далеко. Тут ее примут и доглядят как родную, потому как Феля им заместо сына. В конце письма Фекла сообщила: «Что касаемо Степы, матери твоей, Фелечка, дак не опасайся и об ней не тужи — она совсем забегалась, родному дитю написать некогда, хоть и намекивали ей, письма твои на тумбочку подкладывали — не прочитат даже, разе что ночью. Сказывали, закончила она санитарные курсы, собираетца на войну, дак и ехала бы с Богом — баба работой физицкой не уезжена, глядишь, какого бедолагу ранетого на горбе с поля боя выташшют. Да ведь и там при клубе каком-нито устройца, будет стишки со сцены декламировать, на бой товаришшев призывать. Вот ты теперь сделаешься родителем-мушшыной, дак матери-то не подражай, дитя свою не забывай. И береги себя. Ты теперь не один»...

Скис, потерялся Боярчик после отъезда Софьи, писал плакаты, стенгазету и объявления с пропусками, ошибками, бродил по расположению полка, но чаще всего по лесной дороге на Бердск, кого-то там отыскивая, писал каждый день письма, рисовал на конверте голубка с письмом в клюве, с потугой на юмор изображал пронзенное копьем сердце. Софья от того юмора заливалась слезами и тоже каждый день писала Феле, что распалил пожар ее чувств, но южную сжигающую страсть в ней не утолил и наполнил, даже и на четвертинку — разлука невыносима, но что поделаешь: война. Тем жарче, тем желанней будет неизбежная встреча, о которой мечтает она дни и ночи и никогда не устанет мечтать и ждать. Феля по письму такому понимал, что живет в Софье в семействе Блажных неплохо и кормят ее досыта.

Степа таки умогала на фронт. Софья жила в комнате мужа — работала на месте свекрови в Доме культуры Новолялинского леспрохоза. В смысле быта и жизнеустройства Феликс был за нее совершенно спокоен, семейство Блажных скорее само все перемрет, в землю костями ляжет, но Фелиной жене погибнуть не даст.

И все же Боярчик бродил и бродил по земле, искал чего-то. И нашел!

— Привет художнику-безбожнику! — услышал Боярчик и, оставившись, вглядывался в приземистого, нагужно улыбающегося красноармейца в довольно чистой, хорошо прилаженной к корпусу шинели. Весь он, этот человек, был белобрыс, стриженные волосы лишь при очень пристальном взгляде различались на висках — заедино с кожей, — такие же белесо-смазанные брови и ресницы, шрамы, множество мелких шрамов на лице, на лбу смотрятся выявленно, четко, на правую бровь фасонисто сдвинута шапка.

— Пр-риве-эт! — неуверенно отозвался Феликс и спросил: — Вы кто?

— Хха-ха-ха! Забыл, н-на мать, карантин, первую роту!..

— А-а, вы Зеленцов! Вас в минометную роту перевели.

— Мать бы ее растуды, эту минометку, — там нидохнуть, ни охнуть. Дис-цип-лина! Но настоящий человек нигде не пропадет! Слушай, ты, говорят, в клубе пристроился, шмара у тебя шикарная завелась. Молодец! Слушай, нельзя ли у тебя там погреться? Сообразить насчет картошки дров поджарить?..

Феликс еще ничего ответить не успел, как Зеленцов уволок его в клуб, осмотрелся там и сказал:

— Ра-с-скошная хаза! Слушай, Боярчик, возьми меня истопником, а? Возьми!

И, опять же не давши Феле не только ответить, но даже подумать, уже орудовал Зеленцов возле печки-баржи. Добыв из-за пазухи веревочку-удавочку, Зеленцов притащил вязанку дров, с грохотом обрушив поленья на пол, ходко принес еще вязанку и так раскочегарил печку, так согрел помещение клуба, что изо рта людей больше пар не клубился. Такого здесь не наблюдалось со дня сотворения культурной точки, она ставлена так и в таком месте, что в ней даже летом бревна были мокры и плавал по помещению едкий пар.

Феликс обрадовался трудовому порыву неожиданного работника, решил поговорить с капитаном Дубельтом по поводу использования Зеленцова в качестве постоянного истопника, потому как присылаемые из рот наряды ничего тут не пилили, не топили, рыскали по закромам строевого полка, добывая себе дополнительное пропитание, нороя в клубе чего-то сварить и сожрать.

Но что-то или кто-то задерживали вечно занятого, перегруженно-го хлопотами, замороченного творческими замыслами и отчетами начальника культуры, да и трудовой энтузиазм Зеленцова пошел на спад — за печкой и по углам клуба, сидя на корточках, шуршали помшинуму, почти неслышно возились скользкие текучие тени, громко

хлопали чем-то об ящик из-под посылки, свирепо выражаясь при этом.

Картежники! В заведении, руководимом капитаном Дубельтом, в заведении, где Боярчик дни и ночи писал лозунги и всякие другие бумаги с призывами честно трудиться на благо Родины, не щадя жизни сражаться с ненавистным врагом, темные людишки занимались азартными играми!

Они не просто играли в карты, они обосновались в клубе капитально, понанесли котомки, варили чего-то на печи и в печи, в клубе пахло вареной картошкой, даже мясным пахлс и, о боже! — самогонкой воняло! Феликс робко сказал Зеленцову, что не надо бы в культурном заведении заниматься темными делами.

— Че те, жалко, че ли, этой камары? — ему ответ.— Ешь вон картоху с концервой и помалкивай. Слушай, может, те денег надо? Ну выпить когда, бабе послать. Она с брюхом, усиленное питание требуется, то да се....

Феликс кое-как отбилсЯ от Зеленцова и от денег его, старался подальше быть за кулисами, в своей каморке, которую соорудил по приказу Дубельта. Узнавши про вспыхнувшую любовь между художником и кассиром клуба, капитан помог создать влюбленной паре условия — в каморочке-то не видно и почти ничего не слышно, а то ведь завистливые офицерские жены, искусства поклонницы, быстро донесут куда надо чего надо и не надо, назвав при этом святое чувство предосудительной связью.

Зеленцову только того и надо было, чтоб всякий надзор исчезнул, чтоб свобода. Какие-то шустрые люди, скорее всего проигравшиеся, батрачили на него, пилили, таскали дрова, другие овощь перли, мясо, сало, чай, сахар, пачки денег мелькали в руках картежников; за печкой и под печкой катались пустые бутылки; уже и драки не раз вспыхивали, уже слышалось:

— Бубны-черр-вы, бабы-стер-рвы, сахар за щеку, перо в бок! Блефуй, но не мухлой, а то я тя на эту печку голой жопой посажу!

Феликс уже не знал, с какой стороны к печке и к Зеленцову подступиться. Увидел однажды за сценой Зеленцова, мокрого от пота, вином налитого, прячущего деньги за пояс штанов, под гимнастерку, ножик, завернутый в грязную тряпку увидел, хороший, острый ножик с костяной ручкой, и взмолился:

— Слушай, Зеленцов, уходи ты отсюда, уходи!.. Мне попадет из-за тебя.

Зеленцов смотрел на него мутно, непонятно было: просыпается или засыпает — глаза его приоткрывались и тут же истомленно закрывались, сырая губа неприбранно отвисла, непробритый подбородок тоже оттягивал губу, губа долила голову все ниже и ниже.

— А-а? Феликс? Все! Все-все! Порядок. Еще пару хопков — и атанда, понял? Атан-да!

Ничего Феликс не понял. Спрятал Зеленцова подальше с глаз в своей каморке. Тот проснулся и куда-то исчез. Боярчик подумал: осознал человек свое недостойное поведение, совесть в нем пробудилась и он оставил его клуб в покое. Но тот появился снова, раскочегарил печку, каши с салом наварил, бутылкой побрякал и крикнул:

— Эй, Феликс! Покажись, красно солнышко! Я у тя тут еще ночь поошиваюсь, забью козла, коп мешок схвачу и-и-и-ы-ы..

Зеленцов спал за печкой, высунув ноги. гут его и обнаружил капитан Дубельт, вытребовал наружу, спросил кто таков, почему здесь валяется. Зеленцов, не узнавая со сна капитана, в свою очередь спросил:

— А кто ты такой? И хули тебе надо?

— Молчать! — топнул ногой капитан Дубельт.— Ты с кем разговариваешь, мерзавец?!

— Не ори! — Зеленцов ему в ответ.— А то геморрой оторвется! Капитан Дубельт совсем рассвирепел, попытался схватить Зелен-

цова за шкурку и вывести с позором из клуба, но боец ему не давался. Поднялась возня возле печки, схватка случилась, в результате которой Зеленцов поддел на кумпол капитана Дубельта, разбил ему очки и нос, да хорошо еще, что не прирезал капитана, не успел — по вызову Феликса Боярчика подоспел полковой патруль, буяна скрутили и увезли.

И вот тебе суд! Показательный! И вот тебе: вместо того чтобы порицать преступника, пригвоздить его к позорному столбу, дело повернулось неожиданной стороной — в ротах сочувствовали Зеленцову, хвалили его за храбрость, за непокорность, говорили, что он резал какого-то офицера-хлыща, да, жалко, недорезал. Потом подтвердилось: одного Зеленцов таки запорол, вроде бы Пшенного, за другим гнался до самого штаба полка, в помещение ворвался, но тот успел спрятаться под стол.

В воскресенье по случаю важного мероприятия первый батальон и минометная рота были освобождены от занятий. После обеда роты с песнями протопали в клуб, где должен был состояться показательный суд над Зеленцовым.

Прослужив два с лишним месяца в полку, многие красноармейцы, кроме карантинных землянок, казармы-подвала, столовой и бани, никаких более заведений не видели, в других помещениях не бывали. Клуб украшен лозунгами со лба, выписками из военного устава по дверям и по стенкам, старыми красочными кинорекламами, плакатами типа «Родина-мать зовет!», карикатурами на немцев и строго написанным барельефом вождей мирового пролетариата. Еще в детстве Боярчик с почетной грамоты научился срисовывать упряжку из вождей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Клуб с вождями над крыльцом, с плакатами ребятам казался совершенно райским местом, к тому ж хорошо натопленным. О тепле как в прямом, так и в переносном смысле служивые двадцать первого полка начали уже забывать. Скамеек всем воякам не хватало, не дожидаясь команды, по деревенской привычке, доставшейся с детства, народ удобно расположился на полу. Подшучивая и подталкивая друг друга, бойцы спрашивали, какое после суда будет кино или постановка.

Одна короткая скамейка была чуть вынесена вперед. Над сценой был тот же барельеф, та же упряжка с вождями мирового пролетариата, на сцене высился длинный стол, накрытый недочиста отстиранным от белых букв красным лозунгом. По-за столом стоял один стул с ребристой, что у стиральной доски, спинкой, в середине которой был вырезан герб, наверху по дуге крупные буквы: СССР. Стул привезен вместе с судьями-трибунальщиками из Новосибирска, уважительно сообщил Феликс Боярчик. Ему тут же возразили знатоки еще более тонкие: в трибунале судей не бывает, в трибунале — председатель трибунала, обвинитель и пара заседателей от воинской части — тут тебе не до церемоний, тут строго.

И правда, появились сперва двое солидных мужчин с нашивками на рукавах и с малиновыми петлицами. У того, который вошел первым и угнездился на стуле, в петлицах было по четыре шпалы, у второго всего лишь две. Но оба, несмотря на разницу в званиях, были тучны, через широкие, туго затянутые ремни переваливались животы, в груди, по-бабьи пышные, врезались наплечные ремни с пряжками. Взгляды, которыми обвели эти двое зал клуба, не просто были строги, они были устрашающи, в них так и сквозило: погодите, мы и до вас доберемся!..

Ой не зря говорилось в прежние времена: «От вора беда, от суда судя!»

Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы, где назначено ходить суще-

ству с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты, узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела.

Сидящие в клубе ждали явления квадратного в плечах громилы с головой, стриженной под ежик, прямо на плечах сидящей. У этого громилы всегда загорелая иль непромытая кожа лица, спина, минуя ворот гимнастерки, переходит прямо в затылок, дровяным колуном взнимающийся к тупому острию, острие это, минуя то место, где быть лбу, сваливается прямо в переносье, переносье же, не успев организовать в нос, завершается двумя широкими дырами, из которых щетиною торчит волос, срастаясь с малоприметными усами, нависающими над щелью беззубого рта, кой не имеет ни начала, ни конца, расплзается от уха до уха. Такой безразмерный рот, способный заглотить жертву шире себя, бывает только у змей. Самое выдающееся на этом лице, самое приметное — подбородок с ямой посередине, напоминающий обвислую бабью жопу.

Но природа же не терпит однообразия и делает иногда снисходительные поправки тому или иному обществу, ластя роду человеческому, и в правосудие вводит нечто особенное. Совсем противоположное тому типичному, устрашающему облику скоточеловека на сцену клуба двадцать первого стрелкового полка после крика секретаря трибунала: «Встать! Суд идет!» — мелконько перебирая ножками в хромовых сапогах, в гимнастерке, почти достающей подолом до сапог этих, украшенное медалью и красивыми, начищенно-блестящими знаками, ступило улыбчивое, румянькое, как бы даже и кланяющееся народу существо, у него и военное-то звание отступало в сторону, замечалось не вдруг. Мимолетным прикосновением расчески существо это в звании полковника, имеющее совсем мирное, свойское прозвание — Анисим Анисимович, тронуло седую прядку, спадающую на лоб, которая, впрочем, расческе не подчиняясь, снова упала сверху вниз. Председатель трибунала, сощурился, стал вглядываться в зал, вид и голосок у него были ласковые, как бы отечески говорящие: эх, ребята, ребята, чем занимаемся? страна кровью обливается, а мы... Только при внимательном пригляде замечалось, что не так уж прост этот дядя. Глубоко отпечатавшаяся скоба спускалась от раскрыльев носа до самого подбородка, в которой залегло уже утомление, имеющее презрительное превосходство над всем остальным людом. Дано будет той скобе на старости лет перевоплотиться в брезгливо-плаксивую гримасу. Простодушный этот, вкрадчивый человек во время суда играть будет в братишку, в этакого уже много горя повидавшего, из-за горя того поседевшего, настрадавшегося от неразумности людской дедушку не дедушку — рановато в дедушки, но уже и не папа и тем более не дядя он, когда расположит к себе людей, окутает обаянием, рассолодит и до слез доведет подсудимого, нанесет короткий разящий удар, и даже не удар, этакий почти незаметный небрежный тычок, от которого валятся с ног самые оголтелые враги и трясут потом головой, соображая, кто его вдарил, может, он сам упал и об пол ушибся.

Но Зеленцов не таких деятелей повидал и улыбочки, шуточки Анисима Анисимовича не принял, не отреагировал на них. Анисим Анисимович усек — работа предстоит нелегкая, не та, на которую он рассчитывал, отправляясь в какой-то занюханный полк перевоспитывать пакастника солдатичку.

Он согнал со своего лица улыбку и, пока секретарша записывала и говорила вечные эти унылые судебные формальности, переходя взглядом с лица на лицо, как бы пролистывая бледные, стертые, труд-

но различные страницы и, несмотря на похожесть, серость армейской массы, этого вроде однородного человеческого материала, находил лица, отмеченные юношеской красотой, умом, дерзостью, нахальством, покорностью, безразличием, озорством. Однако на всех этих лицах, как и всегда, как и везде, где он работал, прочитывались уже привычная настороженность, неприязнь, даже и ненависть. Анисим Анисимович понимал: не к нему лично ненависть, к тому делу, которое он исполнял, была, есть и всегда пребудет она, ибо еще он — он! — завещал: «Не судите да не судимы будете!» Но что нынче он? Да ничто! Отменили его в России, выгнали, оплевали, и суд здесь не бойкий идет, а правый, советский, по которому выходит, что все людишки, наполняющие эту страну, всегда во всем виноваты и подсудны.

Анисим Анисимович свел лопатки под гимнастеркой, поежился и распрямялся, выпятил грудь, готовый исполнять свой долг, не богом, но властью ему предназначенный.

Клуб оробел, утих. Всякий служивый старался спрятаться за спину сидящего товарища, всякий смиренно опускал, прятал глаза от Анисима Анисимовича, покаянно вспоминая, что он успел натворить в армии, сколько, чего и где стибрил. И выходило, что каждого здесь сидящего можно сей момент брать и судить по всей строгости военного времени. Не зря, ох не зря гnevаются эти дяди в комсоставской форме — видят они, видят каждого шаромыжника насквозь, дело только в занятости их большой, но наступит срок — разоблачат они, разоблачат всех преступников, подвергнут, осудят, чтоб даже и другим поколениям неповадно было от занятий отлынивать, картошку с морковкой воровать. Председатель трибунала сделал повелительный знак рукой — и в клуб ввели Зеленцова, распоясанного, недавно еще раз под ноль стриженного, да под такой ноль, что белобрый голова подсудимого сделалась будто вот только что в лоханке до блеска вымытой. Обмоток на Зеленцове не было, в носках он был, добротных, вязанных из козьей шерсти. Молодой боец из минометной роты удрученно вздохнул — из дому в посылке прислала те носки мать, Зеленцов, чтоб ему ни дна ни покрывки, выиграл в карты. Красуется!

С руками за спиной ступил Зеленцов в зал клуба, прошелся до середины зала, остановился, приподняв голову, приветливо улыбнулся всем, стиснув по три морщинки в уголках рта:

— Здорово, ребята!

— Здра-а-асс... — разбродно и неуверенно откликнулся зал, и кто успел прикемарить, начал просыпаться, шевелиться.

— Ну как? — кивнул Зеленцов в сторону трибунала, все не переставая улыбаться, только уже криво, в одном углу рта у него образовалось уже четыре складки, в другом осталось две. — Ну как жизнь, ребята? Не всех еще уморили?

— Ч-что такое? Прекратить р-разговоры! Подсудимый, сесть на место! — вскочила со стула строгая секретарша, и один из конвойных толкнул подсудимого к скамейке.

— Э-э, комсомолец! — зароптал подсудимый. — Обижаеть!..

— Я кому сказала! Товарищи, прекратите смех. Подсудимый, сесть на место! — снова взвилась секретарша.

Анисим Анисимович все так же безмолвно и неподвижно восседал на председательском стуле.

— Лан, лан, не пыли, тетя!.. Без тебя закон знаю, — обернулся к конвоиру Зеленцов.

Зал начал оживляться, предчувствуя веселое представление, служивые совсем проснулись, суд им начинал нравиться. Они надеялись в дальнейшем получить от суда и судей еще большее удовольствие. И не ошиблись. Зеленцов вел себя мятежно. В награду за мужество ему передал из зала зажженную сигарку. Пока председатель трибунала за столом нудил чего-то, пока конвойр догадался вырвать изо рта подсудимого сигарку, он и накурился.

Самое веселое и забавное началось, когда в качестве пострадавшего стал давать показания капитан Дубельт.

— Я тебя? Ударил? Докажи, чем? — гневался Зеленцов.

Бойцы, знающие всю историю наизусть, даже с прибавлениями, замерев, ждали, как капитан с чудной фамилией — уж не немецкой ли? — будет ответственность о том, как блатныга Зеленцов посадил его на кумпол.

— Мне кажется, он, этот негодяй, ударил меня головой.

— Кажется, дак крестись! — посоветовал Дубельту Зеленцов. — Стану я свою умную голову об такую поганую рожу портить!

По залу шевеление, хохоток. Зеленцов обернулся, подмигнул своим ребятам: то ли еще будет, друзья мои, ждите и обрящете.

— Я прикажу вывести публику из зала! — стукнул по столу вдруг всплывший председатель трибунала.

— И кого ж ты, дядя, судить будешь? Себя, че ли? — поинтересовался Зеленцов. — Суд-то показательный. Вот и показывай, если есть че.

Феликс Боярчик, призванный в суд в качестве свидетеля, сидел за кулисами, вроде как изолированно от суда, он караулил шинели и шапки приезжего начальства, но все слышал и видел. Оробев вначале от присутствия важных чинов и начавшегося суда, он вовсе пришел в ужас, когда подсудимый начал дерзить, нагличать, но вот словно пронесло над ним волну или будоражащую тучу, и сам он непокорно, дерзко, правда, про себя и молча, поддержал бунтаря: «Правильно, Зеленцов, молодец, это они понаехали, чтобы окончательно подавить ребят, здешние держиморды уже не справляются со своей задачей, так им в помощь этого вот румяненького... А-а, привык судить забитых, безропотных. Не на того попал!..»

— Правильно, Зеленцов! Правильно! Люди умирают! Доведи! — послышалось в зале как бы в продолжение того, что смел Боярчик произнести про себя. Феликс высунулся из-за кулис и увидел, что ребята, наклонившись, чтоб незаметно было, кто кричит, ведут полемику с судом.

— Эт-то еще что такое? Эт-то еще что за базар? — вскинулся полковник. — А ну, товарищи командиры, наведите порядок в зале!..

Зал немного еще погудел и под грозные крики засуетившихся чинов угнетенно, но непокорно утих. Чувствуя, что публика в зале вся сплошь на стороне подсудимого, настроена взрывчато, сжав пальцами виски, какое-то время Анисим Анисимович сидел и думал: что делать? выдворить служивых из клуба? прекратить суд, перенести в другое место? Да суд-то не простой, показательный, имеющий воспитательное действие. Но он столько уже пересудил и пересадила всякого народу, столько его на тот свет отправил, эта казарменная вшивота каши столько не съела, и чтобы перед каким-то уркой, с которым он по самонадеянности своей не познакомился лично до суда, чтобы перед ним и этой серой шпаной, молокососами этими, он, старый, закаленный большевик, спасовал, уронил достоинство родного суда?

— Товарищи командиры! Я прошу вас встать в проходы и крикунов выдергивать. Место их рядом с преступником, на позорной скамье.

Публика разом присмирела, однако Зеленцов не сдавался, вступал в пререкания и твердо доказал, что не садил на кумпол капитана Дубельта, что советский офицер, пусть он и из клуба, не имеет права так себя вести, он вел себя грубо, нетактично.

— А очки? Он же разбил мои очки!

— Я-а? Разбил? Ха-ха! Ты ж сам на них наступил сослепу.

— Может быть, может быть, — жалко лепетал капитан Дубельт, желая, чтобы его поскорее отпустили, не мучали вопросами, поскольку он никогда ни с кем не то чтобы судиться, даже не ссорился. — Я действительно допустил... по отношению...

Зал снова начал оживляться.

«Эх, капитан, капитан,— покачал головой Анисим Анисимович,— добрый ты человек, а обедню портишь. Среди такой сволочи тебе, культу́рному человеку, существовать...» Анисим Анисимович попросил капитана Дубельта сесть, сам же, встав из-за стола, слезши со своего стула, массивной спиной его подавляющего, и он хорошо это знал, терпеливо ждал полной тишины, дождавшись ее, храня скорбное выражение на лице, заговорил:

— Так-так-так! Бушуем, значит? Беззаконие творим? — Еще более поскорбев лицом, Анисим Анисимович многозначительно помолчал. — Отчего враг топчет нашу священную землю? — Он снова прервался, и уже надолше, выражение лица его из скорбного перешло в гневное. — Отчего немец этот, фашист проклятый, дошел до Волги? Почему он занял значительную часть нашей территории, смял села и города, попирает наше достоинство, пьет кровь из наших жен, дочерей, матерей, гонит на виселицы братьев наших и отцов? Да потому, товарищи дорогие, что не прониклись мы высокой сознательностью, не поняли до конца всей опасности, нависшей над нашей страной, над нашим народом. Вот почему в такой момент, в такое ответственное время особо нетерпимы должны мы быть ко всякого рода нарушениям нашей морали, жизни нашей, порядка, особые же претензии, я повторяю — претензии, должны быть к самому себе, прежде всего к самому себе: так ли я себя веду в столь сложное, смертельное для страны время? думаю ли я денно и нощно о защите Родины и своего народа? все ли я отдал? помыслы, силы свои все ли положил на алтарь отечества?

В клубе двадцать первого стрелкового полка наступила гробовая тишина, растерянность, может, даже раскаяние посетило слушателей, Анисим Анисимович потряс чубчиком.

— С-се-ерьезней, товарищи, серьезней надо жить, готовить себя к защите от врагов не только внешних, но и внутренних, серьезней надо относиться к обязанностям своим, а обязанности у нас одна: служить Родине, победить врага... Так-то, мой дорогой... Ну, этот... — мотнул он головой в сторону подсудимого. — Этот... — Анисим Анисимович небрежно махнул рукой и задом упятился к стулу, утомленно водрюзился на него.

Речь председателя трибунала возымела именно то действие, на которое он и рассчитывал, — публика была усовещена, подавлена, особенный упор на «алтарь» и на «мы» произвел впечатление, вышло — и он, большой человек, и все маленькие люди, сидящие в зале, объединились одной виной, одной ответственностью перед великой бедой и Родиной, они, выходит, единомышленники, братья, а этот...

«Этот» так ничего и не осознал, никакого братства между собой и председателем трибунала не почувствовал, его не раз еще унимали, предупреждали, усовещали. Анисим Анисимович уже давно понял, что никакого воспитательного значения суд, как задумывалось умными головами в штабе Сибирского военного округа, иметь не будет, даже наоборот, все разгильдяи в полку приободрятя, разложение будет еще большее, но это уже не его, председателя трибунала, дело. Его забота поскорее и с честью, хоть и поруганной, вынести справедливый приговор, наказать по заслугам более чем дерзкого блатняка, ранее судимого и уже отсидевшего срок, в документах указано — в чем Анисим Анисимович позволил себе усомниться, наметанным глазом отмечая, — нет, не один раз и даже не два бывал за решеткой сей архаровец, возможно, и фамилия Зеленцов не его фамилия, года указаны неправильно, все у него неправильно, надо было следственное дело на следствие вернуть, покопаться в биографии молодого человека, да дел-то, дел невпроворот, хоть по двадцать часов в сутки работай. Молоднячок-то не очень покладистый оказался и так ли развернулся, так ли себя показал! На фронте тоже борьба не ослабевает, садят, садят, садят, стреляют, стреляют, стреляют, но кто же воевать-то

будет? Так ведь можно и без кадров остаться. На фронт побыстрее, на фронт, в дело, в мясорубку — там из этого человеческого фарша пельмень, котлета, из кого и боец получится.

Здесь же...

— Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Стоят — все одинаково серые, с плоскими головами, как бы посыпанные цинковой пылью, смотрят исподлобья, старые, обсопливленные шлемы с тряпичными звездами в руках затиснуты — какая тупая монолитная сила! Какое молчаливое, но остревенелое неприятие всего, что с ними и вокруг них происходит! Это же сколько с ней, с контрой, боролись, расправлялись, увещевали, гоняли, гноили, а она все еще есть, стоит вон, смотрит, дышит — согнуть, заломать, лишить всякой воли, всякой надежды на сопротивление любыми способами, всеми доступными средствами.

— Именем Союза Советских Социалистических...

Блатарь удалой презрительно лыбится. Складки у рта, ранние морщины на лице, в них осела мгла, может, и пыль от дальних дорог и этапов прикипела, не отмывается, — бунтарь-одиночка, разгилядай, враг! С врагами же в Стране Советов еще не разучились управляться, с врагами один у нас разговор:

— К высшей мере...

А-ах! — волна по залу. Ударилось стоном, эхом в стену, в дверь, в потолок и снова обрушилось на стриженные головы служивых, стиснуло сердце, сделавшееся единым в сочувствии к своему собрату.

«А вы что же думали?! — торжествовал в себе Анисимович, уже не пытливым, не упрекающим, а открытым взглядом окидывая зал. — Ваша взяла? За вами сила и правда? Да пока я жив...»

«Эх, Зеленцов, Зеленцов! Кореш, товарищ, друг, что ж ты на рожон-то лезешь? Разве ты не знаешь, не ведаешь, где живешь? Разве плетью обух перешибешь? Разве тебе неведома доля-участь наших дедов, отцов? Изведут они, изведут эти хозяева жизни кого хочешь, да все по правилам своим, по советским законам, и пуль не пожалеют. Патронов только на врага-фашиста не хватает, на извод же своих соотечественников у Страны Советов всегда патронов доставало, не хватит — у детей последнюю крошку отымут, на хлеб выменяют пули и патроны» — такие вот мысли тревожили, стучались под стриженными коробками и оседали вглубь, на сердце, на русское давно надаженное, перенатруженное сердце.

Полковник держал паузу, перебирал бумаги на столе, видно было, как, себя перебарывая, подавлял заматерелую ненависть ко всем и всему против своей воли, наконец он поднес к глазам бумажку.

— Но, проникнутые идеями гуманизма, наша партия, наше правительство, наш самый справедливый в мире суд дают преступнику возможность искупить вину кровью и заменяют расстрел штрафной ротой...

Какие-то благородные формальные судебные слова еще читал полковник, но зал уже не слушал его, зал воспрянул, зашевелился, где-то пробно хлопнула, будто на концерте иль на торжественном празднике, тут же шквал шума, рукоплесканий, радостных выкриков сокрушил окаменелую еще минуту назад тишину. «Ура!» — в кулак ухнул Буддаков, но «ура» всеобщего не получилось. Выкрики: «Пор-ря-док, Зеленцов!», «Живы будем — не пом-рем!..», «В гробу их видели!..» — заглушили все остальное. Зеленцов встал со скамьи и, подняв руку, будто вождь на трибуне, поинтересовался у трибунала:

— Так вы что, десять лет воевать собираетесь?

— Почему вы так решили? Или привыкли к червонцам?

— Так червонец-то ввалили ж! Или сам воевать пойдешь?

Будь моя воля, я б тебе! — говорил весь вид председателя трибунала. Чувствуя, что не надо бы ввязываться в пререкания с этим отпетым человеком, которому теперь совсем терять нечего, однако не

в силах сдержаться, усмирить свой благородный гнев, полковник высокомерно молвил, ткнув перстом в стол:

— Я здесь Родине нужен.

— Р-родине?! Ну-ужен?! — передразнил его Зеленцов. — Как хер кобыле между ног! — И неожиданно сорвался на крик: — Ребятишек судишь! Погоди-и-ы, гнида, погоди-и-ы, еще тебя судить будут...

— Не ты ли?

— И я! И я! Меня не убью-ут, не-эт! Я выживу, выживу! И найду тебя, найду!..

Конвой ташил, пинал, волок из клуба Зеленцова, он, парень цепкий, знавший попок полапистей и построже, вырывался.

— Ты почему здесь? Где фашист, где, где? Их судишь? Их? — тыкал он пальцем в зал и кричал, брызгая пеной, вскипавшей на губах.

— Пра-авильно! Х-ха-ады! — раздался одинокий голос в зале.

На голос рванулись какие-то чины, должно быть, из особого отдела, но тут же упали, запнувшись за ноги. Незаметно, подло их выставляя меж скамьями парни, и что ты с ними со всеми-то сделаешь. Они вон все рожи понаклоняли, спрятались, углады, кто орет, кто бунтует.

Полковник вместе с судебной обслугой поскорее ретировался за сцену, скрылся за упряжку из четырех вождей. Трясаясь от гнева, он на всякий случай грозил и без того полумертвому капитану Дубельту, с которого то и дело сваливались новые, в спешке подобранные очки:

— Н-ну, знаете! Н-ну, знаете! Я этого так не оставлю!

Чтобы поскорее спасти капитана от напастей, Феликс Боярчик, потрясенный судебным действием, бросился подавать шинели военным чинам, и не они ему, а почему-то он им скороговоркой ронял: «Благодарю вас! Благодарю вас!» Анисим Анисимович, приняв шинель и шапку, воззрился на Боярчика, хотел что-то сказать, но тут подскочил адъютант командира полка, козырнул судебному начальству и повел его за собой через запасной выход из клуба. Боярчик подумал, что надо будет все-все описать Софье и как-то приободрить, утешить дорогого своего начальника, капитана Дубельта, разбитого судом.

Выбравшись из клуба, служивые не строились, не расходились, они оттеснили конвой от подводы, хлопали Зеленцова по плечу, совали ему в карман горстью табачишко, бумагу, спички, говорили разные бодрящие слова, на фронте, мол, непременно встретимся, фронт-то ребятам представлялся не шире бердского военного городка.

Зеленцов, как в зале клуба, так и на улице, держался гоголем. Приступ психопатии у него прошел, он шутил, по древнему русскому обычаю приободрял товарищей своих, тоже желал встречи на фронте, скорой встречи, пока совсем не довели их здесь. Конвой, состоящий из двух человек, слюнявых еще, молодых красноармейцев, топтался возле подводы:

— Ну ребята! Ну дайте уехать! Передать надо подсудимого. Попадет же нам.

Первая и вторая роты возвращались в казарму россыпью, разбродно, не строем.

— Запевай! — крикнул один из молодых командиров второй роты, организуя строй и шаг.

Но орлы первого батальона, вкусившие вольности, брели смешанно, непокорной толпой, обменивались репликами, и, когда командишко принялся настаивать насчет песни, из солдатского сборища раздалось:

— Сам пой!

(Окончание следует)

АЛЕКСАНДР СОРОКИН

*

МУЗЫКА СУДЬБЫ

..*

Даны мне земные печали
и горькое жизни вино,
а было ли Слово в начале —
узнать никому не дано.

На что же надеюсь тогда я,
зачем же в ночной тишине
поэзии немощь святая
дороже спасения мне?

..*

Я уйду, никого не спросив,
Потому что мой вынулс я жребий...

И. Ф. Анненский.

Как ты умел не показывать виду,
знающий боль Помыканий и Злоб,
горечь какую, какую обиду
жизнь заколотит в газетовый гроб.

Но к небесам вырываясь из плена,
как ты вдыхал этот свод голубой! —
будто и вправду легка и нетленна
музыка, ставшая нашей судьбой.

В штатском мундире, затянута
туго,
Боже, как душно! Как плоть
тяжела!
Как безутешна сердечная выюга
и безнадежна грядущая мгла!

Так направляй, проверяй меня
снова,
не позволяй мне мириться
с бедой! —
греческой Музы и русского Слова
мой царкосельский учитель седой.

Осенняя ночь

1

В тишине густой и ровной, как стоячая вода,
ничего уже, казалось, не случится никогда.
Даже если смерть наступит — все останется как есть:
так же будут капли с веток падать, стучаясь о жесть;
так же будет ближних сосен виден освещенный ряд;
так же неустанно к звездам будет устремляться взгляд.
Но никто в лучах и славе не пошлет благую весть! —
ибо на земле отныне все останется как есть.

2

Легкий шорох падающих листьев.
Над сосною полная луна.
Отчего так свет ее неистов,
для кого старается она?
Или всем готова без разбору

раздарить холодные лучи:
и юнцу влюбленному, и вору,
и вот этой кошке у забора,
и псалмы поющему в ночи?

ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ

*

БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК

Фрагменты книги*

42. Примечание к № 32.

А где же история русской литературы? Ведь на нее проецировали саму историю России.

В этом смысле очень интересна книга Иванова-Разумника «История русской общественной мысли» — двухтомный труд, вышедший в начале века огромным тиражом. С точки зрения литературоведения, философии, истории или даже заурядной фактографии содержание этой книги равно нулю. Однако в качестве, так сказать, кодификации интеллигентской мифологии значение разумниковской «Истории...» огромно. Лишь когда я прочитал Разумника (точнее, прочитал два раза и законспектировал), мне можно сказать, открылась суть происшедшего в русской культуре XIX века. С русской культурой... Вообще это одна из моих любимых книг. Я думаю, что можно русскому, в конце концов, не читать Канта и все же быть квалифицированным философом (ну, Куно Фишера прочесть). Но Разумника обойти нельзя. Без Разумника русский XIX век будет слишком светел, слишком рационален. А ведь XIX век в России — это, как ни крути, русское Возрождение. Нечто похожее на Возрождение, г л у б о к о аналогичное. Если русское Просвещение лишь внешняя аналогия Просвещению западному, реминисценция, стилизация, то Достоевский — это не стилизация, а нечто глубокое, доходящее до корневой системы индивидуальной и социальной психики. То есть Россия XIX века — это, по сути, «на пределе», после отбрасывания «антуража», Италия XIV века. То есть мрачная трагедия и пошлый фарс, подвалы и карнавалы, рождение в хаосе и ужасе индивидуального сознания. Рождение, в отличие от Италии, возможно в более грандиозных масштабах, в более сжатые сроки, с большей наивностью, прямотой, «планомерностью», но и с большим напряжением. Может быть, с безнадежностью, если учесть двойную ментальность России и вреднейшую упреждающую коррекцию Процесса со стороны фатально ушедшего вперед Запада. (Закон, известный задолго до Шпенглера: более мощная культура давит своих соседей, не дает им развернуться.)

© Д. Галковский.

* В № 9 с. г. «Новый мир» начал публиковать фрагменты книги Д. Галковского: теперь, заканчивая эту публикацию, мы предлагаем читателю подборку, объединенную темой Россия — русской истории, культуры, философии. «Бесконечный тупик» построен так, что ни одно из составляющих его примечаний, взятое изолированно, вне контекста, без содержащихся в книге многочисленных «противовесов», не выражает адекватно мнения автора (и тем более редакции журнала). К сожалению, объем произведения (70 п. л.) не позволяет представить его целиком на суд читателя. Напоминаем также, что книга написана от лица Одинокова (alleg ego писателя), поэтому в пародийных рецензиях (см. прим. 943) именно он фигурирует в качестве автора «Бесконечного тупика». — *Прим. рег.*

Что же писал Иванов-Разумник? Суть своего труда он определил следующим образом:

«История русской интеллигенции — это полуторастолетний мартиролог, это история этической борьбы, история мученичества и героизма... Считаем нужным подчеркнуть, что этой истории читатель не найдет в лежащей перед ним книге: внешняя, фактическая сторона истории не входит в содержание предлагаемого труда... в настоящей книге читатель найдет не столько историю русской интеллигенции, сколько философию этой истории. Философия истории русской интеллигенции есть в то же время отчасти и философия русской литературы. Русская литература в этом отношении сыграла совершенно особую, неизмеримую по значению роль: условия русской жизни, жизни русской интеллигенции складывались так, что только в одной литературе горел огонь, насильно погашенный в серой и слякотной общественной жизни русской интеллигенции; только в одной литературе Белинский видел жизнь и движение вперед. Отсюда громадное этическое значение русской литературы, ее столь ненавистное многим «учительство»... Все, что преломляла и отражала жизнь, вся любовь и вся ненависть — все горело ярким огнем в русской литературе; общественная ненависть, политическая борьба, глубокие этические запросы — ничто не было ей чуждо. Русская литература — Евангелие русской интеллигенции».

Согласно Разумнику все русское общество делилось на «мещанство» и «интеллигенцию». Мещанство — это косная, реакционная, темная, бездарная и тупая сила. Интеллигенция — соответственно динамичная, прогрессивная, светлая, гениальная и утонченная. Исходя из этого трогательного по своей непосредственности деления, русская история XIX века осмыслялась Разумником как борьба светлых и темных сил. Характерно, что «темные силы» никак конкретно не рассматривались (что естественно — раз они темные, то что же там, во тьме крошечной, увидишь), а к «светлым силам» относились:

- а) русские писатели,
- б) положительные герои русской литературы,
- в) революционеры, начиная от Радищева и кончая Плехановым.

Напрасная трата времени искать в разумниковской «Истории русской общественной мысли» историю общественной мысли. Труды русских историков, этнографов, философов и экономистов лежат далеко за пределами интеллектуального кругозора автора этой книги. Отца и сына Соловьевых, Ключевского, Чичерина, славянофилов для Разумника просто не существует. Разумеется, не существуют для Разумника и цари, правительство, Сперанский, Уваров, Милютин и т. д. Из истории русской общественной мысли общественная мысль, общественная деятельность официальная, государственная изымается. Хотя ее-то и следовало бы изучить в первую очередь. Что важнее: политические взгляды эмигранта Герцена или взгляды непосредственных авторов реформы 1861 года? Один из прожектов гипотетической реконструкции Москвы, сочиненный помещиком-мещаном, или реальное восстановление столицы после пожара 1812 года? Однако у Иванова-Разумника речь идет прежде всего именно о третьестепенных, несостоявшихся вариантах. Подлинная же история общественной мысли низводится до уровня дешевого иллюстративного материала, серии грубых карикатур и беглых упоминаний, составляющих одну сотую книги и, видимо, призванных создавать более-менее правдоподобный исторический антураж. Происходит удивительная вещь: философия, история и политика заменяются литературой. Причем речь идет даже не о подмене, например, фундаментальной «Истории России» Сергея Михайловича Соловьева беллетристикой на исторические темы его старшего сына Всеволода вроде «Княжны Острожской» или «Царь-девицы» (это была бы лишь примитивизация), — нет, речь идет о замене «Истории государства Российского» Карамзина «Бедной Лизой». То есть согласно методологии Разумника историю Германии XVIII века следует изучать исключительно по гофмановским «песочным человечкам» и «крошкам цакес».

Однако это только начало. Разумник идет гораздо дальше. Историю русской литературы он сводит к творчеству ее крупнейших пред-

ставителей, а их в свою очередь представляет как пропагандистов примитивного политического радикализма, то есть отводит им роль партийных журналистов в нелегальном листке «Народной воли»:

«Дух творчества одинаково витает над всеми ними, над Пестелем и Пушкиным, Н. Тургеневым и Белинским, Герценом и Чернышевским, Толстым и Лавровым, Достоевским и Михайловским... Делить эту группу людей на какие-то две части, ставить пред одной плюс, а пред другой минус, одну обречь на гибель, а другую на процветание — значит пытаться разъединить неразъединимое, утверждать, что С улетучивается, а I остается...»

Красные бригады сделали бы точно такой же трюк, приняв заочно на общем собрании в свою организацию в качестве почетных членов Феллини или Верди:

«Дух творчества одинаково витает над всеми ними, над Ренато Курчо и Федерико Феллини, над Марой Кагол и Джузеппе Верди».

При этом творчество Пушкина или Достоевского всячески принижается, а писания Белинского, Михайловского или Чернышевского, действительно крепко связанных с подрывным движением, непомерно раздуваются. Жизнь «прогрессивных литераторов» осмысливается при помощи грубой риторики как своеобразный религиозный подвиг. Чернильные чиновничьи по преимуществу биографии превращаются в «борьбу» (соответственно, например, борьба русского царя за освобождение славян оборачивается пакостной башмачкинианой):

«Смерть лишила Белинского того тернового венца, который сделал бы его имя из великого святым. Но и без того это имя окружено для нас ярким ореолом борца и мученика за правду-истину и правду-справедливость. Понятно, за что возненавидели его палачи и прихвостни системы официального мещанства: они поняли, что Белинский — это знамя победы русской интеллигенции над темными, обезличивающими силами... И они были правы. Белинский был знаменем русской интеллигенции, и на знамени этом было написано: „сим победиши!“».

Воинство же Христа — Белинского составлял орден крестоносцев-писателей, которые с перьями наперевес, стреляя чернильницами из рогаток, «штурмовали бастионы»: «Пушкин — я, Лермонтов — я, Гоголь — я, Тургенев, Чехов, Грибоедов, шашки наголо! рысью. позскадронно... Даешь Крым!!! Да-е-е-ешь! У-rra!! А-а!! А-а-а-aaa!!!»

«„Горе от ума“, одетое в броню реализма, нанесло.. мещанству оглушительную пощечину, раздавшуюся на всю Россию. Результат оказался плачевным — но не для мещанства: погиб Грибоедов, подобно тому как погиб его альтер эго Чацкий».

Бронированный Грибоедов оглушительно отбил руку и умер. Но на этом «мартиролог жертв царизма», конечно, не кончился. Вслед за ним «в этой борьбе пали такие титаны, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь». Гоголь хотел

«отсесть одним ударом голову гидре мещанства. Но попытки эти были выше сил Гоголя, и он пал под тяжестью добровольно взятого на себя груза».

Николай Васильевич надорвался, добровольно подняв гидру. Однако

«пока Гоголь погибал, безоружный, в неравной борьбе, русская интеллигенция 30-х и 40-х годов приступом взяла цитадель мещанства, подвела подкоп под систему официального мещанства и громовой взрыв 60-х годов раздался как раз в то время, когда Гончаров представил русскому обществу своего Штольца в виде идеала человека и мещанина».

Гончаров был, конечно, вор в законе, однако допускал грубейшие политические ошибки (например, высмеивал нигилистов в «Обрыве») и попытался отнять у наших меч-кладенец:

«Как писатель он в совершенстве овладел острым оружием реализма, он понял, что, только владея этим оружием, мещанство может стать опасным... Насколько ловко задуманным и безупречно выполненным оказался этот план, видно из того, что на удочку Гончарова попался даже Белинский».

А Белинский был стреляный воробей, его на мякине не проведешь. Вот какой хитрый был этот Гончаров. Но Разумник хитрее. Всех Гон-

чаров провел, даже Белинского. А Разумника не провел. Мимо Разумника, врешь, не проскочишь.

«Но довольно: пора выйти из этого затхлого подполья на чистый воздух».

(Эту фразу Разумник повторяет постоянно.) А на чистом воздухе что? — помиловка:

«Интеллигенция 70-х годов вынесла лишним людям оправдательный приговор».

Онегин, Печорин и Обломов «посмертно реабилитированы». Это вам не шутка, не освобождение Болгарии какое-нибудь. Однако царизм не дремлет:

«Героическая эпоха 70-х годов закончилась поединком на жизнь и на смерть (все-таки на что конкретно? — О.) между правительством и народолюбцами, между представителями системы официального мещанства и русской интеллигенцией. Мы знаем, что борьба эта кончилась разгромом «Народной воли» и полным поражением интеллигенции».

То есть Пушкина, Гоголя, Достоевского.

«Цвет русской интеллигенции был растоптан («цвет» — это, конечно, не Толстые и Достоевские, а Желябов и Кибальчич. — О.); богатырские силы были погублены; лучшие и сильные люди сошли со сцены; уцелевшие, за немногими исключениями, заметно понизились этически; на первый план выступили серые, второстепенные люди. вскоре заполнившие собою всю жизнь; минул век богатырей, и —

...смешались пашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки...»

Но рано торжествовала реакция. Из-за леса, из-за гор вылез тараном мастодонт Максимыч:

«Конечно, громадное литературное дарование Горького всегда бы пробило себе дорогу и увенчалось успехом, но ведь в 90-х годах не один ореол успеха окружал имя Горького: на него смотрели как на вождя интеллигенции, как на пророка нового откровения. Молодое поколение 90-х годов, измученное социологическим пессимизмом народничества, убогим мещанством восьмидесятников... с жадностью приныкло запекшимися устами к бьющему оптимизму человека, которого не задавили ни годы нужды и лишения, ни муки возмущенной чести...»

И так далее в том же пародийном ключе.

Возмущенный Франк совершенно справедливо высмеял построения Разумника:

«Позволительно усомниться в реальности подобной невиданной социальной группы (иронизирует Франк по поводу разумниковской «интеллигенции». — О.), которая почему-то именно полтора года тому назад родилась для борьбы с вековым злом человеческой жизни — узостью, посредственностью и безличностью. Позволительно утверждать, что такой группы никогда не существовало и существовать не может — по той простой причине, что не только подлинное обладание оригинальностью и развитой индивидуальностью, но даже действительное понимание этих ценностей и вкус к ним могут быть присущи лишь отдельным личностям и никогда не могут составлять монополии какой-либо социальной группы».

Далее Франк также совершенно справедливо пишет, что Разумник объединяет под понятием «интеллигенция» принципиально разные вещи. С одной стороны, «чисто идеальное собирательное понятие совокупности лиц, обладающих оригинальным духовным складом» (иными словами, Франк ведет речь о «цвете нации», «элите»). А с другой стороны, Разумник называет интеллигенцией «действительную социальную группу, народившуюся лишь в 60-х годах, очень сплоченную и психологически весьма однородную группу отщепенцев и политических радикалов». Для этой группы, замечает Франк, характерно как раз крайне враждебное отношение к индивидуальности, творческим личностям, то есть именно к интеллигенции в первом смысле этого слова.

Разумеется, Франк прав. И спорить тут вроде бы не о чем. Но... Все же Пушкин переписывался с Пестелем, а Достоевский был петрашевцем. И все-таки сам Семен Людвигович Франк начал свою фило-

софскую карьеру с марксистской пропаганды и написания антиправительственных агиток, за что и был исключен из Московского университета и выслан за границу. Нет, тут замес покрепче будет!

В результате петровских преобразований Россия к середине XVIII века превратилась в полузависимое государство. Внутри страны возникла мощная космополитическая номенклатура, которая постоянно вмешивала Россию в европейский «гроссполитик». Между крупнейшими европейскими государствами постоянно шла борьба за Россию: кому воевать Россией против того или иного врага. Только из-за внутриевропейских раздоров наше государство могло хоть как-то держаться на плаву и невольно, просто из-за благоприятной геополитической обстановки (польский и османский буфер) извлекать для себя определенные выгоды. По сути, Англия, Франция, Австрия и Пруссия формировали в удобном для себя виде внешнюю политику России. А для этого они волей или неволей самым активным образом вмешивались во внутреннюю жизнь восточного соседа. (Ярчайший и простейший пример — убийство Павла I, когда англичане, чтобы предотвратить войну с Россией и направить ее армии против Франции, поддержали некоторую аристократическую фракцию и фактически организовали заговор против царя.) Вмешиваясь же столь глубоко во внутренние дела, иностранцы, естественно, вмешивались и в культурную жизнь государства. Прimitивного государства. В культурном отношении Россия XVIII века не существовала, а культура в России XVIII века существовала лишь в той степени, в какой это было необходимо для существования этого странного государства в качестве используемого фактора европейской политики.

Второй мощной силой в Российском государстве была национальная аристократическая оппозиция (как это и явствует из того же убийства Павла I). Оппозиция неоднородная, не вполне оформленная, находящаяся с монархической властью в сложных и часто парадоксальных отношениях, и, наконец, теснейшим образом связанная с первой силой (наглядный пример — роль польской шляхты).

Верховная власть в России была очень чутка к любым колебаниям, очень, так сказать, «нервна», напряжена. Там вовсе не было тяжелой монотонной устойчивости. (XVIII век — калейдоскоп дворцовых переворотов, а XIX — вообще «ничего не понятно». Ведь вот до сих пор гадают, умер ли Александр I или легенда о Федоре Кузьмиче верна. О французской монархии XIV века больше известно.) В такой атмосфере, постоянно насыщенной электричеством идеологии, любое резкое движение вызывало треск разрядов. Достаточно было показать палец, чтобы это воспринималось как политическая демонстрация, и не только воспринималось, но и явилось и повлекло... И конечно, неверно, что «только в одной литературе горел огонь, насильно погашенный в серой и слякотной общественной жизни». Точнее будет сказать, что даже в литературе горел огонь идеологической конфронтации. Литература русская и зародилась и «была нужна» именно как второстепенный, но важный компонент политической борьбы в верхних эшелонах власти и, шире, как компонент идеологических манипуляций в России со стороны более культурных государств. То есть русской интеллигенции в первом значении этого слова — культурной элите — была уготована роль интеллигенции во втором значении, роль низших исполнителей в различных кланах фрондирующей аристократии и роль наемных пропагандистов иностранных держав. Но из-за таланта русские вырвались за рамки, дали выход с миллионкратным избытком. Вместо Демьяна Бедного — Пушкин. Но в корне Пушкин-то был задуман как Демьян Бедный.

Разумник же — это удачная попытка осмысления хотя и небольшой, но дьявольски сложной, «хитрой» отечественной мысли с точки зрения рядового исполнителя. Как ему все это снизу, с пятидесятисантиметровой колоколенки, представляется. А представляется-то все,

естественно, так, что для него интеллигентны-нигилисты и являются интеллигенцией-элитой — свободной, самодостаточной силой, произвольно, только по собственному усмотрению из-за «невыносимо тяжелых условий» выполняющей роль интеллигенции второго типа. В нормальных условиях Желябов стал бы гениальным писателем. Но такова дикость русской жизни: интеллигенты, писатели и художники, вынуждены кидать бомбы и подкладывать мины. Это крест, подвиг, по крайней мере вполне сопоставимый с подвигом Иисуса Христа. Соответственно те из настоящих писателей и художников, кто отрывается от борьбы, являются пособниками темных сил и превращаются в интеллигенцию во втором смысле, но со знаком минус — в мещанство. Если Желябов — это несостоявшийся писатель, то Достоевский — несостоявшийся палач. Эта мысль не закончена Разумником, но вполне логична и договорена Михайловским или, например, Горьким...

Иванов-Разумник делал все это невольно. Все-таки по его судьбе видно, что он был более Иванов, чем Разумник.

Что верно и для всего уродливого сословия, представителем которого он являлся.

716. Примечание к стр. 39 «Бесконечного тупика».

...анализ русской словесной культуры XIX—XX веков показывает, что Россия была уже давно обречена.

Я смотрю на фотографию Достоевского — лицо пророка, лоб мыслителя. И как при тогдашней тяге к вождизму так его не поставить на олимп. Так, чтобы и заикнуться никто не мог. Пускай даже и палку бы перегнули. С Достоевским это можно, это ничего. Это же Достоевский. Ну объявили бы его «величайшим гением всех времен и народов». Издали бы книги миллиардными тиражами. Придумали частушки про дедушку Достоевского и распевали их в яслях хором... Нет, нашлись кандидатуры поинтересней: «энциклопедический ум Чернышевского», «гениальные прозрения Белинского». А дальше уже маячила картавая бородавка Самого Человечного Человека.

719. Примечание к № 579.

Щедрин превратил русский язык в мат.

Достоевский полушутливо писал, что мат — это целый язык, состоящий из двух-трех слов и приспособленный для пьяной речи, когда, так сказать, человека наплыв чувств переполняет, а выразить обычным способом их трудно — язык заплетается. Величие мата в том, писал Достоевский, что

«можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием... существительного, до крайности к тому же немного-сложного».

Не надо кричать: «Проклятая Россия!», «Царь — негодяй!», «Тупой, дикий народ!». По-русски все можно сделать гораздо умнее и злей Поссорившийся с Щедриным Писарев сказал:

«Г-н Щедрин, сам того не замечая, в одной из глуповских сцен превосходно охарактеризовал типические особенности своего собственного юмора. Играют глуповцы в карты:

— Греческий человек Трефандос! — восклицает он (пехотный командир), выходя с трэф.

Мы все хохочем, хотя Трефандос этот является на сцену аккуратно каждый раз, как мы садимся играть в карты, а это случается едва ли не всякий вечер.

— Фики! — продолжает командир, выходя с пиковой масти.

— Ой, да перестань же, пострел! — говорит генерал Голубчиков, покатываясь со смеху. — Вель этак и всю игру с тобой перепутаю.

Не кажется ли вам, любезный читатель, после всего, что вы прочитали выше, что г-н Щедрин говорит вам «трефандос» и «фики», а вы, подобно генералу Голубчикову, отмахиваетесь руками и, покатываясь со смеху, кричите бес-

сильным голосом: «Ой, да перестань же, пострел! Всю игру перепутаю»... Но неумолимый остряк не перестает, и вы действительно путаете игру, то есть сбиваетесь с толку и принимаете глуповского балагура за русского сатирика. Конечно, «тайные поросычьи амуры», «новая затыкаемость старой непоглощаемости» и особенно «сукин сын туз» не чета «греческому человеку Трефандосу». Остроты г-на Щедрина смелее, неожиданнее и замысловатее шуток пехотного командира, но зато смеется над остротами г-на Щедрина не один глуповский генерал Голубчиков, а вся наша читающая публика...»

В результате возникает спутанность, потеря нити иронии и ухмыляющееся на авось отношение вообще к миру. Это чувство круговой поруки обмана, кругового смеха на всякий случай. Щедринские штампы — это лишь метки болезни, кожные нарывы, вызванные общим воспалением организма. Все начинает сочиться тайным, неприличным смыслом. Сама материя превращается в мат. «Молоток». А ну-ка бросим в щедринское пространство. «Э-хе-хе, молоток» — и подмигнуть. «Фартук». — «Ха-ха-ха, ну вы скажете». — «Палка». «И-хи-хи». И специальная, «понимающая» улыбка. Все ложно. Подлинно лишь одно — затаенная, до краев заполняющая, а потому и невыплескиваемая наружу ненависть. Ненависть как спокойная полнота, как мудрость.

Без знания произведений Салтыкова-Щедрина будет ничего не понятно в филологических зарослях интеллигентских «трефандосов» и, главное, не будет понятно мироощущение двух-трех поколений русских образованных классов. Особенно из разночинцев, ведь щедриномания — это прежде всего аберрация русской крестьянской недоверчивости к миру, крестьянского юмора и типа поведения в незнакомой, пугающей обстановке. Щедрин — это гений масонской пропаганды в России, вершина. Он выявил и зафиксировал природную предрасположенность русского языка к злобному отстранению. Разумеется, совершенно невольно, из природного эстетизма.

Достоевский писал о Михаиле Евграфовиче:

«У него игра, у него словечки, он вертляв, у него совершенно беспредметная и беспричинная злость, злость для злости — нечто вроде искусства для искусства. Злость, в которой он и сам ничего не понимает. А это-то всего драгоценнее... Стоит только направить эту злость, и он будет кусать все, что ему ни укажут, потому что ему только бы кусать».

И ниже:

«В сущности, это был поклонник искусства для искусства, юмористики для юмористики. Был бы только «трефандос», а к кому он относится — все равно».

У Щедрина дурашливый, подзуживающий эстетизм. Карикатура для карикатуры. Нарисовал злой шарж, потом походил-походил вокруг и неожиданно пририсовал на щеку бородавку. Бородавку совсем немотивированную, нелепую, уничтожающую последние остатки сходства с оригиналом. Но уж больно хороша — нельзя отказаться. И снова ходит-ходит, и вдруг р-раз — к бородавке волоски пририсовал. Вообще хорошо стало, заходил по кабинету, ручки потирая: «Ай да Щедрин!» Потом ночью проснулся, зажег свечу и волоски в оранжевый цвет выкрасил. Счастливый, под утро заснул.

Его многотомные фельетоны дики — гниль языка. Это такой позитивный Маяковский. Если бы Михаилу Евграфовичу прочли бы про «горбуна и ананас», он бы понял — «как». Но ему, в отличие от Маяковского, не показали — время другое было... Все же отдельные предложения, коротенькие сказочки закруглены и так и просятся в следующую литературную эпоху. Или по крайней мере в эпоху предыдущую.

В сущности, лицеист и вице-губернатор Салтыков-Щедрин — это камер-юнкер 60—70-х. В своем Мраморном дворце великий князь Константин Николаевич (второй человек в государстве тогда), сидя на канаве, давясь от смеха, читал щедринские вещицы. Лично покровительство оказывал.

726. Примечание к № 680.

«Туркин все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии» (А. Чехов).

Если для Щедрина нарочитость языка была все же литературным приемом, то для Чехова она стала в значительной мере формой стилизованного существования (как и для его Туркина). Невозможно представить, чтобы в реальности дворянин Салтыков говорил на фельетонном языке своих произведений. Речь Чехова вся построена на интеллигентских присказках и прибаутках.

Следующая ступень разложения языка — творчество Заболоцкого и Хармса. Для них филологическое юродство стало не просто плоским литературным приемом как у Щедрина, и даже не поведением, как у Чехова, а определенным взглядом на мир:

Иногда во тьме ночной
Принесят длинную гармошку,
Извлекают резкие продолжительные звуки
И на травке молодой
Скачут страшными прыжками,
Взявшись за руки, толпой.

Это уже порча вполне сознательная, но, в отличие от дореволюционной литературы, к тому же крайне продуктивная, так как совпадает с общей порчей мира.

Завершает этот процесс Андрей Платонов. В его произведениях происходит не просто разложение литературной формы и языка, но и распадение способа осмысления мира. Распад достигает своего логического предела. И, совпадая с максимальным распадом окружающего мира, становится максимально оправданным. Если Щедрин верх неестественности, то Платонов верх естественности, органичности. Он не менее органичен, чем классическая проза Чехова.

В «Котловане» девочка Настя говорит про медведя-пролетария:

«— Смотри, Чиклин, он весь седой!»

А Чиклин отвечает:

«— Жил с людьми — вот и поседел от горя».

Разве это не похоже на чеховских «Мужиков»:

«На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.

— Кис, кис! — поманила ее Саша. — Кис!

— Она у нас не слышит, — сказала девочка. — Оглохла.

— Отчего?

— Так. Побили».

Ритм идентичен, и я часто повторяю про себя и тот и другой отрывок. Что же касается содержания, то Платонов явно продолжает чеховскую традицию, чеховское отношение к «вейкаму уускаму наооду» (в данном случае грассирование дворянское или местечковое, на выбор, все равно). Чехов:

«На Воздвиженье, 14 сентября, был храмовой праздник... Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и пил чай...

(Пришел из деревни крестьянин Лычков с палкой в руках.)

— Ваше высокоблагородие, барин...— начал Лычков и заплакал.— Явите божескую милость, вступитесь... Житья нет от сына... Разорил сын, дерется... Ваше высокоблагородие...

Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с палкой: он остановился и вперил пьяный, бессмысленный взгляд на террасу.

— Не мое дело разбирать вас, — сказал инженер. — Ступай к земскому или к становому...

(Лычков-отец) поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стучали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру».

Это вполне платоновский сюжет. Легко представить себе соответствующую сцену в одной из его повестей. Только лексику деформировать, и все:

«1 мая был всемирный праздник международного трудящегося. Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и совершал процесс питания.

К нему пришел из нашей советской деревни зажиточный крестьянин Лычков с орудием, палкой, в руках.

— Гражданин работник умственного труда... — начал Лычков и заплакал. — Явите сочувствие к сочувствующему генеральной линии. Житья нет от сына... Разорил сын, дерется...

Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с орудием труда; он кончил факт движения и под углом классового чутья сделал взгляд на террасу.

— Генеральная линия партии взяла курс на мою смерть, — сказал инженер. — Ступайте к секретарю или к милиционеру...»

А следующий абзац можно вообще дословно переписывать. Толстой был очень недоволен «Мужиками».

«У Горького есть что-то свое, а у Чехова часто нет идеи, нет цельности, не знаешь, зачем писано. Рассказ «Мужики» — это грех перед народом. Он не знает народа...»

«Если бы русские мужики были действительно таковы, то все мы давно перестали бы существовать».

И перестали. Показ Чеховым отрицательных сторон деревенской жизни, разрушающий миф русской литературы о добродетельных поселенцах (в полном единодушии созданный не выносившими друг друга Тургеневым, Достоевским и Толстым), был и началом разрушения самой русской литературы. Но у Чехова, а затем в еще большей степени у Бунина, деформировалась литературная идеология. Сама лексика была еще вполне классической. Обериуты лексику разрушили, на них «хорошая литература» кончается. Но своей идеологии, своего мифа-мира они не создали да и не могли создать. Платонов же — это реидеологизация литературы. Возвращение к ее назидательности и дидактичности, но возвращение вторичное, опирающееся на разрушенный левый язык. Платонов кристаллизовался из леворадикального газетного месива. В этом смысле он еще русский писатель. Корни его логоса доходят до 60-х годов XIX века. Это логическое завершение интеллигентского инфантильного языка, в конце концов сбывшегося и послужившего адекватным выражением апокалипсиса коллективизации. Наверно, правый язык и не годился для подобной задачи. Не могу себе представить Бунина, пишущего о деревне 30-х.

734. Примечание к № 640.

Ими мыслила Россия.

«Записки из подполья» — это рождение русского индивидуально-го сознания. Рождение монстра. С ужасом, визгливым криком. Пушкин и Гоголь — это форма, это сознание, но не самосознание, не рефлексия. Их произведения — это инструмент для рефлексии. И Гоголь ближе. Пушкин — мироощущение, Гоголь — мировосприятие. Достоевский — мирозерцание. Соответственно: радостное слияние многого (мира) — злобная монотонность — мрачный распад.

Розанов хотел вернуться к Пушкину. То же — Набоков. Первый хотел вернуться через Достоевского, второй — через Гоголя. Путь порождения личности и порождение абстракции, мира.

740. Примечание к стр. 40 «Бесконечного тупика».

Русский, захваченный какой-либо конкретной идеей, ушедший в конкретную идею, это страшный человек.

Розанов это в себе отлично чувствовал и почти сознательно отказался от пути русского монотонного монотеизма. Его ренегатство — это в известном смысле просто самосохранение, отвязывание от разрушительных идей:

«Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... Но не хочу.
И сгорело бы все... Но не хочу.
Пусть моя могила будет тихо и „в сторонке“».

Однажды Розанов высмеял Хомякова, заявив, что он подходит к философии Лютера

«с какими-то вопросами киевского семинариста, с какой-то схоластической тетрадкой «вопросов» и «ответов», спрашивает его по «вопросам» и, не слыша от него «ответов», значащихся в киевской тетрадке, творит над ним суд до того неуклюжий и не в соответствии с событием и лицом, что читателя по коже дерет».

Хомяков в славянофильском запале обернулся неожиданно для самого себя «русским с тетрадкой», дурачком из идейных. Но тетрадка, к счастью, была у него только по одному пункту. А есть русские, у которых на все есть тетрадка, у которых весь мир в одну тетрадку записан. Ну в три. И он, бедняга, начинает носиться с этими «философскими тетрадами». И тут уже все, контакт с ним возможен только в форме допроса.

В статье «Памяти Хомякова» Розанов подметил, что проповедь добра сочеталась у самого Хомякова с довольно злобным отношением к чужим мнениям. Но Розанов на этой статье оборвал собственную ругань и потом пошел наперекор. Он не стал «разрушать» Хомякова. Зачем?

Тогда же, в 90-е годы, Василий Васильевич с горечью заметил:

«Касательно католичества у нас, русских, можно сказать, существуют одни предрассудки и коротенькие смешки. Новая наша полемика против него есть только серьезная форма развития этих же смешков».

Но сам Розанов в полемике с Хомяковым просто прыснул в рукав, почувствовал смешную черточку и щипнул за нее. Пускай больно, с вывертом, но от этого не умирают. Хомяков же в полемике с западным христианством поставил себе эту полемику чуть ли не целью жизни и стал утюжить противника томаами. Получилось слишком серьезно и, по закону обратной перспективы, слишком неумно. Розанов, как и все русские, честно заходился, но у него хватало чутья не заходить слишком далеко. Он всегда потом возвращался. Бродил в разные стороны, рыскал, но никогда не заблуждался. Глохнул, слепнул, орал, в голове шумело, глаза наливались кровью, а потом вдруг посередине обрывал, бессильно, в изнеможении садился на землю. «А зачем?» — щелкал в голове вопрос-выключатель. А с земли тянуло влагой, прохладой. Он грустно подпирал щеку рукой, задумывался, замолкал. И высказывал из тумана линейного мышления. А его противники всегда проскакивали, прорсчитывались.

744. Примечание к № 733.

Но какое-то подобие меры еще соблюдено, еще концы с концами вроде бы сходятся. (О диссертации Соловьева)

Возможно, в значительной мере это объясняется заимствованностью сюжета «Кризиса западной философии». Мочульский писал по этому поводу:

«Соловьев целиком усваивает мировоззрение Киреевского. Его диссертация носит ученический характер... все это уже было высказано Киреевским. Он же внушил Соловьеву план исследования... Заключительные слова его работы довольно точно повторяют выводы статьи И. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856 г.). Лично Соловьеву принадлежит неудачная замена Шеллинга Гартманом: Киреевский видит завершение развития западной философии в положительной системе Шеллинга, Соловьев ищет его в учении Гартмана; первый набросал краткую программу критики рационализма, второй с большим диалектическим блеском ее выполнял. Своей работе он постарался придать более научный, академический вид, подобающий магистерской диссертации; исключил все русские мессианские мотивы и западной мысли противопоставил не русское православие, а туманные „умозрения Востока“».

На самом деле Соловьев целиком усваивает не мировоззрение Киреевского, а схему этого мировоззрения. Где у Киреевского абзац, у

Соловьева двадцать страниц. Но это не развитие его взглядов, а разрушение, нарушение меры. Обаяние классического славянофильства именно и заключалось в некоторой недосказанности, дилетантизме, «мнении» талантливой самоучки. Соловьев, развив «мнение», огрубил его и, повысив барьер ответственности, лишил творческой оригинальности. То, что у Киреевского было органичной фантазией, радостным включением в сонм европейских мыслителей за счет позволительного для дилетанта туманного несогласия, превратилось у Соловьева в провинциальное доктринерство и узость. Возможно, такой путь был неизбежен и неизбежна была подобная форма развития славянофильства, но Соловьев совершил дополнительную ошибку: все его взгляды подавались не как развитие идей славянофилов, а как плод собственного умозрения; не как частность, а как универсум русской философской мысли.

Славянофильство — это нормальное, удивительно нормальное и очень многообещающее детство. Соловьевство — это явно ненормальная юность, истеричная и претенциозная.

745. Примечание к № 696.

«Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист» (А. Чехов).

Короче, я не я и лошадь не моя. Это элементарная, но для своего времени довольно необычная и удачно найденная Чеховым заглушка, оставлявшая ему в любом случае черный ход на случай идеологической облавы. Собственно, Чехов, как и вся тогдашняя русская культура (а может быть, как русская культура вообще), был прожженно идеологичен, настолько идеологичен, что, как говорится, клейма негде ставить: в простоте слова не скажет, все со специальной ужимкой. В каждом его рассказе скрыто нравоучение. Всегда можно ответить вполне пошло и однозначно, «зачем это написано». Но при этом купец у него худой, а студент — толстенький. Для пещерного уровня русского читателя 80-х годов прошлого века этого хватало. От «объективности» Чехова спирало дыхание, кружилась голова. А уж когда Антон Павлович делал еще более хитрый ход и вкладывал свои мысли в уста Иванова, заставляя при этом Петрова звать Иванову в лицо и повторять через фразу: старо, избито, это всем известно, — то такой прием повергал почтенную публику в ужас. Многие не выдерживали, сходили с ума. Михайловский плакал: зачем, зачем это написано? где идея?!. На самом деле Чехов никогда не мог вырваться из тенет идеологического, «специального» воззрения на мир. Просто он сознавал свою малообразованность и специально путал, запутывал концы. В результате его идеологичность чуть более тонка, и только. В этом смысле Чехов типичный литератор-интеллигент, протосоветский писатель, наподобие успенских-чернышевских и сергеенок-короленок. Но именно в этой примитивности Чехова таится и его очарование. Либеральный критик Овсяннико-Куликовский указывал на «особую обнаженность» приемов его творчества:

«Чехов не боится рисковать... Смелость в употреблении опасных художественных приемов, давно уже скомпрометированных и опошленных, и вместе с тем необыкновенное умение их обезвреживать и пользоваться ими для достижения художественных целей — вот что ярко отличает манеру Чехова и заставляет нас удивляться оригинальности и силе его дарования».

Чехов идеологичен, его проза «умышленная», но этот умысел, подхваченный на лету из чьего-то умного разговора, умысел «на авось». В результате творчество Чехова носит сумеречный, медитативный характер. Причем аромат чеховской прозы в крайней элементарности, простоте, безыскусности этой медитации.

746. Примечание к № 607.

А в критический момент проводок какой-нибудь в автомобиле подрезать.

Когда читаешь записки европейских путешественников о России, особенно о России XV—XVII веков, то поражаешься их тенденциозности. Видно, что все эти люди уже приехали в Россию предрешенными. Что и неудивительно — русские для них были даже не язычниками (как мусульмане), а еретиками, схизматиками, людьми, которых надо на кострах сжигать. И эти тенденциознейшие сведения о нашей стране (может быть, даже сознательно, ведь религиозная цензура в Европе не дремала) стали в известный момент восприниматься самими русскими как наиболее объективный источник сведений об их государстве. А русские всегда вызывали в Европе чувство ненависти и презрения, в лучшем случае — испуга. Я как-то прочел подборку отзывов западной прессы на убийство великого князя Сергея. Вот что писали о России в начале XX века:

«Снова красная звезда тиранубийства мрачно засияла на темном русском небе. Сергей был унесен в один момент одной из тех фатальных бомб, которые русские конспираторы умеют так хорошо готовить и так хорошо бросать. Вы не можете безнаказанно доводить народ до бешенства или отрицать за ним элементарные права свободных граждан, не вызывая тем тиранубийства. Сергей был тиран в старом смысле этого слова, каких история и трагедия рисуют в самых мрачных красках. Великое изречение Блаженного Августина правдиво и поднесено: „Когда справедливость отброшена в сторону, верховная власть является разбоем!“» («Дейли телеграф»).

«Убийство Сергея не вызвало в мире ни удивления, ни ужаса. Его предвидели, ожидали, и когда оно исполнилось — произвело впечатление необходимости. Если б в России не было заговоров, надо было бы спросить себя: каким образом отсутствует следствие, когда налицо причина? Русское самодержавие проповедует посредством законов неизблемость своих основ и получает в ответ динамитные бомбы. Кто играет в истории такую кровавую роль, как Сергей, всегда должен быть готов к кровавому концу. Царизм не должен удивляться, что его катастрофы не вызывают ни в ком сочувствия» («Ди пайт»).

«Невежественную безоружную толпу, желавшую на коленях просить о своих нуждах, царь, уступая настойчивым советам своих родичей и приближенных, наградил свинцовым дождем. Этим поступком царь поставил себя вне законов. Он чудовище, подобное тем, которые давали ему советы. На царские пули народ отвечает динамитом...» («Женевская газета»).

Европа начала хамить. Она и всегда вела себя хамски по отношению к восточному соседу, но некая последняя грань приличия была нарушена где-то в начале XIX века. Русские войска разгромили Наполеона и спасли европейские народы от кровавого диктатора. Однако европейцы, наглоу разбитая французами, обложенная контрибуцией и превращенная в вассальное государство, вынужденное поставлять в армию сюзерена свои войска, — Пруссия заявила: мы, немцы, победили Наполеона, а русские «казаки» (то есть для немецкого уха «казахи») во время кампании 1813—1814 годов пили водку и хулиганили, мешая вести правильные военные действия и компрометируя немецких солдат перед местным населением. Александр I на Венском конгрессе выступил за идею вечного мира между европейскими народами, отказался от русской доли контрибуций со стороны побежденной Франции. Тогда же Россия заявила о необходимости восстановления польского государства. Потом, при Николае I, русские войска спасли от распада Австрию, что для нашей политики было исключительно невыгодно, но зато отвечало идее «европейского порядка». Как же ответила Европа? «Россия — это азиатская деспотия, страна рабов и монголов, которая мешает европейскому прогрессу».

Но тогда, может быть, Россия должна была вести себя в Европе так, как того, видимо, хотелось европейцам?

В 1867 году поляк Березовский совершает покушение на Александра II во время его официального визита во Францию. Тер-

рориста, конечно, осуждают, но с максимальными льготами, а в неправительственной печати так и открыто восхищаются «тираноубийцей». Потом в Париже арестовывают цареубийцу Льва Гартмана. Сам Виктор Гюго с пеной у рта требует освободить мужественного борца за свободу. Президент Франции удовлетворяет просьбу общественности. Хорошо. Отлично. Но ведь и глава французского государства приезжает в Россию. Почему бы его не «пощупать», раз он этого так хочет? Того же Клемансо, который лично распорядился амнистировать за давностью лет Березовского? Разумеется, убить не явно, через подставных лиц. И официально принести свои извинения и соболезнования. А в неофициальной прессе статейку:

«Убийство Клемансо не вызвало в мире ни удивления, ни ужаса. Его предвидели, ожидали, и когда оно исполнилось — произвело впечатление необходимости».

Да даже не так сделать. Необходимо было создать такую идеологическую систему, чтобы сами французы себя же и убивали, а русских за это еще бы и благодарили. Нужно было установить русский контроль над всеми разрушительными течениями в Европе. От какого-нибудь баскского и корсиканского сепаратизма до анархизма и коммунизма. Чуть кто-то на Западе потянулся к дубине, чтобы огреть ею своего ближнего, а русские уже тут как тут: пожалуйста, пистолеты, ружья, динамит, яды. Ешьте, милые европейцы, развивайтесь. Боритесь за свободу. А мы из России дикой посмотрим. Да мы и сами хотим, но ведь не доросли еще до такого марксизма. Вы начните, а мы потом «тихими стопами, тихими стопами-с» за вами вдогонку. А пока вот во Франции убивают Клемансо, а русские его убийцу в Санкт-Петербурге с воинскими почестями принимают.

Но реально-то в истории получалось наоборот. Когда во Франции умер террорист Гершуни, то его хоронила вся Франция. Россия же в ответ на это даже не пикнула. А у нас с Францией был тогда договор против Германии. Зависимость Франции от России была очень сильная.

В истории есть закон маятника. Если посмотреть с точки зрения этого закона на историю взаимоотношений между Европой и Россией после 1917 года, то много высветится совсем иначе, наполнится внутренним смыслом, внутренней не и з б е ж н о с т ь ю.

750. Примечание к № 746.

...во Франции убивают Клемансо, а русские его убийцу в Санкт-Петербурге с воинскими почестями принимают.

Это, конечно, как аллегория. Зачем же так «в лоб», «по-большевистски». Все можно гораздо правдоподобнее оформить. Какой-нибудь Коля Красоткин из «Братьев Карамазовых» — подрост немного, а ума не прибавилось. Куда такого? В тюрьму посадить? Ну и будет фиксация, то есть «конец блестящего образования». Да и не по-хозяйски. «Надо бережно относиться к людям». Переубедить? Да когда таких не десятки, а целое поколение... Что делать? А не нужно суетиться. Купить ему поллитровку, сводить в трактир. Шире, шире забирать надо:

— Хороший ты человек, Ваня, нравишься ты мне... Ну, давай за встречу... Эх-х, мил дружок, вижу, трудно тебе.

— Да мне-то что — народу, народу тяжело. Царизм душит, детей ест. Сырых. Без хлеба. — И заплакал.

— Не грусти, не печалься... Давай еще по рюмочке... Ты огурчиком, огурчиком заедай. Во-от. Ну, как ты там про царизм, это же очень интересно.

— Они искусственно народ в темноте держат. А надо прожектор, чтобы осветить все, прожекторами путь указывать. Где копать, куда. Я этому жизнь посвящу. Я даже тут стихотворение...

— Ну-ну.

— Вот:

Я маленький Ванюша,
Я очень добрый весь.
Мне хоцца всему миру
Пользительность принесть.

— Здорово! Неужто сам сочинил?

— Сам.

— Да, давит, мнет, душит царизм талантливую молодежь... Кстати, до «царизма» тоже своим умом дошел?

— Не, есть люди.

— Интересно, интересно. Кто же это? Очень хотелось бы поговорить.

— Вообще-то нельзя.

— Эй, человек, сочини-ка еще графинчик!

— Но вам скажу, нельзя не сказать. Человек вы уж больно хороший, добрый. Есть три друга у меня: Мордка Вспышкин, Лешек Масонковский и Фриц Розенкройц. От них все: и правда и книжки. Это люди. Они мне жизнь дали.

— Они тебе, ду... Гм-гм. Да. Ну так что они говорят?

— Россия, она вредит всем, пакостит. Жандарм Европы. Без нее знаете как бы развитие пошло? Но она может и свет миру дать. Надо только ее разделить.

— Как это?

— А так... Тут насчет графинчика... О-па... Так вот. Надо, во-первых, Великую Польшу сделать.

— Это Масонковский тебя научил?

— А вы откуда знаете?

— Ну так, случайно. Наобум сказал.

— А-а. Но вы правильно, точно угадали. Великая Польша и чтоб у нее и Литва, и Белоруссия, и Малороссия. И тогда будет интернационализм. Дружба народов. Но это не все еще. Надо Прибалтику Германии отдать. Она передовая, а у нас русопяты чухну и латышей живых в землю закапывают. Ну, потом черту оседлости отменить, принимать евреев в университеты вне очереди, потому что они пострадавшие. И вообще всем евреям пенсию выплачивать пожизненно как жертвам русской дикости. Ну и единовременное пособие за погромы — раздать золотой запас. И тогда сразу счастье начнется.

— Да-а... Хорошо. Только, Вань, не получится ничего.

— Как!!

— А так. Мы же отсталые. У нас дикость, невежество, крепостного права последствия. Помещики заставляли крепостных ванек раскаленные печки и ледяные топоры лизать, на конюшнях пороли, пока от спины до лавки напополам не перепарывали. Живьем детей на вертелах жарили и ели. И хуже. Где уж нам. Это вот ты один, Ваня, такой, а другие дикие, темные, они после университета продались, пошли работать.

— Не-ет, а народ, русский народ. Если только свистнуть. Как он натерпелся-то. Душа горит.

— Душа-то горит, но мы же с тобой ученые, материалисты. Ты закусывай, закусывай. А по науке, по фундаментальному учению Карла Маркса как выходит? Выходит, что революция должна победить в наиболее развитых странах. А какая же Россия развитая?

— Но что же делать? Так же жить нельзя!

— Нельзя, Ваня. И поэтому надо Западу помогать, чтобы там звезда счастья загорелась, а потом уже и наше захолустье просветила всем спектром своего излучения.

— Так задушат, задушат жандармы расейские.

— И-и, куда. У Европы теперь техника. Пушки скорострельные. А у нас одни бездарности, вон до Севастополя довели. Да и не по науке это.

— Но как же, как же помочь-то?

— А вот как! Есть люди.

— !!!

— А ты что думал, это случайно все? Мы, может быть, тебя проверяли. Теперь слушай сюда. Надо германского императора того... сделать. Он, падла, немецких рабочих мучает. А Германия знаешь какая передовая! Там сразу революция начнется. Только Вильгельм мешает. Так вот. Через четыре месяца будет у него совещание генштаба. И все это совещание во время речи императора поднять на воздух надо. Ты нам поможешь тринитротолуол доставить, ну и на месте по мелочи.

— Здорово!

— Но это не все. Теперь насчет Англии. Ведь Вспышкин из Лондона?

— Не-е, он в Париже жил. А из Лондона Масонковский.

— Ясно. Ты, Вань, слышал об ирландцах? Нет? Так вот. Английские якобы демократы превратили цветущую Ирландию в картофельный ад, из которого бегут толпы обезумевших от голода крестьян и рабочих. Знаешь ли ты, Ваня, что в Ирландии в 1840 году жило более восьми миллионов человек, а сейчас осталось только четыре с половиной? Гибнет страна. Вымирает. И вот доблестные ирландские патриоты — фении — организовали вооруженный отпор английским людоедам. Надо помочь ирландским товарищам. Подбросить тринитротолуольчика. В Лондоне парламент на очередную сессию как раз собирается...

— Здорово!

— Англичане помогали русскому народу освобождать польских братьев от царских сатрапов, ну так и мы поможем английскому пролетариату скovyрнуть проклятую империю Британскую и дать свободу ирландскому мужику, спасающемуся в африканских джунглях и австралийских пустынях от анархо-синдикалистского «рая» английской плутократии.

— Эх, хорошо излагаете!

— Выпьем за это. За правду, Ваня... Но это не все еще. Ведь Вспышкин из Парижа. Есть сведения, что женится барон Ротшильд-младший, наследник французской ветви банкирского дома.

— Барон? Немец?

— Это, Ваня, не важно. Важно, что он эксплуататор. Ты вообще «Манифест»-то читал? Там же сказано, что нет наций, а есть классы.

— И вправду. Забываю все.

— То-то. А ты не забывай, читай почаще. Эта книжечка стоит целых томов. Значит, будет свадьба, все эти Ротшильды соберутся в Париже. А это, Ваня, наиглавнейшие, наиболее богатейшие капиталисты. Тут мы гадам один конец и сделаем.

— Тринитротолуолом?

— Им, Ваня, им самым. А еще лучше без лишнего шума ядика замедленного действия.

В стакан воды подлить... трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.

— А это не того получается... ядом-то... не революционно.

— Сопляк ты. Пряник. Жизни не знаешь. Во Франции трехлетние дети по тридцать часов в сутки на металлургических заводах работают. О детях, о детишках, о слезиночке ребенка ты подумал?! Их пепел стучится в сердце, взывает, так сказать, к отмщению. А ты, Ваня? Они-то нас не жалели! Э-эх!

— Давай, давай пузырек! Эх, жизнь пропала, один конец сделаю!

— Не скучай, мил дружок, будет и на нашей улице праздник. Кровью, кровью своей за все заплатят. Как грохнет в Берлине, как аукнется в Лондоне, как начнут из дворца-то парижского таскать и не

перетаскивать, сразу свежий ветер над Европой повеет. Жизнь, жизнь-то какая начнется! И на Марсе будут яблони цвести.

— А что, и там есть люди?

— Люди не люди, а есть. И мы, брат, наблюдаем.

— Здо-орово!

— Так-то, брат. Разве я жизнь твою не понимаю? Ты вот некрасивый какой, прыщавый, тебя девушки не любят. Это тебя царизм испортил. Мучил специально в гимназии и т. д. У тебя жизнь пропала.

— Да не в этом дело, я не о себе.

— Да я понимаю. Это я так. А после Берлина-то, да Лондона, да Парижа — ты первый парень. С тобой любая пойдет. Или умрешь, погибнешь за правду. Похоронят как героя. В песнях о тебе петь будут. Проплывают корабли: «Салют Ивану»; проходят пионеры: «Салют Ивану»; пролетают дирижабли — опять же салют, почет, уважение. И жизнь-то, жизнь какая интересная. Это тебе не Скотопригоньевск — Европа, арена...

Вот так повернуть бы, побросать уголька в топочку, чтобы на верхних палубах на стены полезли: «Полундра! Хватит!» «Нет, зачем же: „Русские воевать еще и не начинали“». И еще лопату за лопатой, лопату за лопатой. Чтобы со стен на потолки прыгали, чтобы шары на лоб полезли. «Что ни делаем, все мало». Чтобы последнему дураку стало ясно, что идеологическое сверхоружие — палка о двух концах. И уже трижды, пятьжды подумали бы перед его новым применением. Газы во второй мировой войне никто не применял на фронте. Знали: себе дороже.

780. Примечание к № 716.

...«энциклопедический ум Чернышевского», «гениальные прозрения Белинского».

Речь шла действительно о культе. В 1898 году отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Белинского. Казалось бы, дата второстепенная. Однако к знаменательному событию вышло двадцать книг (!), посвященных Белинскому. В этом году было двенадцать изданий его произведений и писем. В газетах и журналах опубликовали 491 статью о его жизни и творчестве. Состоялась выставка, посвященная памяти Белинского, а после выставки был издан соответствующий альбом со ста четырнадцатью снимками с разных портретов, гравюр, картин и рукописей. Современник Белинского и литературный критик уж, во всяком случае, не меньшего калибра, Иван Васильевич Киреевский, о таком чествовании и подумать не мог. В великой Масонии это было еще более невозможно, чем потом в великой Совдепии.

Наивно ошибается тот, кто считает предреволюционные годы расцветом культуры, «серебряным веком». Те люди, которые сейчас выйдут столпами русской цивилизации, на самом деле образовывали узкий слой, весьма опосредованно связанный с основной массой читающей публики. В России не было «среднего читателя». Был узкий слой квалифицированных людей, потом широкий слой читателей революционных брошюр, порнографии и телефонных справочников, а ниже ворочалась полутрамотная рабоче-крестьянская масса, как бы самой судьбой предназначенная для примитивных идеологических манипуляций. В таких условиях книги Блока, Мережковского или Розанова получали популярность лишь постольку, поскольку содержали в себе элементы, понятные или полезные (то есть сочтенные таковыми еврейским печатным синдикатом) второму слою. Например, настоящий успех к Розанову пришел тогда, когда его «Уединенное» было осуждено за порнографию.

В «Вехах» было гордо заявлено, что подавляющее большинство русских философов придерживались явно идеалистического направле-

ния и лишь несколько второстепенных имен, да и то часто с натяжкой, можно отнести к материалистам. Истина эта затем на протяжении десятилетий с удовольствием повторялась эмигрантскими историками русской философии. Хотя можно было бы и задуматься: если выслали их за границу, если такой успех после Октября у чернышевских и писаревых, то ведь не на пустом же месте. Ведь так не бывает, чтобы в один день по мановению волшебной палочки. Конечно, нужно быть западным человеком или уж совсем негодяем, чтобы утверждать, что советская власть — это лишь модификация царизма. Переворот полнейший, абсолютнейший. Революция, ничего общего. Но, повторяю, ведь не на пустом месте же, не на пустом. Не было ли все predetermined гораздо раньше в сфере наиболее динамичной, забегающей вперед, в сфере духовной, в сфере духовно-материальной, количественно духовной — просто в тиражах книг, в разделе книжного рынка? По моему, только так и могло быть. Пусть и пять-шесть имен, пусть это лишь какие-то сучки-задоринки на древе отечественной мысли, но имито все и завалено, имито-то все в количественном отношении и задавлено. А качество в культуре определяет лишь будущее, часто далекое. Настоящее же, ближнее, определяет в а. л. 1898 год. Белинский — 491 статья, Киреевский — 3. Все. Достаточно. Для ближайших двадцати лет не важно, что три эти статьи написали, например, Розанов, Соловьев и Толстой, а девяносто процентов статей о Белинском написаны провинциальными щелкоперами; не важно, что сто процентов статей о Киреевском написаны искренне, а о Белинском девяносто процентов — фальшиво или равнодушно.

787. Примечание к № 750.

Английские якобы демократы превратили цветущую Ирландию в картофельный ад...

Английские демократы высказали протест по поводу установления советской власти в Грузии. Немедленная реакция Ленина:

«Следует предпринять сейчас двоякие меры: 1) в прессе выступить с рядом статей за разнообразными подписями с высмеиванием взглядов так называемой европейской демократии на грузинский вопрос; 2) поручить немедленно какому-нибудь ядовитому журналисту написать проект архивежливой ноты Чичерина в ответ английской Рабочей партии. В этой ноте самым настоятельным образом разъяснить, что предложение о выводе наших войск из Грузии и об устройстве там референдума было бы вполне разумно и могло бы быть признано исходящим от людей, не сошедших с ума, не подкупленных Антантой, если бы оно было распространено на все народности земного шара... мы предлагаем ей (партии) благосклонно рассмотреть: во-первых, о выводе английских войск из Ирландии и об устройстве там референдума; во-вторых, то же относительно Индии; в-третьих, то же относительно японских войск из Кореи; в-четвертых, то же относительно всех стран, в которых находятся войска какого-либо из крупных империалистических государств... В общем и целом проект ноты должен быть архивежливым и чрезвычайно популярным (уровень понимания 10-летних детей) издевательством над идиотскими выходками английской Рабочей партии».

Уинстон Черчилль, попыхивая сигарой, изрек о судьбе восточного союзника в первой мировой войне:

«Ни к одной из наций рок не был так беспощаден, как к России. Ее корабль пошел на дно, когда гавань была уже на виду».

Ударить бы русским по столу на десять—двадцать лет раньше. Да ударить умненько, не по-ленински, а Лениным. Николай Александрович сидел бы в креслице, высказывался о судьбе союзничка западного:

«Ни к одной из наций рок не был так беспощаден, как к Англии. Ее корабль пошел на дно, когда гавань была уже на виду».

А я бы сейчас жил на сороковом этаже константинопольского небоскреба и писал об ужасах красной Британии... Впрочем, учитывая особенности русского характера, я бы скорее писал об ужасах «второго николаевского режима».

794. Примечание к № 737.

В XIX веке Россия в культурном отношении пыжилась, становилась на цыпочки.

Как это ни странно, но и западники и славянофилы уловили лишь один аспект этой двусмысленной ситуации: «отрыв от народа». Читая произведения людей того времени, не перестаешь удивляться одной вещи, а именно: непониманию элитарного характера самого мышления как такового. «Разрыв с народом». Как будто было когда-то в мировой истории общество без подобного разрыва! Не поняли, не прочувствовали, таким образом, самой трагедии разума, неизбежно и навсегда отрывающего его носителей от стихии бытовой жизни. И следовательно, Россия всегда страдала и оттого, что высший класс был слишком связан с породившей его почвой, слишком смотрел на онучи, лапти, сельские посиделки, слишком упивался народным просторечьем и вообще народным бытом-бытием. И следовательно, слишком мало его и изучал, мало знал (а не чувствовал) и мало таковым управлял. Элита, не осознав своих прав, своего головокружительного преимущества перед народом, не осознала и своих обязанностей перед этим же народом. Трагической ответственности капитана огромного корабля, плывущего по далеко не спокойному морю мировой истории. Недопонимание самой идеи элитарности при исключительно элитарном характере русской цивилизации привело Россию к неслыханному позору «отмены крепостного права», когда несчастную, ничего не подозревающую «публику» предоставили самой себе, грубо говоря, «умыли руки» и отдали родину на поток и разграбление.

797. Примечание к № 742.

Разве рождение антихриста — это не «оригинальный результат»?

Розанов в 1919 году писал Голлербаху:

«Смотрите: Достоевский и карамазовщина,— К. Леонтьев с его эстетикой — какое все это уже антихристианство, какие опять Афины; знаете ли Вы и догадываетесь ли Вы, что именно в России суждено прийти Антихристу... Достоевский — это опять теизм (а христианство в данном контексте — это для Розанова а-теизм, бесполоя абстракция.— О.). К. Леонтьев — вновь порыв веры... И «Розанов» естественно продолжает и заключает К. Леонтьева и Достоевского. Лишь то, что у них было глухо или намеками, у меня становится ясной, сознательною мыслью. Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться. Говорю, потому что я все-таки более их мыслитель («О понимании»). Вот и все. Но дело идет (и шло у Достоевского и К. Леонтьева) именно об антихристианстве, о победе самой сути его (христианства.— О.), этого ужасного авитализма».

Нет, Розанов тут говорит еще достаточно «косвенно». Антихристианство Достоевского и Леонтьева именно в их христианстве. Зачем писателю — христианство? Именно как писателю? Зачем ставить религиозные проблемы в центр своего творчества, своего мира? Это так же нелепо, как и монах, пишущий романы. И мысль Розанова антихристианская именно потому, что он не заметил, как любой русский не заметил чудовищности именного ряда: Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Федор Достоевский, Константин Леонтьев. Не заметил, что Достоевский и Леонтьев сами по себе ничего в христианстве изменить не могут, так же как это не могли сделать Шолохов или Фадеев.

Владимир Соловьев писал в «Чтениях о богочеловечестве»:

«Восток не подпал... искушениям злого начала,— он сохранил истину Христову; но, храня ее в душе своих народов, Восточная Церковь не осуществила ее во внешней действительности, не дала ей реального выражения, не создала христианской культуры, как Запад создал культуру антихристианскую».

Но как раз потому, что в России не создали «культуру антихристианскую», русские породили антихриста.

Русские породили антихриста, и теперь речь уже может вестись действительно о христианской культуре, но культуре «антиантихристианской».

стианской», «Ленин — антихрист» — это пошлая, дешевая политическая демагогия. Но лишь до тех пор, пока христианская церковь не приняла соответствующего канонического решения. Или нет, и это достаточно банально. Дальше все: пока не создан соответствующий мистический культ, мистическая секта. А она будет создана.

802. Примечание к № 750.

Англичане помогли русскому народу освобождать польских братьев от царских сатрапов, ну так и мы поможем английскому пролетариату...

Идея, между прочим, носилась в воздухе. Достоевский писал:

«Вот что мне кажется: не сказала ли в этом факте (то есть в примыкании к крайней левой, а в сущности, к отрицателям Европы даже самых яростных наших западников), — не сказала ли в этом протестующая русская душа, которой европейская культура была всегда, с самого Петра ненавистна?..»

И далее:

«О, конечно, этот протест происходил почти все время бессознательно, но дорого то, что чутье русское не умирало: русская душа хоть и бессознательно, а протестовала именно во имя своего русизма, во имя своего русского и подавленного начала.»

И тут бы чуть-чуть подправить. Если бы охранное отделение обдало одной десятой того полета фантазии, который приписывали ему русские интеллигенты...

803. Примечание к № 733.

...наивный космополитизм Соловьева сыграл с ним злую шутку. И русский язык ему этого небрежения не простил.

Немецкий язык как математика — немножко самостоятелен. Латиноосновные языки в определенной степени тоже самостоятельны, но поменьше. Лишь природное сильное личностное начало в германской культуре немецкому немножко мешает развернуться. А русский язык нелеп без своих носителей. Немцы сказали: «Германия останется, если даже мы все погибнем». Германия, язык, немножко существует и после. Он лишь постепенно развевается. Розанов сказал, что в Германии книги хорошие, а люди плохие. В немецком языке есть время и есть «если бы». А в русском времена все перепутаны, а «бы» переводимо (на что я раньше уже обращал внимание). По-русски «если его (христианства. — О.), этого ужасного авитализма».

Нет, Розанов тут говорит еще достаточно «косвенно». Антихристово Достоевского и Леонтьева именно в их христианстве. Зачем же — христианство? Именно как писателю? Зачем ставить резные проблемы в центр своего творчества, своего мира? Это так элепо, как и монах, пишущий романы. И мысль Розанова антихристианская именно потому, что он не заметил, как любой русский метил чудовищности именного ряда: Сергей Радонежский, Серафимовский, Федор Достоевский, Константин Леонтьев. Не заметили Достоевский и Леонтьев сами по себе ничего в христианстве изменить не могут, так же как это не могли сделать Шолохов или ев.

Владимир Соловьев писал в «Чтениях о богочеловечестве»:

«Восток не поддал... искушениям злого начала, — он сохранил истину Христову; но, храня ее в душе своих народов, Восточная Церковь не осуществила ее во внешней действительности, не дала ей реального выражения, не создала христианской культуры, как Запад создал культуру антихристианскую».

То как раз потому, что в России не создали «культуру антихристианскую», русские породили антихриста. Русские породили антихриста, и теперь речь уже может вестись гвительно о христианской культуре, но культуре «антиантихристианской».

Действительно, как нелепы попытки «взлететь» в «Столпе». Бердяев назвал это произведение стилизованным православием. По сути, может быть, и верно, но с точки зрения формы никакой стилизации, вообще стилия у Флоренского нет. Жалкие, бескрылые подпрыгивания:

«Но небо блекло и выцветало, как уста умирающей. Небо умирало, и с ним умирала вся надежда на лучшее будущее. Меркли и выцветали, как ланиты умирающей, все благие порывы и ожидания. С края небосвода едва-едва ветром доносилась тоскливая частушка:

Последний раз, последний час,
последнее свиданьице.
Мы скоро не увидим вас,
и близко расставаьице».

Это написано Флоренским без тени иронии. Как, впрочем, и такая фраза:

«Слезы в дружбе — это то же, что вода при пожаре спиртового завода: больше льют воды — больше вздымается и пламя».

Логико-математические выкладки с привлечением теоремы Георга Кантора Флоренский перебивает восклицанием:

«Я останавлиюсь на методе Г. Кантора, — того самого Кантора, о котором столько раз доводилось толковать нам с тобою (апрический «друг». — О.) на раздолье медленно волнующихся хлебов, около опушки березовой рощи и дома, пред пылающей печью».

Добрый Ванюшка! Помнишь ли ты, как мы пили водку из самовара и, играя на гуслях, читали вслух Э. Гуссерля!

Нет, до стилизованного православия тут еще очень далеко.

805. Примечание к № 794.

...и западники и славянофилы уловили лишь один аспект этой двусмысленной ситуации: «отрыв от народа».

Западничество и славянофильство — это раскол архетипа народа. Непонимание его двойственности, бессмысленной многосмысленности, то есть того, что народ прорастает в своей элите, осуществляет в ней национальный архетип. Сам народ всегда безлик и аморфен. Это психический и духовный генофонд. Приплод, народ. Отношение к народу как к носителю нравственных идеалов (славянофилы) или порицание его за отсутствие таковых (западники) нелепо. Это свидетельствует о неразвитости элиты и, следовательно, о непроявленности архетипа. Славянофилы упрекали себя в том, что они не народ, западники упрекали народ в том, что народ — это не они. Беда же состояла в том, что и западники и славянофилы все еще являлись народом, ибо не понимали, что понятие «народ» в их лексиконе является фикцией. И порицание народа и его восхваление так же нелепо, как порицание или восхваление урожая. Лишь в восприятии самого народа это вполне естественно. «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай». Таким образом, спор между западниками и славянофилами перемещался на почву легендарную, почву мифа. И русский миф был в XIX веке расколот. Болен.

Славянофилы были слишком интеллектуализированы, им нужно было всех бить по головам, а они Гегелем занимались. Западники же обладали слишком архаичным мировосприятием, им явно не хватало интеллектуальной культуры для действительно радикального осмысления происходящего. Возникло противестественное состояние спутанного сознания. В этих условиях единственно правильным решением было уничтожение западников и славянофилов и опора на традиционную государственную силу — высшее чиновничество и офицерский корпус, которые инстинктивно, уже по своему общественному положению и функциям являлись элитой. Николай I и шел в этом направлении, одинаково порицая и Чаадаева и Аксакова. Но, к сожалению,

недостаточно энергично. А ведь было бы достаточно выслать одну-две тысячи человек.

То же Александр III. Царствование его считают «разгулом реакции», но вернее о нем сказал Леонтьев: «Только-то?»

807. Примечание к стр. 43 «Бесконечного тупика».

(Розанов) **не только понял, но и принял неизбежность социализма.**

Конечно, например, Соловьев тоже говорил об этом («Мы можем свободно говорить о правде социализма»). Но Соловьев бросил походя, не продумав всего ужаса этой фразы. Да и сам социализм воспринимался им абстрактно и скорее в виде некоего частного и локального заблуждения, вроде «режима Николая I», а то и послабей. Леонтьев почувствовал масштаб угрозы, и угрозы неизбежной, но умер-то все равно «задолго до». А Розанов уже в разгар: «Да, принимаю».

И действительно поражаешься. Как ни посмотришь, Россия была обречена. Ясно видно, что надо было сделать, «кого убить»; но тут же понимаешь, что невозможно найти этому внутреннего оправдания. Троицкий был активнейшим деятелем революции 1905 года. Но если бы его убили тогда. Как это из того времени? 1905 год стал бы нарицательным. «Черной памяти пятый год». Расстреляли голову эсеровской партии, казнен ряд виднейших социал-демократов. Отправлены в каторжные работы два десятка членов ЦК кадетской партии. Умные, благородные, несколько наивные западники.

И Россия потом, через двадцать пять — пятьдесят — сто лет, все равно бы повалилась и погибла из-за идеологического крена. Крена, обеспечивающего прямоту и верность политического курса, но слишком уж накренившего государственный корабль на правый борт.

Не было бы конца спора, не было бы величия. Очищение. Удивительна история России. Все-таки есть в ней мрачная гармония. Ведь что сейчас произошло? Как бы ни кричали, как бы ни кривлялись западники, как бы ни доказывали свою правоту, как бы даже ни отрещивались и от западничества своего — сзади них уходят за горизонт бесконечные ряды могильных холмов. Сотни, тысячи, мил-лионы. Послушать, отведя глаза в сторону и машинально теребя край скатерти. Тяжело, неловко. Напряженная тишина в комнате. А он — «западник», «либерал», «ученый» — чувствует, что хуже и хуже становится, и говорит все быстрее и быстрее. А все опускают головы. Вот кто-то вышел, громко затворив дверь. Вдруг женщина молодая, пунцовая от возбуждения, встает: «Послушайте, вы, как вам не стыдно, подлец!» Глупо, по-женски, и споры так не решаются. Но спорить уже никто и не хочет. Все безнадежно. Все уже ясно.

Может быть, так же «ясно» было бы и со славянофилами, если бы они тогда круто повернули руль в свою сторону (хотя масштабы были бы в тысячу раз меньше). Но они ничего сделать не смогли. И в сфере идей победили. Победили вообще, победили навсегда.

809. Примечание к № 631.

...крушение самой идеи нравственности в политике привело на русской почве к наиболее разрушительным последствиям.

Собственно, сама эта почва, русский бумажный идеализм в значительной степени спровоцировали такое крушение. Достоевский писал в «Дневнике»:

«Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но когда наш русский идеалист, ведомый идеалист, знающий, что все его и считают лишь за идеалиста, так сказать, „патентованным“ проповедником „прекрасного и высокого“, вдруг по какому-нибудь случаю увидит необходимость подать или заявить свое мнение в каком-нибудь деле (но уже „настоящем“ деле, практическом, текущем, а не то что там в какой-нибудь поэзии, в деле уже важном и серьезном, так сказать, в гражданском почти деле), и заявить не как-нибудь, не мимоходом, а с тем, чтоб

высказать решающее и судящее слово, и с тем, чтоб непременно иметь влияние,— то вдруг обращается весь, каким-то чудом, не только в завязанного реалиста и прозаика, но даже в циника. Мало того: цинизмом-то, прозой-то этой он, главное, и гордится. Подает мнение и сам чуть не шепкает себе языком. Идеалы побоку, идеалы вздор, поэзия, стихи; наместо них одна „реальная правда“, но вместо реальной правды всегда пересолит до цинизма. В цинизме-то и ищет ее, в цинизме-то и предлагает ее. Чем грубее, чем суше, чем бессердечнее, тем, по его, и реальнее. Отчего это так? А потому, что наш идеалист, в подобном случае, непременно устыдится своего идеализма. Устыдится и убоится, что ему скажут: „ну, вы идеалист, что вы в „делах“ понимаете; проповедуйте там у себя прекрасное, а „дела“ решать предоставьте нам“..

И далее Достоевский приводит мнение одного русского «идеалиста», оправдывающего предательское поведение Австрии в Крымской войне тем, что ей это было «выгодно». По этому поводу Федор Михайлович восклицает:

«Ведь с этим признанием святости текущей выгоды, непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клочок,— ведь с этим можно очень далеко зайти».

И зашли. Ленин сказал:

«Мы будем карать святеньких, но безруких болванов, ибо нам, РСФСР, нужна не святость, а умение вести дело».

В конце своей политической карьеры Владимир Ильич подвел своеобразный итог деятельности советской власти на международной арене:

«Я надеюсь, что всей нашей международной политикой в течение пяти лет мы вполне доказали, что к вопросам престижа мы относимся совершенно равнодушно... Я уверен, что ни в одной державе нет в народных массах такого равнодушия и даже такой готовности встретить вопрос престижа как престижа самой веселой насмешкой. Мы думаем, что дипломатия современной эпохи все быстрее идет к тому, чтобы относиться к вопросам престижа именно подобным образом».

Ленинские письма наркому иностранных дел Чичерину служат наглядным подтверждением этой точки зрения:

«Осрамим и оплюем их „по-доброму“».

«Ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции без указания срока следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Очевидно, что действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».

Или из письма Молотову:

«Тут игра архисложная идет. Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги наций сугубая. Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир видел, и Совету Лиги наций тоже».

Последняя фраза сказана по поводу бескорыстной помощи голодающим Поволжья. В голове Ленина не укладывалось: как это можно помогать умирающим людям «просто так»? Не-ет, «тут игра архисложная». И за помощь — пощечины.

«Кто верит на слово, тот безнадежный идиот, на которого машут рукой».

Ну и много ли выиграли? Тогда, в Поволжье... Но это было только начало «ленинской дипломатии». Потом прошли не годы — десятилетия. Может быть, потом «окупились», может быть, тогда достигли головокружительных дипломатических успехов? Семьдесят лет наглого издеательства над общепринятыми нормами международных отношений, подлой, низкой мелочности, выгадывания копейки на чужом горе, предательства, открытого и уверенного воровства «в глаза» и наконец пустопорожней, неправдоподобной до глумления демагогии. И эта колоссальная «дипломатическая активность» — к чему она привела? К скрытой, глубоко затаенной ненависти со стороны всех союзников и к холодному, равнодушному презрению со стороны Запада. Который давно уже русских и за людей не считает. Получилось-то по «наивному» Достоевскому:

«Политика чести, бескорыстия есть не только высшая, но, может быть, и самая выгодная политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и непрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасушнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и настоящей выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь кончали тем, что всегда торжествовали».

Ирония в том, что русские совершили исторический опыт отказа от правды и чести, вполне предвидя его конечный результат. И все равно сделали так. Более того, именно исключительное уважение и поклонение правде и чести сыграло с русскими злую шутку. Это, может быть, суть трагедии по-русски. Предвидеть ошибки и все же совершать их.

820. Примечание к № 723.

Почему Розанов был столь увлечен темой секса?..

Собственно, то же самое, но под несколько иным углом. Еще в 90-х годах в работе «Красота в природе и ее смысл», написанной по поводу эстетических воззрений Соловьева, Розанов дал блестящую и исчерпывающую характеристику гениальной личности. То есть — себя. От разлетающейся асимметрии лица гения до выморочности его рода, или совсем пресекающегося, или выбивающегося в женскую и бесплодную линию. Гения ненавидят современники, забывает следующее поколение и вспоминают лишь потомки, но уже не как личность, ибо человек мертв, а как совокупность идей, дающих индивидуальность новой генерации, загоняющих невысокую поросль самостоятельной мысли в громадный ствол. Но несомненно, что по крайней мере полуосознанно Розанов во вдохновенных строках об обреченном одиночестве гения говорил о себе. «О понимании» мог писать только человек с настроением гения. Отказ от этого труда вовсе не следствие внешнего неуспеха (когда же мыслитель он останавливал), а интуитивный ужас перед заурядной гениальной судьбой, перед одиноком младенческим плачем среди звезд... И в этом аспекте обращение Розанова к эротике и даже просто к тяжелому животному сексу, все эти писания о физиологической эстетике гениталий, есть гениальный ход конем. То есть программа стать сверхгением. Изменить свой рок нельзя, но, наверное, можно дополнить, изогнуть. И тогда исключительные преимущества осуществленной гениальности (трагическое величие) будут дополнены радостями простой земной жизни. Женушкой, детишками, солнышком. И действительно удалось. В конце крах, смерть, которой всегда, с ранних лет, захвачен лунный гений, но в известный момент Розанову удалось создать почти полную иллюзию счастливого обывательского быта. Но зато — рок неумолим, и оттянутая тетива бьет по рукам — в конце исчезло все. Сама страна на глазах умирающего Розанова исчезла.

829. Примечание к № 780.

Наивно ошибается тот, кто считает предреволюционные годы расцветом культуры...

Конечно, мы привыкли, что при словах «начало века» сразу предмысленным взором всплывают стильные обложки «Весов» и «Аполлона». Но вот изданный «на ура» в 1904 году двухтомник Огарева не хотите ли? В том же 1904 году ломают руки на страницах «Русских ведомостей»:

«Еще до сих пор находится под запретом роман «Что делать?», еще и теперь не могут быть изданы примечание к «Основам политической экономии» Милля; еще сейчас критические историко-литературные и другие признанные безвредными статьи Чернышевского продаются в собранном виде без имени автора... Мы и сейчас ничего не знаем о причинах, которые заставили 40 лет назад отнять у литературы и общества необыкновенно яркую умственную силу».

«Великая потеря». Но ничего, в марте будущего года издали «Что делать?». Однако разве можно судить по одному, пусть и гениальному, труду о личности такого масштаба? В июне приступили к изданию полного собрания сочинений в десяти томах. В «Мире божьем» крик:

«Наконец-то имя его станет во весь свой гигантский рост и перестанет быть известно преимущественно по роману „Что делать?“».

Были изданы полные собрания сочинений и Белинского, и Писарева (последнее, шеститомное полное собрание сочинений вышло в 1909—1913 годах пятым(!) изданием), и упорно считаемого за философа Добролюбова (четырёхтомник в 1911 году). Мало кто из серьезных философов в России мог похвастаться таким вниманием. Полного собрания сочинений не было у Соловьева, Чичерина, Юркевича, Чаадаева, Ивана Сергеевича Аксакова, Леонтьева (беру только уже умерших к началу века).

830. Примечание к № 793.

То есть все и было рассчитано на мое уничтожение и уничтожение.

Рассчитано, конечно, вне воли и желания какого-либо конкретного человека. А-теизм вызвал разрушение религиозного строя, высшей организации духовной жизни. Новый строй возник как расстройство, как хаотичное разрастание отдельных фрагментов разрушенного мировоззрения. Так аскетический идеал был воспринят официальной идеологией как идеал духовного обеднения, а в русской душе, веками настраиваемой на монастырь, примитивная пуританская демагогия нашла свой архетипический резонанс. Такая же обломочность, переплетенность проросших развалин характерна и для других аспектов наспех сколоченной советской религии. Если мощные стволы великих религий вырастали естественно, создавались тысячелетиями и очень органично включались в душу человека, необычайно усиливали и облагораживали ее природные свойства, то советская религия — это бутафорское дерево, собранное из засохших веточек спиленного христианства. Вместо ствола nihil, пустота. Разумеется, несуществующие корни сего «растения» лежат в христианстве, это продукт христианства. И вот отдельные ветви, выломанные из христианского религиозного древа, они не умерли еще, а как-то полусонно, вяло живут, растут. И вопрос вопросов: примутся ли, пустят ли корни в конце концов, или так новое русское сознание и погаснет в сумеречном сне? Речь идет, таким образом, о религиозном возрождении. Для меня как личности этот путь невозможен. В конечном счете я могу прийти в церковь, но куда же мне девать мое детство, лишенное светлых образов религиозного опыта, этой основы православия? Или кто мне вернет мою юность с ее сложной и запутанной душевной жизнью, но жизнью совершенно вне категорий любви? Вообще, как мне вместить разросшееся мышление под церковный купол, если душа моя искажена, деформирована, просто во многом инфантильна, недоразвита?

839. Примечание к № 429.

Но как же жить «христом» в миру?

Самая откровенная книга в русской культуре — «Выбранные места из переписки с друзьями». С варварской непосредственностью здесь открываются русские мечты, русские душевные качества. Дальше уже стиль, культура. А тут из-за того, что с точки зрения культурной это произведение Гоголя не выдерживает никакой критики, именно из-за этого получилось идеально.

Набоков писал о Гоголе:

«Он изобрел поразительную систему покаяния для «грешников», принуждая их рабски на себя трудиться: бегать по его делам, покупать и упаковывать нужные ему книги, переписывать критические статьи, торговаться с наборщиками и т. д. В награду он посылал книгу вроде «Подражание Христу» с подробными инструкциями, как ей пользоваться... Откиньте все свои дела и займитесь моими —

вот лейтмотив его писем, что было бы совершенно закономерно, если бы адресаты считали себя его учениками, твердо верующими, что тот, кто помогает Гоголю, помогает Богу».

Набоков иронизирует напрасно. Гоголь вел себя очень продуманно, максимально продуманно. Он продумал до конца. И опять же, напрасно Набоков считает, что «люди, получавшие его письма, решали, что Гоголь либо сподит с ума, либо потешается над ними». Это — было. Но причина в спутанности ситуации гений — святой. Именно Гоголь (не Пушкин) — первый в русской истории признанный гений. Как к нему относиться? И как он должен относиться к себе? к другим? И с той и с другой стороны питание гениальности и святости (навык общения со святыми (и святых) был к началу XIX века богатейший). Перед Гоголем благоговели, ходили на цыпочках. Недоумение вызывало не то, что Гоголь призывал «откинуть свои дела и заняться делами Гоголя», а то, что дела эти состояли в покупке книг и переписке статей (а действительно, что еще нужно писателю на вершине славы?). Соответственно и в «Переписке» Гоголю не простили тона из-за несоразмерности цели. Если бы он призвал к спасению в катакомбах или через гекатомбы. Но Гоголь был трезвейший русский человек, и вот этого фактического отказа от гениальности ему и не простили.

Но то, что он заставлял на себя работать друзей, это... трогательно. Вот. Это. Так и надо. А как же еще? Очень национальная мысль. Гоголю, самому религиозному из русских писателей, не хватило тут самосознания (но это вина, а может быть, и заслуга эпохи). Программа создания вокруг себя церкви и возложения на себя роли Христа (торопливо навязываемой и иступленно ожидаемой окружающими), конечно, должна развиваться с отстраненным сознанием неизбежности этого. Нелепости подобного процесса, но и его естественности, как нелепо и одновременно естественно первое проявление интереса к другому полу у подростка. Важно ощущать себя не Христом, а именно христосиком. Это ведь и есть единственно возможная форма существования в христианстве русского «я». (А вне христианства русское «я» перестает быть русским, а становясь нерусским, «я» исчезает, личность гаснет.)

Гоголь совершил гениальную попытку направить программу по другому руслу, исправить траекторию. Он хотел восстановить все более утрачивавшуюся связь с миром и, пригасив огонь своей фантазии, попытался соединить церковную жизнь с жизнью мирской. Получилась катастрофа в первом и фарс во втором. Но угадано ведь верно. И сделано по-русски, в национальной форме. Неудача в том, что Гоголь попытался решить проблему русского самосознания, не обладая самосознанием, залетел на пятьдесят лет вперед. Ход мысли был верен, но он решал задачу, которая тогдашней культурой не была поставлена, не была осознана даже.

843. Примечание к № 807.

(Славянофилы) победили вообще, победили навсегда.

Однако удивительно. Ни одной славянофильской работы в современную нам эпоху. При обилии работ западнических. Даже люди, причисляющие себя к славянофилам, являются таковыми в весьма незначительной степени. В количественном отношении современные славянофилы должны были быть западниками XIX века, а современные западники — славянофилами XIX века, то есть кучкой гонимых чудаков-интеллектуалов.

Более того. Сейчас видно, что в классическом славянофильстве был силен западнический или, по крайней мере, нерусский элемент. Само слово «славянофильство», как давно подмечено, уже указывает на нерусскость идеологии. Славянин не может быть самофилом или самофобом.

Хотя, пожалуй, тут и разгадка. Именно это и есть особенность русской нации, которая себя осознает лишь в виде выхода за собственно национальные рамки и существования на уровне осмысленных идей в форме «филий» или «фобии». «Славянофильства» (в смысле русском) как мировоззрения и не может появиться. Оно возможно в виде мудрого молчания. И это молчание уже навсегда. О чем говорить после того, что произошло с Россией в нашем веке? Говорить можно все что угодно. Не в этом центр.

И знаете, России теперь будет страшно везти. Весь XIX век не везло, и чем дальше, тем больше. О XX лучше и не говорить. А теперь начнет везти. И никто не догадается почему. Возник высочайший духовный центр, который будет все спасать в нашей русской жизни, все искуплять, устраивать. Кто-то будет молиться за Россию. Высокое молчание. Мудрое, сверхсознательное начало нации. Все же будут недоумевать: где же их программа, где та «умная книжка», по которой живет Россия?..

849. Примечание к № 844.

Что-то интуитивно злорадное в чеховских произведениях.

Вообще самое злорадное произведение в русской литературе — «Мастер и Маргарита». Одна смерть Берлиоза чего стоит! Или допрос Иешуа. Пилат говорит:

«Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить».

«Объяснить, но не калечить». Тут вся эпоха России 20—30-х, особая русская злорадная ужимка в авторской фантазии и — не буду тут объяснять, это и невозможно — тут русское отношение к Христу, русская любовь к этому образу. Совершенно особое отношение к личности Христа.

Булгаков, может быть, вершина русской литературы. На нем оборвалась литература внутри России. И на чем? На Главном Допросе: Пилат и Христос. Пилат Булгакова — это русский больной ум, разочарованный в мире и фатально связанный с темой Христа. Все равно. Всегда.

851. Примечание к стр. 48 «Бесконечного тупика».

...при благоприятных условиях распад культуры, повсеместный в современном мире, пошел бы в России гораздо большими темпами и зашел бы куда дальше.

Андрей Белый — это, за исключением Пушкина, пожалуй, единственный русский писатель, отозвавшийся на великую тему нашей истории — на романтику русской государственности. Его «Петербург» — произведение не только сатирическое, но и эпическое. И может быть, главный его персонаж — это пушкинский Петербург, пушкинская Россия, «Русь уходящая».

Белый уже в самом начале романа, в прологе, звонко и радостно продемонстрировал тотальный идиотизм русской государственной мысли, под который, на котором и был построен Петербург и вся громадная монархия (и уже это обстоятельство привносит сюда ностальгическую и добродушно-всепрощающую нотку):

«Распространится более о Петербурге: есть — Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же). На основании тех же суждений Невский проспект есть петербургский Проспект.

Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов, — и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный Проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые

границы дома суть — гм... да... для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения. Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он — европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

Потому-то Невский Проспект — прямолинейный проспект.

И тому подобный чопорный бред. Если немец ходит лохматый и небритый, с оторванными пуговицами и при этом беспричинно улыбается, ему надо обратиться к психиатру. Ну а если русский вдруг ни с того ни с сего начинает ходить деревянным шагом, надевает наутюженные брюки и крахмальный воротничок, то тут держи ухо востро. Отечественный бред деятелен, соиздателен. Поэтому и вообще деятельность по-русски носит элемент бредовости. Эта бредовость делает ее проницаемой для «художества», и «поэзия» циркуляров переплетается с поэзией просто. Фигура Тютчева, поэта-философа и одновременно крупного чиновника, далеко не случайна. Более того, носителем эстетических идеалов в России являлось именно чиновничество. Русская профессура, например, была совершенно бездарна в художественном отношении («Русская мысль») и вполне удовлетворялась откровениями Писарева и Чернышевского. А Константин Петрович Победоносцев издал на свои средства том лучших стихов Пушкина и подарил экземпляр Александру III. В среде высшего русского чиновничества и самой царской семьи существовал настоящий культ Пушкина. Кстати, внук Николая I женился на внучке Пушкина, и, таким образом, Пушкины и Романовы породнились.

Белый пронизал свой роман пушкинскими эпиграфами, темой «Медного всадника». Прототипом одного из главных персонажей, Аполлона Аполлоновича Аблеухова, является, как известно, Победоносцев. И видимо, почти неосознанно автор, включая в контекст романа любовь Победоносцева к пушкинским стихам, вместо простого усиления ассоциации «Петербурга» с «Медным всадником» достигает крайне нехарактерного для русской литературы результата: внезапно открывается, что русская культура возникла не несмотря на русское государство и даже не благодаря ему, а просто культура и была этим государством, частью этого государства.

Аблеухов вспоминает погибшего друга-министра:

«Русь, Русь! Видел — тебя он, тебя! Это ты разревалась ветрами, буранами, снегом, дождем, гололедицей — разревалась ты миллионами живых закливающих голосов! Сенатору в этот миг показалось, будто голос некий в пространствах его призывает с одинокого гробового бугра... образ ушедшего друга постоянно теперь сочетался в сознании со стихотворным отрывком:

И нет его — и Русь оставил он,
Взнесенну им...

...За приведенным стихотворным отрывком вставал стихотворный отрывок:

И мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,—
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас ушедший гений».

И снова у Белого возвращение к этой теме через двести страниц «Петербурга»:

«Да, да, да: они разорвали его на части: не его Аполлона Аполлоновича, а другого, лучшего друга, только раз посланного судьбой; один миг Аполлон Аполлонович вспоминал те седые усы; зеленоватую глубину на него устремленных глаз, когда они оба склонялись над географической картой империи, и пылала мечтами молодая такая их старость (это было ровно за день до того как)... Но они разорвали даже лучшего друга, первого между первыми и... Нет: брр-брр... Праздная мозговая игра. Лучше цитировать Пушкина:

Пора, мой друг, пора!.. Покоя сердце просит.
 Бегут за днями дни. И каждый день уносит
 Частицу бытия. А мы с тобой вдвоем
 Располагаем жить. А там: глядь — и умрем...»

В конце романа Аблеухов (кстати, родившийся в 1837 году) подает в отставку и снова вспоминает друга. И при этом возникает трагически щемящая нота ухода. Ухода целого мира императорской России в небытие. Мира Пушкина. «Петербург» — это последний крупный русский роман, написанный до революции. Аблеухов плачет, а в гаснущем его мозгу звучит:

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
 Давно желанная мечтается мне доля,
 Давно, усталый раб, замыслил я побег
 В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Но все это сказано, а скорее пропето, полубессознательно, случайно, за счет вихляющей разболтанности авторского мышления. В центре повествования иные образы:

«Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех «жидовских» журнальчиков, кровавые обложки которых на кишацих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой».

В целом образ Аблеухова явно пародиен, что явствует уже из его фамилии.

Белый — это тип пассивного русского гомосексуалиста. Вообще русская культура «онанистична» (бредова) и «гомосексуальна» (внушаема). Русская душа мечтательна, отзывчива и женственна. Собственно говоря, почему «уши»? «Уши» Белому показали ребята:

— Ну-ка, иди сюда, дурачок, вон смотри уши какие интересные. Ты их обыграй.

Хорошие ребята. Обогрели, водкой напоили, купили новые плисовые шаровары, косоворотку, фартук. «Обыграй уши!» Белый и обыграл. И Толстой тоже обыграл. Его Каренин тоже списан с обер-прокурора Победоносцева. И Лев Николаевич ничего, кроме ушей, не увидел:

«.....Ах, Боже мой! Отчего у него стали такие уши?» — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы».

И далее на глазах Каренина превращается в рупор для прямой речи Толстого:

«Она знала его привычку, сделавшуюся необходимостью, вечером читать. Она знала, что, несмотря на поглощавшие почти все его время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным, появлявшимся в умственной сфере. Она знала также, что действительно его интересовали книги политические, философские, богословские, что искусство было по его натуре совершенно чуждо ему, но что, несмотря на это, или лучше вследствие этого, Алексей Александрович не пропускал ничего из того, что делало шум в этой области, и считал своим долгом все читать. Она знала, что в области политики, философии, богословия Алексей Александрович сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные и твердые мнения. Он любил говорить о Шекспире, Рафаэле, Бетховене, о значении новых школ поэзии и музыки, которые все были у него распределены с очень ясно последовательностью... „Все-таки он хороший человек...— говорила себе Аяна...— Но что это уши у него так странно выдаются”».

Если Меньшиков вошел в русскую литературу все-таки весь и даже с пальто-футляром, то у Победоносцева в литературе поместились одни уши. На этих зеленых ушах он летал нетопырем по страницам романов и повестей. Как писал Блок в «Возмездии»:

В те годы дальние, глухие
 В сердцах царили сон и мгла:
 Победоносцев над Россией
 Простер совиные крыла,
 И не было ни дня, ни ночи,
 А только — тень огромных крыл;
 Он дивным кругом очертил
 Россию, заглянув ей в очи
 Стеклянным взором колдуна;
 Под умный говор сказки чудной
 Уснуть красавице не трудно,—
 И затуманилась она,
 Заслав надежды, думы, страсти...
 Но и под игом темных чар
 Ланиты красил ей загар:
 И у волшебника вь власти
 Она казалась полной сил,
 Которые рукой железной
 Зажаты в узел бесполезный...
 Колдун одной рукой кадил,
 И струйкой синей и кудрявой
 Курился росный ладан... Но —
 Он клал другой рукой костлявой
 Живые души под сукно.

С каждой строчкой закручивается пружина закона железной русской оборачиваемости: совиные крыла, колдун, руки железно-костлявые... И вот щелк — мгновенное распрямление и переворачивание реальности:

весенним днем начала века обер-прокурора святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева повлекла по длинным и прямым петербургским проспектам неведомая сила. Изгибалась перспектива, странно вытягивалась вперед сухопарая фигура. Свет мерк. В полубессознательном состоянии Победоносцев упал в море с купальных мостков возле Сестрорецка. Тяжелое пальто потянуло ко дну. По счастливой случайности на совершенно пустынном берегу оказался прохожий, спавший тонувшего. Благородным спасителем оказался гипнотизер Осип Фельдман.

Хорошие ребята!

852. Примечание к стр. 48 «Бесконечного тупика».

Жизнь отомстила Блоку. Он признал жизнь, и жизнь пришла к нему тяжелой поступью командора.

В последний год жизни Блок несколько раз выступал в Москве и Петрограде с чтением своих стихов. Лишь однажды одной из поклонниц (Н. Павлович) удалось упросить его прочесть «Заключение огнем и мраком». Но, как вспоминает Павлович:

«Строчка „Узнаю тебя, жизнь, принимаю“ прозвучала не радостно и открыто, а как-то горько и хрипло. Проходя мимо меня по эстраде, он мне сказал: „Это я прочел только для вас“».

Умирая, Блок ругался по-матери, разбил кочергой античный бюст. А когда умер и тело его положили в гроб — все ахнули. В гробу лежал двойник Самуила Мироновича Алянского (один из издателей Блока). Сходство было удивительнейшее...

Все-таки в «Апокалипсисе» Розанов суть уловил:

«И вот еще не износил революционер первых сапогов — как трупом валится в могилу. Не актер ли? Не фанфарон ли?.. И где же наши молитвы? и где же наши кресты? „Ни один поп не отпел бы такого покойника“. Это колдун, оборотень, а не живой. В нем живой души нет и не было. О нигилистах панихида не правят. Ограничиваются: „ну его к черту“... Россия похожа на ложного генерала, над которым какой-то ложный поп поет панихида. „На самом же деле это был беглый актер из провинциального театра“».

«Балаганчик» это. Всю Россию превратили в балаганчик... А собственно говоря, почему? Ну ходили они там друг к другу в гости, шутки, розыгрыши, пропевание гонораров. И вдруг на их узкие пед-

расьи плечи навалили имперскую пирамиду. «Вывози», «вперед»... А что они могли сделать? Это были дети. Они игрались-игрались и заигрались. Доигрались. И себе жизнь перековеркали, и все вокруг испоганили. А за ними нужно было следить, а их нужно было содержать. Им же к их же вреду дали державу в руки. (Кто дал и зачем тут тоньше все и злонамеренней, но речь сейчас не об этом.) В коточью наманикюренную лапку — чугунный шар русской державы! А ведь все могло быть по-другому. Если бы их сделали содержанками, покупали им конфеты, помадки разные, духи. А они писали бы стихи, рисовали картины, сочиняли музыку. Получилось бы мило и благородно. Даже нравственно. Ну вот удивительно красивая и удивительно развратная женщина. Если она такая, то что же тут подеаешь? Каждому свое. Нужно и это. Но на своем месте.

Понимали ли сами это? Чувствовали. В начале 20-х по Петрограду ходили слухи о том, что детей будут отбирать у родителей для коммунистического воспитания. В семье Блока все этим возмущались. Однажды Блок слушал, слушал, а потом и брякнул: «А может быть, было бы лучше, если бы меня... вот так взяли в свое время...»

А их и взяли. Только не государство, не хороший господин из благородных, а преступники, сутенеры и воры. «Девочка попала в нехорошую компанию». Могла бы попасть и в «хорошую». Но не вышло.

И вот посмотрим с этой точки зрения на «уши Каренина».

Если «Тихий Дон» называют советской «Войной и миром», то «Войну и мир» можно назвать масонским «Тихим Доном». Этот якобы исторический роман бьет все рекорды по уровню грубейшей и вполне сознательной тенденциозности. Это все же действительно крупное произведение, но не благодаря, а вопреки поставленной в его основание мировоззренческой концепции. Концепция тут швах, «немецкая диспозиция». Но сражение все же выиграно. Пример русского сглаживания чудовищной первоначальной идеи. Пустим французов в Москву, а потом уже оттуда вот начнем воевать. Интересно, выправим или нет? Авось выправим. То же «Анна Каренина». Но «Воскресение» уже было испорчено непоправимо. Однако и тут можно было выправить. Просто толстовский гений был уже стар, стал уставать.

Иначе говоря, Толстому было все равно, что писать, кому отдаваться. Точнее, он не мог не отдаваться, но хотел бы, конечно, отдаться поудобнее, поуютнее. Вот где скрытый смысл органической, не по заказу, женской злобы к Победоносцеву: почему ты меня не взял? а вот я пойду тогда назло в кабак. Русская государственная мысль прохлопала ушами нашу литературу. Она отнеслась к ней слишком серьезно, слишком благоговейно (то есть не по-государственному, не по-хозяйски). А «цыпленки тоже хочуть жить». И пошли на содержание к евреям, к масонам и иностранным разведкам. А вызвали бы их в известный момент в известное учреждение: так, мол, и так, Лев Николаевич, мы вам, русскому дворянину и офицеру, хотим доверить выполнение важного и ответственного задания. Есть сведения, что английская разведка в подрывных целях поощряет повстанческое движение на Северном Кавказе. Необходимо дать соответствующее неофициальное разъяснение истинного положения дел. И вышел бы «Хаджи-Мурат», без «позорных страниц» (по выражению Розанова) о Николае I.

Если бы за ними следили, чтобы не откусили градусник, не стянули на себя скатерть с самоваром. И это же крик отчаяния у Толстого, ключ ко всему его поведению. И не только его, а и всех талантливых русских, не знающих, куда этот талант несчастный сдать, чтобы получить взамен уютный домик с видом на церквушку и ма-аленьким садиком. А в саду чтобы лавочка была. И вот на ней сидеть с женой и смотреть на заходящее солнце. Розанов, величайший индивидуалист, смог это вырвать у жизни сам. Но это Р о з а н о в.

Цветаева передает разговор с Белым в Берлине начала 20-х. Тот сказал ей:

«Самое главное — быть чьим, о, чьим бы то ни было! Мне совершенно все равно — Вам тоже? — чей я, лишь бы тот знал, что я его, лишь бы меня не «забыл», как я в кафе забываю трость...»

Их забыли. И в результате громадное историческое значение при полной неподготовленности к этому, полном отсутствии политического смысла и политического воспитания. И в результате — крах.

856. Примечание к № 851.

...носителем эстетических идеалов в России являлось именно чиновничество.

Чиновники — «за бумагой человека не видят». Так это и есть писатели! Писатель — чиновник в его развитии, содержательный чиновник, бюрократ содержания. А читающая публика в России, костяк ее? Да конечно чиновничество. Не крестьяне же, не купечество. Дворянство вольное по усадьбам — какие уж тут книги. Так, иногда разве. Не то настроение — чтение занятие городское. Военные — тоже не до этого. Студенты с их полуштофами, кастетами и брошюрами — куда им. Дай Бог учебник перед экзаменом пролистать. Вот и выходит, что костяк читающей публики — чиновничество. Привыкшее к бумагам, письменной речи, печатному слову. Гоголя читали акакии акакиевичи. О чем Достоевский и сказал. Его Макар Девушкин в «Бедных людях» читает «Шинель». И читает именно с чувством, что это про него написано. Тут вовсе не насильственный литературный прием, а, пожалуй, определенный символический образ русской читающей публики.

862. Примечание к № 852.

Они игрались-игрались и заигрались.

«Серебряный век» уже насквозь персонажен. Люди занимались проживанием своей жизни. Крайне важен был образ поэта или писателя. Поэтому пьяные скандалы или альковные трагедии всячески раздувались до размеров мировых катаклизмов. В широких масштабах технология имиджа была апробирована на истории с женитьбой Блока. Здесь уже видны все составные элементы: сметающий все на своем пути девятый вал рекламы, использование кощунственно-пародийной фразеологии, подробное описывание до неузнаваемости стилизованных «чуйств» и наконец, очень сухое и деловое включение в рекламную кампанию, то есть торговля своим чувством, проституция. При этом нравственная деградация была замедлена потерей реальности, ощущением себя персонажем. (Между собственно проституткой и актрисой, играющей проститутку на сцене, все же существует некоторая разница.)

Характерен пышный расцвет театра и театрально-декоративного искусства в начале века. Балет, опера, драма, цирк, стилистика маскарада в массовой культуре — все это свидетельствовало о заигрывании, погружении в театральное действо.

Именно в этот период впервые в русской истории (если не считать наивного начала XIX века) получила широкое развитие масонская мифология. Привлекал театрально-декоративный характер масонства, эстетика тайных эмблем и капюшонов. Об этом неплохо сказано в «Самопознании» Бердяева:

«В этой атмосфере было много бессознательной аживости и самообмана, мало было любви к истине. Хотели быть обманутыми и соблазненными. Терпеть не могли критики. Все захотели быть приобщенными к истинному розенкрейцтерству... И молодые девушки влюблялись в тех молодых людей, которые давали понять о своей причастности к оккультным обществам, как в другие годы и в другой обстановке влюблялись в тех молодых людей, которые давали понять

о своей причастности к центральному революционному комитету. Эротика всегда у нас окрашивалась в идеалистический цвет. В 30-е годы она носила шеллингианский характер, в 60-е нигилистический, в 70-е народнический, в 90-е марксистский, в начале XX века она приобретала окраску «декадентскую», в десятые годы XX в. она делалась антропософической и оккультистской. Это явление смешное, в нем обнаруживается недостаточная выраженность личности, но оно свидетельствует о русском идеализме.

Сей «идеализм» выражался в постоянной идеологической стилизации принципиально неидеологизируемых вещей. В результате идеальная жизнь общества очень грубо просачивалась в реальность. Идеи импортировались с Запада и становились модой. Став же модой, они незаметно переплетались с модной одеждой или мебелью. Томик Гегеля и портсигар становились явлениями одного порядка. При этом не только Гегель воспринимался на уровне портсигара, но и портсигар на уровне Гегеля. Чтение Гегеля самым прямым образом сказывалось на состоянии портсигароделательной промышленности, а курение сигар напрямую влияло на изучение Гегеля в университетах. Это можно назвать крайним идеализмом, крайним материализмом, крайним эклектизмом, крайним примитивизмом. По-моему, точного названия этому вообще найти нельзя. Я бы так сказал: это крайнее сбывание и крайняя стилизация.

Русская литературочка начала потихохоньку сбываться. Перед концом чрезвычайное значение приобрела тема смерти на сцене, тема красивой смерти, сладкой смерти, порочной смерти. Некрофилии. Театрализованная, карнавализованная декадентщина с ее пляшущими скелетами и покойницами. Тема тлена, эстетика умирания, мертвых красавиц и оживших мумий. Это осуществленный онанизм, попытка вырваться в реальность. Это осуществление «программы» Гоголя — первого русского драматурга. Не случайно, что его стали более-менее адекватно понимать именно в эту эпоху.

Дело, конечно, не в импортированности нашей литературы. Это лишь частность. Суть в том, что русские религии заменили литературой. То есть неким мифом. Мифом принципиально антимифологическим: «натурализмом», «реализмом». Реальность стала Богом. Причем не собственно реальность, а то, что подразумевалось под реальностью. Это дико, но Гоголя (Гоголя!!!) считали реалистом. Он и был таковым, но с точки зрения максимальной степени материализации, реализации элементарных и, следовательно, еще подпадающих этому фантазий.

И все сбывается. Мифы осуществляются. Конечно, тут и более высокая трагедия, трагедия слишком христианского общества, монотонно христианского и чисто, высоко христианского, с лишь рудиментарной бесовщиной. И бесовщину литература совершенно неожиданно для себя и создала, выполнила функции давно потерянного языческого коррелята. Поэтому и напряженный интерес к литературе — тянуло на сладенькое, вкусненькое, запретненькое. Темненькое. «Божецкое» — ну ладно. А черти-то как? Тоже ведь интересно.

И поправить ничего нельзя. Все обречено, фатум. Чем глубже вдумываешься, тем отчетливее понимаешь, что это все предопределено. И индивидуальная вина и является лишь индивидуальной виной, а ни в коем случае не виной метафизической. Ничего не зависело от злой воли или ошибки отдельной личности.

Ну кто же виноват в том, что сам характер русской литературы «не тот»? Может быть, по своей сути русская литература, дополняющая монастырскую Русь, должна была быть преимущественно «ветхозаветной», содержательной. А она, по сути, «новозаветная», то есть не дополняющая, а вытесняющая: абстрактно асексуальная и морализаторская. Не дает мясца душе, не удовлетворяет и одновременно истерически взвинчивает душу (заслоняя при этом церковь). Онанисты. Целомудрие дополнила не нормальная половая

жизнь, а онанизм. Уже сам по себе выбор литературы как духовной скрепы общества странен, онанистичен. Да и характер выбранной литературы, в свою очередь, тоже.

870. Примечание к № 851.

«Совет меня мой Дельвиг милый...» (А. Пушкин).

Это принятие смерти. И, чего там, масонства.

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья.

Верь, товарищ, взойдет. Нам обещано. Как же тут сбросить Пушкина с корабля современности, если сам корабль этот — веточка пушкинского мира? «Пушкин наше все». В с е.

871. Примечание к № 853.

..вычурность, холодная неестественность, совершенно игнорирующая реальность, природное и естественное положение вещей.

Ужас в том, что в России Запад стал Востоком. Закат — восходом. Ночь, то есть тайное, скрытое, порочное, — днем, чем-то официально узаконенным, легальным. Нормой.

Возьмите западный фильм ужасов — наглую и элементарную эманацию западной демонологии — вы увидите, что, как правило, действие там происходит на металлургических заводах, в шахтах, подвалах, на стройках. То два супермена дерутся на мечях где-то в подземном гараже, круша вокруг машины и стены. То медленно опускают в доменную печь негодяя, и он корчится, обдаваемый адским пламенем. Или обнаженная женщина бежит по пустому, шипящему и ухающему цеху, а за ней — поросший чешуей монстр с отвратительными крючьями. Действительно, может ли быть более сообразный фон для порносадистского действия, чем античеловеческие пейзажи литейных корпусов и циклопических карьеров. Но в СССР на фоне тех же декораций разворачивается действие чопорных официальных агиток или сентиментальнейших утренников. Перепачканные мазутом мужики и бабы рассуждают о прелестях досрочного перевыполнения плана или о радостях семейной жизни, детской и невинной. Во-первых, само смещение неправдоподобно, аномально, а во-вторых, и тема насилия-то, конечно, никуда не исчезает. Советское кино — это фильм ужасов без ужаса, фильм садомазохистский, но абсолютно бесполой, без секса. Конечно, именно такие фильмы и способны в максимальной степени подавлять психику. Ведь это десятилетиями, день за днем. Шипящие и дымящие трубы, рев печей, скрежет моторов. Десятилетиями под официальное бормотание показывают ржавые от крови бинты, скальпель, пинцет, удаленный аппендикс и снова бинты, марлю, скальпель. И под разговор:

— А Иванов выполнил квартальный план?

— На сто восемьдесят два процента.

— Молодец какой. Ну ничего, я с Петровым договорился на сто девяносто шесть процентов выполнить.

И тут песня: «все выше, и выше, и выше...» И снова показывают красные пятна, бинт, марлю, пинцет, мраморный стол и муха по нему ползет. И все это настолько неинтересно, что хочется плакать. Заставьте насильно посмотреть порнографический фильм. Это травма. А заставьте посмотреть порнографический фильм без порнографии. Вот два часа будут показывать разбросанные лифчики и трусы и говорить, что Ленин умеет летать. И заставляют двести миллионов человек, заставляя десятилетия. Вот она, гуманная каша, всходит-то как, лезет из горшка волшебного на всю планету.

Возьмите советскую книгу, осуждающую насилие, и вы увидите, что ее писал садист, садист скрытый, подавленный, но «случись чего» — не оплошает (да и не плошали). Прочтите советскую статью против гомосексуализма, и вы увидите, что ее писал, даже не педераст, а гермафродит. Однажды я прочел в газете статью, где радостно сообщалось, что девятнадцатилетнему гаденышу дали два года каторги за то, что он смотрел и распространял видеофильмы, «пропагандирующие насилие».

874. Примечание к 842.

Да в известном смысле Октябрь и следствие этой задержки.

Октябрь и литература. Вот Дилемма. Компенсацией за задержку интеллектуального роста в XIX веке послужил рост душевный. Отказавшись от чистого мышления, русское «я» осуществилось во сне и фантазиях в форме великого мифа русской литературы. В развитии литературы (литературы такого рода) сказалась в конечном счете религиозная одаренность русского народа. Но и его умственная слабость. Неизбежность? Да... Почти. Почти, ибо в русской истории случайность играет огромную роль. Если бы Лобачевский стал русским Гауссом. Если бы Сперанскому удалось открыть русским попом, этим прирожденным ученым, путь в университет. Если бы на престоле оказался император-философ, как Фридрих II, или императрица, как Екатерина II, но в XIX веке. Есть десятки «бы». А вся Россия стоит на «бы». Так что могло бы. Почему я так уверен? Да потому что в результате к концу XX века к этому и пришли. Возьмите самый серьезный, самый позитивный русский журнал середины прошлого века и вы увидите, какая это все «литература», «рассказы», «повести» и «романы». И возьмите самый литературный журнал последнего времени. И вы увидите, что литературы там нет. Статьи по экономике и внешней торговле вперемешку с романами, но романами, которые, в сущности, те же статьи, те же монографии. И написанные профессиональными экономистами, статистиками, медиаторами. А в XIX веке статьи по экономике писали писатели.

От литературы остался лишь стиль, способ, воспоминание. Я говорю не о хорошей и плохой литературе, с этим «все ясно», а о литературе вообще. Литература как миф, как способ осмысления мира и способ овладения миром истлела, исчезает. Последние ее остатки исчезают на глазах. Без воли конкретных людей, само собой, как геологический процесс. Еще лет двадцать пять—пятьдесят литература продержится на ностальгии, по инерции. И все — провал лет на сто, на четыре поколения. И это при бурном развитии других областей духовной жизни.

876. Примечание к № 870.

Это принятие смерти. И, чего там, масонства.

Из сборника «Масонство в его прошлом и настоящем», первый том которого вышел в 1914 году:

«(Розенкрейцерство) впервые давало русскому обществу известное мирозерцание... Это была первая философская система в России... розенкрейцерство, несмотря на свои дикие крайности и смешные стороны, воспитывало, дисциплинировало русские умы, давало им впервые серьезную умственную пищу, приучало, — правда, с помощью мистической теософии и масонской натурфилософии, — к постоянной, напряженной и новой для них работе отвлеченной мысли. Кто видел перед собой многочисленные переводы мистических книг, сделанных русскими масонами, тот знает, как много розенкрейцерская наука внесла в работу русской мысли неведомых ей до тех пор отвлеченных понятий, для которых русский язык не имел даже соответствующих слов и выражений. Следовательно, эта сторона розенкрейцерства, — не только, конечно, переводы, но главным образом самостоятельные попытки масонского творчества и особенно речи в собраниях братьев, — несомненно внесла свою долю и в дело обогащения русского литера-

турного языка: кто знает, сколько приобрел здесь в этом отношении будущий создатель этого языка — Карамзин, воспитанник Дружеского Ученого Общества, друг масона и переводчика Петрова и, наконец, сам масон, принадлежавший к московскому кружку? Бюст Шварца (одного из основателей русского масонства.— О.), стоявший в комнате молодых друзей, Карамзина и Петрова, и покрытый траурным флером, является прекрасным напоминанием этой связи между розенкрейцерством и судьбами русской общественной мысли и литературы».

Конечно, роль масонства в истории русской культуры огромна. Огромна даже по сравнению с европейскими государствами. Если в X веке совершенно исключительное влияние оказало на русскую культуру христианство, то в XVIII веке столь же подавляющее и абсолютное воздействие Россия получила со стороны масонства. Человек, плохо знающий русско- и немецкоязычную масонскую литературу, издававшуюся в XVIII — начале XIX века в России, не может квалифицированно судить об истории русской литературы и философии. Уже исключительное значение Гегеля в 40-х годах покажется ему чем-то искусственным и необъяснимым. А ведь ничего необъяснимого нет, так как Якоб Бёме и Мейстер Экхарт (да еще с иллюминатскими комментариями) были основой библиотек отцов и дедов русских гегельянцев.

Отрицать масонство, просто вычеркивать его из русской культуры так же нелепо, как вычеркивать и отрицать из русской культуры христианство. Нелепо, но, конечно, возможно. В XX веке переписали же русскую историю, тщательно вымарывая из нее все упоминания о христианской религии и христианской церкви. Получилось очень коротко и глупо. Но и, например, история России XIX века с выданными масонскими страницами тоже ведь превратится в «краткий курс». В одной только истории русской мысли придется выдирать почти всех подряд. От Карамзина до Бахтина. И неужели все они или дурачки, или негодяи? Неужели глупцы и шарлатаны? И Флоренский? И Зелинский? Ну хорошо. А кто не масон? Чье творчество вполне свободно от масонского влияния? Вопрос так же нелеп, как и вопрос о русских писателях и философах, совершенно свободных от влияния христианства. Кто — Белинский, Добролюбов и Чернышевский? Дети и внуки священников?

881. Примечание к № 876.

...роль масонства в истории русской культуры огромна.

Приведу всего лишь один пример. Иван Киреевский — основоположник славянофильства. Кто его учителя? Родственник со стороны матери масон Жуковский, отчим масон Елагин (переводчик Шеллинга, пробудивший у молодого пасынка интерес к этому мыслителю) и профессор Московского университета масон-шеллингианец Павлов. Сам Киреевский с самых юных лет — член масонской ложи. Причем характерно, что влияние масонства не внешнее, а прежде всего внутреннее, духовное.

Задать вопрос: каковы причины увлечения Шеллингом в России с начала XIX века до начала века XX? Можно приводить и приводят десятки аргументов. Но главный-то один: Шеллинг — масон. Спросите: почему в России пользовался таким уважением, например, Иоанн Златоуст? Ответ, главный, прост: Златоуст христиан, причем восточный.

Очень правильно русскую религиозную философию называют именно религиозной, а не конкретно христианской или тем более православной. Прежде всего она масоно-христианская. Христианская, но на масонской подкладке. Флоровский, верно указывающий на в значительной степени неправославный характер русской религиозной философии, все же не додумал до конца. Если она не православная, то это тоже определенная традиция, определенная культура. Он, таким образом, просто неправильно посмо-

трел. Увидел неправильность как раз в сильных сторонах. Та же ошибка, что и в материалистическом взгляде на русскую философию. Конечно, если рассматривать развитие русской философии в русле материализма (и шире — позитивизма), то какая убогая, провинциальная картина. В свою очередь, если посмотреть, как это сделал Флоровский, на развитие русской мысли с точки ортодоксального христианства, то, конечно, все будет гораздо красочнее, ярче, но на всем будет какой-то порок, что-то у всех будет не получаться. Как будто какой-то рок глупости преследует русских мыслителей. Но существует закон Оккама. Не следует ли изменить точку отсчета — и тогда надобность в многочисленных коррекциях и таблицах эпициклов отпадет сама собой?

884. Примечание к № 862.

Реальность стала Богом.

А Бог — реальностью. В виде писателя. Но писатель не абсолютен, это еще и человек. Требовалось создание абсолютного писателя, что было принципиально несоразмерно с его человеческой природой. Интересно, что, с точки зрения противоположной, сгущенная в литературных произведениях реальность порождала писателей. То есть литература творила человека. С этой точки зрения оказалось возможным создание абсолютного неписателя, то есть создание абсолютно нетворческой личности — уже не собственно человека, а персонажа. С точки зрения христианской мифологии — антихриста. Таковой и был создан. Для литературы как побочный продукт, а для христианства как итог подобной литературной цивилизации. Для христианства побочным результатом создания антихриста явилось создание удивительной литературы.

886. Примечание к № 874.

Еще лет двадцать пять — пятьдесят литература продержится на ностальгии, по инерции. И все — провал лет на сто.

А дальше? Дальше вообще «вот — сейчас литература» станет абсолютно тем же, что и литература в других странах, тем же, чем были и в России другие виды искусства — живопись, музыка, театр. Но «классическая русская литература» XIX—XX веков будет осмыслена как религия. И возможно, религия живая. Хотя бы как секта.

888. Примечание к стр. 49 «Бесконечного тупика».

Мне ничего не хочется, и я отчетливо сознаю, что никому не нужен.

Я долго думал: в чем странность Чаадаева? Впечатление от его работ странное. Чувствуется, что где-то здесь сумасшедшинка, а в чем конкретно — не поймешь. И лишь позднее, «задним умом» я, кажется, догадался. Чаадаев что писал? Русские — ненужная нация. Лишенная каких-либо оригинальных черт. Вообще «прореха на человечестве». Но ведь это единственный случай в мировой истории, чтобы нация стала самоосознавать себя таким вот образом. Некая цивилизация вдруг заявляет, что она не нужна. В мире, где какая-нибудь Сербия или Турция пищит и хорохорится, старается оттолкнуть локтем соседа... Да уже за одну эту мысль чаадаевскую Россию нужно поместить в оранжерею и по утрам беличьей кисточкой смахивать пылинки с каждой колючки сего кактуса. Вот почему Чаадаев не только западник, но и славянофил. По оригинальности самой идеи. Чаадаев велик не как мыслитель (слаб, адиалогичен), а как стихийное явление природы русской.

892. Примечание к № 865.

Вырабатывалась соответствующая культура одиночества и культура смирения, покаяния.

Бердяев сказал, что немцы раскаяние заменили пессимизмом. Но более продуктивно обернуть эту мысль на себя: русские заменили пессимизм раскаянием, покаянием. Пессимизм — форма существования «я» в мире, раскаяние — момент выхода за пределы обыденной, безличной жизни. Покаяние — нечто кратковременное, экстатическое. Пессимизм — постоянное, обычное. Тон. Несомненно покаяние выше, зато пессимизм дольше. Покаяние предсмертно, пессимизм — жизнь, даже преджизнь (юность). Русское одиночество тоскливо, немецкое — трагично. У русских была культура уединения, но не было культуры одиночества. К одиночеству, к «смерти Бога» они оказались не готовы.

Чрезвычайно характерно. До сих пор ни одного русского писателя или философа — пессимиста. Все кончается «хорошо»: «взошло солнце, и затетенькала какая-то птичка».

894. Примечание к № 862.

И все сбылось. Мифы осуществляются.

Пушкин и Гоголь, Достоевский и Толстой, Соловьев и Федотов — ласковые вы мои, миленькие, вы-то и создали этот мир: темный, издевательский, душный и безнадежный. Вы всё Бога искали. Так вот: вы, вы-то, миленькие, голубчики, были одержимы неудержимым, страшным сатанизмом, вы-то и придумали все. Вы «понимали о себе». Понимали слишком «много» при таком чудовищном замахе на гениальность.

«Нет, батюшка Родион Романыч, тут не Миколка! Тут дело фантастическое, мрачное... Как кто убил?.. да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с...»

А то как же так получается? Вот Бунин писал:

«Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, переберите или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, несправедливого... Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!»

Действительно, «ничего». Россия с самого Александра Благословенного — это с точки зрения государственной — очень мягкая, гуманная и просвещенная страна, настолько мягкая, гуманная и просвещенная, что при тогдашнем уровне образования и культуры народа дальше и некуда. И вот там сидели по углам какие-то гении и писали книжки. И вдруг, ни с того ни с сего шестьдесят шесть миллионов людей «в корзину для бумаг». Это что же вы там написали такое??

900. Примечание к № 886.

...«классическая русская литература» XIX—XX веков будет осмыслена как религия.

Как может человек, находящийся внутри мифа, ощущать этого мифа конечность, смертность? Смерть. Только как регресс, упадок. Иначе он и не может себе представить мир без его мифа. «Пан умер». Что это? Регресс. О природе другого бога, другого мифа античность не могла и помыслить. Платон не мог. С точки зрения литературного мифа просто неинтерес к литературе есть признак деградации, упадка. О Бородине-химике знают, о Бородине-композиторе «что-то слышали». Только так. Но речь идет совсем не о технократическом невежестве. То, что произойдет, можно проиллюстрировать примером совсем другим. Если сейчас спросить о

Сухово-Кобылине, то образованный русский скажет, что это автор известной трилогии, назовет Кречинского и т. д. И лишь один из тысячи этих образованных людей добавит, что Сухово-Кобылин последние двадцать лет своей жизни писал огромный труд по философии, сгоревший в усадьбе восьмидесятидвухлетнего писателя и потом им отрывочно восстанавливавшийся по памяти. Если же о Сухово-Кобылине спросить русского 2088 года, то он долго стал бы рассказывать о его «учении Всемира», о теллурической, соляной и сидеральной стадии развития человечества, о трубчатом теле соляного человека, парящего в пространстве и уничтожающего непользованных особей для создания великого семиконечного Экстрема — Лучезарной Личности. А потом в конце беседы будущий русский добавит: «Интересно, что Сухово-Кобылин написал в свое время ряд пьес на «обличительные темы». Пьес он этих не читал, конкретного содержания их не знает, так как неспециалист, но слышал что-то о недавно вышедшей монографии молодого представителя нижегородской школы теопсихоанализа, где творчество Кобылина-драматурга интерпретируется как своеобразный косвенный элемент его религиозно-философской системы.

904. Примечание к № 888.

...Чаадаев не только западник, но и славянофил. По оригинальности самой идеи.

Более того, Чаадаев был более славянофилом, чем сами славянофилы. Его мысль была более русская по форме, по силе и по гибкости.

Известно, что Николай I наорал на Чаадаева после его знаменитого «Философического письма». Но ошибка Николая, и ошибка тяжелая, ошибка непростительная, заключается не в этом, а в том, что он не принял искренних извинений Чаадаева и не помог ему в его дальнейшей философской деятельности. После высочайшего окрика Чаадаев моментально перестроился и стал говорить об особой, исключительной миссии России, о ее культурной самобытности и уникальности. И эти мысли Чаадаева отнюдь не были вымученным компромиссом с совестью, бездарным следствием бездарного испуга. Нет, мысли Чаадаева были так же напряжены, так же интересны, так же оригинальны. Тема его зрелый русский ум не интересовала. Интересовала форма, интерпретация. Тему о бездарности России он взял из-за ее своеобразности, оригинальности. Но ему дали другую тему, менее оригинальную, но он и ее сумел так подать, так выправить... Каким же нужно быть политическим недоумком, чтобы не принять нового Чаадаева с распростертыми объятиями. Если бы ему дали тогда журнал, дали кафедру... да что там, если бы только благосклонно кивнули из Зимнего. И пропали бесценные мысли. Забыли, так и не запомнив. Мысли, к уровню которых во многом русские подходят только сейчас. И если бы тогда опубликовали и распространили ну хотя бы это:

«По отношению к мировой цивилизации мы находимся в совершенно особом положении, еще не оцененном. Не имея никакой связи с происходящим в Европе, мы, следовательно, более бескорыстны, более сдержанны, более безличны, более беспристрастны по всем предметам спора, нежели европейские люди. Мы являемся в некотором роде законными судьями по всем высшим мировым вопросам. Я убежден, что нам предназначено разрешить самые великие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного давления предрассудков и авторитетов, очаровавших умы в Европе. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимыми, насколько необходимо, настолько справедливыми, насколько возможно. Они это сделать уже не в силах. Там на них давит огромный груз воспоминаний, привычек, рутины...»

«Мы стоим, по отношению к Европе, на исторической точке зрения, или, если угодно, мы — публика, а там актеры, нам и принадлежит право судить пьесу...»

936. Примечание к № 904.

«Мы стоим, по отношению к Европе, на исторической точке зрения, или, если угодно, мы — публика, а там актеры...» (П. Чаадаев).

Да, Европа для русских — театр. И пожалуй что, Россия — театр для европейцев. Европа — реальность, Россия — отражение этой реальности. «Роман». «Романная империя». Отражение Европы, сюжет Европы. Возьмите любое европейское событие и вы тут же найдете его российский аналог. В десять, в сто, в тысячу раз более грубый (как это и должно быть при отражении, всегда неполном, всегда более тусклом). Если вдуматься, какую исключительную роль играла аналогия, например, в русской революции, то просто волосы встают дыбом. Реальная Россия начала XX века осмысляла себя как аналогию Франции конца XVIII века с ее комиссарами, коммунарами, конституантами, террором, с ее Маратом, Робеспьером и Наполеоном. Таким образом, прошлое Европы превращалось в сценарий, а настоящее Европы оборачивалось будущим России, то есть просто переставало существовать как данность.

Возможно, выход в осознании этого. Россия должна стать театром сознательно. И поставить для Европы ряд пьес. Возможно, тогда Россия станет чем-то большим.

943. Примечание к стр. 54 «Бесконечного тупика».

Изложение подошло к концу. Что мне сказать напоследок?

I. «Со ступеньки на ступеньку», О. Т. Расцененко, Ф. И. Скалов и И. Ц. Кобыш-Лосото¹.

Жил-был маленький мальчик. Родился он в простой советской семье. Советская власть дала ему все: обильную пищу, хорошую и дешевую одежду, добротную и прочную обувь. Ему было разрешено ходить в детский сад, потом — получать образование в нашей советской школе. И не где-нибудь, а в столице нашей родины — городе-герое Москве. Даже воздух, которым он дышал, был заботливо пропущен сквозь государственные очистные сооружения и обеспечивал нормальное и бесперебойное функционирование его организма. Веселая, зажиточная жизнь была обеспечена «Одинокону» (именно так любил себя потом называть этот человек).

Казалось бы, в таких условиях жить и жить. Но нет, хотелось большего. Шли годы, а с ними росла и потребность. Герой (а точнее, антигерой) нашего очерка стал жить с ощущением, что ему чего-то недодали, что ему кто-то чего-то «должен». Способности же, в отличие от все возрастающих потребностей, были средние. В школе учиться было трудновато. Нужно было работать и работать — усердно, кропотливо. Но усидчивости-то у «Одинокова» и не было. Была лень. С возрастом лень росла. С ленью росло и чувство неблагодарности. Мечталось о чем-то особенном, «этаком», с чем-нибудь, знаете ли, «заграничным». Так в душе этого человека, болезненно самолюбивого, эгоистичного и злобного, нарождалась та трещина, которая год от года все расширялась и расширялась и наконец привела к столкновению с Законом.

За легкую и «красивую» жизнь; за горы дармового виски, «потребляемого» во второсортных кабаках под шизоидные синкопы рок-н-ролла; за выделенные штаны с броской фирмой на заднице; одним словом, за одну понюшку жокеанского табаку «Одинокон» продал все, что у него было за душой: смешал с грязью собственных родителей, в досталь накуражился над своим народом и, наконец, глумливо замахнулся на самое святое, что есть у советского человека, — на личность великого вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Этот неслыханный цинизм, эта духовная смердяковщина не может не вызвать ничего, кроме безразличной жалости и отвращения.

Да, «Одинокон» не взрывал шахты и заводы, не отравлял колодези, не забивал гвозди в подшипники, не подпиливал линии электропередачи. Прошли те времена! Ныне классовый враг не осмеливается на крупные диверсии, а занимается мелким пакостничеством, духовным разложением и растлением неокрепших душ. По этому пути пошел и «Одинокон», анонимно состряпав свою антисоветскую книжонку. Озлобленный неудачник, «Одинокон» принадлежит к тем «тихим» хулиганам, которые переворачивают урны и корежат качели на детских площадках, но делают это тихо и аккуратно, в укромном уголке, когда их никто не видит. «Одинокон» принадлежит к тем расчетливым негодьям, которые бьют лампочки в подъездах, но не куражатся при этом, не лезут в драку с дружинниками, а трусливо убегают в ближайшую подворотню при первом миллиейском свистке. «Одинокон» принадлежит к тем «художникам», которые мажут калом стены в общественных уборных, а потом спокойно умывают руки и говорят в глаза: «Не я». «Одинокон» укрылся под псевдонимом, у него не хватило силы и мужества даже на то, чтобы открыто сказать:

— Да, я негодяй, вот мой адрес и телефон, вот фамилия и домашние адреса моих «друзей».

¹ Статья эта появилась в одной из центральных советских газет.

До каких же глубин доходит человеческая трусость и подлость! Страшно, страшно за этого человека!

Страшно! Чувство мерзости и моральной нечистоплотности возникает у нас, авторов этой статьи, когда мы сталкиваемся по необходимости с двурушничеством, двоясьми, двоедущим, тихой сапой лезущими через щели личного быта и приводящими в конце концов к духовному банкротству. Повторяем, страшно! Но вместе с тем и отрадно! Если это вот ничтожество является всем, что могут противопоставить сейчас нам идеологические противники, значит, не густо у них, значит, готовы они, как утопающий, ухватиться за любую соломинку, за любую дрянь, вымываемую очистительным потоком перестройки и обновления из авгиевых конюшен тысячелетнего заскорузлого мешанства.

Подонки «Одинок» сам отлично понимает собственное ничтожество. В бесильной ярости крыловской москы, у которой от собственного злобного визга ум за разум заходит, «Одинок» проговаривается. «Я никому не нужен», — заявляет он, выбалтывая свой секрет полишинеля. Конечно, кому он нужен? Даже иностранные разведчики, которым приказано его «использовать», его же и презирают. Какие же еще чувства может вызывать предатель родины?

В попытке придать себе хоть какой-то вес «Одинок» цепляется за «труды» бойкого нововременского щелкопера В. В. Розанина, на хамски-блаудливых статейках которого он пытается вырастить собственного производства развесистую клюкву злопыхательских измышлений, с которой, по его замыслу, голоса сионистских радиоотравителей будут собирать дурнопахнущую антисоветскую клубничку.

Свой опус «Одинок» вычурно-претенциозно окрестил «Бесконечным тупиком». На это мы скажем: как веревочке ни виться, а концу быть. Таких «одинокых», попрятавшихся по индивидуальным щелям своих тупиков, ждет закономерная и единственная расплата. Советуем человеку, укрышшемуся под псевдонимом, задуматься над своей дальнейшей судьбой: выйти из бесконечного тупика подлости и предательства и прийти с повинной.

Труден, долог путь духовного очищения, путь возвращения к людям, к обществу, путь превращения из «Одинокова» в «Коллективова». Падать, прыгать со ступеньки на ступеньку пинг-понговым мячиком легко и весело. А вот подниматься, проходить через очистительное горнило собственного раскаяния — ох как трудно! Но это единственно возможный путь возвращения в солнечный и радостный человеческий мир Правды, Добра и Справедливости из мрачной пещеры ущемленного самолюбия и эгоизма. Нам, коммунистам, по своей природе свойствен оптимизм, и мы верим, что в конечном счете даже у такого человека, как «Одинок», есть возможность морального перерождения. Мы верим, что, отбыв после покаяния срок заключения, он еще сможет стать полезным членом общества.

II. «Письмо из Нью-Йорка», Майкл Жидомирски².

«Привет, Додик! Сорри, что долго не писал. От шкуры своей я соскочил и живу теперь в Нью-Йорке. С нашими вижуся редко, только с Ромкой Шмульзоном и Эдиком. Впрочем, Эдика я тоже послал на хуй. Неделю назад ввалился ко мне и стал оуживать по-черному насчет курнуть. Омудил до того, что мы отправились в паб по соседству, где я кое-кого знаю. Официант, мой приятель, подсутился и отвез нас в самый центр черного района. Мы мотор на всякий случай глушить не стали, и тут из кустов посыпались дилеры. Ты им в окно башли, они тебе туда же траву. На пять баксов пакетик на пять или чуть больше косяков. Качество не очень плохое, лучше, чем в Централ Парк. Собственно, они никогда не фюфлят, просто в Централ они сворачивают такие тонкие джойнт, что там больше бумаги, чем травы, а тут выдают саму траву, сворачивай, мол, сам. Эдик от такого сервиса просто ошazel и зажал двадцать баксов. Дело, естественно, не в башлях, так как двадцать баксов не деньги. Но сука стал вылабываться и вести себя дико нагло, в общем, откровенная наябаловка, тем более что он взял траву вперед. В общем, до того он меня разозлил, что я ему врезал между глаз и вышвырнул из машины. А тут смотрю, этот педераст из кармана браунинг тащит. Официант хотел его задним ходом придавить к стене, да я не дал, все равно стрелять ему было слабо.

Эживей, это все гелуха, пишу тебе об этом так, для понта. Старик, недавно я прочел крутую книгу некоего Одинокова. Получил кайф. Он там пишет, что жидаы пили детскую кровь пивными кружками и т. д. И притом, с одной стороны, работает под дурачка, а с другой — засирает мозги, как говорил Владимир Соловьев, «филосомудией». Прочти, старик, это посильнее «Балашихинского комсомольца». Дизастер, одним словом. Книга называется «Бесконечный тупик». Сам он из Москвы и, судя по всему, малый не дурак, как говорится, «и вашим и нашим». Держу пари, что огреб под это дело кучу баксов. Хотя, конечно, я бы настучал этому чуваку по роже, чтобы не нес всякую хуйню за Россию. А впрочем, жму руку за такое ништяковое

² Не так давно в Париже стал издаваться литературный журнал «Пушкинское ухо». Главная цель «Уха» — по крупницам собрать, бережно сохранить и донести до потомков бесценные сокровища третьей волны русской эмиграции. В дело идет все: романы и повести; рассказы и анекдоты; поэмы, венки сонетов, стихотворения и эпиграммы; наконец, послания, личные письма и отдельные записочки, начертанные дрожащей рукой на ребристом и сучковатом столе какой-нибудь ностальгической пивнушки. Эпистолярное наследие помещается в «Ухе» под рубрикой «Письма русского путешественника». Именно здесь и было напечатано нижеприведенное письмо Майкла Жидомирски, сына крупнейшего советского философа, а ныне американского художника-оформителя.

пиздобольство. Он там говорит, что миром будут править мировые мафии, американская и русская. Усек? Теперь слушай сюда. Старик, давай орден масонский организуем. А потом скажем: ну вот вам мировое правительство. Возьмем по «нобелю». А? Дело хорошее. Ты подумай. Я тут уже и приглашение в ложу набросал. Вот текст с оставленными местами для фамилий:

«Добрый землянин ! Сим извещаем тебя, что отныне ты являешься членом доблестного I регистра Дистрикта «Солнечная система». На верховном собрании дистрикта тебе присвоен ... разряд ... ступени.

Добрый землянин! Сердечно поздравляем тебя и твоих близких с большим и важным событием. Сегодня знаменная дата в твоей жизни. С этого момента тебе даются большие права, одновременно на тебя накладываются священные и почестные обязанности члена великой Невидимой Империи. Это великанская честь. И ее надо оправдать всей своей жизнью, учебой, творением, честным трудом, добрым и принципиальным отношением к сапиенсам. Пусть тебя не пугают трудненности, помни: значительное легко не дается.

Будь настоящим гражданином невидимой Отчизны, убежденным и стоятельным бойцом за великие идеалы.

Уверены, что ты будешь честно служить Невидимым Братьям, беспрекословно выполнять Кодекс, приказы больших и уважаемых людей; будешь честным, храбрым, дисциплинарным и бдительным членом ложи.

Добрый ! Будешь хорошо повести себя, у тебя будет все: вкусная еда, деньги, девочки, верные товаровищи. Пойдешь против — свернем, однако, шею, как домашнему животному.

С братским приветом!»

По-моему, ничего получилось. Пошлем Каддафи, японскому императору, Ельцину. У меня уже список человек на шестьдесят. С ребятами отборчимся!

Гудбай, Додя!»

III. «Без заглужек»³.

Император Николай II, свято и мужественно делавший возложенное на него судьбой дело — дело благоустройства и возвышения громадной монархии, возбудившей восторг истинных патриотов и удивление просвещенных людей целого мира, — встретил и злых недоброжелателей. С безумием и яростью преследовавшие свои, никому не понятные цели, организаторы-разрушители, воспользовавшись грустным и трудным положением государства, 8 марта 1917 года арестовали Государя Императора, составившего гордость и славу России. Этот бессмысленный и противоестественный акт поверг в недоумение многочисленное царство, совершенно спокойное и Царю преданное. Сейчас же по всей России стали предприниматься многоразличные меры, направленные против каких-то неведомых врагов, вот уже несколько десятилетий стремящихся спутать для никому тогда не понятных целей шестидесятимиллионное население, тесно связанное любовью и искренней преданностью Царю.

Однако, к великой печали русских людей, события зашли слишком далеко. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге Государь, за которого многочисленное население готово было положить жизнь, скончался мученической смертью от злодейской руки неких «большевиков» — марионеток немецкого еврейства, уже успевших запятнать себя целым рядом страшных преступлений.

Но напрасно кучка выживших из ума параноиков, выросших в захлой атмосфере черты оседлости и совершенно чуждых исконным началам коренного населения, мнила себя стоящей во главе гигантского государства, не ими созданного и не ими благоустроенного. Ни беспешабашным хулиганством, ни наглым и циничным поношением всего русского им не удалось добиться идейного господства над великим народом. Сейчас все больше русских людей начинают просыпаться от идейного морока немецкого иудея с маркой фамилией и обращают свой взор к чистому образу русской монархии. И здесь, внутри России, и в зарубежном изгнании раздаются все больше голосов в защиту поруганной династии, выходит все больше исследований, где смывается святой водой правды грязь лжи и клевет со светлой иконы российской государственности. Трудно описать волнение, когда находишь отклик своим мыслям на страницах этих книг.

Вот и недавно прочел я одну из таких книг (лучшую) — книгу Одинокова. Читал и плакал. Истосковалось сердце истинно русского человека по голосу правды! Читал и плакал, плакал и читал: вот оно! вот ведь как надо! Говаривал покойный Антон Павлович Чехов:

«Раньше человек, хороший, с правилами, любивший, чтобы его уважали, уходил в генералы, в попы, а теперь он идет в писатели, профессора...»

И, добавим, в революционеры. В известный момент ушли лучшие русские люди в революцию, ушли в пьяństwo, ушли в нигилизм. Осиротевшая русская государственная мысль искала достойный себя мозг. Но тщетно. Были в среде истинно русской люди кристальной честности, благородства, доброты. Но не было человека, который смог бы дать приемлемую, выражаясь словами Одинокова, «метамифологическую интерпретацию» русской культуры в духе исконных начал национальной жизни. И вот свершилось! Такая интерпретация есть!

³ Письмо, опубликованное в западногерманском журнале «У веча» и скромно подписанное: «Из России».

Как же так получилось, что как умный русский человек — так сразу космополит и социалист (в своих корнях)? В Соловьеве, Шестове, Бердяеве искал я воплощение нашей идеи. И все получал оплеухи, строки их произведений встречали меня бесстыдным хохотом. Я хотел поучиться уму-разуму у умных людей, «излюбленных людей» моей нации, а меня там высмеивали. А я русский человек и хочу — нет, требую, — чтобы со мной на русском языке говорили русские люди и о моих, русских проблемах. Но до Одинокова не встречал я таких людей. У всех оговорки, у всех «еврейские псалмы вместо морозки». Даже Розанов (любимый), казалось, тоже с оговорками. Приходилось, читая, некоторые страницы зачеркивать, пропускать испуганно. Теперь, после «Бесконечного тупика», его можно читать смело, целиком.

Одинокое выстроил нашу историю, дал ей каркас, спихнул в пропасть, казалось, вечный и окончательный фундамент гнилого русского либерализма. Он не то что поправил спектр русской интеллектуальной жизни, выправил его вправо, а вообще подошел к нему с другой стороны, так что самые правые русские оказались у него самыми левыми, а бывшие левые вообще обломились в никуда, исчезли. Если в начале XX века кадетов называли профессорской партией, то отныне партией профессорев становится «Союз русского народа».

Сам Одинокое не говорит об этом прямо. И понятно почему. Достаточно указать на то, что автор «Бесконечного тупика» москвич. Увы, нам хорошо знакома этнографическая атмосфера, в которой приходится жить Одинокому. Столица русского государства превратилась в северную Одессу. Понятна тоска и озлобленность автора, возникающая от непонимания. Понятна и его мимикрия. Здесь он, конечно, ошибся. Есть еще в России истинно русские люди. Не надо обрывать мысль на полуслове. Мы пойдем и примем все. «Без залушек».

Сборники, значит, издавали в помощь голодающему еврейству? Все на помощь бедным еврейским детям!

Декабрьское вооруженное восстание в Москве девятьсот пятого года началось в гимназии Фидлера. Фидлер превратил здание гимназии в притон погромщиков и убийц, до зубов вооруженных винтовками, пулеметами, гранатами и бомбами. Подонки Дункель, Пржиходский, доктор Котик и прочая мразь спроводировала вооруженные столкновения с войсками, причем не выпускала русскую молодежь из стен гимназии, подло прикрываясь ею от выстрелов и делая фактическим соучастником своего неслыханного преступления. После разгрома шайки сам Фидлер бежал, причем попутно сумел через подставных лиц продать свое недвижимое имущество. Процесс же по делу арестованных членов шайки окрестили «процессом детей» и добились полного оправдания убийц.

В Поволжье погибли миллионы. Разве в этом дело! Надо помогать детям Поволжья: Исидору Яковлевичу, Афанасию Яковлевичу, Кириллу Яковлевичу и Олегу Яковлевичу — двоюродным братьям Александра Яковлевича Альхена, да и ему самому вместе с Пашей Эмильевичем — двоюродным племянником жены.

«Остап Бендер увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирался ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и снимал с усов капустные водоросли».

Розанов писал: «...им мало денег, они пришли по душу русскую». И вот уже Осип Эмильевич пишет свою «Четвертую прозу», где исповедуется русскому народу, как его, Осипа Эмильевича, все обижает. А вот и Надежда Яковлевна, совесть русского народа.

Плечистые, с отожранными лоснящимися ряшками, с хитрыми глазками, родственники и друзья Апфельбаумов, Бронштейнов, Розенфельдов, Ягод и прочих директоров приютов. Дети Поволжья! Дети Поволжья! Все на помощь голодающим детям Поволжья! Что там у вас? «Церковные ценности»? — давайте ценности! Зарплата? — давайте зарплату! Может быть, что из вещей лишнее?! — давай и одежду! Все давай! Веревочка осталась? — давай и веревочку, и веревочка пригодится, а то, сука, после допроса удавиться. А мы вам гуманизм. Одеяло, а на одеяле «ноги» вышьем. «По одежке протягивай ножки».

И вот сейчас мировое еврейство всгрепенулось. Зазвенели подземные телефоны. Жидомасонская погань пригрозилась «изучать» «феномен русского национализма». Наладили луны и микроскопы, выписали цитаты, нарисовали диаграммы и таблицы. Евреи думают, что с ними будут разговаривать, что они будут «интересны». А время пришло вам умирать.

Мы не собираемся воевать против народов Европы, хотя на англичанах, французах и особенно немцах вина лежит тяжелая, почти неискупимая. Однако русский народ великодушен. Но с вами, господа жида, разговор будет особый. Своей кровью заплатите вы за все наши страдания, за десятки миллионов невинных жертв. Не бороться вы должны против советского правительства, а всеми силами поддерживать его, ибо оно еще только в состоянии как-то отсрочить близящийся час народной расправы. Наша месть будет ужасна! Мы так ударим кулаком по земному шару, что содрогнется весь мир! Термоядерным ластиком мы сотрем знаки сатанинской кабалистики, опутавшей кровавой цепью политического террора и шантажа весь свет. Плачьте заранее. От карающей длани «Союза русского народа» вам не скрыться в противоатомных bunkерах, не отсидеться на далеких тихоокеанских островах. Если вы и будете «отсиживаться», то на островах совсем другого «архипелага», столь заботливо измышленого вами для нашего народа. «Поднявший меч от меча и погибнет».

Слушайте, вы, красносотенная сволочь! Ну куда вы полезли? «Союз русского народа» сметет вас с планеты. Придет время, и вы будете вышвырнуты из своих кремлевских и капиталистических канцелярий в отхожую яму небытия, а ваши имена будут навсегда стерты со скрижалей мировой цивилизации. Придет время, и на страшном месте убиения великого Государа и его августейшей семьи воздвигнется храм, и такие же храмы и многообразные памятники в память Царя-мученика построятся даже в самых отдаленных уголках Солнечной системы, и русский народ будет всегда осенять себя крестным знамением, вспоминая имя незабвенного монарха.

IV. «Лакейский бал»⁴.

Эпиграф:

«Сократ. Сила почвы высасывает влагу мысли. Не то ли случается с капустой?

Стрепсиад. Что ты! Мышление капусты тянет влагу из почвы!» (Аристофан, «Облака»).

Существуют темы, требующие от исследователя особо бережного, особо деликатного отношения. Именно к таким темам относится история русской философии. Развитие самобытной русской мысли было насильственно прервано, и следствием этого явился разрыв культурной традиции, как бы стягивание философии на себя, превращение ее в относительно статичный и замкнутый мир, находящийся в состоянии внутреннего равновесия и не терпящий бесцеремонного вмешательства извне, из других эпох и временных пластов. Соловьев, Бердяев, Шестов, Розанов, Франк, Сергей Булгаков — каждая из фамилий является отдельной гранью удивительного, прекрасного и законченного феномена — русской философии.

И вот сейчас, в наше время, находится человек, ставящий перед собой целью не просто изучение и систематизацию наследия золотого века нашей философии и даже не применение его идей к анализу современного мира, а живое и непосредственное включение в интеллектуальный универсум России начала века. Этот человек хочет включиться в силовое поле полемики между Флоренским и Бердяевым, Розановым и Соловьевым, Шестовым и Ильиным. Что ж, подобное желание можно только удивленно приветствовать! Но к чему это приводит на практике? Позволю себе привести несколько реплик из книги этого человека (Одинокое, «Бесконечный тупик»): «истероидный психопат в костюме Тартарена из Тараскона» (это о Владимире Сергеевиче Соловьеве); «дебил», «агент ЧК» (о Николае Александровиче Бердяеве); «Хрущев русской философии» (о Льве Николаевиче Толстом); «злой христосик», «безобразнейшая личность» (о Николае Федоровиче Федорове); «посредственный медиовист, связавшийся с жидами» (о Георгии Петровиче Федотове).

Примеры можно продолжить. При этом он назойливо привязывает к оплевываемым мыслителям самого себя: Соловьев и Одинокое, Бердяев и Одинокое, Флоренский, Шестов, Розанов и т. д. и Одинокое. Безде рядом с до неузнаваемости окарикатуренными портретами наших философов оказывается самодовольно улыбающаяся физиономия их автора. «Мы пахали».

Впрочем, для одного мыслителя — Розанова — Одинокое делает исключение и превращает его в «Пушкина русской философии». Но секрет такого снисхождения прост. Оказывается, сам Одинокое — это двойник Розанова, или, точнее, Розанов имеет честь походить на Одинокое. Но Одинокое не довольствуется и этим и просто, со свойственной великим мира сего непосредственностью заявляет: «Я — гений». Да было это, г-н Одинокое, было! «Хам, наготу отца своего открывающий».

О знаменитом «Самопознании» — книге, которая, по статистике, является одной из наиболее читаемых в современном мире, — Одинокое заявляет, что с равным успехом ее можно было бы назвать «Короли и капуста», ибо там так же нет самопознания, как нет королей и капусты в известном романе О. Генри. Зато, добавим, в книге Одинокое есть и то и другое. Сам он — король, а окружающие — так, «капуста», кочаны которой можно пинать из стороны в сторону, а при случае и сесть на какой-нибудь приглянувшийся вологодский кочанчик и полетать на нем, как барон Мюнхгаузен на ядре. Все это, если использовать слова самого автора, капустный уровень, уровень квашеной капусты.

Читая «Бесконечный тупик», хочется крикнуть его автору: «Послушайте, что вы делаете? Остановитесь! Ведь это же саморазоблачение!» Ведь просто, по-человечески, Одинокое нельзя назвать заурядным графоманом. Чувствуется, что он знаком с трудами многих русских философов не понаслышке, читал первоисточники, конспектировал. Одним словом, тема разработана. И возможно, если бы Одинокое отнесся к теме своей работы более ответственно, если бы он поставил перед собой не первый взгляд пускай локальную задачу, но подошел к ней серьезно, без развязного субъективизма, то кто знает, может быть, автору и удалось бы выйти на действительно интересный уровень. «Мой бокал мал, но я пью из своего бокала». Одинокое же поднял пудовый «громоящий кубок» нашей великой культуры и, опьянев от первого же глотка, опрокинул его себе на голову и так и сел на пол. Из-под колпака чаши слышались отдельные нечленораздельные реплики, хотот, плач... «Тяжела ты, шапка Мономаха».

На этом нашу статью можно было бы и закончить, но есть тут еще один момент, на котором нельзя не остановиться, — уже не смешной, а гнусный. Я имею в виду антисемитизм г-на Одинокое. Существуют слова, от частого и часто лицемерного

⁴ Статья принадлежит видному эмигрантскому историку и культурологу и опубликована в религиозно-философском журнале ВКЛМНХД, № 10977.

употребления стершиеся, превратившиеся в штампы. И все же я не могу найти в своем лексиконе другого слова, более ясно и адекватно выражающего суть Одинокова. Одинокоев — это мракобес. Мракобес искренний, вдохновенный. Безнадежный. Наивно (наивно ли?) восприняв миф КГБ о масонах Одинокоев нашел в нем духовную санкцию на проявление своей глубокой ненависти по отношению ко всему миру. Причем ненависть эта вылилась у него в наиболее грубой, подлой и низкой форме — форме ненависти к другим народам и нациям, и прежде всего, конечно, к наиболее «удобной» для этого многострадальной еврейской нации. (Я не буду останавливаться на причинах этой злобы, это задача скорее психопатолога.)

Здесь, кстати, понятнее «родство» Одинокоева с Розановым. К сожалению, у этого мыслителя встречаются антисемитские высказывания, но, конечно, не они составляют суть его философии. Это скорее досадные оговорки, следствие сварливого характера. Но что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Одинокоев не обладает достоинствами Розанова, но сочетает в себе его недостатки. В этом смысле он, пожалуй, похож на Розанова... так же как любой глухой похож на Бетховена.

Нет нужды конкретно останавливаться на антисемитских «разоблачениях» Одинокоева. Они стары как мир. Замечу только, что автор, видимо, перепутал «гостиню» с «гостем» и заявил, что «евреи додумались до кровавой плесени на трупах». До плесени на трупах тут додумался сам Одинокоев, так как речь шла о развитии вида красных бактерий в тесте для гостий, то есть остатков для причастия в католической церкви. Согласно темной средневековой легенде евреи похищали гостии из церкви и кололи их иглами. Из отверстий лилась будто бы кровь Спасителя, а на христиан насылалась порча. Новейшие исследования привели к предположению, что возможным поводом к этому нелепому обвинению послужил феномен покраснения теста при попадании в него некоторых микроорганизмов.

Впрочем, довольно. На все это достаточно указать пальцем и пройти мимо. В 20-е годы Михаила Булгакова спросили, почему он не участвует в оживленных литературных дискуссиях, развернувшихся тогда вокруг наследия русских классиков. Булгаков ответил, что возникшая ситуация напоминает ему лакейский бал, когда хозяева ушли, а лакеи нацепили на себя господское платье, надели перчатки и цилиндры и начали друг перед другом ломаться. «Простите, но на такие балы я не хожу», — сказал Булгаков.

Что ж, мне остается только присоединиться к мнению нашего великого писателя⁵.

V. «Предисловие к «Бесконечному тупику» Одинокоева», Дора Иллюминатор.

Любимой книгой моего детства были «Сказки» Андерсена. А любимой сказкой Андерсена — «Русалочка». Русалочке, чтобы видеть своего принца, пришлось потерять голос. Ведьма отрезала ей язык и дала взамен прекрасные ножки. Каждый шаг причинял Русалочке страшную боль. Чтобы быть человеком, надо молчать, а каждый шаг по земле — шаг по острым стальным иглам. Одинокоев как раз такая русалочка. Или водяной, Протей, как сказал о Розанове современный исследователь его творчества Георг Штаммлер.

Одинокоев вслед за Протеем-Розановым постоянно ускользает от окончательного ответа, выскальзывает из наших рук, оставляя в зажатом кулаке читателя окончание хвоста, мгновенно загорающееся пламенем или рассыпающееся в песок. Поэтому очень наивен будет читатель, относящийся к этому произведению буквалистски. Такому человеку лучше и не открывать «Бесконечный тупик». Одинокоев постоянно издевается над подобного рода читателем. Вот он, например, назвал свою книгу «III частью» и «Примечаниями», хотя, конечно, ни I, ни II части просто нет в природе. Точнее, они воспроизводятся параллельно основному тексту. «I-II часть» получится, если прочесть сплошным текстом выделенные подзаголовки примечаний. Символ (и секрет) «пустого мышления» именно в этом и заключается. Если сначала прочесть текст заголовков, а потом текст примечаний, то «I-II часть» будет полубессознательной и магической. Здесь будет какой-то смысл, но именно «какой-то», почти неуловимый. После же примечаний текст будет совершенно понимаем и из магического станет символическим. Содержание опять уйдет, испарится. Осуществится призыв автора «не думать».

Также очень наивно будет проецировать образ Одинокоева — лирического героя на подлинного автора романа. Конечно, все обстоятельства жизни Одинокоева вымышлены от начала до конца. В сущности, мы ничего не можем сказать о настоящем авторе «Бесконечного тупика». Он полностью растворен в тексте. Одинокоев много говорит о себе, но на самом деле об Одинокоеве нам ничего не ясно. Неясен даже его возраст. Может быть, ему тридцать лет, а может, шестьдесят. Да что возраст! Я не могу сказать уверенно даже о поле автора. Вполне возможно, что это женщина. И вообще, может быть, книга написана двумя, тремя или целым коллективом авторов. Может быть, фамилия автора даже не Одинокоева, а Одинокоевы или даже Одинокоево, откуда взлетают серебристые птицы разлетающихся мыслей. Неопределенность личности автора хорошо иллюстрируется насильственно привнесенной в текст темой одинокоевской «гениальности». Действительно невозможно сказать, гениален этот роман, талантлив или бездарен (с точки зрения эстетической). Он вне критериев, вне стили. Это действительно совершенно разрушенный текст.

Разумеется, нельзя принимать всерьез и историческо-философские изыскания Одинокоева. Все его рассуждения о «русской национальной идее» или «новом мифе о

⁵ В конце статьи подпись: профессор Иерусалимского университета Мордехай Гершов Каценелленбоген.

Чехове» являются пародиями, ироническими стилизациями или провокациями-анакризмами, но ни в коем случае не моноидеологическими конструкциями. Не случайно сам Одинокоев несколько раз говорит о том, что из произведений русских писателей нельзя черпать фактические сведения. И поскольку «Бесконечный тупик» — это роман, то и никакой информации там нет. Например, рассуждения Одинокоева о масонах как две капли воды похожи на специально перевернутые объяснения планировки и расцветки комнат слепому герою набоковской «Камеры-обскуры». В качестве символической фигуры русского масона он изображает П. Н. Милокова, «приват-доцента Московского университета с набухшим от крови шнурком пенсне». Однако хорошо известно, что в первом составе Временного правительства масонами были десять министров, а немасоном только один — министр иностранных дел Павел Николаевич Милоков. Милоков никогда не принадлежал к сообществу франкмасонов, этой таинственной организации, участие которой в русской революции объясняется, впрочем, вполне прозаическими причинами.

Такой же «перевернутый» характер имеет и одинокоевский «антисемитизм». Уже эпизод с «вешалкой» достаточно двусмыслен, так как на самом деле является реминисценцией хорошо известного стихотворения Осипа Мандельштама:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант.
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.

• • •
Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
А там — вороньей шубою
На вешалке висеть.

Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно...
Брось, Александр Скердцевич,
Чего там, все равно...

Одинокоев борется не с евреями, к которым он совершенно равнодушен, а с собственной униженностью и с некоторыми частями своего «я», которые кажутся ему абстрактно-рассудочными, скептическими и лишенными творческого начала. Если автор заявляет, что «мне никто не интересен, кроме меня как русского», то к этому можно добавить, что точно так же он интересен себе «как еврей». «Русскость» и «еврейство» — это просто символические обозначения творческого и регрессивно-схоластического начала одинокоевского ума. Отношение к реальной дилемме русского и еврейского сознания они имеют весьма косвенное. Возможно, биологически Одинокоев и русский (хотя и совершенно бы не удивилась, если бы он оказался евреем, немцем, поляком или как он говорит, марсианином). Но в духовном смысле Одинокоев совершенно безнационален, поэтому «национальное» для него просто лишено смысла. Если некоторые характеристики элементарных частей, непередаваемые в терминах макромира, называют очарованностью и странностью, то Одинокоев некоторые недоступные ему на уровне сознания части своего внутреннего мира назвал русскостью и еврейством.

Более того. Все высказывания Одинокоева о русских и евреях есть утонченная форма издевательства над национализмом, ибо построены в виде абсолютной оборачиваемости. Например, говоря о различии между еврейским и «арийским» подходами к понятию ценности, он говорит:

«Золото обладает ценой и поэтому это золото, и золото — это золото и поэтому оно ценно. На таком уровне, на уровне мистики денег, отличия, в сущности, нет его невозможно понять, но в более сложных областях человеческого духа эти два отношения к ценностям начинают катастрофически расходиться и на вершине становятся антиподами».

Вершина здесь — это, видимо, отношение к Богу. Еврейская точка зрения: Бог совершенен и поэтому я испытываю к Нему совершенное чувство, совершенную любовь. «Арийская» точка зрения: я испытываю к Богу совершенную любовь и поэтому Бог совершенен. Как я ни ломала голову, так и не смогла понять: в чем же здесь разница? По-моему, ее здесь так же нет, как и в случае с золотом. И лишь потом я догадалась, что Одинокоев тут шутит. Такой же шуткой о «курице и яйце» является, например, и утверждение о «стилизованном релятивизме» Льва Шестова. Ведь с таким же успехом можно сказать, что еврейская релятивность, выразившаяся в философии Шестова, ополчена русскими (то есть самим Одинокоевым).

К какому же жанру относится «Бесконечный тупик», произведение столь двусмысленное и противоречивое? Используя термин литературоведения Бахтина, можно сказать, что перед нами типичная меннипова сатира. Согласно концепции Бахтина первоначальная элементарная выделенность литературных жанров (эпос, лирика, трагедия, комедия и т. д.) в процессе развития сплетается в единую козровую ткань синтетического «карнавального жанра», характерного для наиболее зрелых культур (например, для культуры эллинизма).

Карнавальная литература носит название менниповой сатиры (сатурны), по имени философа-киника III века до н. эры Меннипа из Гадары. Впоследствии традиции Меннипа развивали Лукиан, Варрон, Сенека, Петроний. Меннипии характерны для позднесредневековой культуры (например, во Франции XVI века), для творчества До-

стоевского («Дневник писателя»). Этот же жанр развивает в своем творчестве и Одинок. В «Бесконечном тупике» легко прослеживаются основные признаки меннипей. Ниже я даю признаки меннипей по Бахтину и иллюстрирую их конкретными примерами из книги Одинокова.

1. «Меннипея полностью освобождается от мемуарно-исторических ограничений, она свободна от предания и не скована никакими требованиями внешнего жизненного правдоподобия. Меннипея характеризуется исключительной свободой сюжета и философского вымысла. Этому несколько не мешает то, что ведущими героями меннипей являются исторические и легендарные фигуры...»

Героями «Бесконечного тупика» являются крупнейшие русские писатели и философы: Соловьев, Розанов, Бердяев, Толстой, Чехов и другие. Отнесение книги Одинокова к жанру менниповой сатиры позволяет понять стилистическую обусловленность превращения этих людей в гротескные маски, имеющие ровно столько сходства с реальностью, сколько необходимо для успешной смеховой идентификации. Одинок здесь очень точно следует канонам жанра.

2. «В меннипея самая смелая и необузданная фантастика и авантюра внутренне мотивируются, оправдываются, освящаются здесь чисто идейно-философской целью — создавать исключительные ситуации для провоцирования и испытания философской идеи — слова правды, воплощенной в образе мудреца, искателя этой правды... фантастика служит здесь не для положительного воплощения правды, а для ее искания, провоцирования и, главное, для ее испытания».

Образом мудреца, «Меннипа», в нашем случае является лирический герой Розанов-Одинок, находящийся в постоянном и крайне напряженном контакте с жуткими масками «масонов» и «немецких шпионов». Этот бредовый миф провоцирует читателя на отказ от устоявшихся стереотипов мышления, путает его и дезориентирует. И в конце концов поверх стертой программы Одинок нащупывает неуловимый контур собственного религиозно-мистического мироощущения. При этом одинокщина не декларируется, а находится в постоянном процессе динамического опровержения.

3. «Очень важной особенностью меннипей является органическое сочетание в ней свободной фантастики, символики и — иногда — мистико-религиозного элемента с крайним и грубым (с нашей точки зрения) трещиноватым натурализмом».

Идеальным примером подобного сочетания является «капустная теория» Одинокова, где в хамски-глумливой форме автор высказывает свои сокровеннейшие мысли, служащие костяком его философски-религиозной системы.

4. «Смелость вымысла и фантастики сочетается в меннипея с исключительным философским универсализмом и предельной мирозерцательностью. Меннипея — это жанр «последних вопросов». В ней испытываются последние философские позиции. Меннипея стремится давать как бы последние, решающие слова и поступки человека, в каждом из которых — весь человек и вся его жизнь в целом».

Все в книге Одинокова подлежит философскому перетолкованию и «выстраиванию». Характерным примером «последнего слова и поступка» является «вешалка» — смешной бытовой эпизод, который переосмысливается с позиций метафизических и религиозных и превращается в некую жизненную точку, фокус всей предыдущей и последующей жизни лирического героя.

5. «В связи с философским универсализмом меннипей в ней появляется трехпланное построение: действие и диалогические синкризы переносятся с Земли на Олимп и в преисподнюю».

«Олимп», то есть божественный план человеческого бытия, постоянно присутствует в «Бесконечном тупике». Это аура молчания и умолчания. Создается молчаливая светлая тень вокруг почти каждого эпизода повествования. Одинок постоянно подчеркивает присутствие невыразимого прекрасного — объективно существующего, но ему недоступного.

О «преисподней» же говорится в «Тупике» очень много и, что называется, запросто. Собственно, книга Одинокова — это опыт православной демонологии. Дьявольщина настолько пронизываемы мысли автора, что и сам он иногда кажется не чуждым демонической природе (кстати, одно из славянских названий нечистой силы — Единоок). Это такой несчастный чертик или, может быть, как говорил Ремизов, «кикимора». А может быть, русалка. Русая русская русалочка, ласково хихикающая и завлекающая невинного читателя в холодный омут собственной сексуальной патологии. И отец у Одинокова тоже чертик, пьяненький чертик, меланхолически уплетающий уху из гнилых окурков. И живет Одинок в подводном царстве Ресефесеерии. где туда и сюда проплывают разные генсеки, райсобесы, комсомолы и сексоты.

6. «В меннипея появляется особый тип экспериментирующей фантастики, совершенно чуждый античному эпосу и трагедии: наблюдение с какой-нибудь необычной точки зрения, например с высоты, при которой резко изменяются масштабы наблюдаемых явлений жизни (например, Свифт)».

Во-первых, автор «Бесконечного тупика» уже сам по себе живет в фантастическом обществе, в обществе, страдающем социалопфренией, так что ему и не нужно выдумывать страну лилипутов, лапутян или гуингменов. Он сам живет в стране гулагменов.

Во-вторых, может быть, в силу природной «выламанности кем-то» Одинокоев свою очередь сознательно экспериментирует по ходу повествования, сначала насильственно погружая себя в тупики произвольно навязанных «директив», а потом виртуозно выкарабкиваясь из них, используя малейшие шероховатости и трещинки фактуры родного языка. Похоже, что эта игра доставляет ему неизъяснимое удовольствие.

7. «Меннипеее свойственно морально-психологическое экспериментирование: изображение необычных, ненормальных морально-психических состояний человека — безумий всякого рода («маниакальная тематика»), раздвоения личности, необузданной мечтательности, необычных снов, страстей, граничащих с безумием, самоубийств и т. п.»

Все эти признаки наличествуют в рассматриваемом произведении. К «маниакальной тематике» относится масонская и еврейская фобия Одинокоева, принимающая форму хрестоматийной паранойи. В то же время Одинокоев сознает патологический характер своего антисемитизма. Так что тут налицо и «раздвоение личности». Этому раздвоению свойственна крайняя динамичность и агрессивность. Раздвоение переходит в расстройство-расстройство и расцветверение-распыление. Одинокоев оборачивается Многооковым. Свойственны автору и «необузданная мечтательность», и «необычные сны», и «безумные страсти». И наконец, может быть, центральной темой является тема самоубийства. Вся эта книга в условиях современной России есть форма изощренного самоубийства.

8. «Для меннипееи очень характерны сцены скандалов, эксцентрического поведения, неуместных речей и выступлений, то есть всяческие нарушения общепринятого и обычного хода событий, установленных норм поведения и этикета, в том числе и речевого... Для меннипееи характерно «неуместное слово» — неуместное или по своей циничной откровенности, или по профанирующему разоблачению священного...»

Собственно, весь текст «Бесконечного тупика» неуместен, о чем сам Одинокоев неоднократно и говорит.

9. «Меннипеея наполнена резкими контрастами и оксюморонными сочетаниями: добродетельная гетера, истинная свобода мудреца и его рабское положение и т. д. Меннипеея любит играть резкими переходами и сменами... неожиданными сближениями далекого и разрозненного...»

В этот пункт хорошо вписывается образ «философа-лжеца», олицетворением которого, по Одинокоеву, являются практически все русские мыслители.

10. «Меннипеея часто включает в себя элементы социальной утопии, которые вводятся в форме сновидений или путешествий в неведомые страны; иногда меннипеея прямо перерастает в утопический роман».

Именно к последнему типу меннипееи относится «Бесконечный тупик». Мышление Одинокоева явно утопично. Автор продолжает классическую славянофильскую утопию о Москве — третьем Риме, увязывая ее с современной действительностью. С одной стороны, он расширяет масштаб утопии до галактических размеров. С другой стороны, учитывая национальный крах русской культуры и расселение ее носителей по всему миру, Одинокоев пытается направить утопию по човому, субгосударственному руслу. Третий Рим превращается в Москву-невидимку, в невидимый град Китеж, строящийся, увы, все теми же вольными каменщиками, но не в фартуках строителей храма Соломона, а в косоворотках и рукавицах отечественного производства. Так жидомасонская мифология превращается в мифологию русомасонскую. Как и положено, мания преследования с железной последовательностью дополняется манией величия. Конечно, авторский образ Одинокоева здесь резко пародийен.

11. «Для меннипееи характерно широкое использование вставных жанров: новелл, писем, ораторских речей... и др., характерно смещение прозаической и стихотворной речи. Вставные жанры даются на разных дистанциях от последней авторской позиции, то есть с разной степенью пародийности и объективности. Стихотворные партии почти всегда даются с какой-то степенью пародийности... Наличие вставных жанров усиливает многостильность и многогранность меннипееи; здесь складывается новое отношение к слову как материалу литературы... Наряду с изображающим словом появляется изображенное слово; в некоторых жанрах ведущую роль играют двуголосые слова».

Вся книга Одинокоева и образована вставкой друг в друга нескольких вставных жанров. предварительно размочаенных и сплетенных затем в пестрый ковер. Так, биографические воспоминания лирического героя образуют ленту, периодически то влетающую, то выплетающуюся из общего хода повествования.

Свообразной особенностью лоскутного характера меннипееи является, как сказал Бахтин, «пародийно переосмысленные цитаты». Цитат у Одинокоева огромное количество. Одна из тем «Тупика» — это постоянное, используя выражение автора, «обыгрывание» различных цитат, взятых из совершенно разных источников и превращающихся при насильственном соединении в ходячие двусмысленности.

12. «Наконец, последняя особенность меннипей — ее злободневная публицистичность. Это своего рода «журналистский» жанр древности, остро откликающийся на идеологическую злобу дня. Так, например, сатиры Лукиана в своей совокупности — это целая энциклопедия его современности: они полны открытой и скрытой полемики с различными философскими, религиозными, идеологическими, научными школами, направлениями и течениями современности, полны образов современных или недавно умерших деятелей, «властителей дум» во всех сферах общественной и идеологической жизни... полны аллюзий на большие и маленькие события эпохи, нащупывают новые тенденции в развитии бытовой жизни, показывают нарождающиеся социальные типы... и т. п. Это своего рода «Дневник писателя», стремящийся разгадать и оценить общий дух и тенденцию становящейся современности...»

С этой точки зрения «Бесконечный тупик» является крепчайшим раствором всех идеологических течений современной московской жизни. Все разговоры, суды и пересуды спрессованы Одиноким в один тысячестраничный том. В подобной «энциклопедичности» особая ценность этого удивительного произведения для читателя-эмигранта. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»

Квалификация «Бесконечного тупика» как меннипей позволяет глубже понять внутренний смысл произведения. Сам Бахтин считал создание жанра менниповой сатиры проявлением «разрушения эпической и трагической целостности человека и его судьбы». В жизни эпохи, породившей меннипею, происходило

«обесценивание всех внешних положений человека... превращение их в роли, разыгрываемые на подмостках мирового театра по воле слепой судьбы».

Суть осознающей это положение менниповой сатиры —

«открытие внутреннего человека — себя самого», доступного не пассивному самонаблюдению, а только активному диалогическому подходу к себе самому, разрушающему наивную целостность представлений о себе, лежавшую в основе лирического, эпического и трагического образа человека. Диалогический подход к себе самому разбивает внешние оболочки образа себя самого, существующие для других людей, определяющие внешнюю оценку человека (в глазах других) и замутняющие чистоту самосознания».

Сновидения, мечты, безумие и скандалы меннипей разрушают целостность человека и его судьбы.

«В нем раскрываются возможности иного человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать с самим собой»

Но невыносимая усложненность внутренней жизни, освобождающая от однозначной зависимости от реальности, выбрасывает человека в пустыню внутреннего одиночества, в пустыню, насквозь продуваемую всеми ветрами эпохи. Что такое родина Одинокова? Как писал Чацкий:

Союз-Орда и Золотая Зона,
Архипелаг в Эгейском море ига

Может ли одинокая русалочка выдержать самую сумасшедшего ума, сметающий в небытие целые народы? Отсюда чувство грусти и угасания. Русалочка Одинокова скрывается в тихом омуте сумеречного одиночества. И этим колеблющимся сумеречным светом освещены лучшие страницы романа. А вокруг ухрыстливо и муравьино идет знойная жизнь подводной пустыни:

Как из крови построить пирамиду?
— Кормить клопов постельных в ячеистых
И многоверстных стойлах человеческих.
В казармах душных, бесоконных, безнадежных.
И гребешками ласково собирать
Малыню красную в гигантские луношки,
Давить под прессом в темные брикеты.
Сушить в печах сырые кровяные кирпичи
И отвозить на стройки малолеток.

Ах, бедная Одинокова, куда ты попала! Все слова сказаны, все роли сыграны, и сатанинский спектакль продолжается «просто так», по инерции. Россия выговорилась. «Русский язык, миленький, отпусти меня», — плачет русалочка. Куда же он ее может отпустить? — в свободу небытия.

«Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согрели мертвенно-холодную морскую пену, и Русалочка не чувствовала, что умирает...»

— Куда я иду? — спросила она, поднимаясь в воздух; и голос ее прозвучал так дивно и одухотворенно, что земная музыка не смогла бы передать этих звуков.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания. — У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим людям отраду и исцеление. Триста лет мы посильно делаем добро, а потом

получаем в награду бессмертную душу и вкушаем вечное блаженство, доступное человеку. Ты, бедная Русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, ты любила и страдала, — поднимись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь заслужить бессмертную душу добрыми делами и обретишь ее через триста лет!

И Русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу, и впервые на глазах ее показались слезы...

Прощай, бедная русалочка!

VI. «Бесконечная предумышленность», Семен Шапкин⁶.

Недавно на русскоязычном книжном рынке появилось весьма своеобразное произведение. Я имею в виду книгу Одинокова «Бесконечный тупик». Несомненно. Одинокоев обладает талантом критического мышления. Но, к сожалению, его часто действительно интересные высказывания о творчестве Набокова или Розанова постоянно перебиваются аляповатыми субъективно-романтическими репликами. Они не только нарушают смысловое единство произведения, но и, увы, просто дискредитируют Одинокоева, принижают общее впечатление от прочитанного. Автор, видимо, сам чувствует это и пытается компенсировать дефект за счет вторичной интеллектуализации, так что разрывы текста искусственно трансформируются из естественных огрехов в надуманные символы.

Мышление Одинокоева очень жесткое, коварное. И сам этот человек, каким он предстает на страницах «Тупика», — весь холодный, выделанный, как бы вылитый из стали. Он хочет казаться иногда разболтанным, слабым, даже сумасшедшим, но на самом деле сумасшествие его предумышленное и вымышленное. Одинокоев взял учебник по психопатологии и стал аккуратно, по-научному кривляться, сходить с ума. Если Шестов сказал, что Достоевский и Ницше «типичные обратные симулянты», то автор «Бесконечного тупика» симулянт самый что ни на есть прямой. На самом деле это рационалист до мозга костей. Все у него продумано, все высчитано и вымерено на весах прямо-таки нечеловеческой логики. Не случайно он пишет, что даже собственные сны подвергал развещающему анализу.

За внешне разнородной и иррациональной формой «Бесконечного тупика» скрывается конкретное осуществление центральной со времен Соловьева задачи — задачи создания философии всеединства и синтеза отвлеченных начал. Центральную задачу Одинокоев зашифровал «текстом». Но «текста» на самом деле нет, а есть таящийся под ним рациональный металлический каркас.

В каждом сумасшествии есть своя логика. Логика же человека, симулирующего сумасшествие, просто железная. Пусть нас не вводит в заблуждение якобы иррациональная форма изложения и маскировка под некое художественное произведение. «Бесконечный тупик» — это прежде всего философская работа. И работа очень продуманная. Я бы даже сказал, максимально продуманная. Купиться на ее раскрашенную оболочку — это значит ничего не понять в системе Одинокоева. Давайте же ее сорвем и попытаемся реконструировать внутренний замысел одинокоевщины.

Одинокоев считает, что опыт русской «религиозной философии» в целом следует признать неудачным. Либо это «вокруг и около религиозные» мыслители, часто достаточно интересные, либо это в той или иной степени ипостаси эклектики (в худшем смысле этого слова). Наиболее яркий пример второй категории — Флоренский. Его «Столп и утверждение истины» является работой, пожалуй, наиболее близкой к собственно православию. Даже ближе, чем труды Булгакова (тоже священника). Булгаков все же или философствовал (и тогда его относило впасть до карикатурной бердяевщины), или богословствовал (тогда все получалось, может быть, и правильно, но не философски, антифилософски). А Флоренскому удалось философствовать внутри православия. Но эта «внутренность» весьма мало актуализировалась в «Столпе» и, видимо, так и осталась субъективной тайной философа. Продуктивной частью восьмисотстраничной книги Флоренского является примерно одна десятая часть, посвященная символической интерпретации проблем иррациональной логики. Задачей мыслителя должна была стать иллюстративная связь этой сердцевины книги с религией и потом косвенный, нежный выход на православие. Но Флоренский этого сделать не смог. Причина неудачи в субъективности содержания и «объективности» формы, в неспособности к субъективной, неотстраненной форме. В конечном счете это следствие общего характера православия, не склонного к философскому выражению.

Одинокоев понимает это противоречие, выводя собственно религиозную проблематику за пределы философского умозрения. Однако он не владеет при этом в уже совсем бесплодный русский сциентизм, так как объявляет выпрыгнутое за шиворот православие чем-то настолько высоким, светлым и чистым, о чем и говорить-то грех. Это же внутренний, таинственный опыт, дар Бога, около которого надо кормиться, окармливать и благоговейно молчать. Или петь, плакать, но не говорить. Это ловкий и сильный ход.

Одинокоеву необходима моральная санкция для своих построений. Необходима уже потому, что официальной философской мысли в стране сейчас нет, а философия все-таки не терпит неофициальности, диалетантизма. Нужна, грубо говоря, «справка». Ее автор находит у несчастного и простодушного Розанова. Конечно, трудно подыскать более удобную кандидатуру для легализации своих идей. Пошарив в розановском ко-

⁶ Опубликовано в нью-йоркском философском журнале «Нус».

робе, всегда можно вытянуть что-нибудь подходящее. И тут мы видим тоже дьявольски продуманную комбинацию.

У Розанова, видимо, неожиданно для себя (хотя вряд ли возможно со стороны этого человека что-либо случайное и неожиданное, он натолкнулся и на удивительный прием интимничания, придания веса своим рассуждениям за счет их выпуклого субъективизма. Подлинность переживания тут компенсирует недостаток аргументации. Это как в стихах, где ритм и рифма служат опорой для в прозе убогого содержания (попробуйте изложить в прозе самую гениальную эпиграмму — получится глупо и плоско).

Из переосмысления этого приема родилась его блестящая интерпретация — то, что Одинокое называет двойной заглушкой, или интеллектуальной девальвацией. Сам Василий Васильевич этим никогда не занимался. (Утверждение со стороны Одинокое обратное — это, конечно, пример липовой справки, которую он сам себе выписал, подделав почерк Розанова.) Ренегатство Розанова действительно было ренегатством, перебегаем из одного лагеря в другой «из-за денег» и, шире, из-за соответствующей общественно-политической конъюнктуры. Если сделать разверстку во времени, то никаких столкновений лбами мнений Розанова не будет, как не будет столкновения утверждений Достоевского в 840-х и 870-х годах. «Заклушка» — это ловкий софистический прием, вышибающий, по замыслу Одинокое, почву из-под ног оппонентов. Одинокое занимается философским браконьерством. Его «заклушки» — это динамит, которым он глушит всех окружающих. Вокруг «Бесконечного тупика» образуется мертвая зона, где покачивается кверху брюхом мертвая рыба передернутых и передразненных аргументов.

Однако это лишь внешний слой системы Одинокое. На самом деле его мышление гораздо сложнее.

Вслед за Флоренским автор книги считает, что мир как таковой релятивен и антиномичен. Одинаково существуют взаимоисключающие аксиомы, A и \bar{A} . A если существуют и A и \bar{A} , то следовательно, существует и A и \bar{A} . Но равно имеет право на существование и \bar{A} или \bar{A} . Существует $(A$ и $\bar{A})$ и $(\bar{A}$ или $A)$. Может существовать и более сложная антиномия: $/(A$ и $\bar{A})$ и $(A$ или $\bar{A})/$ и $/(A$ и $\bar{A})$ или $(A$ или $\bar{A})/$. И так до бесконечности.

Собственно, об этом и говорил Флоренский, понимая ощущение ничтожности мира как смирение перед его релятивностью (и, следовательно, мненьностью-мнимостью своего знания о нем), а ощущение величия мира понимая как интуитивное и благодарное принятие «догмата», то есть символического, а следовательно, цельного (совершенного) выражения абсолютности и сотворенности этой относительности. В своем главном труде Флоренский писал:

«Истина есть такое суждение, которое содержит в себе и предел всех отменений его, или, иначе, истина есть суждение само-противоречивое. Безусловность истины с формальной стороны в том и выражается, что она заранее подразумевает и принимает свое отрицание и отвечает на сомнение в своей истинности принятием в себя этого сомнения и даже — в его пределе. Истина потому и есть истина, что не боится никаких оспариваний; а не боится их потому, что сама говорит против себя более, чем может сказать какое угодно отрицание; но это само-отрицание свое истина сочетает с утверждением. Для рассудка истина есть противоречие, и это противоречие делается явным, лишь только истина получает словесную формулировку. Каждое из противоречащих предположений содержится в суждении истины, и потому наличность каждого из них доказуема с одинаковою степенью убедительности, — с необходимостью. Тезис и антитезис вместе образуют выражение истины. Другими словами, истина есть антиномия и не может не быть таковою. Впрочем, она и не должна быть иною, ибо загодя можно утверждать, что познание истины требует духовной жизни и, следовательно, есть подвиг. А подвиг рассудка есть вера, т. е. само-отрешение. Акт само-отрешения рассудка и есть высказывание антиномии».

Для Флоренского, человека глубоко верующего, рассыпанность его мышления не является чем-то мучительным, ибо предстает прежде всего формой смирения и покаяния перед Абсолютом. Абсолют обладает недостижимой для конечного существа цельностью и в иррациональном акте любви все равно наделяет человека этой цельностью, пускай и недоступной его конечному сознанию.

Но Одинокое атеист. Он вполне сознает релятивность мира, но не видит его единства, объединения. Даже хуже. На уровне интеллекта он вполне сознает существование Верховного объединяющего начала, но на уровне душевного порыва этого начала для Одинокое нет. Бог — есть, связи с Богом (религии) — нет. Следовательно, в центр разлетающейся вселенной Одинокое неизбежно ставит свое «я». А его «я» погрязает в дурной бесконечности самооправдания, так как, естественно, не в силах слушать «о н т о л о г и ч е с к и м» основанием мирового единения.

Предусматриваемость окружающих мнений, агрессивная включенность их в собственные построения — это и есть синтез отвлеченных начал, но не статический, а динамический. Одинокоевщина является бесконечным метамифологическим полем, при малейшем возмущении порождающим материю той или иной идеальной конструкции. По своей задуманности оно бесконечно, так как самозамкнуто. И это мое утверждение включается в метамиф Одинокое. Брошенное в контекст его мышления, оно оседает там в форме констатации филологического шарлатанства, вслед за Гегелем покрывающего насильственными логическими построениями естественную фантазию магических образов (национальная идея, мировой дух и т. д.). Это придает произведению Одинокое

странную и невыразимую двусмысленность, которую сам он мучительно создает и пытается весьма неточно квалифицировать как «глумление». Чтобы почувствовать, что это такое, представьте на минуту, что эта статья написана не мною, а самим Одиноквым и помещена в тексте его произведения. Реально ни к чему не придерешься, но за ее гладкими страницами будет бушевать океан злорадства. Ошибочной будет не моя аргументация и даже не мой замысел. А само мое существование окажется ошибкой, фикцией. Шуткой.

Платой за абсолютный объем одиноковщины является абсолютная пустота содержания. Синтез отвлеченных начал, столь желанный для Соловьева, возможен лишь в бессловесной глубине. Это синтез не в слове, а через слово, в преодолении слова. Верить и любить нельзя. Можно уйти.

Одинокв говорит о максимальной пустоте своего мира в максимально яркой, нарядной, карнавальной форме. На страницах его книги дерутся ломami и дарят игрушки, умирают от рака и едят капусту, плещут в лицо серной кислотой и целуют руки. Визжа, кубыряясь в воздухе, вышагивая на ходулях и проскакывая галопом на четвереньках, несется в карнавальном вихре целый легион философских, литературных и исторических персонажей. Для оппонентов Одиноква накачал огромное силовое поле, магическим кругом защищающее все порождения его фантазии, но внутри бесконечной круглой ограды, чувствуя полную безнаказанность, он с «купецким размахом» «отводит душу». Великий Одиноквий океан порождает для испытываемого читателя целую вереницу фантомов, которые, вереща, кривляясь и высывая языки, загоняют его в бесконечный тупик последнего молчания.

Если использовать терминологию современного литературоведения, то «Бесконечный тупик» является метапародией, то есть принципиально полифоническим произведением, где какой-либо окончательный выбор той или иной точки зрения предвосхищен и заранее спародирован в этом же тексте (включая и сам пародийный подход как таковой, который тоже является объектом пародирования «второго порядка»).

Однако метапародия является лишь литературной тенью философской концепции автора. Собственно литература и литературное воплощение его не интересуют. Некая литературная форма «Бесконечного тупика» (кстати, неизбежная в России) есть лишь побочный результат интеллектуального существования Одиноква. Такой же побочный, как правильный геометрический орнамент, в силу бездушного эстетизма вычерченный природой на чешуе зверя. С равным успехом Одинокв мог бы оформить какую-нибудь космогоническую гипотезу в виде расчетной книжки за газ и электричество.

Но в свою очередь (и это главное) и собственно философствование является для автора таким же побочным продуктом, тенью его совершенно замкнутого и ирреального существования. Интуитивное постижение мира, его субъективности, тварности и конечности, достигнув некоего предела, приводит к полному равнодушию и принципиальному нежеланию зачем-то (зачем?) раскрывать этот опыт. Все же попытка этого, и попытка исключительно серьезная, вызвана совершенно низменными (для автора оскорбительными) причинами. С большим трудом Одинокву еще удастся быть философом, но онускаясь еще ниже, в «литературу» (которую он вообще ненавидит), он обнаруживает свой подлинный, в сущности антиписательский дар. Дар говорит ни о чем. И чем конкретнее, наконец, грубее говорит Одинокв, тем менее он говорит о чем-то реальном.

Если выстроить цепочку порождаемости (то есть цепочку персонажей), то она замыкается самим Одиноквым, который по полноте и охвату выражения является Богом. Одинокв превращается даже не в Единого Макса Штирнера, а в Единое Плотина. Это последний ход дьявольской композиции. Это какой-то неслыханный, фантастический рационализм. Когда я читал «Бесконечный тупик», то чувствовал, что мне в мозг вворачивают ржавый шуруп. Сзади нависла надо мною холодная, страшная фигура Одиноква, с нечеловеческим упорством вворачивающего шуруп отверткой злобой, бредовой воли. Отвертка скользила по склизкой от крови шляпке, срывалась и сдирала лоскутами кожу с моего черепа, но вновь и вновь оборот за оборотом, страница за страницей ввинчивалась в череп стальной спиралью бред одинокого сознания. Одиноквовское «я» ржавым острием засело в самый центр мозга, так глубоко, что даже на губах появился кровавый привкус ржавчины. С ужасом я вырнула эту книгу и повалилась на пол, схватившись за ржавое жало. Но слишком поздно, с последней строчки я понял весь Замысел. Как летучая мышь, вампир Одинокв облизал мне череп холодным наркотическим языком. Какая ужасная, какая страшная книга! Какая шахматная злорадная предумышленность с издевательским компотом из сухофруктов в конце!

VII. «Некоторые аспекты трансформации современного восточнохристианского сознания», Дитрих фон Халькофски⁷.

Весьма интересной для психисторического анализа является и книга современного русского интеллектуала Одиноква «Бесконечный тупик». Биография Одиноква, безусловно истинную, и ее ложную, но характерную интерпретацию следует рассмотреть в контексте русской истории. Именно тогда раскроется ее внутренний смысл и, соответственно, станут более понятными некоторые устремления современного русского общества.

В биографии Одиноква легко выделить три основных этапа.

1. Нарастание отчужденности по отношению к отцу и его смерть-убийство.

⁷ Глава из книги «К проблеме диффузии Запада и Востока», вышедшей в ФРГ на немецком языке.

2. Кризис идентичности: уход от людей, замкнутость и молчание (так называемый психический мораторий).

3. Обретение новой идентичности и приход к людям в качестве учителя, автора гениальных книг и пророка, наделенного даром харизмы.

В результате сформировалась определенная личность, обладающая рядом специфических черт. Из этих черт наибольший интерес для нашего исследования представляют следующие три.

1. Склонность к образованию сверхценных идей. Внешне Одинокоев иногда может казаться человеком, способным к диалогу, поддающимся внушению и даже циничным. Но на самом деле это маньяк, абсолютно замкнутый для посторонней мысли.

2. Потенциал агрессивной энергии. Большей частью эта энергия направляется на собственное «я», что порождает устойчивую депрессию. Депрессия приводит к периодическим духовным кризисам. Каждое сомнение превращается у подобного человека в вопрос жизни и смерти. Его лозунг: «Все или ничего». Неудачи при таких жизненных ориентирах переживаются крайне болезненно и квалифицируются как окончательное подтверждение собственной ничтожности. Наоборот, любая удача агрессивно используется и порождает все большие и большие претензии. В неудаче такие люди становятся очень злобными и агрессивными, в удаче — такими же агрессивными, но с оттенком бесшабашной и самоуверенной наглости. Однако другой стороной этой черты личности является мечтательность, впечатлительность, оторванность от реального мира и, что особенно важно, способность накапливать свои мечтания и впечатления годами, пока они в конце концов не прорываются с фатальной и всеразрушающей силой.

3. Магический дар воздействия на окружающих. Одинокоев несомненно является даже в чисто биологическом отношении выдающимся индивидуумом. Одинокоев — тугой узел различных психических потенций. Уже их простая активация способна глубоко воздействовать на других людей. Кроме того, он склонен к активизации резкой, непредсказуемой, что необычно усиливает эффект. Этот человек обладает даром кардинальным образом изменять мнение окружающих о себе, что создает вокруг него ореол загадочности и динамической вовлеченности в чужую волю. Тут же стоит заметить, что Одинокоев просто талантливый и настойчивый пропагандист, способный к постоянно и часто внешне незаметному вдалбливанию в головы собеседников и читателей определенного круга идей. Делает он это с большой изобретательностью, используя весь инструментарий идеологической ломки: от иронических шуток до едких сарказмов; от интимного шепота до истерического визга; от логики до параноидального бреда; и, наконец, от тонкого кружева намеков, адресованных интеллектуалу-гуманитарии, до примитивных агиток, рассчитанных на самый нетребовательный вкус.

Вообще говоря, у типа людей, к которому относится Одинокоев, подобный набор качеств долгое время находится в латентном состоянии и распускается махровым цветом лишь при особом сочетании как внешних, так и внутренних условий. При неудачном исходе кризиса идентичности большинство описанных выше черт редуцируется, так и не успев вполне зафиксироваться и проявиться. Происходит своеобразное самозамыкание, разряжающее и разрушающее аккумулятор психической энергии. В результате личность с подобным набором качеств в конце концов трансформируется в так называемого чудака, то есть патологически замкнутого («нелепого») психопата. Характерными особенностями этого типа психопатов являются отгороженность от реального мира, необщительность, склонность к одиночеству и мечтательности, резонерство и отвлеченность мышления. Люди подобного сорта плохо разбираются в реальной обстановке. Их действия часто бывают неожиданны и непонятны для окружающих. Эмоционально они большей частью холодны, сосредоточены на эгоистических переживаниях. Несчастья окружающих их трогают мало. Часто они бывают упрямы, прямолинейны, обидчивы, самолюбивы. Характерной чертой замкнутых психопатов являются различного рода странности, приводящие к расстраиванию сил на непродуктивные и экстравагантные занятия: коллекционерство (как правило, очень экзотического сорта), составление различного рода картотек, таблиц и графиков, большей частью бессмысленных и нелепых (например, вычерчивание генеалогического древа давно умерших царствующих особ). Встречается и писание всякого рода странных, вычурных по форме и фантастических по содержанию произведений, основная тема которых — описание собственных страданий.

Как правило, психопаты подобного рода тихо и безобидно доживают свой век где-нибудь на отшибе. Это своеобразные пустоцветы, лишние люди даже в смысле биологическом, так как они не способны к эмоциональному воздействию на окружающих и уже поэтому не могут иметь ни полноценной семьи, ни потомства.

Но в случае успешного преодоления кризиса идентичности именно эти люди как бы самой судьбой предназначены играть ведущую роль в истории своей нации.

Расы или нации, подобно индивидуам, обладают собственными архетипическими особенностями (о чем писал, в частности, К. Юнг). Соответственно каждой нации свойственно порождать время от времени наиболее сильные национальные типы, которые являются наиболее утонченными носителями национальной идеи. Подобные личности склонны к спонтанному порождению национальных мифов, то есть такого сплетения фактов и вымысла, которое для их национального сознания звучит как «Истина». Подобные мифы, резонируя с подсознательными устремлениями толпы, способны объективироваться, то есть попросту сбываться. При этом объективирующая личность превращается в символический образ, выражающий реализацию-разрешение неосознанных страхов и конфликтов. В результате контакта с массами такая личность наделяется чертами так называемого харизматического лидера.

Сверхзадача автора «Бесконечного тупика» — это создание внутреннего комфорта, гармонии. Одинокое живет в мире разорванной истории, в мире оплеванных и сгнивших сказок. Мифологическая структура современной России разбита почти до основания. Как адаптировать опыт гибели шестидесяти миллионов соотечественников, как осмыслить себя звеном в протянувшейся через тысячелетие цепи фактов, событий, людей? Прямой контакт разрушителен, он приводит не к гармонии, а к деформации личности. Но не менее пагубна и потеря исторической памяти. Вся книга Одинокоева — это прежде всего истерическая попытка создания уютного мира, такого «изгибания реальности», которое консолидирует и внутренне оправдывает его бытие. Проблема стоит так: необходимо найти естественную точку зрения на реальный мир. Если мир перевернут, то, очевидно, надо встать на голову. Какова же новая сказка Одинокоева, в которой приятно и ненапряженно жить?

Во-первых, в одинокоевском мире никакой катастрофы 1917 года не было, а следовательно, нет и ностальгии по дореволюционному прошлому. Наоборот, в хаосе последнего семидесятилетия видится смысл логического продолжения русской истории, расплаты.

Невинный звон колоколов,
Хрустальное окно в Европу —
И винный хруст пустых голов,
Под сапогом окончивших свободу⁸.

Нет у Одинокоева и зависти по отношению к Западу. Он тоже воспринимается в перевернутом сознании автора адом, миром лжи и подлости. Но ложь и подлость он отводит миру идеалов, западному небу. Материальное же существование для него вполне идеально, вполне благостно и счастливо. Реальность вообще и не способна на большее и лучшее существование. Суть в том, что и западная реальность и советская реальность есть две формы осуществления одной и той же идеи. Поэтому трагедия Одинокоева есть трагедия одинокоева: трагедия одинокоевского сознания, обладающего даром отделяться от сознания коллективного (то есть, иными словами, от своего бессознательного) и подниматься даром в надзвездный мир платонизма. Трагедия Одинокоева локализована им (после переворачивания внешнего мира) в личной плоскости. Но и свое личное бытие, одинокое и безрадостное, Одинокоев также переворачивает. Создавая миф уже своей собственной истории, он помещает в его центр внешне пародийное, но внутренне трагичное грехопадение, происшедшее в десятилетнем возрасте и квалифицируемое им как потеря дара любви.

Итак, с идеальным внешним миром автор разделяется, изменяя его. Внешний мир не индивидуален и не может сопротивляться. Но чтобы найти внутреннее оправдание метаморфозе, Одинокоев должен изменить самого себя. А это сделать уже неизмеримо сложнее, так как внутренний мир индивидуален и способен к напряженной и ядовитой самообороне.

Одинокоев с ужасом понимает, что является носителем страшного разрушительного потенциала, целого сонма демонов, не находящих себе приемлемого выхода в реальность и окончательно звереющих от этого, превращающихся в легион бесов. Эта трагедия характерна для русского, то есть типично восточнохристианского сознания. Если в западнохристианском мире даже в эпоху вакханалии рационализма существовал мощный выход архетипических устремлений (например, феномен европейского романтизма в начале XIX века), то русский архетип был задавлен беспробудным иноязычным логосом. В результате Россия XIX века породила взбесившееся поколение, целое поколение психически ущербных людей. Проблема национальной санации, как и предсказывал Достоевский, была решена путем физического уничтожения неполноценного поколения. Но это помогло лишь частично. Механизм перемалывания целых поколений остановлен, а проблема исхода русского архетипа остается совершенно нерешенной. Сущность книги Одинокоева — это мучительный эксперимент, поставленный на себе, — эксперимент контакта с собственным архетипом. Цель его — создание новой, восточнохристианской личности, а следовательно, восточнохристианской цивилизации. По своему масштабу это личность, равная Мартину Лютеру, Наполеону или Адольфу Гитлеру. От успеха замысла Одинокоева зависят судьбы мировой культуры.

Вообще, как писал Юнг,

«каждый архетип содержит в себе высшее и низшее, добро и зло и способен приводить к прямо противоположным результатам».

После того как архетип активирован, характер воздействия зависит от способности поставить его под контроль сознания. В случае с нацизмом опыт был неудачен, так как нацисты сначала вызвали демонов разрушения, апеллируя к древнегерманским архетипическим образам, а потом сами оказались их слепым орудием. Наполеон, в отличие от Гитлера, не только встретился с собственными архетипическими силами бессознательного, но и овладел ими, запретив колеснице своей судьбы. Это привело к сублимации иррациональной стихии Французской революции. Но все же то, что для себя Наполеон решил внутренне, то для окружающих он решил внешне. Приручив демонов своего «я», он уничтожил демонов революции, усеяв костями деятелей 1789—1794 годов пол-Европы.

Наконец, третьей, и наиболее значительной, фигурой борьбы с бессознательным является Мартин Лютер. Воспитываясь в очень тяжелых психологических условиях

⁸ Цитата из поэмы современного русского поэта Хаима Чацкого «Ранету мне, ранету».

(прежде всего по вине своего отца) и став в молодости жертвой жесточайшего кризиса идентичности, Лютер благодаря большим интеллектуальным и волевым способностям поднял решение собственной трагедии до уровня создания новой универсальной символизации архетипических образов веры, совести и власти. Этим он создал возможность для перестройки сознания всего европейского человечества. (См. об этом соответствующее исследование Эриксона.)

Секрет успеха Лютера заключался в следующих факторах:

во-первых, Лютер, в отличие от Наполеона, решал вопросы, неразрешимые для него на личном уровне, переводя их в более широкий, вначале теоретический, а затем и практический план. Чтобы вылечить себя, он должен был спасти общество;

и во-вторых, Лютер, в отличие от Гитлера, стремился к разрешению своих конфликтов через расширение внутренней свободы. Этим он и заложил основы психологической интроспекции нового времени.

Эти же черты Лютера свойственны и Одинокovu. Во-первых, он считает себя «выразителем национальной идеи» и, следовательно, не мыслит решения собственных проблем вне или за счет национального универсума. А во-вторых, сталкиваясь с собственным бессознательным, он ищет выход не в активации разрушительных потенциалов, а в усложнении собственной внутренней жизни, в создании канала бесконечной интроспекции, отводящего разрушительные устремления в бездонное русло.

Как и Лютер, он опирается на культурную традицию своего общества. Но если Лютер был прежде всего теологом, то Одинокov философ. Это естественно, так как православная теология всегда имела вспомогательное или даже рудиментарное значение. Взваливать на ее слабые плечи груз архетипической проблематики невозможно. Зато философия из-за магического характера русской лексической культуры очень удобна для программы Одинокова. В своем исследовании он показывает, что русская литература никогда не была литературой в собственном смысле этого слова и скорее выполняла задачи, свойственные теологии и религии. Создать русскую философию можно только путем окончательной магизации литературы, а вовсе не философизации религии. Поэтому-то наиболее значительными русскими философами являются писатель Достоевский и писатель же Розанов. Одинокov одновременно и развенчивает русскую литературу, поскольку она является литературой, и увеичивает ее, поскольку она является магическим центром культуры, точкой соприкосновения с национальными архетипами.

Для Одинокова характерно ощущение открытости, бесконечности, выхода, порога. Это символические образы чувства смены схемы бытия. Одиноковщина является синтезом всех мифологем, как внутри страны, так и эмигрантских, как черносотенных, так и большевистских, как либеральных, так и тоталитарных. Все они интерпретируются как конкретные формы прорыва в реальность архетипического опыта. Сама же одиноковщина — это абсолютный, тотальный и бесповоротный прорыв. Одинокov освобождается от деструкции путем конструктивной интроспекции, порождающей новую идеологию и превращающей ее создателя в героя-спасителя по отношению к алчущим учителя современникам.

Однако у Одинокова есть и кардинальное отличие от лютеровской схемы. Созданная им идеология принципиально антиидеологична. А поэтому способна инъецироваться не только в архаическое общество советской псевдохристианской ереси, но и в деидеологизированное западное общество. Одинокov не только провозглашает новый тип отношений внутри своей нации, но и закладывает основания новой мировой реальности, которая со временем несомненно приобретет характер междупланетного катаклизма, по уровню и масштабу близкого к массовому милленаристскому движению средних веков.

* * *

Увы! Россия — бумажная страна. Что написано — то есть, а чего не написано — того нет. Суть русской истории — переделывание реальности. Меньшиков, Чехов, Беликов, Попрыгуныя и Дымов. Переделано и так и есть. Ибо вдумайтесь: художественная литература является центром духовной жизни. Беликов-Меньшиков более реален, чем реальный М. О. Меньшиков. Последний вообще забыт, «сошел на нет». А Беликов живет, его каждый школьник знает. «Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?»

Тут и моя локальная трагедия. Сам я человек, живое существо, но оцениваться и существовать в бесконечно родном мире моей родины могу лишь как литературный персонаж. Мое определение, фиксация в литературном мире будет зависеть от идеального замысла русской истории. Ну а о замысле этом можно догадаться. Так пропишут, так вставят, что уж лучше никак.

Набоков с горечью писал двадцать лет назад в послесловии к русскому изданию «Лолиты»:

«Как читатель, я умею размножаться бесконечно и легко могу набить огромный отзывчивый зал своими двойниками, представителями, статистами и теми наемными господами, которые, ни секунды не колеблясь, выходят на сцену из разных рядов, как только волшебник предлагает публике убедиться в отсутствии обмана. Но что мне сказать насчет других, нормальных читателей? В моем магическом кристалле играют радуги, косо отражаются мои очки, намечается миниатюрная иллюминация... а совсем в глубине — начало смутного движения, признаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых людей, размахивающих руками... Но это просто меня просят посторониться — сейчас будут снимать приезд какого-то президента в Москву».

И это еще не вся ирония. Это только начало. Я же не Набоков лодовского периода. И не Набоков эпохи «Дара». И не Набоков эпохи Годунова-Чердынцева. Я вообще не Набоков. Я Одинок. Одинок — 0. Набоков пародировал то, что было (полемика в эмиграции), я — то, чего нет. И не будет. Набоков в «Даре» описывал сибирскую жизнь Чернышевского:

«Ссылным он зимними вечерами читал. Как-то раз заметили, что хотя он спокойно и плавно читает запутанную повесть, сь многими «научными» отступлениями, смотрит-то он в пустую тетрадь. Символ ужасный!»

Символ ужасный!

И мало того. Мало того, что я ноль. Этот ноль еще пустят в дело, положат где-нибудь резиновой прокладочкой, приладят в механизм. И ноль в хозяйстве пригодится, и ноль в дело пойдет. В Нолинск на фабрику валенок (там есть, я по БСЭ смотрел).

Вот теперь уже на эту тему всё. Так живи!

946. Примечание к № 943.

Символ ужасный!

В чем же кардинальное отличие от Розанова? Его бурная жизнь, в десятках тысяч разговоров, диалогов, споров с огромным количеством людей (и каких людей!), нашла свое выражение в сотнях статей. Статьи — в десятках сборников. А сборники вылились в «Опавшие листья» (все темы, даже обороты рассыпаны по отдельным статьям, а до этого — в разговорах).

«Бесконечный тупик» построен изнутри. Никаких разговоров я не вел, статей не писал... Все из пустоты. Может быть, даже не из пустоты в чем-то, а из пустоты вообще. Потому что есть ли она, сама среда, страна, в которой жил Розанов? Нет. Пустота. Иллюзия. Я веду какую-то вялую, апатичную жизнь с пустыми людьми, с пустыми разговорами. Но даже это чахлое подобие действительности я выдумываю, то есть существую в нем вполне сознательно. В корабле моей жизни страшные пробоины, и, кажется, скоро уже он пойдет на дно. Разве что в этом будет некоторая аналогия с Розановым. Хотя и тут навряд ли. Розанову было что терять — дом, семью, детей, Россию. Мне же — нечего. Розанов содержателен, полон. Я — пуст. «Полифония» Розанова от избытка. Моя — от пустоты, от глубочайшего ощущения, что это ведь никому не нужно.

Я начал писать эту книгу в тайной надежде, что в конце концов пелена одиночества будет разорвана и пустой мир, все усложняясь и переплетаясь, постепенно обернется реальностью. Но по мере воплощения замысла я увидел, что первоначальная задача бредова. Каков итог? Все силы ушли впустую. Депрессия, горечь.

Могу утешать себя лишь одним: ни один человек не предпринимал столь огромных усилий, в общем заранее зная об их бесплодности.

Что же двигало мной? Склад души.

949. Примечание к стр. 54 «Бесконечного тупика».

«Бог меня спросит:— Что же ты сделал? — Ничего» (В. Розанов).

«Ничего». Сама эта книга — сон, ничто. Она брошена в небытие и растворится там тысячестраничным морозным туманом. Это и

есть обретение ритма, трагизма, того «художества», которое придает «ерунде» возможность существования. Как раз ничего делать не надо. Если что-нибудь сделано, это уже оборачивается фарсом. В реальности тоска и боль превратятся в ничто.

Что было поистине трагично в смерти отца? Вот что его увезли умирать, а я прислонился лбом к холодному стеклу окна, противоположного выходящему на его последнюю улицу, и стоял и ни о чем не думал. Думал, «о чем же думать?». О чем же тут думать? И зачем? Зачем думать, жить? Не как осмысленное стремление к самоубийству, а как обесмысливание каких-либо смыслов, бессмысленный ужас и недоумение перед каким-нибудь смыслом. И вот это ощущение бьющего через лоб ледяного холода и есть то. А остальное — лохмато-серые тряпочные эманации в какую-то там «реальность».

Вот и книга эта... В чем ее удача? — в неудаче. В ненужности. В такой ненужности, что даже сама констатация этой ненужности уже не нужна, уже воспринимается как ненужная заглушка, «оговорка». И вся книга — тысячестраничная оговорка. Какая-то бесконечно длинная оговорка — «бесконечный тупик».

Вот я и выговорился. Всё. Ветви сломаны — остался голый столб моего одиночества, столп молчания. Я распустил улетевшие ветви-мысли, чтобы остаться наедине с собой, бросить дурацкий чемодан в снег. Мышление мне всегда казалось какой-то преградой, завесой. Я существую и мыслю. Мысли движутся, растут. Одни ветви тянутся вверх, другие отмирают, тяжело рушатся вниз. Все это постоянно, бесшумно. В сущности, процесс мышления поражает своей бесчеловечностью. И ничего нового, все это будет продолжаться и продолжаться в дурной бесконечности, пока я не умру. Для чего я жил, зачем мыслил? Абсурд. Бесшумный, продолжающийся постоянно. И главное, я чувствую, и всегда чувствовал, удивительную ложь происходящего. Ложность и ограниченность. Экзистенциальное отвращение к своему материальному и психическому существованию — да. Но и само мышление есть форма существования и тоже тошнота, тоже ненужность. Зачем? Все погибнет. И все ложь. И эта мысль ложь, гниль, дешевая стилизация. Эта ветвь рухнет, так и не успев распуститься, но и это отмирание тоже бессмысленно. Это бессмысленное хаотичное движение ветвей лишь в одном смысле серьезно, в одном смысле трагично: оно подчинено ритму разрушения. Ведь «не сразу». Видимо, не сразу. Постепенно все будет угасать, цепенеть, и наконец последняя искра пробежит по умирающему рассудку. А извне?.. Кто-то сидит в пустом кинотеатре и смотрит беспорядочное нагромождение кадров. Вот отец, вот школа, вот книги и унижение. Зачем? Пленка обрывается, но еще некоторое время экран мерцает, а потом гаснет. Недоумение. Скука. Смерть... Но все же. Все же предпринята безумная попытка сопротивления. И вдруг она удастся, и произойдет чудо и реальность изогнется фантастически причудливым образом, и я ласково окутанный родным пространством, буду перенесен в иной подлинный мир. Вызовет ли этот сгусток энергии, воли, желания, мысли целную реакцию или он повиснет в пустоте, провиснет в пространстве бессильно обломанными ветвями, и звезды рассыются надо мной холодным русалочьим смехом?.. Попаду ли я в фантастическое пространство, а в общем-то, с другой-то стороны, единственно подлинное и естественное? Или же я фатально обречен на существование в сером и унылом «реальном мире»? Ответ на этот вопрос неизбежен, ибо само отсутствие ответа есть ответ самый красноречивый, самый абсолютный и самый безнадежный.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЧЕРНАЯ КНИГА («ШТУРМ НЕБЕС»). Сборник документальных данных, характеризующих борьбу советской коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церкви. Составил А. А. Валентинов. «Волга», 1991, № 4—6, 8, 10, 12.

ЧЕРНАЯ КНИГА («ШТУРМ НЕБЕС»). Сборник документальных данных. «Москва», 1991, № 1.

«Прежде всего примите мою благодарность за «Черную книгу», — писал осенью 1925 года Илья Репин поэту Ивану Савину. — Эта книга светится, как Сириус... Да, это вечная — историческая книга. Миллионные издания выдержит она и целиком войдет в историю нашего христианства. Печатайте, печатайте!.. Всесторонне, фактически эта книга исчерпывает вопрос и — потрясает! Я совсем потрясен» («Грани», № 155). Корреспондент Репина прислал художнику русскую рукопись книги, которая вышла до этого на английском и немецком языках (1924). Русский ее вариант был издан в 1925 году Русским национальным студенческим объединением в Париже. Этим изданием (с сокращениями) воспользовался саратовский журнал «Волга», а некоторыми фрагментами (без указания источника) — журнал «Москва».

Составил книгу некий А. А. Валентинов. Я пишу слово «некий» с сожалением, поскольку ни «Волга», ни «Москва» не дают никаких сведений об этом замечательном человеке, как можно догадаться, молодом белом эмигранте. Видимо, они (как и я) просто ничего достоверного о нем не знают. Остается надеяться, что в отдельном издании книги, коль скоро оно состоится, этот досадный пробел будет восполнен. В предисловии к книге А. А. Валентинов писал: «Русские студенты — такие же изгнанники, — нищие, как и я, поручили мне составить «обвинительный акт» по делу о самом страшном преступлении правительства III Интернационала. Мне было поручено составить такой акт, «который заставил бы хоть на минуту призадуматься мир, занятый своими делами». Я должен засвидетельствовать, что акт этот от начала до конца составлен не мною, а самими обвиняемыми и написан их собственной рукой». Что ж, тогдашняя действительность предоставляла составителю документальный материал более чем в достаточном количестве. Своей борьбе с религией большевики придавали принципиальный характер и потому пропагандировали ее широко, не стесняясь содеянного и искренне видя доблесть и молодечество там, где мы ныне отшатываемся в ужасе.

Сборнику была предпослана обстоятельная статья П. Б. Струве, имеющая также и самостоятельное значение. Советской власти, по его мнению, принадлежала своеобразная историческая честь «возрождения инквизиции с атеистическим знаком»: «Советская власть — это светский меч, рабо-

тающий и разящий по наущению и указке воинствующего безбожия... Советская борьба против религии и церкви не есть политика, и с политическими критериями и мерками нельзя подходить к этому явлению. Оно, при всей своей омерзительности, глубже и значительнее всякой политики. Вот почему в этой области бессильны и даже бессмысленны как политическая непримиримость, так и политический оппортунизм. Борьба идет между воинствующим безбожием и самой основой всякой подлинной религии, верой в Бога. Близорук оппортунизм, мнящий Дьявола и Антихриста задобрить и улесть политическою покорностью...»

А. А. Валентинов приводит множество свидетельств о массовых убийствах священников, о подрывной деятельности внутри церкви, об ограблении или даже о «бескорыстном» осквернении храмов, уничтожении икон, обильно цитирует атеистическую прессу («Трудно выразить отвращение, возбуждаемое специальной казенной «безбожной» литературой большевиков... Это — смесь грубейшего идейного цинизма с пошлейшей похабщиной, представляющей совершенно хамское использование ветхозаветной наивности и беззастенчивое надругательство над тончайшей христианской мистикой», — так круто высказался о ней П. Б. Струве). Много места уделено официальному воспитанию («развращению», настаивает Валентинов) молодежи в школах, в комсомоле, рассказывается о публичных агитационных мероприятиях вроде «общественного» суда над папой римским, приговоренным «общественностью» заочно к расстрелу, исполнение которого отложено до той поры, когда Италия станет советской, или аналогичного общественного процесса против... Господа Бога с тем же приговором. В основном материалы книги рассказывают об истреблении православия, но есть материалы и о преследовании других конфессий. Несомненный интерес представляет глава, посвященная делу католического архиепископа Цепляка и прелата Буткевича (1923). Расстрел Буткевича и осуждение других священнослужителей, проходивших по этому делу, вызвали волну возмущения на Западе, несравнимую, кстати, с вялой реакцией на истребление православного духовенства. Заканчивают книгу подробные описания дел митрополита Вениамина и Патриарха Тихона.

Нет сомнений, считает составитель, что в планы коммунистов входила в будущем борьба против всякой религии, всякой церкви «во всем мире, во всех странах и на всех материках» (он тогда не мог еще знать об албанском и камлучийском экспериментах в этой области). Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. По сообщению газеты «Правда», пишет составитель, во время опечатывания одного из храмов из толпы верующих раздался контрреволюционный выкрик: «Советская власть

не всегда будет, а церковь останется навеки!..» Мы ныне сами можем убедиться в справедливости этих слов. Хотелось бы надеяться, что сбудется хоть отчасти и пожелание Ильи Репина — массовое и относительно дешевое издание «Черной книги». Она нужна нам не только как разительный исторический документ, но и как своевременное противоядие от иллюзий о возможности плодотворного союза между коммунистической идеологией в любом ее варианте и христианством.

Андрей Василевский.

★

РОМАН РЕДЛИХ. Предатель. Роман. «Север», 1991, № 8—10.

Автор — один из лидеров многократно обоганного, обвиненного в измене родине Национально-Трудового Союза. Время действия его романа: 1933—1945 годы. Место: Лубянка, сталинские лагеря, фронт, немецкий лагерь для военнопленных, оккупированные фашистами территории, снова Лубянка. По этому кругу проходит жизненный маршрут главного героя, если не самого автора, то, во всяком случае, его соратника и единомышленника. В этом круге мечется душа его, полная любви к Правде, к России и ненависти к тем, кто их оплевал и унижал. Читая роман, мы ни на минуту не забываем, что авторский подход к усвоенным нами представлениям о минувшей войне обостренно полемичен.

Герой романа в первом же сражении сдается в плен, сотрудничает с немецкими службами, ездит по оккупированным территориям с немецким офицером, вывозящим культурные ценности, вступает в НТС, а затем становится власовцем, порой ощущая себя «пыльцо от колес истории», но главный выбор совершая свободно. Многие даже теперь, только взглянув на пункт его судьбы, заклеймят такого человека «именем страшным» и отбросят книгу. Думаем, они поступят неправильно. Диалог читателя с автором должен состояться.

«Предатель», «предавать», «предательство» — эти слова присутствуют в романе, наверное, во всех грамматических формах. Соотношение предательства подлинного и мнимого — основная нравственная коллизия романа.

Сначала о предательстве настоящем. Нет, наверное, ни одного человека, оставшего след в жизни героя, которого он не предал бы на муки и смерть, не оклеветал в лубянкских застенках: предавать пришлось тех, кого любил, на кого молился, считал праведником. Но именно это настоящее предательство мы готовы простить герою хотя бы за душевные муки, беспощадный суд над собой. Труднее принять авторскую позицию в отношении предательства «мнимого».

«Суд история Сталин определит заранее и вперед: изменники Родины... Ведь легко в исторической перспективе провести фронт от Ленинграда к Сталинграду и сказать: ...здесь — русские, а там — немцы; русский на немецкой стороне — предатель!» Так, по мнению автора, предателями вместе с героем оказываются миллионы людей.

сотрудничавших с фашистами из ненависти к «родному» нечеловеческому режиму, потому что хуже большевиком все равно быть ничего не может, а у немцев хоть «колхозов нет».

Так неужели все так просто и официоз, вывернутый наизнанку, получает статус истины? Р. Редлих ощущает себя избранным поведать правду о stokрат проклятых «изменниках, коллаборационистах». «Тех, с кем я шел, никто не опишет, разве я в единственной этой книге».

Среди мнимых предателей оказываются самые светлые типы, открытые великой русской литературой. От приближающихся большевиков спасаются «старосветские помещики» — два милых, беззащитных старичка, отважный, чистый сердцем Петруша Гринев вступает в НТС, собирает вместе с героем бойцов под знамена любви к отечеству. На очищенной от советской власти земле возрождается самая заветная легенда, созданная русским народом: о лжеубиенном царевиче, народном заступнике, на этот раз защитнике от большевиков.

По утверждению автора, лучшие из лучших создают Русскую освободительную армию. РОА в романе — войско, ведомое верой, надеждой и любовью, почти «Христово воинство», «со злом воюющее». Главный герой вступает в ряды власовцев, уже зная обреченность последней надежды избавиться в открытом сражении России от большевиков. Ему ясно, что ждет его на родине. Но он чувствует себя не вправе упустить даже ничтожный шанс. Вот его клятва: «Бог! Не пугай меня. Я трус и предатель, но я не хитрил расчетливо... Я — член НТС и поклялся честно и жертвенно служить России...» Подкупает духовное напряжение писателя, его вера в свою правду. Однако вопросы остаются.

«Армии добра» противопоставляется другая, стремительно надвигающаяся с востока. Там «в метели, в пурге, в бурне бросалось в бой за Москву и советскую власть сталинское пушечное мясо». «В атаке нет убеждений. В атаке — звериный страх и рожденная страхом ненависть к тем, кто в меня стреляет». «За Родину» для Р. Редлиха значит «за Сталина». Единственные смягчающие ноты звучат уже ближе к концу романа: «разве там, по ту сторону фронта», не думают, что «после войны все будет иначе»? — «пусть ошибочно, но думают».

Нами намеренно выписаны из текста самые шокирующие высказывания, на которые при чтении натыкаешься, как на острые углы. Но не хочется, чтобы ответом читателя была гневная отповедь, плевок, оскорбление, даже от тех, кто больше всего задет системой авторских взглядов. Необходимо прислушаться и к этому голосу, к этому мнению. Необязательно верить автору безоговорочно, как оракулу, сообщателю высшую истину. Есть путь генерала Власова и путь генерала Карбышева. С детства нам внушали, что один — предатель, а другой — праведник. Менять их местами неосмотрительно. Главное, чтобы рука не тянулась к камню при имени того или другого.

М. Макеев.

В 1993 году
«НОВЫЙ МИР»
предполагает опубликовать:

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман, книга вторая);
АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ. Спички (повесть);
о. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Письмо духовному сыну о евразийстве;
ВЛАДИМИР ВОЛКОВ. Облава (роман, перевод с французского);
ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ. Стихи 1970—1980-х годов (перевел с польского Владимир Британишский);
ЭММА ГЕРШТЕЙН. Тогда, в тридцатые... (главы из воспоминаний);
ДНЕВНИК ЙОЗЕФА ГЕББЕЛЬСА. 20-е ГОДЫ (публикация и комментарии Елены Ржевской);
ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО. Искусство принадлежать народу (формовка советского читателя);
ЯКОВ ДРУСКИН. Из философского наследия;
ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ;
МИХАИЛ КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);
А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА. К истокам «Тихого Дона» (текстологическое исследование проблемы авторства романа);
В. НЕПОМНЯЩИЙ. О Пушкине и русской культуре;
ИВАН ОГАНОВ. Песнь виноградаря осенью (эпос);
ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ. По роду их (роман);
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Ноев ковчег (комедия, из наследия);
«РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ОБРЕТАЕМ...» («круглый стол»: русская идея и новая российская государственность);
С. М. СОЛОВЬЕВ. Воспоминания;
И. СУРАТ. Пушкин как религиозная проблема;
БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Дочь Бухары (рассказы);
С. И. ФУДЕЛЬ. Письма из ссылки;
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Письма к П. Сувчинскому;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. О музыкальной культуре XX века;
ВЛАДИМИР ШАРОВ. До и после времени (роман);
АРИАДНА ЭФРОН. Письма. Воспоминания о матери;
М. В. ЮДИНА. Письма к друзьям;

а также новые произведения **С. АВЕРИНЦЕВА, Л. БЕЖИНА, А. БИТОВА, П. ВАЙЛЯ** и **А. ГЕНИСА, Г. ВЛАДИМОВА, З. ГАРЕЕВА, Д. ГРАНИНА, Б. ЕКИМОВА, Н. ИЛЬИНОЙ, А. КИМА, Н. КОРЖАВИНА, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, А. КУШНЕРА, С. ЛИПКИНА, И. ЛИСНЯНСКОЙ, В. МАКАНИНА, Ю. МАЛЕЦКОГО, Г. МЕДВЕДЕВА, Б. МОЖАЕВА, М. ПАЛЕЙ, Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ, Е. ПОПОВА, В. ПЬЕЦУХА, М. РОЩИНА, Г. САПГИРА, А. ЧЕРЧЕСОВА, М. ЧУДАКОВОЙ, Д. ШТУРМАН, А. ЭПЕЛЯ, В. ЯНИЦКОГО** и других авторов.

В 1993 году «НОВЫЙ МИР» открывает новые рубрики «Экология и мы», «Зарубежные книги о России»; будут продолжены циклы публикаций «Предварительные итоги XX века: литература, искусство, гуманитарная мысль», «Религия и современный мир».

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



В. РОЗАНОВ. Литературные изгнанники. London, Overseas Publications Interchange Ltd. 1992. 517 стр.

Уникальность писательского дара В. В. Розанова — в создании необычных, разрушающих каноны литературных форм. Вне привычных жанровых установок писатель чувствовал себя наиболее естественно, о чем свидетельствуют опубликованные в 1913 г. в Санкт-Петербурге и переизданные ныне «Литературные изгнанники». Композиция книги подчеркнута несимметрична, фактура крайне неоднородна; более половины объема тома занимают письма Н. Н. Страхова Розанову, обрамленные предисловием и комментариями адресата, а также заботливо подобранной коллекцией некрологов Страхова. Кроме того, в книге помещены письма Ю. Н. Говоруки-Отрока Страхову; эллиптическим завершением книги служат воспоминания о Страхове самого Розанова. Переиздание дополнено указателем имен.

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА. Под ред. А. Маргаритто и Д. Рицци. Dipartimento Storia della Civiltà Europa, Università di Trento. (Trento). 1992. 356 стр.

Вслед за замечательным сборником по истории русского литературного авангарда (см. наш обзор в № 5) Департамент истории европейской цивилизации университета Тренто (Италия) выпустил сборник, посвященный первоосновам русской духовной культуры.

Книга открывается статьей С. С. Аверинцева «Крещение Руси и путь русской культуры», намекающей подступы к онтологическому определению русского духовного развития. Культурологическим аспектам древнерусского музыкального искусства посвящена статья Т. Ф. Владышевской «Эстетические основы музыкальной культуры Киевской Руси». Этнологическая точка зрения на культурные процессы, определившие развитие Руси, представлена в работе покойного Л. Н. Гумилева «Миф и действительность. Южная Сибирь и Древняя Русь XI—XIII вв.». В. М. Живов подкрепляет текстологическое исследование «Сказания о русской грамоте» размышлениями об идеологии славянской языковой общности («Slavia Christiana»), отраженной в анализируемом тексте. А. А. Зализняк продолжает серию исследований по интерпретации новгородских берестяных грамот («Участие женщин в древнерусской переписке на бересте»). Ю. М. Лотман публикует очередной материал на тему «Пушкин и христианство». В сборнике помещены также статьи Н. Н. Покровского «Старообрядчество востока страны конца XVII — середины XIX

вв.», Г. М. Прохорова («Внутренняя динамика русской культуры, или Надсознание Древней Руси»), П. А. Раппопорта («Зодчие Древней Руси»), В. Н. Топорова («Треподобный Феодосий Печерский. Трудничество во Христе (главы из книги)»), Б. Н. Флори («О некоторых аналогиях в развитии древнерусской и западноевропейской мысли в эпоху средних веков»), Б. Л. Фонкича («О греческом тексте послания Максима Грека князю П. И. Шуйскому»).

П. КУЗНЕЦОВ. Археолог. Роман. London, Overseas Publications Interchange. 1992. 173 стр.

О существовании в русской литературе так называемого петербургского текста в последние годы писали много и убедительно. Контуры «города на Неве» проступают порой и там, где они почти не обозначены, а сам город не назван; дистанция между явным и скрытым, реальным и мифологическим столь мала, что всюду сквозь художественную ткань просвечивают живые лица, странства и события. И современная литература, как видно, не чужда подобной игре. Повествование о жизни интеллектуальной элиты в 60—70-е не лишено обобщающей абстрактности, но дотошному петербуржцу не составит труда, распутав хитросплетения дат, событий и лиц, воспринять философскую рефлексию как документальную хронику. Не исключено, однако, что в этом случае роман П. Кузнецова рискует потерять часть своего обаяния.

У. ЛАКЕР. Россия и Германия — наставники Гитлера. Пер. с англ. В. Меникера. Problems of Western Europe. Вашингтон. 1991. 485 стр.

В книге известного американского историка исследуются парадоксальные и единственные в своем роде взаимоотношения двух великих держав — России и Германии: «Во все времена — с того дня, когда Александр Невский разбил тевтонских рыцарей на Чудском озере, и до дней организации Варшавского Договора — немцы в основном рассматривались как враги. Но не было и другого народа, которым бы русские больше восхищались. Немцы были властителями дум, учителями, идеалом для подражания поколений молодых русских интеллигентов».

Причудливое сочетание любви и ненависти толкало Россию и Германию то к недогловечным, но тесным альянсам, то к разрушительным приступам взаимостребления. Автор подробно показывает, как в промежутке между первой и второй мировыми войнами тоталитарные режимы набирались опыта, силы и смелости друг у друга. В

1965 г., когда вышла в свет «Россия и Германия...», надежды на прекращение конфронтации оставались лишь смелыми прогнозами; сегодня, когда книга Лакера переведена на русский язык, предвидениям ученого, кажется, дано осуществиться.

Ю. МАЦКЕВИЧ. От Вилни до Изара. Статьи и очерки (1945—1985). Составил М. Бонковский. Перевела с польского Н. Горбаневская. London. Overseas Publications Interchange. 1992. 510 стр.

В 1919 г., не закончив шестого класса гимназии, шестнадцатилетний Юзеф Мацкевич уходит добровольцем на войну с большевиками. С этого времени и до самой смерти в 1985 г. в Мюнхене его кредо — беспощадная борьба с коммунизмом. В польский пе-

риод журналистской деятельности позиция Мацкевича нередко давала повод для обвинений в коллаборационизме; после второй мировой войны его нелюбимый скептицизм по отношению к левой интеллигенции Запада вновь сделал его одиозной фигурой. Собранные в настоящей книге статьи написаны Мацкевичем за сорок лет пребывания в эмиграции. Среди них — открытое письмо М. А. Шолохову, полемика с Ф. А. Степуном, рассуждения об «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына... Сборник «От Вилни до Изара» представляет нам Мацкевича со всеми его крайностями и противоречиями; это и делает вчерашнюю публицистику столь интересной сегодня.

Составитель **К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.**

SUMMARY

The poetry section of this issue includes poems by Natalya Gorbanevskaya, Yuri Riashentsev and Alexander Sorokin.

We also continue publication of two novels: Victor Astafiev's "The Damned and the Dead" (the first part appeared in No. 10)

and Alexander Solzhenitsyn's "April 1917" (also continued from No. 10).

The final installment of excerpts from Dmitry Galkovsky's book "The Endless Impasse" (begun in No. 9), likewise appears in this issue.

K. Postoutenko reviews new Russian books appearing abroad.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Роспечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия;

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), Е. А. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор
А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.08.92 г. Подписано к печати 12.10.92 г. Формат бумаги 70×108₁₆^{3/4}.
Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 18 п. л. 25,2 усл.-печ. л.,
(25,45 усл. кр.-отт.). 30,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 340 экз. Зак 2990. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия»
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

«НОВЫЙ МИР»

поздравляет газету

«ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

с рождением на свет Божий!

Впервые в России — газета для тех, кто, задумавшись о своем бытии, ищет пути выживания не в высоких энергиях политических страстей или на тропе войны, а в преодолении собственных слабостей, грехов и незнания.

Всегда на страницах «ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ» самое интересное из областей традиционного и нетрадиционного образования, психологии, этнографии, экологии, философии, права, а также обзоры кино-, теле- и книжных новинок.

Ранее закрытая мировая практика коллективного и индивидуального выживания в наше тревожное время — для Вас.

Газета «ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» хочет помочь реализовать Ваше «Я» через гуманитарное просвещение.

Издатель газеты «ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» —
Российский открытый университет.

101 000, Москва, ул. Маросейка, 11, строение 4.
Тел. (095) 921-18-95.

Наш индекс 32071 в первом приложении к подписному каталогу Роспечати.

Цена: на 1 месяц — 22 руб.
на 3 месяца — 66 руб.
на 6 месяцев — 132 руб.